МАРСЕЛЬ ПРУСТ

Пленница



Пленница

Марсель Пруст

МАРСЕЛЬ ПРУСТ. Пленница
ПЛЕННИЦА
КОММЕНТАРИИ

МАРСЕЛЬ ПРУСТ
Пленница

ЦИКЛ АЛЬБЕРТИНЫ

Когда в ноябре 1913 года вышел из печати первый том лирической эпопеи Пруста «В поисках утраченного времени», роман «По направлению к Свану», мотив «девушек в цвету» был уже в достаточной степени продуман и разработан писателем. Результаты этих напряженных творческих поисков отразились в богатейшем рукописном наследии Пруста, которое в настоящее время хорошо изучено[1]. Публикации последних лет, проясняющие творческую историю эпопеи, позволяют проследить зарождение мотива «девушек в цвету», этапы его многолетней отделки и наполнения тем глубоким смыслом, каким этот мотив оказался в конце концов наделен.

Близкий друг писателя, Марсель Плантевинь, несколько самонадеянно приписывал себе изоб-

---

[1] Примечания: 1

За любезное содействие в ознакомлении с новейшими публикациями, посвященными Марселю Прусту, считаю своим приятным долгом выразить искреннюю признательность господину Клеменсу Эллеру, директору Дома Наук о Человеке (Париж).

ретение этого мотива[2]. Думается, описание стайки девушек на берегу моря, столь органически вписывающейся в окружающий пейзаж, не надо было писателю подсказывать. Мотив «девушек в цвету» постоянно возникает на протяжении всей эпопеи и с особой ностальгической силой звучит в завершающей книге — «Обретенном времени». Первоначально, в пору издания романа «По направлению к Свану», «девушки в цвету» и должны были появиться в последней книге: испробовав оба «направления», познакомившись с обеими «сторонами» — Свана и Германтов, — герой-рассказчик должен был попасть на какое-то время «под сень» девушек, что оборачивалось для него в конечном счете препятствием на пути к Искусству.

Если путь по направлению к Свану вел героя в известной мере в мир природы — цветущего боярышника, поросших кувшинками тихих заводей Вивоны, мелькающих среди спокойных полей непритязательных деревенских церквушек, увитых плющом, — то дорога к девушкам недаром пролегала по морскому берегу: восприятие «девушек в цвету» перекликается с ощуще-

---

[2] Примечания: 2

См.: Planlevignes M. Avec Marcel Proust. Paris, 1966, p. 300-305.

нием текучести, неустойчивости, изменчивости морских волн, зеленовато-синих, искрящихся, мерцающих, как глаза девушек, и бессмертного шума прибоя. Эти девушки в цвету, словно наяды, резвятся на прибрежном песке, шумной стайкой внезапно появляются на пляже и так же быстро исчезают. Эти девушки-цветы подобны заколдованным персонажам вагнеровского «Парсифаля», которых волшебник Клингсор посылает, дабы заполонить рыцаря-героя; полные необузданных любовных страстей, эти «дочери огня» словно сошли со страниц Жерара де Нерваля (которого так любил Пруст), и одновременно мягкостью полутонов, пленительной симфонией голубого, серого, розового они заставляют вспомнить изысканные полотна Уистлера. Тема «девушек в цвету» переплетается, сливается с темой природы и темой искусства. Но слияние это мимолетно, неуловимо, ускользающе. «Чарующие сочетания девушки с берегом моря, — напишет позже Пруст, — с заплетенными косами церковной статуи, с гравюрой, со всем, из-за чего мы любим в девушке, как только она появляется, прелестную картину, — эти сочетания не очень

устойчивы»[3].

Пруст снова и снова, без устали возвращается в своих рабочих тетрадях к теме «девушек», в том числе в связи с темой моря и темой искусства, что теперь уже не мешает, а помогает герою познать последнее. Вот почему в тех же тетрадях появляются заметки, посвященные художнику Эльстиру, а знакомство героя с Альбертиной происходит как раз в его мастерской.

Появление стайки девушек должно пробудить в герое первую чисто мужскую чувственность — после еще полудетского увлечения Жильбертой Сван. Возникающее в его душе волнение смутно, лишено на первых порах каких бы то ни было конкретных устремлений и тем не менее остро и сильно. Это столь понятная тяга юноши ко всему женственному, юному, расцветающему, омытому неярким солнцем Нормандии и морскими волнами. Но это тяга и к чисто женскому началу. Так к герою приходит первая подлинная любовь, которая оказывается гигантской неудачей. Мотив взаимоотношений с девушками, любви к одной из них связан с пессимистической мыслью Пруста о невозможности взаимного влечения,

---

[3] Примечания: 3

Пруст М. У Германтов. М., Худож. лит., 1980, с. 357.

разделенной любви, о непреодолимом одиночестве человека — прежде всего в сфере сердечных отношений. Эта изначальная психологическая установка «порождала навязчивую мысль о том, что раз я люблю, то не могу быть любимым, и что женщина может ко мне привязаться только из выгоды»[4]. Это размышление героя получит дальнейшее развитие в эпопее и станет лейтмотивом взаимоотношений Марселя с Альбертиной.

Через это мучительнейшее самопознание — в любви — проходит в романе еще совсем незрелый мужчина. Это его первое подлинное любовное чувство, первый соответствующий опыт. Можно подумать, что переживания Марселя слишком изломаны, что их характеризует не глубина, а утонченность. Но такое возможно при известной душевной незрелости: это своеобразная игра, нескончаемый эксперимент, когда путем проб и ошибок человек постигает и себя и других.

Впрочем, нельзя не отметить, что первоначально Пруст колебался: в какой-то момент работы над эпопеей под сень «девушек в цвету» он хотел отправить Свана, тем самым показывая, что по-юношески очаровываться можно в любом

---

[4] Примечания: 4
Пруст М. Содом и Гоморра. М., Худож. лит., 1987, с. 529.

возрасте и с любым опытом за плечами (что и случилось со Сваном в пору его тяжелого увлечения Одеттой). Но вскоре писатель переадресовывает увлечение девушками. Отныне это удел героя-рассказчика. И поэтому связанные с ними эпизоды резко передвигаются ближе к началу повествования, во второй том эпопеи, в роман «Под сенью девушек в цвету». В описанной в первом томе мучительной любви Свана к Одетте герою не все еще было понятно, многое казалось странным, нелогичным, преувеличенным. Теперь он переживает сильное любовное чувство сам, сам его тщательно анализирует и переживает его, пожалуй, совсем по-другому, не как Сван, стараясь довести свой анализ до конца и этим чувство не только понять, но и преодолеть.

Перенесение этого мотива во второй том эпопеи имело глубокий смысл. Менялась не только внешняя сюжетная структура повествования, хотя и это изменение было весьма существенным. Тема взаимоотношений с девушками, а затем тема любви к одной из них оборачивалась решением кардинальных проблем человеческих взаимосвязей. В данном случае в столь тонкой и одновременно столь всеобъемлющей сфере, как любовь. Через познание любви, себя в любви

и своего партнера по любовному чувству герой шел к познанию общества, природы, искусства, жизни. Вот почему «цикл Альбертины» постепенно занял не просто центральное, но важнейшее место в эпопее Пруста.

Вот почему в черновых рукописях писателя сохранилось так много набросков, связанных с Альбертиной и ее «стайкой».

В рабочих тетрадях, относящихся к первой половине 1909 года, контуры «девушек в цвету» еще весьма приблизительны. Еще нет их индивидуализированных портретов. Это не столько изображение самих девушек, сколько впечатления от них: это яркие цветные пятна на фоне морского пейзажа. Но постепенно краски начинают сгущаться, а наброски девушек обретать четкие контуры. В стайке появляется свой лидер (в конце концов им станет подруга Альбертины Андре) и основной центр притяжения для героя. Пруст как бы примеряет к ней имя (сначала просто Испанка, потом Анна, Мария, наконец, Альбертина), фамилию (Букето, Букто, Симоне), внешний облик. Он колеблется, пробует, ищет. «Четвертая из девушек была брюнеткой, — читаем мы в одном из набросков, — но она отличалась от первой, в ней было что-то от смуглой испанки;

черты лица у нее были правильные, замечательные глаза; была в ней какая-то сила, веселость, ум, живость и всеобъемлющая мягкость; соскочив с лошади, она готова была снова тут же сесть в седло, она появлялась на какое-то мгновение, в просвете своей спортивной жизни, и это выделяло ее в моих глазах из всех смертных, но одновременно заставляло меня чувствовать, что весь мой облик, посмотри она на меня, вызвал бы у нее презрение»[5]. Сначала герой и автор колеблются между этой спортивной брюнеткой и голубоглазой блондинкой, напоминающей пансионерку из католического монастыря. Но от тетради к тетради, от наброска к наброску облик будущей Альбертины все более уточняется и конкретизируется.

Как всегда у Пруста, у этого его персонажа множество прототипов. Не без основания полагают, что в облике Альбертины совместились черты Мэри Нордлингер, молодой англичанки, занимавшейся немного живописью и обожавшей кататься на велосипеде, а также актрисы Луизы де Морнан, возлюбленной одного из друзей писателя. С той и другой Пруст много встречался

[5] Примечания: 5

Proust M. A la recherche du temps perdu. Edition publiee sous la direction de J. —Y. Tadie', t. II, 1988, p. 937.

в первые годы века; Мэри помогала ему в его занятиях Рёскиным, Луиза внушила писателю довольно сильное чувство. По крайней мере так она полагала, когда вспоминала в 1928 году: «Между нами возникло нечто вроде любовной дружбы, где не было ничего ни от банального флирта, ни от открытой связи; со стороны Пруста это было очень сильное увлечение, в котором проглядывали, конечно, нескрываемые желания, с моей же стороны это была склонность более чем товарищеская, глубоко затронувшая тогда мое сердце»[6]. К этому, видимо, приложились воспоминания о юношеском увлечении Пруста Марией Финали, с которой он встречался еще будучи лицеистом, а также целый ряд других впечатлений и личных переживаний писателя (вплоть до сложных отношений с его секретарем Альфредом Агостинелли). Но в облике Альбертины, в ее характере, в ее взаимоотношениях с героем нет ничего от примет каких-то реальных знакомых писателя. Образ Альбертины не только не скомпонован из отдельных черточек Мэри или Луизы, но целиком задуман, продуман, выдуман Прустом, являясь плодом его творческой

[6] Примечания: 6

Цит. по кн.: Painter G.—D. Marcel Proust: Les anne'es de naturite', Paris, 1966, p. 23.

фантазии.

К 1913 году место Альбертины в структуре романа было окончательно определено, были намечены отдельные связанные с девушкой эпизоды. Так, в первой половине 1913 года Пруст записывает в одной из рабочих тетрадей: «Девушки. Я знакомлюсь с ними благодаря художнику. Я влюбляюсь в Альбертину. Смогу ли я увидеться с вами в Париже? Не так-то это просто. Андре очень мила. Игра в веревочку. Надежда. Разочарование. Сцена в постели. Окончательное разочарование. Намерение вернуться к Андре. Воспользоваться ее податливостью, чтобы подействовать на Альбертину. Отказ от Андре. Париж. Госпожа де Германт. Визит к госпоже де Вильпаризи. М. не знает, кто это. Мадмуазель Альбертина. Смерть бабушки. Монтаржи и госпожа де Силарья. Визит Альбертины, она меня щекочет. Лесной остров. Вечер у госпожи де Вильпаризи. Круг Германтов. Я веду жизнь больного. Приглашение к принцессе Германтской. Я решаю в этот вечер подать знак Альбертине. Я отправляюсь в Бальбек, ибо всех там знаю. Я обращаю внимание на поведение Альбертины и Андре. Танцуют, прижавшись

грудью»[7]. Как видим, здесь уже перечислены эпизоды, которые войдут в романы «Под сенью девушек в цвету», «У Германтов», «Содом и Гоморра» (Сен-Лу носит здесь еще имя Монтаржи, а г-жа Стермарья — г-жи Силарья). Нет здесь еще мотива перебоев чувства и пленения девушки, но это, как сейчас увидим, уже очень давно обдумывалось Прустом.

Однако тема Альбертины, ее место в эпопее было окончательно определено лишь к 1915 году. В большом письме к своей приятельнице Марии Шайкевич (ноябрь 1915 года) Пруст пересказывает основное содержание очередных книг — он не называет их, да и не знает еще сам их названий. И здесь уже есть сильное увлечение Альбертиной, полубеспричинная ревность, решение жениться на ней, жизнь с ней вдвоем, когда девушка становится фактической пленницей героя, усталость от этой связи, желание расстаться, бегство Альбертины, ее поиски и т. д.

Но еще в 1908 году, то есть тогда, когда писатель лишь начинал обдумывать основные контуры своего творения, он вносит в записную книжку следующий текст: «Во 2-й части романа девушка

---

[7] Примечания: 7
Proust M. A la recherche du temps perdu, t. II, p. 926.

разорится, я буду ее содержать: но без попыток обладать ею из-за неспособности к счастью»[8]. И снова, в той же записной книжке: «Во второй части девушка разорится, будет у меня на содержании, но я не буду наслаждаться ею (как мадмуазель Жорж и американец, Луиджа и Сальнов) из-за неспособности быть любимым»[9]. Итак, мотив девушки-пленницы и мотив невозможности любви относятся едва ли не к изначальным. Но тогда Пруст не знал еще, как воплотить это в конкретное повествование.

Итак, Альбертина впервые появляется на страницах романа «Под сенью девушек в цвету»; мы снова встречаемся с нею в романе «У Германтов», но здесь она не играет значительной роли, Она посещает героя, и у них постепенно устанавливаются те отношения, которым будут затем посвящены три следующие части эпопеи. Это и есть собственно «цикл Альбертины». Он получает многозначительное (но совсем не многозначное) название — «Содом и Гоморра» («Пленница» и «Беглянка» — лишь подзаголовки). В этом цикле взаимоотношения с Альбертиной, столь вы-

[8] Примечания: 8
Cahiers Marcel Proust. 8. Le Carnet de 1908. Paris, 1976, p.49.

[9] Примечания: 9
Ibid., p.50.

двинутые отныне на первый план, становятся, однако, сопутствующим, да и во многом ключевым, «разрешающим» мотивом в познании героем светского общества, разочарования в нем, а также познания им самого себя и как бы находящегося в нем самом — но и вне его — мира искусства и мира природы, столь тесно связанных между собой. Далеко не случайно вместе с Альбертиной появляются в эпопее Пруста такие заметные персонажи, как художник Эльстир, как барон Шарлю, и такой важный мотив, как побережье Нормандии с ее скалами, пляжами, морскими далями и незатейливой архитектурой.

Уже в романе «У Германтов» брошен взгляд в будущую трилогию: «После долгой совместной жизни, — размышляет герой, — я видел в Альбертине самую обыкновенную женщину, но достаточно было ей начать встречаться с мужчиной, которого она, быть может, полюбила в Бальбеке, — и я вновь воплощал в ней, сплавлял с нею прибой и берег моря. Но только повторные эти сочетания уже не пленяют нашего взора и зловещей болью отзываются в нашем сердце»[10].

---

[10] Примечания: 10

Пруст М. У Германтов. М., Худож. лит., 1980, с. 357.

Это, однако, была лишь прелюдия к тому воспитанию чувств героя, напряженная картина которого столь глубоко и многообразно развернута в собственно «цикле Альбертины».

Это мучительное воспитание, как и взаимоотношения с девушкой, проходят несколько этапов. В «Содоме и Гоморре» перед читателем открывался гигантский всплеск любовного чувства, его болезненные перебои, страдания и терзания, повинен в которых очень часто оказывался сам герой — его подозрительность и ревность. Только лишь любовь трудная, во многом несчастливая, с точки зрения писателя, заслуживала внимания, представляла какой-то интерес, была достойна ею же причиняемых страданий. Поэтому-то герой создает в своем сознании в достаточной степени воображаемый, условный образ возлюбленной: «Моя судьба, — признается он, — гоняться за призраками, за существами, большинство которых существует только в моем воображении». Отсюда — то переживание жизни, переживание чувства, которым наполнен роман.

В следующей книге эпопеи, в романе «Пленница», перед нами не столько герой страдающий, сколько анализирующий. И в «Содоме и Гоморре» он не был чужд анализирования психологии и се-

бя самого, и своей возлюбленной. Он и там ставил психологические опыты, то намекая Альбертине на свою увлеченность Андре, то признаваясь ей, что давно и сильно любит другую женщину. В «Содоме и Гоморре», впрочем, это были эксперименты мимолетные, занимавшие, конечно, сознание героя, но ставившиеся им от случая к случаю и не менявшие существенным образом хода повествования. Фабулы книги они не затрагивали. В «Пленнице» — все совсем иначе. Весь роман — это чистый эксперимент. Пруст ставит здесь даже двойной эксперимент. Как рассказчик, он берется наполнить целый том фактически ничем — однообразными подозрениями героя, его навязчивой ревностью, когда предмет ревности, в общем, не дает для этого конкретных поводов. Как он справился с этим экспериментом, мы скажем ниже. Но Пруст в этой книге производит и другой опыт: он заставляет героя-рассказчика буквально заточить возлюбленную в четырех стенах своей парижской квартиры, да и самому решиться на затворничество. Ведь пленником в книге оказывается не одна Альбертина. В точно такой же плен попадает и Марсель. Для него это, бесспорно, плен добровольный, им регламентируемый и не такой абсолютный, как для девушки.

И все же это тоже неволя, связанность, затворничество. Для Альбертины же это буквальный плен — невозможность в полной мере распоряжаться собой, ходить куда и когда заблагорассудится, встречаться с кем угодно. Для героя — это плен во многом психологический и эмоциональный: Марсель настолько сосредоточен на своей любви и продиктованных ею недоверии, сомнениях, ревности, что это отнимает у него возможность интересоваться чем-либо иным, кроме Альбертины. Не приходится удивляться, что оба этим глубоко тяготятся, хотя не признаются в этом друг другу. Как полагает Пруст, любовь не только тяжелая болезнь, но и столь же мучительная неволя.

Полного отшельничества, конечно, не получается. Но стоит отметить: здесь рядом с героем нет ни матери, ни близких друзей — Сен-Лу и Блока (последний эпизодически появляется в черновых рукописях, но связанные с ним сцены были старательно вычеркнуты Прустом). Можно предположить (как это делает Жан-Ив Тадье[11]), что Альбертина заменяет герою не только других женщин, которых он когда-то любил (и Жильбер-

[11] Примечания: 11

См.: Tadie J.—Y. Proust et le roman: Essal sur les formes et techniques du roman dans «A la recherche du temps perdu». Paris, 1971, p. 223.

ту, конечно, в первую очередь), но даже мать. Это не совсем так. Такое было бы возможно лишь при всеобъемлющей, всепоглощающей любви героя к девушке, но такой любви нет и в помине. Уединение героя нарочито искусственно, это часть сознательно поставленного опыта; это помогает ему не отвлекаться, с холодным рассудком анализировать себя, свое чувство, но в еще большей мере — чувства девушки и вообще Альбертину как таковую. Если «Содом и Гоморра» во многом была книгой о любви и ревности, то «Пленница» — это роман о предмете любви и о неизбежности разрыва.

Оказавшись с Альбертиной с глазу на глаз в его парижской квартире (где лишь служанка Франсуаза разделяет их одиночество), герой внимательно присматривается к девушке, стремится понять ее, проникнуть в ее сокровенные мысли. Но делается это совсем не из-за любви. Любовь почти угасла, и общество узницы даже тяготит Марселя. Для него ясно с самого начала, что разрыв неизбежен: и потому, что острота любви прошла, и потому, что молодой человек никогда не интересовался девушкой как таковой, и потому, что в его концепции любви всякая связь неминуемо придет к разрыву. Вот только

произойти это может очень нескоро, после долгих недель взаимных терзаний или взаимного равнодушия.

В самом начале их связи у Марселя сложилось такое представление об Альбертине, которое было очень далеко от реальности. То она казалась ему мягкой и искренней, доверчивой и послушной, то порочной и лживой. Живя с ней в Париже, герой все более убеждается в ее врожденной неискренности. Первое ее побуждение, еще без участия разума, — это солгать. И делает она это артистически, вдохновенно и, если угодно, даже бескорыстно, даже в чем-то во вред себе. И на первых порах эта ложь не отталкивает, не возмущает; даже напротив, в ней есть что-то таинственно-притягательное, какая-то загадочность, какие-то смутные посулы и едва уловимые обещания. И при этом возлюбленная не скрывает еще своего прошлого. Наоборот, она как бы кичится им, этим прошлым, подсознательно понимая, что этим она притягивает и очаровывает. «В течение первого периода, — отмечает писатель, — женщина почти свободно, с небольшими смягчениями говорит о том, как она любит удовольствия, о своих прежних любовных похождениях, обо всем, что она будет с пеной у рта отрицать к разговоре с

тем же самым мужчиной, в котором она почувствовала ревнивца». А так как ревнивцем, в той или иной мере, оказывается каждый мужчина, то каждому мужчине возлюбленная в конце концов начинает лгать. Эти наблюдения рассказчика относятся, конечно, к конкретной девушке, к Альбертине Симоне, то ли любовнице, то ли невесте героя, живущей в его доме непонятно на каких правах (что так возмущает Франсуазу). Но, верный своим творческим принципам, из анализа характера и поведения конкретной девушки Пруст стремится делать обобщающие выводы — в духе нравственных афоризмов и максим столь любимых им Ларошфуко, Лабрюйера, Сен-Симона и других писателей-моралистов XVII — XVIII веков. Следует отметить, вслед за Ан. Анри[12], что в этой книге Пруста становится заметно больше обобщающих формулировок, четко продуманных и стилистически отточенных. Особенно это относится к тщательно анализируемому писателем чувству ревности, которое и теперь продолжает занимать его, хотя, казалось бы, уже все здесь сказано в предыдущем томе. Возможно, Пруст использует заготовки из своих

[12] Примечания: 12
См.: Henry A. Proust. Paris, 1986, p. 260.

рабочих тетрадей разных лет, перерабатывая их, добиваясь афористической лапидарности и блеска[13]. Но все эти рассуждения, подчас глубокие и верные, порой же нарочито парадоксальные, во многом повторяют то, о чем уже говорилось ранее. Вложенные в уста героя-рассказчика, они звучат теперь несколько иначе, чем в «Содоме и Гоморре». Ныне чувство ревности, мучительное, эгоистическое и мазохистское, утрачивает свое созидательное, конструктивное начало. Оно и раньше не только порождало, обостряло, подхлестывало чувство любви, но и подтачивало, исподволь разрушало его. Здесь, в «Пленнице», перед нами результаты этой деятельности: уже нет и речи ни о нежности, ни о каком-то сродстве душ, взаимопонимании и взаимоощущении, о

[13] Примечания: 13

Вот лишь некоторые из таких формулировок: «Ревность — болезнь перемежающаяся; источник ее прихотлив, властен, всегда один и тот же у одного больного, иногда совершенно иной у другого»; «Нет ревности без отклонений. Один предпочитает, чтобы его обманули, лишь бы об этом довели до его сведения; другой предпочитает, чтобы от него скрывали обман»; «Зачастую ревность есть не что иное, как потребность быть деспотом в сердечных делах»; «Ревность — это жажда знания, благодаря которой мы в самых разных местах получаем всевозможные сведения, но только не то, которого добиваемся»; «Ревность — это еще и демон, которого нельзя заклясть, который возникает все время, под всевозможными личинами»; «Дело в том, что ревность — не единое целое, ей свойственны перемежающиеся локализации, то ли потому, что она является мучительным продолжением тревоги… то ли из-за скудости вашей мысли, которая осознает лишь то, что она ясно себе представляет».

духовной близости и о со-переживании внешних и внутренних коллизий жизни, о со-страдании (в старинном значении этого слова) как высочайшей степени слиянности двух любящих существ. Вместо этого герой обуреваем даже не ревностью, не подозрениями и сомнениями, приводившими раньше к болезненным страданиям, а просто каким-то любопытством и спортивным азартом: он непременно хочет поймать Альбертину на противоречиях, на лжи, запутать ее, заманить в психологическую ловушку. То есть и здесь герой лепит воображаемый образ девушки, по сути дела борется со сконструированным его фантазией фантомом.

Исповедальная беспощадность самоанализа сменяется в этой книге аналитической отстраненностью, когда в мыслях героя все время присутствует налет ретроспекции, изучения того, что было и прошло, чему нет и не может быть возврата. Этому, казалось бы, противостоит сюжетное развертывание романа, но направление повествования и направление эволюции чувства часто не совпадают. И вот тогда обнаруживается, что поставленный героем опыт неудачен; сидит ли Альбертина взаперти в Париже, разъезжает ли с подружками на велосипеде по окрестностям

Бальбека, сомнения и тревоги одинаково если и не терзают, то занимают героя, ибо все это призраки, старательно создаваемые его сознанием.

И вот получается, что любить можно лишь призрак, возникший в нашем воображении, обозначенный какими-то чертами, свойствами, признаками. Открывая их в возлюбленной или обнаруживая их вопиющее отсутствие, можно попытаться возродить былую любовь, которая готова совсем угаснуть. Поэтому прустовский герой продолжает наделять возлюбленную воображаемыми достоинствами и недостатками и следом за этим принимается искать их в живущей в его доме девушке, покладистой, всегда на все согласной, обычно молчаливо терпящей его капризы и его подозрения.

Итак, как и в «Содоме и Гоморре», в «Пленнице» большое внимание уделено чувству ревности, которая, конечно, продолжает оставаться оборотной стороной любви, порождаться ею и порождать любовь. Но теперь, в этом романе, дана психологически выверенная и тонкая картина умирания любви. Пруст со свойственным ему душевным пессимизмом уверен в роковой неизбежности последнего. Интерес к Альбертине уже позади, герою нечего теперь в ней открывать;

ее занятия, ее интересы его уже совершенно не занимают. Да, в душе каждого мужчины живет профессор Хиггинс, который хочет не только переформировать, перестроить возлюбленную по его собственным меркам, но — что существеннее — подчинить ее себе, лишить индивидуальности, ее изначальных черт. «Мы скульпторы, — пишет Пруст. — Мы стремимся вылепить из женщины статую, совершенно не похожую на женщину, какой она перед нами предстала». Но так было в какой-то мере раньше. В черновых набросках к роману сама Альбертина признается, что находится под большим интеллектуальным влиянием Марселя, что явно изменилась после встречи с ним. Но показательно, что Пруст эти признания героини из основного текста книги в основном исключил. Они ему были уже не нужны. Не нужны, так как в «Пленнице» возникает новый мотив — полной отчужденности, растущей взаимной враждебности, когда становится уж совсем непонятно, зачем они живут вместе и мучат друг друга или сносят эти мучения.

Что же удерживает рядом этих чужих друг другу людей? Что препятствует их разрыву? Что касается Альбертины, то тут герой-рассказчик (и сам Пруст) к ней неоправданно суров. Альбер-

тина по-своему любит Марселя, испытывает к нему благодарность и нежность. Да, она, конечно, надеется на замужество, но никак не форсирует его. Она покорна, податлива, а в изъявлении своих чувств даже ленива. Она слабо, не очень убедительно возражает на подозрения и упреки молодого человека, иногда сердится на его назойливые, утомительные и, бесспорно, подчас обидные для нее расспросы. Она пассивно выслушивает его рассуждения о неминуемом конце, соглашается уехать, но уезжает все-таки внезапно, совсем не тогда, когда герой этого ждет. В ней как бы живет свойственное не очень умным женщинам желание оставить за собой последнее слово, «хлопнуть дверью» последней.

А герой действительно все время твердит о разрыве. И делает он это совсем не для того, как порой случается, чтобы услышать от Альбертины, что расставание невозможно. Нет, это опять все его психологические эксперименты. «Когда я писал Жильберте, — признается Марсель, — что мы больше не увидимся, я в самом деле намеревался порвать с ней, с Альбертиной же я искал примирения, и все, что я ей говорил, была сплошная ложь». Его заставляет удерживать в своем доме девушку желание доказать правоту и обос-

нованность своих подозрений; вот эта неясность относительно характера и наклонностей Альбертины, вызываемая этой неясностью мучительная тревога и заставляет героя продолжать бесцельно копаться в прошлом девушки и изводить ее каждодневными допросами. И еще. «Передо мной был выбор, — размышляет рассказчик, — перестать страдать или перестать любить». С любованием своими страданиями он расстаться не может, любовь же настолько безоговорочно прошла, что поддерживается остатками ревности, уже совершенно рассудочной и неискренней даже, привычкой («В любви, — отмечает писатель, — легче потерять чувство, чем утратить привычку»), сознанием неизбежности конца, который в нашей воле лишь несколько отдалить. «Всякая любовь и вообще все на свете быстро движется к прощанию», — пишет Пруст. Поэтому разговоры о разлуке, которые ведет Марсель с Альбертиной, только кажутся наигранными, в действительности они лишний раз указывают на ее неизбежность. Марсель-то знает, что все эти разговоры и пересуды о неотвратимости конца ни к чему не приведут, пока один из любовников не возьмет все на себя и не разорвет столь затянувшиеся и столь мучительные для обоих

отношения. Один из двоих должен бежать, оборвать все связи, постараться не «бередить рану перепиской». Итак, это делает Альбертина как более непосредственная, где-то более искренняя и импульсивная. И, если угодно, более молодая: при чтения книги не оставляет ощущение, что девушка значительно моложе героя, хотя в действительности это не так. Просто она более натуральна и более здорова в своих душевных движениях, хотя и не без основания подозреваема в некоторых противоестественных склонностях. Но и они — как бы от избытка молодости, здоровья, жизненных сил.

Иногда полагают, что «Пленница» и «Беглянка» мало что прибавляют к характеристике персонажей и ничего не вносят в развитие сюжета[14]. Такая точка зрения вряд ли верна. «Цикл Альбертины» представляет собой нерасторжимое целое, а отдельные его части неплохо пригнаны друг к другу. Без пленения девушки и затем без ее бегства любовный опыт героя, столь важный на его пути к обретению правды жизни и правды искусства, не был бы завершен. В «Пленнице» анализ человеческой психологии — и опять-таки

---

[14] Примечания: 14

См., например: Henry A. Proust. Paris, 1986, p. 261.

в сфере любви — продолжается, достигает новой углубленности и тонкости.

Полное охлаждение к Альбертине, неистребимое желание с ней расстаться, поиски для этого решающего шага необходимого компрометирующего «материала» — все это не мешает герою восхищаться какой-то законченной, завершенной — не классически совершенной, нет! — но спокойной, уравновешенной, гармоничной красотой девушки. Между прочим, здесь, в этой книге, перед читателем появляется совсем уже иная Альбертина, не та, что лихо ездила на велосипеде или отплясывала в бальбекском казино. Она стала не только пассивной и малоподвижной; в ней появилась плавность движений и изящнейшая округлость форм уже созревшей женщины в пору полного своего расцвета. Утратив для героя интерес, не внушая ему больше «перебоев чувства», девушка сохраняет всю свою обольстительность. Пластическая законченность линий спящей Альбертины вызывает в памяти героя-рассказчика картины совершенной природы. Сама девушка кажется ему «длинным цветущим стеблем», а атмосфера ее сна вызывает острое ощущение не просто когда-то виденных, но глубоко воспринятых, пережитых пейзажей.

«Ее сон, — рассказывает Марсель, — распространял вокруг меня нечто столь же успокоительное, как бальбекская бухта в полнолуние, затихавшая, точно озеро, на берегу которого чуть колышутся ветви деревьев, на берег которого набегают волны, чей шум ты без конца мог бы слушать, разлегшись на песке». Так Альбертина сливается с прекрасной природой, становится частью природы, возвышенной и вечной. И это резко меняет отношение героя к своей пленнице: «В эти мгновения я любил ее такой же чистой, такой же идеальной, такой же таинственной любовью, какою я любил неодушевленные создания, составляющие красоту природы». Вот в этом, быть может, таится объяснение несколько странного поведения Марселя, который как бы видит насквозь Альбертину, видит ее мизерное тщеславие, ее лживость, узость ее интересов и тем не менее все тянет и тянет эту мучительную для обоих жизнь вдвоем.

Описание спящей Альбертины — одни из лучших страниц книги (недаром Пруст отдал их для публикации в журнале). Девушка выступает здесь не только как часть природы, ее высшее создание, но и как нечто нерасторжимо связанное с искусством. Тема искусства, как всегда

в книгах Пруста, играет в «Пленнице» очень большую роль. Здесь эта тема не противостоит другим, — скажем, темам Содома и Гоморры, — она вырастает из них и их стирает, уничтожает, сводит на нет.

Один из центральных эпизодов книги — и эпизод очень длинный (но совсем не затянутый!) — это музыкальный вечер у Вердюренов. Он заканчивается некрасивой ссорой барона де Шарлю с его «протеже» — скрипачом Морелем и изгнанием барона из салона. Так на уровне фабулы. Но смысл этого эпизода в другом. Так ярко, зло, смешно описанный Прустом светский скандал как бы отходит на задний план, теряется, выглядит ничтожным перед вечным величием музыки.

Описание исполнения Морелем септета Вентейля, верное, самой музыки, отрывающейся от ее земного интерпретатора, позволяет Прусту дать — еще раз — свое понимание искусства как высшей реальности, где переплетаются и наш обыденный опыт, и воспоминания об увиденных когда-то картинах природы и городах, о прочитанных книгах, о продуманном, понятом и пережитом.

Не случайно Пруст пишет о самом абстрактном

из искусств — о музыке, наиболее индивидуальном и субъективном для человеческого восприятия. Музыка — и вообще искусство — оказывается действительностью более правдивой, более достоверной и реальной, чем живая жизнь. Это происходит оттого, что к звукам, краскам, сочетаниям слов присоединяется внутреннее переживание, осознание, осмысление каждого конкретного слушателя, зрителя, читателя и всех их вместе. А случайное, необязательное, ненужное в жизни искусством отсеивается и отбрасывается. Подлинное большое произведение искусства воплощает в себе всю жизнь, опыт поколений, мгновенность восприятия, но одновременно и некую неповторимую, совершенно уникальную самодостаточность и самоценность. И здесь Пруст не противопоставляет величие шедевра профессиональному мастерству, мастеровитости, а видит их неразрывную связь. «Не виртуозность ли, — спрашивает Пруст, — создает у великих художников иллюзию врожденной неукротимой единственности, на поверхностный взгляд — отсвет иного бытия, на самом деле — плод изощренного мастерства?»

Повторяем, Пруст не случайно видит в музыке вершину искусства. Музыка трудна для инди-

видуальной интерпретации, но одновременно — очень открыта, доступна для нее. И программность музыки не исключает множественности ее истолкования, ее многозначности и отзывчивости, Уже не герой-рассказчик, не юный Марсель, а сам писатель Пруст делится с нами своими глубокими мыслями о музыке, об искусстве, об их сложной связи с жизнью, об обусловленности искусства жизнью и жизни — искусством.

«Когда я отходил от гипотезы, — размышляет писатель, — что искусство может быть реальным, мне казалось, что музыка способна вернуть нам не просто бурную радость погожего дня или ночь после принятия опиума, но опьянение более реальное, более плодотворное, во всяком случае — такое, какое я предчувствовал. Однако нельзя себе представить, чтобы скульптура или музыка, рождающие чувство более возвышенное, чистое, подлинное, не соответствовали некоей духовной реальности, иначе жизнь теряет всякий смысл. Я мог бы сравнить только с прекрасной фразой Вентейля то особое наслаждение, какое мне иной раз приходилось испытывать в жизни, например при взгляде на мартенвильские колокольни, на деревья по дороге в Бальбек или, если взять для примера что-нибудь попроще, во время чаепи-

тия, о чем я писал в начале моей книги. Подобно чашке чаю, световые ощущения, прозрачные звуки, шумные краски, которые Вентейль посылал нам из мира, где он творил, представляли моему воображению — представляли непрерывно, но так быстро, что я не в силах был его задержать, — нечто такое, что я мог бы уподобить только пахнущим геранью шелковым тканям».

Так искусство становится не подменой жизни, а самой жизнью, жизнь же становится искусством. В иных случаях высокой эстетической ценностью бывают отмечены, например, счастливые сочетания времени года, пейзажа и архитектуры (таковы в самом конце книги мечты героя о весенней Венеции, куда он все время собирается и куда поедет наконец в «Беглянке», — еще голая природа, солнце, вода и отражающиеся в ней великие архитектурные памятники). Но искусством становится и просто пробуждающаяся или, напротив, увядающая природа, и уличные шумы, вроде столь поэтично описанных Прустом утренних выкриков городских разносчиков и торговцев.

Не подменой жизни, а подлинной жизнью в ее слиянности с искусством становится картина Вермеера «Вид Дельфта», которую пришел еще

раз увидеть на голландской выставке смертельно больной Бергот. Его потрясает и умиротворяет даже не сама картина, а лишь ее деталь — кусочек желтой городской стены, так выразительно, так проникновенно прекрасно написанной художником. И символично, что писатель умирает перед этой картиной, поняв ее непреходящую правду.

Искусству и жизни, искусству как жизни противостоит в книге жалкий в своем глупом тщеславии, отталкивающих пороках, совершенно одинокий барон Шарлю. Перед нами — все в том же длинном описании музыкального вечера у Вердюренов — происходит окончательное развенчание этого персонажа (Шарлю выглядит в этой сцене не только опустившимся, неприятным, но и жалким), а также, по сути дела, крушение, полная гибель престижа этого салона, который окончательно лишается в глазах героя какой бы то ни было притягательности. Мы знаем, что Пруст был очень болен, а поэтому торопился. Тем не менее сцена у Вердюренов написана с безошибочной выверенностью пропорций, без излишнего «нажима». Сатирическое мастерство Пруста достигает в этой сцене особого блеска и силы. Писатель и здесь варьирует свои краски, пользуется полутонами, переходит от

иронии к гротеску, от резких сатирических нот к юмору, к комическому, и тут же — к напряженному драматизму.

Характерно, что рассказ о пошлом светском скандале следует за страницами, посвященными музыке и полными высочайшего, проникновеннейшего лиризма и философской глубины. Искусство делает мелкими, ничтожными и профессора Бришо, и Ского, и других вердюреновских гостей. Это не значит, что Пруст отвергает все светское общество. Отдельные представители аристократии продолжают интересовать героя, они ему попросту нравятся — какой-то жизненной силой, естественностью, укорененностью в родной почве, с которой их связывает длинная череда поколений. Поэтому Марселю симпатична и герцогиня Германтская с ее чуть мужицкими манерами, и новый персонаж эпопеи — королева Неаполитанская.

Итак, Пруст приходит к выводу, что ни психологический эксперимент героя, ни его собственный писательский эксперимент не удались. Марселю ничего не дало его отшельничество с девушкой. А мысль писателя все время как бы рвется на волю из пустой квартиры с тщательно закрытыми окнами; описание любовных переживаний

героя-рассказчика все время прерывается и разрывается повествованием о внешней, о живой жизни — от утренних уличных шумов осеннего Парижа до аристократических салонов и огромного вечного мира природы и искусства.

«Цикл Альбертины» был посвящен в основном любви. Ее редким радостям, нескончаемым горестям, ее тревогам, сомнениям, надеждам, ее отклонениям и изгибам. И, видимо, как раз поэтому он очень печален. Атмосфера щемящей грусти создается, конечно, и соответствующим настроением героев, уходом из жизни Свана и Бергота, тем, что художник Эльстир не появляется больше в посещаемых героем салонах. Последние заметно пустеют. Но все-таки именно любовь, такая мимолетная, такая хрупкая, такая обреченная, сообщает трилогии отсвет печали. Потому что — по Прусту — любовь всегда приносит только страдания, в какой-то мере просто невозможна и уж непременно несется на всех парусах к своему печальному концу. В этих книгах эпопеи герой расстается с юношеской мечтой о любви, как и со многими другими иллюзиями, расстается с самой юностью, а такое расставание не может не наполнять сердце грустью. «Быть может, любовь, — размышляет герой, — это струи

за кормой, которые после волнения всколыхивают душу». И снова: «Наша любовь — это, быть может, и есть наша грусть». Любовь не приносит, не может принести счастья, но прощание с ней нестерпимо больно. «Любовь, — пишет Пруст в конце „Пленницы“, — это пространство и время, отзывающиеся болью в сердце».

А. Михайлов

ПЛЕННИЦА

По утрам, лежа лицом к стене и еще не видя над длинными занавесками, что за оттенок у полоски света, я уже знал, какая сегодня погода. Я догадывался об этом по первым уличным шумам, которые доходили до меня то приглушенными и искаженными влажностью, то визжавшими, как стрелы, в звонкой и пустой тишине воздуха — тишине емкого, холодного, ясного утра; прислушиваясь к первому трамваю, я определял, мокнет ли он под дождем или же мчится навстречу безоблачному небу. А может быть, шумам предшествовала их более стремительная и более юркая эманация: проскользнув в мой сон, она с грустью предвозвещала, что сейчас пойдет снег, или заставляла крохотного человечка петь во мне с перерывами одну за другой песни во славу солнца, так что, сколько я ни улыбался во сне, сколько ни смыкал веки, которые вот-вот должны были замигать от света, в конце концов меня все-таки пробуждало оглушительное пение. В этот период времени внешний мир проникал ко мне главным образом через мою спальню.

Блок[15], насколько мне было известно, рассказывал, что, когда он приходил ко мне по вечерам, ему слышалось, будто я с кем-то разговариваю; так как моя мать жила тогда в Комбре и так как в моей комнате никого, кроме меня, не было, он думал, что я разговариваю сам с собой. Потом, узнав, что в моем доме живет Альбертина, и поняв, что я прячу ее от всех, он именно этим объяснял, почему я никуда не выхожу из дому. Он ошибался. Ошибка простительная, потому что в действительности, даже если ошибка как будто не подлежит сомнению, не все можно предусмотреть; те, кто узнает достоверную черту из жизни друга, тотчас же делают неправильные выводы и этому новому для них явлению дают совершенно неверное истолкование.

Стоит мне вспомнить теперь о том, что по возвращении из Бальбека Альбертина стала жить в Париже под одной крышей со мной, что она отказалась от мысли о морском путешествии, что она расположилась в двадцати шагах от меня, в конце коридора, в обитом штофными обоями кабинете моего отца, и что по вечерам, очень поздно, она на прощание просовывала

[15] Примечания: 15

Стр. 24. Блок Альбер — один из ближайших друзей героя; упоминается во всех частях эпопеи Пруста.

свой язычок ко мне в рот, точно ежедневную пищу, как бы обладавшую питательными свойствами и почти чудодейственной силой для всей плоти, силой, благодаря которой боль, какую мы оба вытерпели из-за нее же, из-за Альбертины, превращалась в нечто вроде душевного умиротворения, в моем воображении мгновенно возникает не та ночь, когда капитан Бородинский разрешил мне переночевать в казарме,[16] — его поблажка излечивала мнимое мое заболевание, — а ту ночь, когда отец позволил матери спать в моей кровати, со мной рядышком. И вот так всегда жизнь, если она должна избавить нас от страдания, кажущегося неизбежным, вопреки ожиданиям поступает в обстоятельствах иногда до того разных, что сопоставление явленных нам милостей представляется иногда почти явно кощунственным!

Когда Альбертина узнала от Франсуазы, что я не сплю в предутренний час, при еще задернутых

---

[16] Примечания: 16

…когда капитан Бородинский разрешил мне переночевать в казарме… — Об этом эпизоде в Донсьере, где служил приятель героя Робер де Сен-Лу, рассказано в романе «У Германтов» (см. указ. изд., с. 136 и сл.). Пруст делает князя Бородинского родственником Наполеона III. Прототипом этого персонажа считают внука Наполеона капитана Шарля Валевского, под командой которого Пруст проходил военную службу в 1889 — 1890 гг.

занавесках, Альбертина, не стесняясь, что шум мне мешает, тихонько плескалась в ванне. Часто я тогда же проходил в мою, смежную ванную, очень приятную. В былые времена один директор театра истратил несколько сот тысяч франков, чтобы усыпать настоящими изумрудами трон, на котором восседала знаменитая актриса, игравшая роль императрицы.

Русский балет[17] научил нас тому, что самые обыкновенные софиты, в зависимости от того, куда они направлены, образуют не менее яркую и более разнообразную игру драгоценных камней. Эта менее вещественная декорация, однако, не столь изящна, как та, которой в восемь утра солнце заменяет другую, которую мы видим обычно, когда встаем в полдень. Стекла окон двух наших ванных, чтобы нас никто не увидел снаружи, были не гладкие — их покрывал искусственный, вышедший из моды иней. Солнце сейчас же окра-

[17] Примечания: 17

Русский балет. — Имеются в виду ежегодные выступления русских артистов, организовывавшиеся в Париже в 1909-1914 гг. Сергеем Павловичем Дягилевым (1872-1929), видным деятелем русской культуры, организатором выставок, художественных изданий, концертов, спектаклей и т. п. Дягилев привлек к своим начинаниям виднейших русских и западноевропейских танцоров, композиторов, художников, и его «сезоны» стали значительным событием парижской культурной жизни. Пруст пишет о русском балете и в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 156 и др.). Пруст посещал эти спектакли в 1910 г.

шивало в желтый цвет эту стеклянную ткань, позлащало ее и, бережно открывая во мне молодого человека, таившегося дольше, чем его туда запрятывала привычка, опьяняло меня воспоминаниями о том, каким я был когда-то, на лоне природы, в пору листопада; и даже около меня была птичка. Ведь я же слышал неумолчный щебет Альбертины:

Как ни глупо от страстей терзаться,[18]

Поддаваться им еще глупей.

[19].

Из любви к Альбертине я не смеялся над ее плохим вкусом в музыке. Между тем эта песенка прошлым летом приводила в восторг г-жу Бонтан[20], но, правда, потом ей внушили, что это белиберда, и, когда у нее собирались гости, она просила Альбертину спеть уже не эту, а другую вещицу:

---

[18] Примечания: 18

Стр. 25. «Как ни глупо от страсти терзаться...» — рефрен из популярного в свое время романса на музыку Э. Дюрана (1830-1903).

[19] Примечания: 19

Перевод стихов в «Пленнице» принадлежит В. Стефанову.

[20] Примечания: 20

Г-жа Бонтан — тетка Альбертины.

В смятенной глубине родится песнь прощанья,[21] —

но затем она отзывалась и о ней как о «надоевшем мотивчике Массне, которым малышка прожужжала нам уши».

На солнце наплывало облако; я видел, как темнел и погасал стыдливый густолиственный стеклянный занавес. Стекла, разделявшие наши две ванные (у Альбертины была такая же точно ванная, как у мамы, но у мамы была еще одна — в другом конце квартиры, этой она никогда не пользовалась, чтобы не шуметь у меня над ухом), были до того тонки, что мы с Альбертиной могли, купаясь, перекликаться, могли вести разговор, прерывавшийся только шумом воды, что создавало между нами ту задушевную близость, которая часто возникает в гостиницах от тесноты и от близости номеров, а в Париже это бывает чрезвычайно редко.

Иногда я лежал, мечтая, в постели, сколько мне хотелось, — слугам было приказано не входить ко мне в комнату, пока я не позвоню, а звонок над моей кроватью был повешен неудобно, и часто,

---

[21] Примечания: 21

«В смятенной глубине…» — начало популярного романса «Осенние думы», музыка Жюля Массне (1842-1912).

устав дотягиваться до него, счастливый тем, что могу побыть один, я на некоторое время впадал в полудремоту. Я не был совершенно безучастен к тому, что Альбертина живет у нас. Ее разлука с подругами избавила меня от новых мучений. На сердце у меня было теперь легко; казалось, это мнимое спокойствие могло бы исцелить меня. И все же тот покой, что внесла мне в душу моя подружка, не столько радовал меня, сколько утишал мою муку. Дело заключалось совсем не в том, что он не принес мне многих радостей, ибо во мне была еще слишком жива другая боль, которую я испытал, — те радости, какие у меня появились, не исходили от Альбертины: мне казалось, что она подурнела, мне было с ней скучно, я отдавал себе ясный отчет в том, что разлюбил ее, теперь мне становилось хорошо на душе, когда ее со мной не было. Вот почему утром я звал ее не сразу, особенно если была хорошая погода. Несколько минут я оставался вдвоем с жившим во мне человечком, о котором я уже упоминал, Песнословцем солнца, — с ним мне было веселее, чем с Альбертиной. Из тех, кто входит в состав нашей личности, видные снаружи не являются самыми главными. Во мне, когда болезнь в конце концов расшвыряет их

одного за другим, останутся двое-трое, которым придется несладко, особенно одному философу, который находит удовольствие только в отыскивании сходства между двумя произведениями искусства, между двумя полученными от них впечатлениями. Иногда я задавал себе вопрос: кто будет последний — не человечек ли, так похожий на того, которого комбрейский оптик поставил на витрину, чтобы указывать погоду, и который снимал капюшончик, когда было ясно, и надевал, когда шел дождь? Я знал, насколько человечек эгоистичен; я страдал от удушья, которое только дождь мог успокоить, а ему это было безразлично, и при первых же каплях дождя, которых я с таким нетерпением ждал, он сразу мрачнел и с сердитым видом надевал капюшон. Я уверен, что когда у меня начнется агония, когда все мои другие «я» умрут, то, если при последнем моем издыхании блеснет луч солнца, барометрический человечек повеселеет, снимет капюшон и запоет: «Ах, как хорошо теперь жить на свете!»

Я звонил Франсуазе. Развертывал «Фигаро»[22]. Тщетно искал, нет ли там недавно мной у себя найденного очерка, или чего-то вроде очерка, слегка переделанного, посланного мною туда, но так и не помещенного, который я писал в экипаже доктора Перспье[23], глядя на мартенвильские колокольни. Потом читал мамино письмо. То, что девушка живет вдвоем со мной, казалось ей чем-то из ряда вон выходящим, неприличным. В день отъезда из Бальбека она видела, как я страдаю, ей тяжело было оставлять меня одного, и, пожалуй, ей было даже приятно, что Альбертина едет с нами, приятно, что рядом с нашими вещами (теми самыми, возле которых я проплакал всю ночь в отеле «Бальбек») в пригородном поезде стоят чемоданы Альбертины, узкие, черные, напоминавшие мне гробы, — вещи, о которых я не мог бы сказать определенно:

---

[22] Примечания: 22

Стр. 26. «Фигаро» — популярная парижская газета консервативного направления; возникла в 1854 г. как сатирическое издание, с 1866 г. стала серьезной политической газетой. Пруст с 1900 г. печатал в ней хроникальные заметки и литературно-критические статьи. Герой романа также пишет для этой газеты; о появлении в ней его очерка рассказывается в романе «Беглянка».

[23] Примечания: 23

Перспье — персонаж книг Пруста, врач из Комбре, где проходят детские годы героя. О том, как он писал первый свой литературный очерк в экипаже доктора Перспье, рассказано в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 204-205).

что они внесут в дом — жизнь или смерть. А я был так счастлив, избавившись от страха остаться в Бальбеке, так счастлив в то ясное утро, что даже забыл спросить у мамы разрешения взять с собой Альбертину. Но если вначале моя мать отнеслась к моему желанию благосклонно (она говорила с моей подружкой ласково — тоном матери, у которой сын тяжело ранен и которая испытывает чувство благодарности к его юной возлюбленной за то, что она за ним самоотверженно ухаживает), то когда я достиг всего, что хотел, и когда девушка у нас зажилась, да еще в отсутствие моих родителей, моя мать отнеслась к этому враждебно. Я бы не сказал, что моя мать выражала это свое враждебное чувство постоянно. Как в былые времена, когда она переставала журить меня за нервозность, за лень, так и теперь она делала над собой усилие — в чем я, может быть, и не отдавал себе в этот момент вполне ясного отчета, а может быть, не хотел отдавать — и воздерживалась от неблагоприятных суждений о девушке, о которой я с ней говорил как о своей невесте: воздерживалась из боязни испортить мне жизнь, настроить меня против жены, что может сказаться впоследствии, из боязни, как бы меня не мучила совесть после ее смерти за то, что

я все-таки решился жениться на Альбертине. Мама, уверенная в том, что ей все равно не удалось бы заставить меня отказаться от своего выбора, предпочитала делать вид, что она его одобряет. Но видевшие ее в ту пору потом говорили мне, что к горю, причиненному ей кончиной матери, примешивалась постоянная озабоченность. От этой внутренней напряженности, от душевного разлада у мамы начались сильные приливы к голове, ей не хватало воздуха, и она беспрестанно открывала окна. Она не принимала решения из боязни «оказать на меня дурное влияние» и отравить то, в чем силилась видеть мое счастье. У нее не хватало душевных сил даже на то, чтобы не позволить мне временно приютить у себя Альбертину. Ей не хотелось оказаться строже г-жи Вонтан, которую это ближе всего касалось и которая, к вящему изумлению мамы, не считала это неприличным. Как бы то ни было, мама жалела, что ей пришлось, оставив нас вдвоем, тут же выезжать в Комбре, где она могла задержаться (и в самом деле задержалась) на несколько месяцев, пока моя двоюродная бабушка нуждалась в ее помощи и днем и ночью. Жизнь в Комбре во всем

облегчал маме Легранден[24], его доброта, его самоотверженность; он шел на все, откладывал со дня на день свой отъезд в Париж, хотя с бабушкой был в далеких отношениях, — просто потому, что больная — друг моей матери, а во-вторых, потому что — это он чувствовал — безнадежно больную трогают ее заботы и обойтись без них она не в силах. Снобизм — тяжелая душевная болезнь, но охватывает она определенную область души, а не всю целиком. В противоположность маме, я был очень рад ее отъезду в Комбре — я боялся, что при иных обстоятельствах (я же не мог сказать Альбертине, что я ее прячу) откроется ее дружба с мадмуазель Вентейль. В глазах моей матери это было бы препятствие непреодолимое — не только для моего брака, насчет которого она все-таки просила меня пока ничего окончательно не решать с моей подружкой и самая мысль о котором становилась все более и более невыносимой для меня, но и для того, чтобы Альбертина некоторое время пожила у нас. Если не считать этой столь важной для мамы и ей неведомой причины, мама в подражание, с одной стороны, проповедовавшей свободомыслие бабушке, обожавшей Жорж

[24] Примечания: 24

Стр. 28. Легранден — аристократ и инженер, персонаж книг Пруста, родственник семьи Говожо (у Пруста Камбремер).

Санд и полагавшей, что душевное благородство не может не включать в себя добродетель, а с другой — находясь под моим тлетворным влиянием, была теперь снисходительна к женщинам, чье поведение она когда-то, да, впрочем, и теперь, строго осуждала, если ее приятельницы были из парижских и комбрейских буржуазных семей, но я расхваливал их душевные качества, и она многое прощала за то, что они очень любили меня.

Помимо всего прочего, оставляя в стороне вопрос о приличиях, я утверждаю, что Альбертина не выносила бы маму только за то, что мама хранила память о Комбре, о тете Леонии, о всей ее родне, об укладе нашей жизни, о которой моя подружка не имела никакого понятия. Она не затворяла бы за собой дверь и не постеснялась бы войти в отворенную, как забегают в отворенную дверь собака или кошка. Ее несколько неудобную в общежитии прелесть скорей можно было назвать не прелестью девушки, а прелестью домашнего животного, которое входит в комнату и выходит, которое может оказаться там, где его не ожидаешь, и которое — это погружало меня в состояние полного покоя — могло прыгнуть ко мне на кровать, выбрать себе местечко поуютней, улечься там, как человек, и потом уже ни

разу меня не потревожить. И все-таки в конце концов она приноровилась ко времени моего сна и не только не пыталась войти ко мне в комнату, но и не шевелилась, покуда я не звонил. Этим правилам ее подчинила Франсуаза. Франсуаза была из тех комбрейских слуг, которые знали цену своему хозяину и которые считали, что самое меньшее, чего от них можно требовать, это оказывать все услуги, каких, по их мнению, он достоин. Если кто-нибудь посторонний давал Франсуазе на чай пополам с дочерью кухарки, то он не успевал сунуть Франсуазе монету, как Франсуаза быстро, незаметно и проворно бросалась поучать кухаркину дочку, и та являлась поблагодарить не просто чтобы отделаться, а от чистого сердца, торжественно, как ее наставляла Франсуаза. Комбрейский священник был не бог весть что, но и он знал себе цену. С его благословения дочь родственников г-жи Сазра[25], протестантов, перешла в католическую веру, и ее семья была ему крайне признательна. Речь шла о браке с представителем мезеглизской знати. Родители молодого человека послали священнику в

[25] Примечания: 25

Стр. 30. Г-жа Сазра — персонаж книг Пруста, жительница Комбре, ярая дрейфусарка. О ней рассказывается в романах «По направлению к Свану» и «У Германтов».

довольно непочтительном тоне письмо-запрос, в котором об основах протестантского вероучения говорилось пренебрежительно. Комбрейский священник ответил так, что мезеглизский дворянин написал ему второе письмо, уже совсем в другом тоне, — он униженно и раболепно, как о величайшей милости, просил о венчании.

По части охраны моего сна от Альбертины у Франсуазы особых заслуг не было. Тут действовал многолетний навык. По молчанию, которое она хранила, по решительным отказам, которые Альбертина получала в ответ на невинные просьбы войти ко мне, спросить меня о чем-нибудь, Альбертина, к ужасу своему, поняла, что очутилась в каком-то особом мире с неведомым ей строем жизни, в мире, управляемом законами, о нарушении которых нельзя и помыслить. Предчувствовала она это еще в Бальбеке, а здесь, в Париже, даже не пыталась сопротивляться — она каждое утро терпеливо ждала звонка, чтобы начать двигаться.

Кстати сказать, воспитание, которое дала ей Франсуаза, подействовало благотворно и на самое Франсуазу — по возвращении из Бальбека наша старая служанка мало-помалу прекратила свои охи и вздохи. А между тем, когда мы в

Бальбеке садились в поезд, Франсуаза вспомнила, что не попрощалась с «экономкой» из отеля, надзиравшей за этажами усатой особой, почти не знакомой с Франсуазой, однако бывшей с ней более или менее вежливой. Франсуаза подняла крик: мы-де во что бы то ни стало должны ехать назад, сойти с поезда и вернуться в отель, там она попрощается с экономкой, а выедем мы послезавтра. Здравый смысл и в еще большей степени прилив внезапного отвращения к Бальбеку вынудили меня помешать Франсуазе исполнить долг вежливости, но на болезненное ее возбуждение не подействовала и перемена климата, и продолжалось оно у нее и в Париже. Согласно нравственным убеждениям Франсуазы, воплощенным на барельефах Андрея Первозванного-в-полях, пожелать врагу, чтобы он умер, даже убить врага не воспрещается, грешно не исполнить своего долга, оказаться невежей, не попрощаться перед отъездом, как последняя хамка, с дежурной по этажу. Всю дорогу из-за ежеминутно являвшегося воспоминания о том, что она не попрощалась с этой женщиной, щеки у нее горели так, что можно было испугаться. И она до самого Парижа не пила не ела, отчасти чтобы нас наказать, но, может быть, потому, что

при одном воспоминании у нее действительно «подкатывало к горлу» (у каждого класса своя патология).

Одна из причин, по которым мама писала мне ежедневно, причем в каждом письме непременно цитировала г-жу де Севинье[26], было воспоминание о матери. Мама писала мне: «Г-жа Сазра пригласила нас на один из тех уютных завтраков, которые только она одна умеет устраивать и которые, как выразилась бы твоя бедная бабушка, позаимствовав изречение у г-жи де Севинье, восхищают не многолюдством, а уединенностью». В одном из первых писем я имел глупость написать маме: «Твоя мама сейчас же узнала бы, что письмо от тебя, по цитатам». Три дня спустя я получил по заслугам: «Мой милый сын! Если ты хотел, вспоминая о *моей маме*, уколоть меня упоминанием г-жи де Севинье, она ответила бы тебе, как г-же де Гриньян[27]: «Так она вам никак не приходится? А я думала, вы в родстве».

Но вот слышались шаги моей подружки — она

---

[26] Примечания: 26

Г-жа де Севинье Мари де Рабютен-Шанталь (1626-1696) — французская писательница-эпистолограф. Пруст часто ссылается на ее знаменитые «Письма».

[27] Примечания: 27

Г-жа де Гриньян Франсуаза-Маргарита (1646-1705) — дочь г-жи де Севинье; ей адресовано большинство писем писательницы.

выходила из своей комнаты или возвращалась. Я звонил, потому что сейчас должна была заехать за Альбертиной Андре[28] вместе с другом Мореля[29] — шофером, которого послали Вердюрены. Я говорил Альбертине, что когда-нибудь мы поженимся, но формального предложения не делал; она, из скромности, в ответ на мои слова: «Не знаю, но, по-моему, тут ничего невозможного нет», с печальной улыбкой покачав головой, возражала: «Этому не бывать», что означало: «Я из очень бедной семьи». А теперь, когда у нас заходила речь о планах на будущее, я уже утверждал, что это «дело решенное», всячески старался развлечь ее, скрасить ей жизнь, быть может бессознательно стараясь сделать все для того, чтобы у нее появилось желание выйти за меня замуж. Она смеялась при виде всей этой роскоши. «Воображаю, как взвилась бы мать Андре, если бы увидела, что я стала такой же, как они, богатой дамой (как она выражается: „дамой,

[28] Примечания: 28

Андре — ближайшая подруга Альбертины; появляется в романе «Под сенью девушек в цвету».

[29] Примечания: 29

Морель Шарль — персонаж книг Пруста, музыкант, «протеже» барона Шарлю. В черновых рукописях Пруста носит фамилию Сантуя; впервые описан в романе «У Германтов», более подробно в книге «Содом и Гоморра».

у которой есть лошади, экипажи, картины“). Да неужели я никогда вам про нее не рассказывала? Ну и штучка! Для нее что картины, что лошади и экипажи — все одинаково ценно, вот что меня поражает».

Впоследствии будет видно, что хотя Альбертина попрежнему молола иногда всякий вздор, но могла и удивить своим умственным развитием, мне же это было совершенно безразлично: умственные способности той или иной моей знакомой оставляли меня равнодушным. Пожалуй, только своеобразный ум Селесты[30] был мне по нраву. Я невольно улыбался, когда, например, воспользовавшись отсутствием Альбертины, она заговаривала со мной: «Неземное существо восседает на кровати!» Я возражал: «Но позвольте, Селеста, почему же „неземное существо“?» — «Ах, если вы полагаете, что хоть чем-то похожи на тех, кто скитается по нашей грешной земле, то вы жестоко ошибаетесь!» — «А почему „восседает“ на кровати? Вы же видите, что я лежу». — «И вовсе

[30] Примечания: 30

Стр. 31. Селеста — персонаж книг Пруста Селеста Альбаре, посыльная из отеля в Бальбеке (описана в романе «Содом и Гоморра»). Ее прототипом стала Селеста Альбаре (ум. в 1984 г.), экономка Пруста в последние годы его жизни (1914-1922). В 1973 г. вышла книга ее воспоминаний «Господин Пруст». Ее племянница Ивонна Альбаре перепечатывала для Пруста текст «Пленницы».

вы не лежите. Разве так лежат? Вы сюда слетели. Вы в белой пижаме и вертите шейкой, как все равно голубь».

Альбертина, даже говоря глупости, выражалась совсем не так, как всего лишь несколько лет назад в Бальбеке, еще подростком. Теперь она могла поговорить и о политике и воскликнуть по поводу какого-нибудь события, которым она возмутилась: «По-моему, это чудовищно...» И, должно быть, именно в эту пору она привыкла отзываться о книгах, которые, по ее мнению, были плохо написаны: «По содержанию это интересно, но уж зато такая мазня!»

То, что ко мне воспрещалось входить до моего звонка, очень ее забавляло. Восприняв нашу наследственную любовь к цитатам, она читала наизусть отрывки из пьес, в которых играла когда-то в монастырской школе и которые, как я ей сказал, мне понравились, и всегда сравнивала меня с Агасфером[31]:

Знай: голову свою на плахе сложит

[31] Примечания: 31

Стр. 32. Агасфер — точнее, Ахашверош, царь Персии, упоминаемый в Библии (Первая Книга Ездры, IV, 6); согласно легенде, женился на Есфири. Выведен в качестве одного из главных персонажей в трагедии Расина «Есфирь» (в русских переводах этой трагедии — Ассюэр или Артаксеркс).

тот,[32]

Кто пред царем предстать непрошеным дерзнет,

И всем равно грозит сей роковой закон,

Ни женщин, ни мужчин не разбирает он.

И даже я…

Должна, подобно всем, царю повиноваться:

Пока не повелит он сам явиться мне,

Остаться не могу я с ним наедине.

Внешность ее тоже изменилась. Разрез ее синих продолговатых глаз стал не тот: он еще удлинился; цвет глаз был прежний, но теперь они как будто увлажнились. Так что, когда она их закрывала, казалось, что две занавески мешают смотреть на море. Конечно, именно эту ее черту я особенно отчетливо вспоминал каждый вечер, когда она уходила от меня. А по утрам я надолго приковывал изумленный взор к волнистости ее волос, как будто я их в первый раз видел. И

---

[32] Примечания: 32

«Знай, голову свою…» — Пруст цитирует слова Есфири из одноименной трагедии Расина, обращенные к Мардохею, ее дяде (действ. I, сцена 3).

в самом деле: что может быть прекраснее венка вьющихся черных фиалок над улыбчивым взглядом девушки? В улыбке сильнее дружеское начало, а в блестящих завитках волос-цветов больше от плоти, они кажутся струйками плоти и возбуждают более острое желание.

Войдя ко мне в комнату, Альбертина прыгала на кровать и, в иных случаях угадывая, в каком я настроении, клялась в приливе искреннего чувства, что ей легче умереть, чем расстаться со мной: это бывало в те дни, когда я брился перед ее приходом. Она принадлежала к числу женщин, которые не умеют отделять разум от чувства. Удовольствие, которое они испытывают от прикосновения к мягкой коже, они объясняют душевными свойствами того, кто — в чем они уверены — сулит им счастливое будущее, которое, впрочем, может оказаться и не таким счастливым и не таким необходимым, если мужчина начнет отращивать бороду.

Я спросил, куда она собирается ехать. «По-моему, Андре хочет свозить меня в Бют-Шомон[33] — я там никогда но была». Конечно, я не мог догадаться, когда Альбертина лжет, а когда говорит

[33] Примечания: 33

Бют-Шомон — небольшой живописный парк на северо-восточной окраине Парижа.

правду. Кроме того, я верил Андре, что она возит Альбертину именно в такие места, куда она будто бы собирается ехать с Альбертиной. В Бальбеке, когда я очень уставал от Альбертины, я говорил Андре неправду: «Маленькая моя Андре! Если бы мы встретились с вами раньше! Я бы полюбил вас. Но теперь мое сердце занято. И все-таки мы можем часто видеться. Я люблю другую, но эта любовь причиняет мне много горя, а вы сумеете меня утешить». И вот эта ложь три недели спустя стала правдой. Быть может, Андре поняла в Париже, что я говорю неправду и что я ее люблю, так же как она, несомненно, верила мне в Бальбеке. Правда так меняется внутри нас, что другим трудно бывает в ней разобраться. Зная, что Андре мне расскажет, где они с Альбертиной были, я просил Андре заезжать за ней, и она заезжала почти ежедневно. Таким образом, я мог спокойно оставаться дома. Обаяние, которое придавало в моих глазах Андре то, что она была одна из стайки, внушало мне уверенность, что я получу все нужные мне сведения об Альбертине. Теперь я по чистой совести мог бы сказать ей, что мое спокойствие зависит от нее.

С другой стороны, то, что мой выбор пал на Андре (она отказалась от своего плана еще раз

съездить в Бальбек и осталась в Париже) как на путеводительницу моей подружки, было вызвано рассказом Альбертины о том, что в Бальбеке Андре была в меня влюблена, и как раз когда я думал, что я ей надоел, и если ко мне тогда об этом забредали такие мысли, то, может быть, я действительно любил Андре. «Как же вы не догадались? — сказала мне Альбертина. — А ведь мы над вами посмеивались. Между прочим, вы не обратили внимания, что она переняла вашу манеру говорить, рассуждать? Когда она от вас уходила, это было потрясающе. Ей незачем было сообщать нам, что она с вами виделась. Как только она приходила, сразу можно было сказать, что она только что была с вами. Мы переглядывались и фыркали. Ее можно было сравнить с угольщиком, который пытается доказать, что он не угольщик, а сам весь черный. Мельника не надо уверять, что он мельник: он весь в муке и на спине у него отпечатки мешков, которые он таскал. С Андре было то же самое: она сдвигала брови, как вы, и потом, ее длинная шея, — словом, это нельзя передать. Когда я беру у вас в комнате книгу, я могу читать ее где угодно, а все-таки я знаю, чья она, оттого что она провоняла табаком. Конечно, это пустяк, но пустяк, в сущности, милый. Каж-

дый раз, когда кто-нибудь говорил о вас хорошо, отзывался о вас с похвалой, Андре сияла».

И все-таки, чтобы не допустить заговора против меня, я посоветовал Альбертине отложить поездку в Бю-Шомон и поехать в Сен-Клу или куда-нибудь еще.

Конечно, Альбертина была мне в какой-то степени дорога, и я это чувствовал. Быть может, любовь — это струи за кормой, которые после волнения всколыхивают душу. Иные всколыхнули мою душу до дна, когда Альбертина заговорила со мной в Бальбеке о мадмуазель Вентейль, но в данное время они утихли. Я разлюбил Альбертину, сердечная моя рана зажила, я уже не страдал, как в бальбекском поезде, когда узнал, каково было отрочество Альбертины — быть может, с посещениями Монжувена[34]. Над всем этим я слишком долго думал, боль прошла. Но временами некоторые выражения Альбертины наводили меня на мысль — не знаю, почему, — что за свою такую короткую жизнь она наслушалась комплиментов, объяснений в любви, и выслушивала она

---

[34] Примечания: 34

Стр. 34. Монжувен. — В этом провинциальном местечке, недалеко от Комбре, находился дом композитора Вентейля. Он описан в романе «По направлению к Свану». Такое местечко существует; оно расположено в нескольких километрах к югу от Илье, где жила семья Пруста, описавшего этот городок под именем Комбре.

их, во всяком случае, с удовольствием, если не с наслаждением. Так, например, она спрашивала: «Это правда? Истинная правда?» Разумеется, если бы она сказала, как сказала бы, например, Одетта: «Да ведь эта грубая ложь — сущая правда?» — меня бы это не озадачило: нелепость выражения объяснялась бы пошлостью и глупостью Одетты, но когда Альбертина с вопросительным видом произносила: «Это правда?» — у нее прежде всего появлялось странное выражение, как будто она сама не в силах осмыслить происходящее, как будто она взывает к вашим свидетельским показаниям, как будто она ниже вас по своим умственным способностям (ей говорили: «Мы выехали час назад» — или: «Дождь пошел» — она спрашивала: «Правда?»). К сожалению, вопросы: «Правда? Это истинная правда?» — не были прямым следствием неумения разобраться в явлениях внешнего мира. Скорей наоборот: эти фразы были следствием ранней зрелости и отвечали на подразумевавшееся: «Вы же знаете, что красивей вас я не встречал никого на свете», «Вы же знаете, что я люблю вас страстно, что я потерял голову». Меня Альбертина спрашивала с кокетливо-скромной безропотностью: «Правда?» — только если я утверждал: «Вы спали больше

часа».

Не испытывая никаких чувств к Альбертине, не вызывая в воображении многих наслаждений, какие мы доставляли друг другу, когда оставались одни, я старался убить время; разумеется, моя мысль обходила Бальбек — я был уверен, что Альбертина столкнется здесь с тем-то и тем-то, кто начнет злобно хихикать, хихикать, может быть, надо мной, и не хотел сходить с ума от страха, поэтому я сразу после отъезда из Бальбека порвал отношения с неприятными мне людьми. Альбертина была настолько безвольна, она обладала такой необыкновенной способностью забывать и покоряться, что эти отношения действительно прекратились и от мучившего меня страха я излечился. Но он вновь мог на меня напасть под каким угодно неведомым обличьем. Так как я не испытывал ревности к кому-нибудь другому, то после очередного приступа я успокаивался. Но чтобы возбудить хроническую болезнь, достаточно малейшего предлога, так же как возобновлению порока, вызывающего ревность, может способствовать малейшая случайность (после нравственного образа жизни) при встречах с другими людьми. Я мог отдалить Альбертину от ее соучастниц и, таким образом,

избавиться от бредовых явлений; можно было заставить ее забыть тех или иных людей, порвать с ними отношения, но ведь ее предрасположение было тоже хроническим и, быть может, ожидало только повода, чтобы выявиться. В Париже нашлось столько жо поводов, как и в Бальбеке. Где бы она ни очутилась, Альбертине не надо было искать, потому что больна была не только Альбертина, но и другие, для которых всякий повод для наслаждения хорош. Взгляд одной понятен другой, и он сближает обеих алчущих. Женщина ловкая делает вид, что ничего не замечает, а через пять минут идет к женщине, которая ее поняла, поджидает на перекрестке и мигом назначает свидание. Как тут дознаться? На что, кажется, проще было бы Альбертине сказать мне, что ей хочется побывать в такой-то окрестности Парижа, которая ей понравилась, что она вернется очень поздно, и пусть бы прогулка длилась необъяснимо долго, все-таки, быть может, гораздо спокойней для нее было бы как-то объяснить свое поведение (совершенно не вводя в объяснение чувственного момента), только ради того, чтобы во мне всколыхнулась душевная боль, которая теперь была не связана с бальбекскими похождениями — их я старался,

как и прежние, истреблять, словно потребление чего-либо эфемерного способно повлечь за собой избавление от боли врожденной. Я не принимал во внимание свойство Альбертины, которая была соучастницей этих истреблений, меняться, ее способность забывать, почти ненавидеть свой недавний предмет; я не отдавал себе отчета, что я причинял боль кому-либо из тех очередных, неведомых мне существ, с которыми ей еще так недавно было приятно проводить время, и что эту боль я в иных случаях причинял напрасно, так как их покидали, но заменяли, и в это же время по параллельной дороге, усеянной столькими брошенными, которых ей ничего не стоило натравить друг на друга, за мною гнался почти без передышки еще один упрямец; слоном, если подумать хорошенько, мои страдания могли прекратиться только вместе с жизнью Альбертины или вместо со мной. Даже первое время нашего пребывания в Париже, неудовлетворенный сведениями, получаемыми мной от Андре и от шофера о прогулках, которые они совершали с моей подружкой, я несколько раз съездил на прогулку с Альбертиной, и я ощущал пригороды Парижа не менее жестокими, чем окрестности Бальбека. И всюду неуверенность в том, что она

вытворит, была одинаковой, возможности зла многообразны, надзор еще труднее, и в конце концов я возвращался с ней в Париж. Откровенно говоря, уезжая из Бальбека, я надеялся уехать из Гоморры, вырвав оттуда Альбертину; увы! Гоморра расположена в четырех странах света, и частично из ревности, частично по неведению (случай крайне редкий) я безотчетно суживал объем пряток, чтобы Альбертина не могла от меня ускользнуть. Я с бухты-барахты спрашивал ее: «Да, кстати, Альбертина, может, это мне приснилось: вы мне не говорили, что знакомы с Жильбертой Сван?» — «Да, то есть мы разговаривали с ней на курсах, у нее были записи лекций по истории Франции, она ведь очень милая: дала мне эти записи, а когда мы с ней встретились, я их сейчас же вернула, и больше я ее в глаза не видала». — «Она из породы тех женщин, которые мне неприятны?» — «Да нет, что вы!»

До этих расспросов я часто рисовал в воображении прогулки с Альбертиной, внося в свои мечты такое увлечение, какого на самом деле во мне не было, и уговаривал мою подружку с пылом, который являлся признаком намерения, которое мы не собираемся осуществлять; я выражал бурное

желание осмотреть Сент-Шапель[35], глубокое уныние оттого, что не могу поехать с ней туда вдвоем, так что в ответ на мои жалобы Альбертина ласково отвечала: «Вот что, малыш: раз вам этого так хочется, сделайте над собой небольшое усилие, поедемте с нами. Мы вас подождем. А если вам приятнее быть только со мной, я спроважу Андре к ней домой, она съездит в следующий раз». Но ее просьбы съездить на прогулку лишь усиливали во мне спокойствие, которое давало возможность исполнить мое желание — желание остаться дома.

Я не думал о том, что попечение, возложенное на Андре или на шофера с целью успокоить мое волнение, просьба не выпускать из виду Альбертину и анкилозировать[36] меня, обрекает меня на бездействие, парализует способность мышления воображать, парализует усилия воли, направленные к тому, чтобы угадывать, противодействовать. Это было тем для меня опаснее, что таким я родился: область возможного все-

[35] Примечания: 35

Стр. 36. Сент-Шапель — готическая церковь на острове Сите, в Париже; построена в 1242-1248 гг. по проекту Пьера де Монтеро в стиле высокой готики.

[36] Примечания: 36

Стр. 37. ...анкилозировать меня... — то есть сделать неподвижным (от мед. анкилоз — неподвижность суставов).

гда была мне доступнее действительности. Эта особенность помогает познавать внутренний мир другого человека, но вместе с тем усыпляет бдительность. Моя ревность рождалась из образов, из страдания, но не из правдоподобия. В жизни людей и в жизни народов (но могло не быть такого дня и в моей жизни) выдается день, когда нужно, чтобы внутри тебя находился полицейский надзиратель, дальновидный дипломат, начальник сыскной полиции, который, вместо того чтобы стараться предусмотреть все на свете, мыслит правильно; он говорит себе: «Если Германия заявляет то-то, значит, поступить она намерена совсем по-другому, и это у нее не туманные мечты, а нечто строго продуманное, и, может быть, даже она уже начала действовать», «Если такой-то сбежал, то сбежал не в *а,* не в *б,* но в *в,* и поиски нам следует вести в *в».* Увы! Эта способность и так-то не была во мне достаточно хорошо развита, а я еще притуплял ее, растрачивал силы, тушевался, привыкал быть спокойным в то время, когда другие следили за мной.

Открывать Альбертине причину моего нежелания выезжать с ней мне было неприятно. Я говорил ей, что врач велел мне лежать. Я говорил неправду. Все его предписания были бессильны

помешать мне ехать с моей подружкой. Я просил у нее позволения не ездить вместе с ней и с Андре. Я бы не сказал, чтобы это было разумно. Когда я выезжал с Альбертиной, то, если она отходила от меня на шаг, я проявлял беспокойство; я воображал, что она сговорилась с кем-нибудь или хотя бы с кем-нибудь переглянулась. Если она была не в духе, то я это приписывал тому, что сорвал или заставил отменить какой-нибудь ее план. Реальность — это всегда приманка для новичка, по пути которого далеко не пройдешь. Лучше ничего не знать, думать как можно меньше, не снабжать ревность ни одной конкретной подробностью. К несчастью, за отсутствием внешних событий, приключения возникают во внутреннем мире; за отсутствием прогулок с Альбертиной, случайности, на которые я наталкивался, размышляя в одиночестве, снабжали меня порой клочками действительности, а те, в свою очередь, притягивали, как магнит, крохотные частицы неведомого, которое в конце концов становится невыносимым. Хорошо находиться под воздушным колоколом; ассоциации идей, воспоминания продолжают в нем действовать. Но столкновения душевных сил не происходят в нем мгновенно: стоило Альбертине выехать на

прогулку — и меня оживляли, пусть на короткое время, возбуждающие средства одиночества. Я принимал участие в каждодневных удовольствиях; робкое поползновение — желание только мое, и ничье больше, — их вкусить становилось для меня недосягаемым, если не удерживать их дома. В иные ясные дни было так холодно, образовывалось такое широкое общение с улицей, что казалось, будто стены дома разобраны, и всякий раз, когда проходил трамвай, его звонок звучал так, как если бы кто-нибудь серебряным ножом стучал по стеклянному дому. Но никто с таким упоением не слушал новый звук душевной скрипки, как я. Ее струны сжимались или растягивались просто в зависимости от температуры, освещения на улицах. В нашем внутреннем инструменте, который из-за однообразия привычки молчал, пение порождают все его отклонения, все его колебания — источник всякой музыки. Если погода некоторое время держится, то она мгновенно переводит нас в другую тональность. Мы припоминаем забытую арию, хотя она должна быть нам ясна, как очевидный смысл, и первое время мы поем, не зная, что это такое. Только внутренние видоизменения, хотя исходили они извне, обновляли для меня внешний мир. В моем

мозгу открывались средства сообщения, с давних пор для меня запретные. Жизнь в городах, веселье прогулок вновь занимали во мне свое место. Дрожа всем телом вокруг вибрирующей струны, я готов был отдать и мое прошлое, и мое будущее, стертые губкой для стирания привычки, за это необыкновенное состояние.

Если бы я не уезжал надолго с Альбертиной, мой дух скитался бы еще дольше. Чтобы не вкушать всеми чувствами нынешнее утро, я наслаждался в воображении всеми похожими, минувшими или возможными, точнее — определенным типом утра, а все утра такого рода — явления перемежающиеся, и я их тотчас же узнавал; свежий воздух переворачивал страницы так, как ему хотелось, и передо мной были все указания, которым я мог следовать, лежа в кровати, — евангелие дня. Это идеальное утро насыщало мое сознание непрерывной реальностью, так же, как в другие, похожие утра, и полнило весельем, на которое не действовала моя слабость; хорошее настроение зависит у нас в гораздо меньшей степени от нашего самочувствия, чем от нерастраченного излишка сил, мы можем добиться использования наших сил, наращивая их или ограничивая нашу деятельность. Жизненную силу, которая перели-

валась во мне через край, я удерживал, лежа в кровати, я содрогался, я подскакивал внутри себя, подобно машине, которой не дают стронуться с моста и она крутится вокруг себя.

Франсуаза входила подтопить и бросала несколько веточек, запах которых, забытый за лето, описывал вокруг камина магический круг, в котором я видел, как я читаю то в Комбре, то в Донсьере, и радовался, что я у себя в комнате в Париже, так, как если бы вышел на прогулку по направлению к Мезеглизу[37] или встретил Сен-Лу и его друзей на полевых занятиях. Обычно радость вновь погрузиться в воспоминания, которые для людей сберегла память, сильнее у тех, которых жестокость физической боли и постоянная надежда на выздоровление не пускают искать в жизни картины, похожие на эти воспоминания, а вместе с тем вселяют в них уверенность, что они, испытывая страстное желание, чувство голода, очутятся напротив этих картин и воспримут это не только как воспоминания, не только как картины. И хотя и те и другие были обречены на то, чтобы навеки остаться для меня всего лишь картинами и воспоминаниями,

---

[37] Примечания: 37

Стр. 39. Мезеглиз — городок недалеко от Комбре (реальный Мереглиз).

а я был обречен при мысли о них только вновь увидеть их, внезапно они превращали меня, меня всего, с помощью тождественного ощущения, в видевшего их ребенка, юношу. За это время снаружи не произошло перемены погоды, в комнате пахло все так же, а во мне произошла разница в возрасте, замещение одной личности другою. Запах веток в холодном воздухе — это был как бы отрывок прошлого, незримый припай, оторвавшийся от минувшей зимы и двигавшийся по моей комнате, часто рассекаемый запахом, светом, как в былые годы, куда я вновь погружался, охваченный, еще до того как я их опознавал, ликованием надежд, давным-давно мне изменивших. Солнце достигало моей кровати, проходило через прозрачные перегородки моего похудевшего тела, нагревало меня, и я становился горячим, как стекло. Подобно выздоравливающему, но изголодавшемуся больному, мысленно питающемуся всеми блюдами, которых ему еще не дают, я задавал себе вопрос: жениться мне на Альбертине или нет, не исковеркаю ли я себе жизнь, не слишком ли тяжкое взваливаю я на себя бремя, посвящая жизнь другому человеку, заставляя себя жить в отсутствие самого себя из-за того, что все время около меня будет другой человек, и

лишая себя навсегда радостей одиночества.

И не только радостей. Даже не требуя от дня ничего, кроме желаний, — разумеется, желаний, которые вызывают не предметы, а одушевленные существа с индивидуальными чертами. Если, встав с постели, я на минуту отдерну занавеску, то в этом будет мало общего с пианистом, открывающим на минутку крышку фортепьяно; мне хочется проверить, точно ли того же охвата достигает солнечный свет на балконе и на улице, как в моей памяти, а также обратить внимание на прачку, несущую белье в корзине, на булочницу в голубом фартуке, на молочницу в нагруднике, с рукавами из белого холста, несущую крючок с висящими на нем бутылками молока, белокурую девочку, с гордым видом шествующую с гувернанткой, — словом, увидеть картину, различие в линиях которой, быть может количественно ничтожное, делает ее совершенно непохожей на все прочие, как различны две ноты в одной музыкальной фразе, и без которой я обеднил бы день, лишив его целей, какие могли бы утолить мою жажду счастья. Но от преизбытка радости, доставлявшегося мне взглядом на женщин, которых невозможно вообразить a priori, они становились более желанными, более достойными изучения;

улица, город, весь мир возбуждали во мне по той же причине жажду выздороветь, выйти из дома и, без Альбертины, быть свободным. Сколько раз, когда незнакомая женщина, о которой я мечтал, проходила мимо моего дома или проезжала на всей скорости своего автомобиля, я жалел, что мое тело не может следовать за взглядом, который ее уловил в толпе, жалел, что не могу попасть в нее, как пуля после выстрела, произведенного в нее из моего окна, жалел, что не в силах остановить бег ее лица, в котором меня ожидал призыв к счастью, меж тем как, заточенному, мне его не изведать вовек!

В Альбертине мне уже нечего было открывать. С каждым днем она, на мой взгляд, дурнела. Только когда она возбуждала желание в других и я силился понять ее, снова начинал страдать, стремился быть победителем, она возвышалась в моих глазах. Она не утратила способности причинять мне боль, она не радовала меня никогда. Только на страдании зиждилась моя докучная привязанность. Как только я переставал страдать, переставал испытывать потребность в успокоении, низводя мою сосредоточенность на степень низкого увлечения, я ощущал пропасть между мной и ею, между нею и мной. Я мучился,

пока это состояние не проходило; мне иногда хотелось узнать, не выкинула ли она чего-нибудь невероятного, а она была на это способна, — тогда бы я выздоровел; хотелось поссориться, что дало бы нам возможность помириться, переменить, сделать более гибкой связывавшую нас цепь.

А пока что я придумывал множество случаев, множество развлечений, какие могли бы создать ей вокруг меня иллюзию счастья, которое я не мог ей дать. Мне хотелось, после моего выздоровления, поехать в Венецию, но, женившись на Альбертине, я, такой ревнивый даже здесь, в Париже, — как бы я на это отважился, если в Париже я решался стронуться с места, выехать только вместе с ней? Когда я сидел дома весь день, моя мысль сопровождала Альбертину во время ее прогулки, очерчивала голубоватую даль, создавала вокруг центра, которым был я, подвижную зону неуверенности и смятения. «Да разве Альбертина избавит меня от тоски расставания, — говорил я себе, — если на прогулке, заметив, что я больше не заговариваю о женитьбе, она вдруг решает не возвращаться домой и, не попрощавшись со мной, едет к тетке!» Мое сердце, после того как его рана зарубцевалась, отрывалось от сердца моей подружки: я мог си-

лою воображения, безболезненно перемещать ее, удалять. Конечно, раз меня с ней не будет, кто-то другой мог бы стать ее мужем, и, пожалуй, она прекратит свои похождения, которые были мне отвратительны. Но на улице было так славно, я был так уверен, что она вернется вечером, что, хотя у меня мелькала мысль о возможных проступках, мне было легче легкого заточить ее в самую неважную часть моего мозга, где в действительной жизни могли бы гнездиться пороки воображаемого лица; делая моей мысли гимнастические упражнения, ощущая энергию физическую и мозговую и как мускульное движение, и как духовное начинание, я преодолевал состояние обычной встревоженности и начинал двигаться на свободе, стремясь всем пожертвовать, чтобы помешать Альбертине выйти замуж за другого и чтобы чинить препятствия ее влечению к женщинам, хотя это было не менее безрассудно с моей точки зрения, как и с точки зрения всякого, кто не видел ее в глаза.

Ревность — болезнь перемежающаяся; источник ее прихотлив, властен, всегда один и тот же у одного больного, иногда совершенно иной у другого. Есть астматики, у которых проходит приступ, если они, распахнув окно, дышат силь-

ным ветром или чистым воздухом в горах, другие — укрывшись в центре города, в прокуренной комнате. Нет ревности без отклонений. Один все-таки идет на то, чтобы его обманули, лишь бы об этом довели до его сведения; другой предпочитает, чтобы от него скрывали обман, причем оба одинаково нелепы, так как если второй в самом деле обманут, ибо от него скрывают правду, то первый требует для этой истины пищи, распространения, непрерывности своих страданий.

Более того: эти две противоположные мании ревности часто не соответствуют тому, о чем они просят или чего не хотят держать в секрете. Встречаются ревнивцы, чья возлюбленная находится в связи на далеком от них расстоянии; они не препятствуют ей жить с мужчиной иных влечений, чем они, но только чтобы это было с их позволения, поблизости от них, даже у них на виду, во всяком случае — под одной крышей. Это довольно частый случай у людей пожилых, влюбленных в молодую женщину. Они чувствуют, как им трудно ей понравиться, в иных случаях чувствуют невозможность удовлетворить ее и, вместо того чтобы быть обманутыми, предпочитают зазывать ее к себе, в соседнюю комнату к человеку, который, по их мнению, не способен

учить ее дурному, но и не способен радовать ее. У других все по-иному; не выпуская свою возлюбленную ни на одну минуту в город, который они знают, держа ее в рабстве, они соглашаются отпустить ее на месяц в страну, которой они не знают, где они не могут представить себе, что она будет делать. По отношению к Альбертине я мог бы воспользоваться обеими болеутоляющими маниями. Я бы не ревновал, если бы она развлекалась подле меня, если бы я потворствовал этим развлечениям, если бы они всецело находились под моим надсмотром, что предохраняло бы меня от опасности *лжи*; вероятно, я бы еще меньше опасался, если бы Альбертина уехала в страну, более или менее для меня неизвестную и далекую, так что я не в силах был бы воображать, у меня не было бы возможности и соблазна узнать ее образ жизни. В обоих случаях сомнение могло отпасть либо при наличии полной осведомленности, либо при наличии не менее полного незнания.

Закат вновь, благодаря памяти, погружал меня в прежний, свежий воздух, и я вдыхал его с тем же наслаждением, с каким незнакомец Орфей вдыхал легкое благоухание Елисейских полей[38].

---

[38] Примечания: 38

Стр. 43. Елисейские поля — обиталище мертвых в греческой мифологии.

Но день шел на убыль, и меня охватывало вечернее уныние. Машинально поглядывая на часы, чтобы прикинуть, сколько еще осталось до возвращения Альбертины, я убеждался, что у меня есть время одеться и, спустившись к моей хозяйке, герцогине Германтской, спросить у нее совета относительно того, какие красивые вещицы подарить моей подружке. Я не раз встречал герцогиню во дворе: в любую погоду она прохаживалась в шляпе с низкой тульей и в мехах. Я отлично знал, что для многих интеллигентов она представляет собой *одну даму*, только и всего, титул герцогини Германтской для них ничего не значил в эпоху, когда не стало ни герцогств, ни княжеств, но я усвоил себе другой взгляд в отношениях с живыми существами и с местностями. Мне казалось, что эта дама в мехах, презиравшая нынешнее ужасное время, герцогиня, княгиня, виконтесса, носит все свои замки с собой, подобно тому как фигуры, высеченные над порталом, держат в руках выстроенные ими соборы или же города, которые они защищали. Но эти замки, леса мог видеть только мой мысленный взор в левой гантированной руке дамы в мехах, родственницы короля. Телесные мои глаза различали в ненастную погоду только зонтик, которым герцогиня

не считала зазорным вооружиться. «Никогда не знаешь, так спокойней: вдруг зайду далеко, а извозчик заломит *слишком дорого*». Слова «слишком дорого», «это мне не по карману» — такие выражения герцогиня постоянно употребляла в разговоре, так же как: «Я очень нуждаюсь», и вам никогда не удавалось угадать: говорила ли она это потому, что находила забавным, будучи богачкой, сказать, что она нуждается, или потому, что находила изысканным, будучи аристократкой, изображать мужичку, деревенскую девушку, не придавать богатству того значения, какое придают ему люди состоятельные, но и только, и презирают бедняков. Быть может, эта черта развилась в тот период ее жизни, когда, уже разбогатевшая, но еще недостаточно, однако, соображавшая, во что обходится содержание такого количества имений, она стала слегка стесняться денег и не скрывала этого. То, над чем чаще всего подшучивают, на самом деле наводит скуку, но говорят об этом так, чтобы оно не казалось скучным, — быть может, в тайной надежде, что у нас есть дополнительное преимущество над вашим собеседником: слушая, как вы шутите, он решит, что это вы нарочно.

Я почти всегда был уверен, что в это время

застану герцогиню дома, и это меня ободряло, — так мне было удобней просить у нее подробных наставлений относительно Альбертины. И я спускался, почти не думая, до чего же это необычайно — то, что я иду к таинственной герцогине Германтской моего детства, только чтобы извлечь из нее маленькую практическую пользу, как извлекают из телефона — сверхъестественного инструмента, чудесам которого дивились прежде, но которым пользуются теперь, даже и не помышляя о нем: чтобы вызвать портного или заказать зеркало.

Вещи доставляли Альбертине большое удовольствие. Я не мог не преподносить их ей ежедневно. Она с восторгом кричала мне в окно или проходя по двору о косынке, пелерине, зонтике, ибо ее глаза мгновенно различали то, что относилось к элегантности на шее, на плечах, на руке герцогини Германтской; зная, что девушки от природы разборчивы (и что разборчивость Альбертины еще облагородили беседы с Эльстиром[39], что ее не прельстит даже вещь красивая, при виде кото-

[39] Примечания: 39

Стр. 44. Эльстир — персонаж книг Пруста, художник-импрессионист, завсегдатай салона Вердюренов. В его мастерской герой знакомится с Альбертиной, о чем рассказывается в романе «Под сенью девушек в цвету» (см. указ. изд., с. 445-449).

рой разгорелись бы глаза у девицы из простых), зная, что Альбертина сразу поняла бы, что это то, да не то, я держал в тайне от герцогини, где, как, по какой модели я достал ту вещь, что приглянулась Альбертине, как мне пришлось действовать, чтобы достать именно то, в чем состояла тайна мастера, очарование (то, что Альбертина называла «шиком», «стилем») его манеры, попросту говоря — то, в чем для нее заключались красота материи и ее качество.

Когда, по возвращении из Бальбека, я сказал Альбертине, что герцогиня Германтская живет напротив нас, в том же доме, на лице Альбертины, услышавшей почетное звание и громкое имя, появилось более чем безразличное, враждебное, пренебрежительное выражение — знак неосуществимого желания у натур гордых и страстных. Как бы ни была прекрасна по натуре Альбертина, душевные ее качества могли развиваться только среди преград, каковыми являются наши вкусы или же скорбь о наших вкусах, от которых мы вынуждены отрешиться — у Альбертины это был снобизм — и которые именуются ненавистью. У Альбертины для ненависти к светским людям оставалось слишком мало места, вот почему мне отчасти нравился ее революционный дух — то

есть несчастная любовь к знати, — веявший на противоположной стороне французского характера, там, где царит аристократический свет герцогини Германтской. Об аристократическом духе из-за невозможности попасть туда Альбертина, быть может, и не вспомнила бы, но она помнила, что Эльстир говорил, что герцогиня одевается лучше всех в Париже, и республиканское презрение к герцогине сменилось у моей подружки живым интересом к элегантной женщине. Она часто расспрашивала меня о герцогине Германтской, любила, когда я ходил к герцогине за советом по поводу ее туалетов. Конечно, я мог бы спросить совета у г-жи Сван, я даже написал ей как-то в связи с этим. Но, на мой взгляд, герцогиня Германтская достигла больших успехов в искусстве одеваться.[40] Если, спустившись к ней на минутку, уверившись, что она дома, и попросив, чтобы мне сказали, когда Альбертина вернется, я видел, что герцогиня окутана туманом серого крепдешина, я воспринимал это как нечто слож-

[40] Примечания: 40

Стр. 45. …в искусстве одеваться. — Далее во второй машинописи следует текст, зачеркнутый Прустом: «Каждый раз, как я приходил к ней, она появлялась в платье, о котором можно было сказать, что оно и не могло быть иным; оно отвечало верховному своеволию вкуса, подчинявшегося — даже в своих причудливых фантазиях — высшим законам».

ное и не имеющее возможности измениться, я погружался в эту атмосферу, как погружаются в атмосферу некоторых дней, жемчужно-серебристых от тумана; если же, напротив, я заставал ее в китайском желто-красном халате, я смотрел на нее как на пылающий закат; эти туалеты представляли собой не декорацию, которую мы вольны изменить, но реальность, поэтическую данность, реальность времени дня, особый свет определенного часа.[41]

Из всех платьев и халатов, которые носила герцогиня Германтская, казалось, в наибольшей степени отвечали своей задаче, заключали в себе особый смысл платья, которые Фортюни[42] шил по древним рисункам Венеции. То ли их связь с историей, то ли, вернее, их неповторимость, их единственность придает позе женщины, ожи-

---

[41] Примечания: 41

…определенного часа. — В беловом автографе далее следует: «Точно так же, хотя погода бывала хорошей, но весна — еще ранней и холодной, апрель — морозным, герцогиня мерзла в слишком открытом платье и накидывала на плечи синюю шелковую шаль, которую я еще не видел; и я испытывал тогда наслаждение, подобное тому, какое испытываешь в ветреный день в лесу, набредя на свежий ковер только что распустившихся фиалок».

[42] Примечания: 42

Фортюни Мариано (1871-1949) — итальянский художник-модельер; работал сначала в Венеции, затем в Париже. Тщательное изучение старой венецианской живописи позволило ему умело имитировать ткани и фасоны платьев эпохи Возрождения.

дающей нас в таком платье, разговаривающей с вами, необыкновенную значительность, как если бы этот костюм являл собою плод долгого размышления или как если бы этот разговор выделялся из текущей жизни, как сцена из романа. В романах Бальзака, принимая посетителя, надевают туалеты с заранее обдуманным намерением. Нынешние туалеты не отличаются характерностью, за исключением платьев Фортюни. Ничего расплывчатого не должно быть в описании романиста, потому что это платье людей, существующих на самом деле, потому что малейшие подробности должны быть так же натурально изображены, как в произведении искусства. Прежде чем нарядиться, дама делает выбор между одним и другим платьем, не почти похожими, но глубоко своеобразными, которые можно было бы назвать по имени.

Но платье не мешало мне думать о самой даме. Герцогиня Германтская была мне симпатичней, чем в то время, когда я еще любил ее. Ожидая от нее меньшего, замечая, что и она не собирается идти дальше, я с почти бесцеремонным спокойствием, какое приходит, когда мужчина с женщиной остаются вдвоем, поставив ноги на каминную подставку, слушал ее так, будто читал

книгу, написанную на старинном языке. Во мне было достаточно свободомыслия, чтобы ощутить в том, что она говорила, французское изящество в таком чистом виде, в каком его уже не встретишь ни в современной устной, ни в письменной речи. Я слушал ее речь, как слушают народную песню, полную чисто французской прелести; я понимал, почему она посмеивалась над Метерлинком (которого она теперь обожала по нестойкости женского ума, чувствительного к запоздалым лучам литературной моды), как понимал, почему Мериме посмеивался над Бодлером,[43] Стендаль над Бальзаком,[44] Поль-Луи Курье над Виктором Гюго,[45] Мейлак над Малларме.[46] Я отлично понимал, что насмешник издевается над чем-то совершенно определенным и что язык у него чище.

---

[43] Примечания: 43

Стр. 46. …Мериме посмеивался над Бодлером… — Пруст имеет в виду отрицательную оценку личности и творчества Бодлера, которую Мериме давал в своих письмах, в частности в письмах к своей приятельнице Женни Дакен. Письма Мериме к Женни Дакен («Письма к незнакомке») были впервые изданы в 1873 г. и затем много раз переиздавались.

[44] Примечания: 44

…Стендаль над Бальзаком… — В письмах и дневниках 30-х годов Стендаль не раз отзывался о своем именитом собрате довольно иронически. К началу XX в. дневники и письма Стендаля были в основном опубликованы.

[45] Примечания: 45

…Поль-Луи Курье над Виктором Гюго… — Пруст имеет в виду высказывания известного французского литератора Поля-Луи Курье (1772-1825)

о ранних одах Гюго, написанных еще в духе классицистической эстетики.

[46] Примечания: 46

...Мейлак над Малларме. — Второстепенный драматург и либреттист Анри Мейлак (1831-1897), возможно, и позволял себе какие-то иронические замечания в адрес поэта-символиста Стефана Малларме (1842-1898). Не исключено, что Пруст их слышал от Мейлака, с которым встречался в буржуазном салоне г-жи Ж. Штраус (1849-1926), послужившей писателю в качестве одного из прототипов герцогини Германтской, а также Одетты Сван. Ее первым мужем был знаменитый композитор Жорж Бизе, а их сын, Жак Бизе, учился вместе с Прустом и дружил с ним.

Герцогиня Германтская говорила почти таким же обворожительным языком, как мать Сен-Лу. Не у теперешних унылых эпигонов, которые говорят «фактически» (вместо «в действительности»), «незаурядный» (вместо «редкостный»), «удивленный» (вместо «оцепеневший) и т. д., и т. д., можно найти старинный язык и верное произношение, но разговаривая с герцогиней Германтской или с Франсуазой; Франсуаза, когда мне было всего пять лет, научила меня говорить не Тарн, а Тар, не Беарн, а Беар. Благодаря этому, когда мне исполнилось двадцать лет, я знал, что не надо выговаривать *н*, как выговаривала г-жа Бонтан: «Госпожа де Беар*н*».

Я бы сказал неправду, если б выразил мнение, что герцогиня не сознает в себе землевладельческого, едва ли не мужицкого начала и в известной степени не подчеркивает его. Но в этом не чувствовалось ложного простодушия знатной дамы, играющей под сельчанку, и надменности герцогини, смотрящей свысока на богачек и презирающей крестьянок, которых они не знают; у нее был почти художественный вкус женщины, которая сознает очаровательность того, чем она владеет, и не желает портить ее современной сурьмой. Именно эти свойства создали известность в

Див[47] нормандскому ресторатору, владельцу «Вильгельма Завоевателя»[48]: он предпочитал — случай до чрезвычайности редкий! — в своем отеле не поражать роскошью и последним криком моды; будучи миллионером, он не любил об этом говорить; он вел вас на кухню, как в деревне, и там показывал, как он, в рубашке нормандского крестьянина, сам приготовляет обед, который от этого не становился гораздо лучше или дороже, чем в самых шикарных гостиницах.

Всей кряжистости старинных аристократических родов, возросших среди природы, здесь недостаточно; надо, чтобы в роду появился человек, у которого хватило бы ума не стыдиться этой кряжистости, чтобы не покрывать ее лаком современности. Герцогиня Германтская, к несчастью, умная, к несчастью, парижанка, сохранила к тому времени, когда мы с ней познакомились, от своей почвы только выговор; по крайней мере, когда она описывала свое детство, она сочетала в

---

[47] Примечания: 47

Див — местечко в Нормандии.

[48] Примечания: 48

«Вильгельм Завоеватель». — Название этого кабачка дано по имени английского короля Вильгельма Завоевателя (1027-1087), высадившегося в 1066 г. на английском побережье и разгромившего при Гастингсе сакского короля Гарольда. Вильгельм был уроженцем Нормандии. Пруст неоднократно бывал в этом кабачке.

своем языке неумышленно деревенское и вычурно-литературное, и получалось нечто среднее, составляющее привлекательность «Маленькой Фадетты» Жорж Санд или же легенд, приведенных Шатобрианом в «Замогильных записках»[49]. Мне доставляло необыкновенное удовольствие слушать, как она рассказывает в лицах что-нибудь о крестьянах и о себе. Старинные имена, прежние костюмы придавали в моих глазах этому сближению замка с селом какой-то особенный аромат.

Если человек ничего не подчеркивает, если он не стремится выработать свой собственный язык, его манера говорить становится настоящим историческим музеем устной французской речи. Мой двоюродный дедушка «Фитт-Жам» никого бы не удивил, если бы так назвал себя; ведь было известно, что Фитц-Джемсы[50] всюду и везде говорили, что они французские вельможи, и возмущались, когда их имена произносили по-английски. Тро-

[49] Примечания: 49

Стр. 47. «Замогильные записки» — обширные мемуары Франсуа-Рене де Шатобриана (1768-1848), над которыми он работал в основном с 1811 по 1836 г. Опубликованы полностью в 1849-1850 гг.

[50] Примечания: 50

Фитц-Джемсы — английский аристократический род, далекие предки которого были, видимо, выходцами из Северной Франции. С представителями этого рода Пруст встречался в парижских салонах на рубеже XIX и XX вв.

гательна эта покорность людей, которые до сих пор были убеждены, что должны произносить некоторые имена грамматически правильно, и которые вдруг, услышав, что герцогиня Германтская произносит их по-иному, стараются примениться к новому для них произношению. Так, у герцогини был со стороны Шамборов прадед,[51] и, чтобы подразнить мужа, ставшего орлеанистом,[52] герцогиня любила вставлять в свою речь: «Мы старые Фрошдорфы». Посетитель, до сих пор уверенный, что произносит правильно: «Фродорф», становился перебежчиком и, надо не надо, говорил: «Фрошдорф».

Как-то раз я спросил герцогиню Германтскую, кто этот прелестный мальчик, которого она представила мне как своего племянника и чье имя я не расслышал; и уж совсем я ничего не понял, когда герцогиня, волнуясь, совершенно нечленораздельно произнесла горловым голосом: «Это

---

[51] Примечания: 51

Стр. 47. …со стороны Шамборов… — Речь идет о графе Шамборе (1820-1883), внуке Карла X. Роялисты пытались в 1873 г. возвести его на трон (под именем Генриха V), но эта затея успеха не имела. Герцогиня Германтская называет сторонников графа Шамбора Фрошдорфами по одноименному замку, в котором граф прожил с 1841 по 1883 г.

[52] Примечания: 52

…ставшего орлеанистом… — то есть сторонником графа Парижского (1838-1894), претендента на французский трон, внука короля Луи-Филиппа, представителя Орлеанской ветви Бурбонов.

млкий Эоп, зть Роэра. Он уверяет, что у него форма головы как у древних галлов». Тут я понял, что она хотела сказать: «Это маленький Леон, принц Леон, если угодно — зять Робера де Сен-Лу». «Не знаю, какой там у него череп, — добавила она, — но его одежда, надо сознаться, чрезвычайно изысканная, мало общего имеет с костюмами местных уроженцев. Однажды мы совершали паломничество к Роанам, и вот из Жослена туда нагрянула тьма жителей из самых глухих углов Бретани. Здоровенный леонский парень рассматривал с изумлением бежевые туфли Роберова зятя. „Что ты на меня так воззрился? Бьюсь об заклад, что ты не знаешь, кто я такой“, — сказал Леон. Крестьянин назвался. „Ну, а я твой барин“. Крестьянин снял шляпу, извинился и сказал: „А я принял вас за англичанина“. Пользуясь упоминанием Роанов (с которыми семья герцогини Германтской часто роднилась), я заговаривал о них с герцогиней, и наша беседа проникалась скорбной прелестью молитвословий или, как сказал бы истинный поэт Помпилий[53], «терп-

[53] Примечания: 53

Стр. 48. Помпилий (или Помпил) — псевдоним жены писателя Леона Доде Жанны Доде (1869-1941), внучки Виктора Гюго. Под этим именем она печатала кулинарные рецепты в газете «Аксьон франсез» и издавала их отдельными книжками.

ким запахом зерен ржи, что поджаривались на утеснике».

Рассказывая о маркизе дю Ло (его печальный конец известен: его, глухого, перенесли к слепой г-же…), герцогиня обращалась к менее трагическим его временам: после охоты в Германте он пил чай вместе с королем английским; он нарочно надевал туфли без каблуков и был все-таки не ниже короля, но, по общему мнению, нимало этим не стеснялся. Герцогиня картинно рассказывала, что ей прикрепляли мушкетерский плюмаж, какие носили чем-либо прославившиеся дворяне из Перигора.

Кстати сказать, даже в простейшей классификации людей герцогиня Германтская, оставаясь в высшей степени помещицей — в чем была ее огромная сила, — характеризовала провинции и определяла место каждому так, как никогда это не удалось бы парижанке по происхождению; простые названия: Анжу, Пуату, Перигор — воссоздавали в ее устной речи картины природы вокруг портрета Сен-Симона[54].

Если уж мы заговорили о произношении и о

---

[54] Примечания: 54

Сен-Симон — Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675-1755), французский политический деятель и писатель-мемуарист. На его «Мемуары» Пруст неоднократно ссылается в своих книгах.

словаре герцогини Германтской, то надо заметить, что именно эта сторона у аристократии действительно консервативна — консервативна со всем, что в этом слове содержится несколько ребяческого, слегка опасного, строптивого по отношению к эволюции, но и занятного для художника. Мне захотелось узнать, как писалось прежде имя Жан. Я это узнал, отправив письмо племянника маркизы де Вильпаризи[55]: он подписался так, как его окрестили, как его имя значится в «Готском альманахе»[56], — Жеан де Вильпаризи — все с той же неукоснительной красивой *Н*, бесполезной, геральдической, вызывающей восхищение, выкрашенной киноварью или ультрамарином, как в часослове или на витраже.

К сожалению, я не мог до бесконечности засиживаться у герцогини Германтской — мне хотелось вернуться домой по возможности раньше моей подружки. Вот почему я по чуточке добывал сведения у герцогини о туалетах, которые были

---

[55] Примечания: 55

Маркиза де Вильпаризи — персонаж книг Пруста, тетка герцога и герцогини Германтских и барона Шарлю, приятельница бабушки героя.

[56] Примечания: 56

«Готский альманах» — ежегодник, издававшийся с 1763 по 1944 г., сообщавший сведения об аристократических семействах Европы и о дипломатических службах европейских государств.

мне нужны, чтобы заказывать туалеты в таком же духе, по фигуре девушки, для Альбертины.

«Положим, сударыня, в тот день, когда вы едете ужинать к маркизе де Сент-Эверт[57] и заезжаете за принцессой Германтской, на вас красное платье, красные туфельки, вы несравненны, вы похожи на большой цветок, кроваво-красный, пылающий, словно рубин, — как это он называется? Молодая девушка может себе позволить так одеваться?»

Герцогиня придала своему усталому лицу то же сияющее выражение, какое было у принцессы де Лом[58], когда Сван в былые времена расточал ей комплименты; смеясь до слез, она ехидным, вопросительным и восхищенным взором смотрела на графа де Бреоте[59], который в этот час всегда

---

[57] Примечания: 57

Стр. 49. Маркиза де Сент-Эверт — персонаж книг Пруста, светская дама; о ней много говорится в романах «По направлению к Свану» и «Содом и Гоморра».

[58] Примечания: 58

...у принцессы де Лом... — Герцогиня Германтская носила титул принцессы де Лом до смерти своего свекра. Об ухаживании за ней Свана рассказано в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 300 и др.).

[59] Примечания: 59

Граф де Бреоте — вернее, маркиз Аннибаль де Бреоте-Консальви, персонаж книг Пруста; он представил героя принцу Германтскому, о чем говорится в романе «Содом и Гоморра» (см. указ, изд., с. 69-74).

бывал тут и за моноклем пытался утеплить снисходительную усмешку, вызванную у него этим сумбурным интеллигентом, который, как ему казалось, пытается скрыть от него свой экстаз. У герцогини был такой вид, как будто она хотела сказать: «Что такое? Он сошел с ума!» Затем она с лукавой улыбкой обратилась ко мне: «Мне неизвестно, что я была похожа на пылающий рубин или на кроваво-красный цветок, помню, что у меня действительно было красное платье: это было красное атласное платье, какие носят теперь. Молодая девушка может ходить, в чем ей угодно, но ведь вы же мне говорили, что ваша девушка по вечерам не показывается. Это платье для званых вечеров, для простых визитов оно не подходит».

Поразительно, что от того вечера, в сущности не такого уж и давнего, в памяти у герцогини Германтской уцелело одно лишь это платье, множество других вещей она забыла, а вот их-то — это будет видно из дальнейшего — ей надо было бы бережно хранить в памяти. Думается, что у людей деятельных (у светских людей деятельность крохотна, микроскопична, и все же они люди деятельные) мысль переутомлена тем, что произойдет через час, и она поверяет памяти

лишь немногое. Очень часто, например, не для того, чтобы сбить с толку маркиза де Норпуа[60], ему говорили, будто бы ему никого не удалось ввести в заблуждение своими предсказаниями относительно переговоров о союзе с Германией, которые тогда еще не кончились. «Вы ошибаетесь, — возражал маркиз, — я не припомню, это на меня не похоже: в разговорах на такие темы я всегда очень лаконичен и никогда не предсказываю успеха поворотам, которые часто кончаются переворотом или простой перепалкой. Не подлежит сомнению, что в ближайшем будущем франко-германское сближение может осуществиться, к немалой выгоде для обеих сторон; я полагаю, что Франция внакладе не останется, но я об этом не говорил: груши еще не поспели, но если вы хотите знать мое мнение, то, по-моему, если мы сейчас предложим нашим большим врагам вступить с нами в законный брак, мы сядем в лужу и нас отдуют». Маркиз де Норпуа не лгал — он просто-напросто забыл. Скоро забывается то, что глубоко не продумывается, то, чему вы подражаете, мелкая суета жизни. Меняется суета — и вместе с ней наша память. Дипломаты — это

[60] Примечания: 60

Маркиз де Норпуа — персонаж книг Пруста, дипломат; он подробно описан в романах «Под сенью девушек в цвету» и «Беглянка».

еще что! Главы государств не помнят, какую точку зрения они отстаивали тогда-то; некоторые из их отречений объясняются не столько заботой о своей карьере, сколько именно забывчивостью. Что касается светской толпы, то она помнит совсем мало.

Герцогиня Германтская уверяла меня, что она не помнит, чтобы на том вечере, когда она была в красном платье, присутствовала г-жа де Шоспьер[61], которую я почему-то назвал. Тем не менее с тех пор Шоспьеры не выходили из головы герцога и герцогини. И вот почему. Когда президент Джокей-клоба[62] скончался, герцог Германтский был старейшим вице-президентом. Иные члены клуба, которые ни с кем не поддерживали отношений и чье единственное удовольствие заключалось в том, чтобы накладывать черных шаров людям, которые их к себе не приглашали, повели кампанию против герцога Германтского, а тот, будучи уверен, что его изберут, и не придавая особого значения прези-

---

[61] Примечания: 61

Стр. 50. Г-жа де Шоспьер — второстепенный персонаж книг Пруста; о нелюбезном обращении с нею герцогини Германтской рассказано в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 87).

[62] Примечания: 62

Джокей-клоб — пожалуй, самый аристократический клуб Парижа.

дентству — сущему пустяку в сравнении с его положением в обществе, — не ударил палец о палец. Вдруг заговорили, что герцогиня-дрейфусарка (дело Дрейфуса кончилось давно, но двадцать лет спустя его все еще обсуждали, а тут прошло всего лишь два года) принимает у себя Ротшильдов, которым с недавних пор оказывали особое покровительство влиятельные лица разных национальностей, как, например, полунемец герцог Германтский. Кампания нашла себе благодарную почву, — клубы всегда ревнуют к тем, кто на виду, и ненавидят людей с большим достатком. У Шоспьера денег куры не клевали, но его состоятельность никого не задевала: лишнего он не тратил, комнаты муж и жена занимали скромные, жена ходила в черных шерстяных платьях. Помешанная на музыке, она часто устраивала утренники, на которые приглашала гораздо больше певиц, чем Германты. Но никаких разговоров об этих утренниках на темной улице Лашез[63] не было, вокруг них не устраивалось шума; муж и тот отсутствовал. В Опере г-жа де Шоспьер незаметно проходила на свое место, всегда с людьми, чьи имена напоми-

[63] Примечания: 63

Стр. 51. Улица Лашез — маленькая узкая улица в Сен-Жерменском предместье; здесь Пруст поселил Германтов, затем семейство Шоспьер.

нали имена самых что ни на есть «ультра» из ближайшего окружения Карла X[64], но с людьми, державшимися в сторонке, не светскими. В день выборов, ко всеобщему изумлению, все стало ясно: Шоспьер, второй вице-президент, был избран президентом Джокея, а герцог Германтский остался при своих, то есть — первым вице-президептом. Конечно, быть президентом Джокея не имеет большого значения для столь сильных мира сего, как Германты. Но не быть им, когда подошла ваша очередь, удостовериться, что предпочтен какой-то Шоспьер, жене которого Ориана два года назад не только не поклонилась в ответ на поклон, но сочла даже оскорбительным для себя поклон этой никому не известной летучей мыши, — это явилось жестоким ударом для герцога. Он делал вид, что стоит выше этого матча, уверял, что согласился баллотироваться по старой дружбе со Сваном. На самом деле это было ему небезразлично. Странная вещь: никто никогда не слыхал, чтобы герцог Германтский пользовался довольно банальным выражением «как бы то ни было», но после выборов в Джокей, стоило кому-нибудь заговорить о деле Дрейфу-

[64] Примечания: 64

Карл X — французский король с 1824 по 1830 г.; его окружение отличалось крайне реакционными взглядами.

са[65], как у него сейчас же так и сыпалось: «Дело Дрейфуса, дело Дрейфуса, поторопились дать название, да и название-то неподходящее; это, как бы то ни было, не религиозный вопрос, это вопрос политический». В течение пяти лет не слыхать было «как бы то ни было», если в это время не говорили о деле Дрейфуса, пять лет спустя вновь всплывало имя Дрейфуса — автоматически выскакивало «как бы то ни было». Кстати сказать, герцог не выносил, когда при нём говорили об этом деле, которое, по его выражению, «наделало столько бед», хотя, по правде говоря, оно было неприятно только ему одному, из-за неудачи на выборах в президенты Джокей-клоба.

Так вот, в тот день, после того как я напомнил герцогине Германтской, что на вечере у своей родственницы она была в красном платье, с графом де Бреоте обошлись довольно неучтиво, когда, решив, что надо что-то сказать, хотя бы по неясной ассоциации идей, которую он так и не прояснил, он начал водить языком по своему рту, похожему на куриную ж…ку: «Что касается дела Дрейфуса…»

---

[65] Примечания: 65

Дело Дрейфуса. — Об этом политическом событии, потрясшем всю Европу, Пруст много говорит в предыдущих книгах своей эпопеи, особенно в романе «У Германтов» (см. указ. изд., с. 111 и сл.). Сам Пруст был ярым дрейфусаром.

(При чем тут дело Дрейфуса? Речь шла только о красном платье; бедняга Бреоте, думавший о том, кому бы доставить удовольствие, был далек от того, чтобы на что-то намекать, но при одном имени Дрейфуса герцог Германтский сдвинул свои юпитерские брови.) «...мне передавали, — начал Бреоте, — довольно изящное словцо — нет, правда, очень остроумное — нашего друга Картье (предупредим читателя, что Картье, брат г-жи де Вильфранш, не имел никакого отношения к своему однофамильцу-ювелиру), что меня, впрочем, не удивляет: он умеет ими торговать». — «Ну уж только не я буду в числе покупательниц, — перебила Ориана. — Не могу вам передать, как ваш Картье мне надоедает. Не понимаю, какую такую необыкновенную прелесть находят Шарль де Ла Тремуй[66] и его жена в этом парикмахере, которого я встречаю у них постоянно». — «Милая герцогиня! — возразил Бреоте; ему не давались свистящие звуки, — вы слишком строги к Картье. Правда, он, может быть, слегка занесся у Ла Тремуй, но для Шарля он — как бы сказать? — вер-

[66] Примечания: 66

Стр. 52. Ла Тремуй — старинная аристократическая фамилия, известная уже в эпоху средних веков; Пруст часто наделяет второстепенных персонажей своих книг такими звучными фамилиями, хотя в его времена многие из этих родов угасли.

ный Ахат[67], а в наше время это редкость. Ну так вот что мне передавали. Картье будто бы сказал, что Золя добивался процесса и приговора, чтобы испытать неведомое ему ощущение — ощущение заключенного». — «Потому-то он и бежал до ареста, — подхватила Ориана. — Это не вяжется. Но даже если это правда, я нахожу, что заявление дурацкое. Что тут остроумного?» — «Боже мой, прелештная Ориана! — снова заговорил Бреоте; видя, что не встречает поддержки, он начал выворачиваться. — Слова не мои, я просто их повторил, относитесь к ним как хотите. Дело в том, что Картье сострил в силу необходимости, так как очаровательный Ла Тремуй по праву требует, чтобы в его салоне не говорили о том, что я называю — как бы сказать? — о текущих делах, и ему было особенно досадно, что у него в этот вечер была госпожа Альфонс Ротшильд. Картье получил от Тремуя изрядный нагоняй». — «Вне всякого сомнения, — в сердцах заговорил герцог, — у Альфонсов Ротшильдов хватает такта не заговаривать об этом гнусном деле, но в душе они дрейфусары, как и все евреи. Вот вам аргумент ad hominem (герцог кстати и некстати употреблял

---

[67] Примечания: 67

Ахат — верный спутник Энея в его странствиях («Энеида» Вергилия).

выражение „ad hominem“), который ясно показывает недобросовестность евреев. Если француз крадет, убивает, я не стану доказывать, что он невиновен, только потому, что он француз, как и я, но еврей ни за что не согласится, что один из их единоплеменников — изменник, хотя они великолепно это знают, и не задумываются об ужасных последствиях (герцог, разумеется, имел в виду треклятые выборы Шоспьера), о том, что преступление одного из их соплеменников может привести к… Послушайте, Ориана, вы же не станете уверять меня, что евреев не тяготит то, что они все, как один, поддерживают изменника. Вы же не станете говорить, что это из-за того, что они евреи». — «А, представьте, стану, — возразила Ориана (она была раздражена, ей хотелось позлить Юпитера-Громовержца, а кроме того, хотелось повесить над делом Дрейфуса объявление „Интеллигентность“). — Может быть, они действуют так именно потому, что они евреи, что они хорошо себя знают, знают, что можно быть евреем и не быть непременно изменником и антифранцузом, как это утверждает, если не

ошибаюсь, Дрюмон[68]. Конечно, если б это был христианин, евреи не приняли бы участия в его судьбе, но они знают по собственному опыту, что если он не еврей, то нельзя так легко бросить ему обвинение в измене a priori, как сказал бы мой племянник Робер». — «Женщины ничего не смыслят в политике! — глядя в упор на герцогиню, воскликнул герцог. — Это страшное преступление — не просто еврейский вопрос, — это, как бы то ни было, государственное дело, дело огромной важности, которое может иметь для Франции гибельные последствия; всех евреев надо выслать из Франции, в то время как, надо сознаться, меры были до сих пор приняты (самым возмутительным образом, требующим пересмотра) не против них, а против их наиболее видных врагов, против людей высшего круга, к несчастью для нашего злополучного государства отодвинутых на задний план».

Я чувствовал, что страсти разгораются, и поспешил заговорить о платьях.

«Вы помните, сударыня, — спросил я, — когда вы первый раз были любезны со мной?» — «Пер-

[68] Примечания: 68

Стр. 53. Дрюмон Эдуард (1844-1917) — французский реакционный публицист, ярый антидрейфусар; он первым выступил в печати с разоблачением Дрейфуса.

вый раз любезна с ним!» — повторила герцогиня, глядя со смехом на графа де Бреоте; кончик носа у него стал пуговкой, улыбка сладенькой из уважения к герцогине Германтской, а его скрипучий голос издал несколько нечленораздельных, режущих слух звуков. «…На вас было желтое платье с большими черными цветами». — «Ах, малыш, не все ли равно: это вечерние платья». — «А ваша шляпка с васильками, — как я ее любил! Но все это — далекое прошлое. Я хочу купить девушке, о которой мы говорили, меховое пальто, вроде того, которое было на вас вчера утром. Нельзя ли на него посмотреть?» — «Нет, Аннибал должен сейчас же ехать. Вы придете ко мне, и моя горничная вам все покажет. Только, малыш, я вам с удовольствием дам на время все, что угодно, но если вы закажете вещи Кало, Дусе, Пакена[69] дешевым портнихам, то у вас выйдет не так». — «Да я же не собираюсь идти к дешевой портнихе, я отлично знаю, что это будет совсем не то, но мне хочется понять, почему у них выйдет не то». — «Вы же знаете, что объяснять я не умею, я дурочка, изъясняюсь, как мужичка. Тут все дело в уменье, в сноровке; что касается мехов, то я

[69] Примечания: 69
Стр. 54. Кало, Дусе, Пакен — парижские модельеры.

могу замолвить за вас словечко моему меховщику, — по крайней мере, он вас не обдерет. Но это вам будет стоить еще восемь-девять тысяч франков». — «А халат, от которого плохо пахнет? Вы в нем были прошлым вечером. Такой мрачный, пушистый, с крапинками, расшитый золотом, как крыло бабочки?» — «А, это платье Фортюни! Ваша девушка вполне может надеть его у себя. У меня их много, я вам покажу, могу даже дать вам одно, если это доставит вам удовольствие. Но мне больше хочется, чтобы вы посмотрели халат моей родственницы Талейран. Я напишу ей, чтобы она прислала мне его на время». — «А еще у вас такие хорошенькие туфельки — это тоже Фортюни?» — «Нет, я знаю, о чем вы говорите, это золоченое шевро мы нашли в Лондоне, когда нас возила Консуэло из Манчестера. Это что-то необыкновенное. Я так и не смогла разгадать секрет позолоты — у вас создается полное впечатление золотой кожи, посередине — маленький бриллиантик и больше ничего. Бедная герцогиня Манчестерская скончалась, но если вам это доставит удовольствие, я напишу миссис Варвик или миссис Мальборо с просьбой попытаться достать похожее. Нет ли и у меня такой кожи? А вдруг это можно сделать здесь? Я посмотрю вечером и

пришлю вам сказать».

Так как я всеми силами всегда старался уйти от герцогини до того, как вернется Альбертина, я часто встречал во дворе де Шарлю и Мореля. Они выходили от герцогини Германтской и шли пить чаи к… Жюпьену[70], самому большому фавориту барона. Наши пути пересекались не каждый день, но ходили они по двору ежедневно. Надо заметить, что устойчивость привычки обычно соответствует ее ничтожности. Блестящие поступки обычно совершаются в порыве чего-либо. Но жизнь бессмысленная, жизнь, когда маньяк добровольно отказывается от всяких удовольствий и подвергает себя самым тяжким испытаниям, — такая жизнь меняется редко. Если вам любопытно, то вы можете наблюдать, что один несчастный десять лет подряд спит в часы, когда он может жить, а выходит из дому, когда его могут пристукнуть на улице, когда он пьет ледяное, хотя на улице тепло, и каждую секунду рискует простудиться. Требуется маленькое усилие, один-единственный вечер, чтобы все это изменилось раз навсегда. Но именно такой образ жизни обычно удел людей неэнергичных. Поро-

[70] Примечания: 70

Жюпьен — персонаж книг Пруста, жилетник, живший в одном доме с героем.

ки — это особый вид такой однообразной жизни, которую воле угодно было немного скрасить. На оба эти вида можно было посмотреть с одной и той же точки зрения, когда де Шарлю ежедневно шел с Морелем пить чай к Жюпьену. Одна лишь гроза пронеслась над этой ежедневной привычкой. Племянница жилетника как-то сказала Морелю: «Вот что: приходите завтра, мы с вами чайком побалуемся». Барон имел полное право считать это выражение крайне вульгарным в устах особы, которую он намеревался сделать почти что своей невесткой, а так как он любил оскорблять и упиваться своим гневом, то вместо того, чтобы просто-напросто велеть Морелю дать девушке урок вежливости, он на возвратном пути только и делал, что выходил из себя. «Я вижу, занятия музыкой даром вам не прошли: они отбили нормальное обоняние, раз вы терпите, что запах кала, исходящий от грубого выражения „побаловаться чайком“, — за пятнадцать сантимов, я полагаю, — достиг моих королевских ноздрей? Когда вы заканчиваете соло на скрипке, был ли такой случай, чтобы я, вместо грома рукоплесканий или еще более красноречивого молчания, — молчание объясняется невозможностью удержать не то, на что так щедра ваша

невеста, а рыдание, рвущееся из горла, — наградил бы вас тем, что издал неприличный звук?»

Когда подчиненного так распекает начальник, его непременно увольняют. Но уволить Мореля было бы для Шарлю верхом жестокости; видя, что он далеко зашел, он принялся подробно, со вкусом разбирать игру девушки, рассыпать ей похвалы, неумышленно перемежая их грубостями. «Она очаровательна. Так как вы музыкант, наверное, она прельстила вас своим чудесным голосом, голос у нее особенно хорош, когда она берет верхние ноты — тогда кажется, что она аккомпанирует вашему си-диез. Ее нижний регистр мне нравится меньше: по-видимому, это зависит от троекратного покачивания ее странно устроенной тонкой шеи — кажется, уже конец, а шея все еще раскачивается; помимо частностей, мне нравится ее силуэт. Она портниха, умеет обращаться с ножницами, так вот, пусть-ка она как можно лучше вырежет себя из бумаги».

Чарли не слушал эти восхваления; он вообще пропускал мимо ушей восторженные отзывы об его невесте, тем более что украшения, которыми ее одаривали, неизменно исчезали. Де Шарлю он ответил: «Можешь быть спокоен, малыш, я ей намылю шею, больше она так не скажет».

Когда прекрасный скрипач называл де Шарлю «малыш», он не забывал, что он ему в сыновья годится. Он не называл де Шарлю, как Жюпьен, — в отношениях между некоторыми людьми устанавливается безмолвное соглашение, что на первом месте у них простота вне зависимости от разницы в возрасте, а потом уже — влечение (влечение фальшивое у Мореля, у других — искреннее). В этот период времени де Шарлю получил письмо: «Дорогой Паламед! Когда же мы с тобой увидимся? Я очень скучаю без тебя и часто о тебе думаю. Весь твой *Пьер».* Де Шарлю долго ломал себе голову, чтобы догадаться, кто это из его родственников позволяет себе ему писать с такой фамильярностью. По всей вероятности, он прекрасно его знает, однако почерк ему не знаком. Все принцы, которым «Готский альманах» отводит несколько строк, прошли в течение нескольких дней перед глазами де Шарлю. Наконец адрес на конверте все объяснил: автор письма был членом клуба охотников, куда иной раз захаживал де Шарлю. Этот охотник не считал невежливым писать в таком тоне де Шарлю, хотя и относился к нему с большим уважением. Ему казалось, что было бы сухо не обратиться на «ты» к человеку, который несколько раз тебя целовал

и тем самым — думал он в своей наивности — показал, что он тебе симпатизирует. В глубине души де Шарлю был в восторге от такой фамильярности. Он даже проводил с утренника маркиза де Вогубера[71] только для того, чтобы показать ему письмо. А ведь одному богу известно, до чего де Шарлю не любил ходить по улицам с маркизом де Вогубером! Дело в том, что маркиз то и дело рассматривал в монокль молодых людей. Этого мало: чувствуя себя привольно вдвоем с де Шарлю, он говорил на языке, который ненавидел барон. Он все мужские имена переделывал на женский лад, а так как он был очень глуп, то эта шутка казалась ему необычайно остроумной, и он все время покатывался со смеху. Так как он вместе с тем страшно дорожил своим дипломатическим постом, то унылые и смешные рожи, которые он строил на улице, он беспрестанно убирал с лица: на него наводили страх шедшие ему навстречу светские люди, но особенно — чиновники. «Вот славненькая телеграфисточка, — пояснял он, дотрагиваясь локтем до хмурого барона, — я

[71] Примечания: 71

Стр. 56. Маркиз де Вогубер — персонаж книг Пруста, французский дипломат, прикомандированный к королю Феодосию (см. ниже). Он часто упоминается в романе «Содом и Гоморра», где обнаруживается, что он страдает теми же пороками, что и Шарлю.

был с ней знаком, да остепенилась, мерзавка! О, посыльный из „Галерок Лафаиста“[72], какая прелесть! Господи, директор из министерства торговли! Лишь бы он не заметил моего жеста! Он способен наговорить министру, а тот меня — за штат, тем более что, кажется, быть за штатом и быть пассивным — это одно и то же». Де Шарлю был вне себя от бешенства. Наконец, чтобы прекратить опостылевшую ему прогулку, он решил достать письмо и дать прочесть послу, но только попросил посла никому ничего не говорить, так как старался внушить себе, что Чарли не чужды ни ревность, ни любовь. «Итак, — заключил он, уморительно изображая добряка, — надо всегда стараться делать как можно меньше зла».

Прежде чем дойти до Жюпьена, автор считает нужным признаться, как ему неприятно, что читателя шокируют такие необычные картины. С одной стороны (наименее важной), находят, что в этой книге аристократия представлена однобоко, более затронутой вырождением, чем другие классы. Возможно, но только тут нечему удивляться. Наиболее старинные семейства в

[72] Примечания: 72

Стр. 57. «Галерея Лафайета» (или «Галери Лафайет») — одна из самых крупных парижских торговых фирм, владеющая сетью универсальных магазинов.

конце концов признают, что красный крючковатый нос, выдвинувшийся вперед подбородок — это отличительные знаки их «рода», которыми они любуются. Но среди этих устойчивых и беспрестанно обостряющихся черт есть и черты невидимые: тенденции и вкусы. Сказать, что все это нам чуждо и что поэзию следует исключить из текущей жизни, — это было бы более серьезным взглядом на вещи, если только его обосновать. Искусство, отчужденное от самой простой действительности, на самом деле существует, его область, быть может, самая обширная. Но в то же время большой интерес, иногда — чисто эстетический, могут привлечь действия, вытекающие из форм сознания таких далеких от всего, что мы чувствуем, от всего, во что мы верим, что они так и остаются для нас непонятными, они открываются нам как бессмысленное зрелище. Что может быть поэтичнее, чем Ксеркс[73], сын Дария, приказавший высечь море за то, что оно поглотило его корабли?

Не подлежит сомнению, что Морель, пользуясь властью, которую его чары имели на девушку,

[73] Примечания: 73

Ксеркс — персидский царь с 485 по 465 г. до н. э., сын царя Дария I; Ксеркс потерпел тяжелое поражение от греков в морской битве при Саламине (480 г. до н. э.).

передал ей, выдав за свое, замечание барона, ибо выражение «побаловаться чайком» совершенно исчезло из жилетной, — так навсегда исчезает из салона ближайшая приятельница, которая бывала здесь ежедневно и с которой по той или иной причине рассорились или отношения с которой хранятся в тайне и с которой видятся где-нибудь еще. Де Шарлю был доволен исчезновением «побаловаться чайком»: он усматривал в этом доказательство своего влияния на Мореля и исчезновение хотя бы одного-единственного пятнышка на совершенствовании девушки. Наконец, как все люди его круга, де Шарлю, будучи верным другом Мореля и его почти невесты, горячим сторонником их брачного союза, не прочь был учинять между ними более или менее безобидные ссоры, за пределами которых и над которыми он чувствовал себя таким же олимпийцем, как если б речь шла о его родном брате. Морель объявил де Шарлю, что любит племянницу Жюпьена, собирается на ней жениться и что ему льстило бы, если б барон присутствовал при визитах своего юного друга, играя роль будущего посаженого отца, снисходительного и скромного. Это был предел его мечтаний.

Я лично думаю, что «побаловаться чайком»

— выражение самого Мореля и что, ослепленная любовью, молодая портниха взяла его у своего любимого человека, хотя оно и резало слух на фоне красивых выражений, употреблявшихся девушкой. Хороший язык, прелестные манеры, покровительство де Шарлю — все это привело к тому, что многие клиентки, на которых она работала, обращались с ней теперь как с подругой, приглашали ужинать, знакомили со своими друзьями, а девица на все испрашивала соизволения барона де Шарлю. «Молодая портниха в обществе? — воскликнут иные. — Что тут правдоподобного?» Если вдуматься, еще менее правдоподобно то, что когда-то Альбертина приезжала ко мне в полночь, а теперь живет у меня. Быть может, неправдоподобно было бы с другой, но только не с Альбертиной, круглой сиротой, ведшей такой свободный образ жизни, что вначале я принял ее в Бальбеке за любовницу посыльного, — это ее-то, девушку, чьей самой близкой родственницей была г-жа Бонтан, которая еще у г-жи Сван дивилась дурным манерам племянницы, а теперь закрывала на них глаза, особенно если это могло избавить ее от племянницы и устроить ей богатый брак, по каковому случаю небольшая сумма перепала бы

тетке (в самом высшем обществе весьма знатные и впавшие в крайнюю бедность матери, подыскав сыну богатую невесту, не отказываются от помощи молодых супругов, получают в подарок меха, автомобиль, деньги невестки, которую они не любят и которую они все-таки вынуждены принимать у себя).

Быть может, настанет такой день, когда портнихи — что меня лично ничуть не шокирует — выйдут в свет. Племянница Жюпьена — исключение, по нему еще трудно что-нибудь предугадать, одна ласточка не делает весны. Во всяком случае, если даже ничтожное положение в обществе, какое занимала племянница Жюпьена, кое-кого и возмущало, то уж не Мореля, ибо в некоторых отношениях он был так непроходимо глуп, что не только считал «глупенькой» девушку, которая была в тысячу раз умнее его, — может быть, считал только потому, что она его любила, — но еще предполагал, что существуют искательницы приключений, переодетые мастерицы, играющие в дам, занимающие очень высокое положение и принимающие ее у себя, чем она и не думала хвастаться. Конечно, это были не Германты, даже не их знакомые, но богатые, элегантные буржуазки, свободомыслящие

настолько, что не считали позором принимать у себя портниху, достаточно, однако, раболепные, чтобы получать своеобразное удовольствие оттого, что протежируют девушке, к которой сам его светлость барон де Шарлю ходит каждый день без всяких грязных намерений.

Никому так не пришлась по душе идея этого брака, как барону, — он полагал, что теперь Морель от него не упорхнет. Барон подозревал, что племянница Жюпьена, почти девочкой, «согрешила». И, хваля Мореля, он не раздражал разговорами об этом своего друга, у которого был бешеный нрав, и, таким образом, не мутил воду. Дело в том, что де Шарлю, хотя дико злой от природы, был из числа благожелательных людей, которые хвалят того-то или ту-то, чтобы показать, какие они сами добрые, но боятся как огня употреблять слова успокоительные, столь редко произносимые, которые были бы способны установить мир. Барон не позволял себе никаких инсинуаций по двум причинам. «Если я ему скажу, — говорил он себе, — что его девушка с грешком, его самолюбие будет задето, он на меня рассердится. И потом, кто мне поручится, что он не влюблен в нее? Если же я промолчу, солома быстро погаснет, я буду руководить их

отношениями по своему усмотрению, он будет любить ее не больше, чем я этого захочу. Если же я расскажу о неосторожности его нареченной, кто мне поручится, что мой Чарли недостаточно влюблен, чтобы быть ревнивым? В таком случае, я по своей вине превращу флирт без последствий, которым можно заниматься как угодно, в большую любовь, а большой любовью управлять трудно». По этим двум причинам де Шарлю хранил молчание, которое есть не что иное, как только видимость скромности, а с другой стороны, похвально, так как людям его сорта молчать о чем-либо — почти выше их сил.

Помимо всего прочего, девушка была восхитительна, и де Шарлю, чей вкус к женщинам она удовлетворяла вполне, изъявил желание получить сотни ее фотографических карточек. Не такой глупый, как Морель, он с удовольствием узнавал светских дам, в домах у которых она была принята и которым его социальное чутье отводило соответствующие места. Но он воздерживался (желая сохранить власть самодержца) говорить об этом с Чарли, с настоящим мужланом в этом отношении, продолжавшим верить, что вне «класса скрипки» и Вердюренов существуют только Германты, несколько почти королевского

рода семейств, которые барон мог пересчитать по пальцам, все же остальное было для него — «сволочь», «сброд». Чарли понимал эти выражения де Шарлю буквально.

Почему де Шарлю, которого в течение всего года тщетно ждали к себе столько послов и герцогинь, де Шарлю, не ужинавший вместе с принцем де Крой только потому, что принц был на первом месте, почему де Шарлю проводил свободное время не со знатными дамами, не с вельможами, а с племянницей жилетника? Главным образом потому, что там был Морель. Но если бы его там и не было, я бы но усмотрел в этом ничего неправдоподобного, или я должен был бы стать на точку зрения одного из посыльных Эме[74]. Это лакеи из ресторана думают, что вот у того-то огромное состояние, раз он всегда в новом блестящем костюме, что самый шикарный господин дает ужины на шестьдесят персон и ездит только в авто. Они ошибаются. Очень часто человек безумно богатый ходит все в одном и том же поношенном костюме; самый шикарный господин на дружеской ноге в ресторане только со служащими, и

[74] Примечания: 74

Стр. 60. Эме — метрдотель гостиницы в Бальбеке, где останавливался герой Пруста. Подробно описан в романах «Под сенью девушек в цвету», «Содом и Гоморра» и «Беглянка».

если вы к нему зайдете, то увидите, что он играет в карты со своими лакеями. Это не мешает ему отказаться пройти после принца Мюрата[75].

Среди разных причин, радовавших де Шарлю тем, что молодые люди поженятся, была вот какая: племянница Жюпьена будет представлять собой отчасти дальнейшее развитие личности Мореля и, как следствие, расширение власти барона над ним и сведений о нем. Обманывать, в брачном смысле слова, будущую жену скрипача — в этом отношении де Шарлю не проявлял ни малейшей щепетильности. Руководитель «молодоженов», грозный и всемогущий покровитель супруги Мореля, которая смотрела бы на барона как на бога, — ясно, что эту идею внушил ей милый Морель, идею, что и к ней перейдет что-то от Мореля, что характер владычества де Шарлю от этого изменится и в де Шарлю зачнется Морель, еще один человек, супруг, то есть что он одарит ее чем-то другим, новым, занятным, таким, что она полюбит в нем. Может быть, даже его владычество возрастет, как никогда. Раньше Морель

[75] Примечания: 75

Принц Мюрат. — Пруст делает этого персонажа потомком наполеоновского маршала и короля Неаполя Иоахима Мюрата (1767-1815). Во времена Пруста отпрыски этого семейства существовали в действительности, и писатель поддерживал с ними отношения.

один, голенький, если можно так выразиться, часто оказывал барону сопротивление, — он чувствовал себя уверенным в окончательной победе, теперь же, будучи женат, он скорей испугается за свою семью, за свое помещение, за свое будущее и пойдет на любые уступки. От нечего делать, скучными вечерами, де Шарлю будет находить удовольствие в том, чтобы стравливать супругов (барон всегда любил батальную живопись). Хотя, впрочем, меньшее удовольствие, чем в мыслях о зависимости молодого семейства от него. Любовь де Шарлю к Морелю приобретала нечто восхитительно новое, когда он говорил себе: «Его жена в такой же степени будет моей, как и он, они не пойдут мне наперекор, будут исполнять мои прихоти, она напомнит мне (до сих пор я этого не испытывал), что я почти совсем забыл, но что так мило моему сердцу: те, что будут видеть, как я с ними ласков, как я с ними живу, и я сам — все проникнутся уверенностью, что Морель — мой». Этой наглядностью для себя и других де Шарлю был счастлив больше, чем всем остальным. Обладание тем, что любишь, — это еще большая радость, чем любовь. Люди часто скрывают от всех это обладание только из боязни, как бы у них не отняли любимое существо. И вследствие

благоразумного молчания их счастье — счастье неполное.

Читатель, может быть, помнит, что Морель говорил барону о своем желании соблазнить девушку, в частности — эту, и что для того, чтобы иметь успех, он пообещает жениться на ней, а когда падение совершится, «он унесет ноги». После объяснения Мореля в любви племяннице Жюпьена де Шарлю об этом забыл, но в глубине души он, пожалуй, был сторонником Мореля. Существовало, быть может, целое пространство между натурой Мореля, какую он цинично выставлял напоказ, даже, может быть, искусно подчеркивая ее черты, и той, какая проявлялась у него после одержания победы. Живя с девушкой, он привязывался к ней, любил ее. Он плохо знал себя и воображал, что он ее полюбил, может быть, даже навеки. Конечно, его изначальное желание, его преступные намерения продолжали существовать, но под таким слоем различных чувств, что никто не осмелился бы сказать, что скрипач неискренен, утверждая, будто его порочное желание мимолетно. Одно время — хотя определенно он об этом не говорил — брак представлялся ему совершенно необходимым. У него были тогда судороги в руке, и он искал возможность оставить

скрипку. Но он не ленился, только когда занимался музыкой, перед ним встал вопрос о том, чтобы пойти на содержание, и он предпочитал, чтобы его содержала племянница Жюпьена, чем де Шарлю; эта комбинация предоставляла ему больше свободы, а также большой выбор среди разных женщин, как среди совсем новеньких мастериц, которых племянница Жюпьена по его приказу заставляла бы развратничать с ним, так и среди богатых дам, у которых он будет выуживать деньги. Что его будущая супруга останется холодна к его ласкам, что она из числа извращенных — это никак не входило в расчеты Мореля. Они с бароном остановились на другом плане: судороги прекратились, значит, да здравствует чистая любовь. Жалованья скрипача вместе с пособием де Шарлю на пропитание хватит, тем более что расходы де Шарлю, понятно, уменьшатся после женитьбы Мореля на портнихе. Женитьба стала делом срочным как потому, что Морель полюбил невесту, так и в интересах свободы. Морель попросил руки племянницы Жюпьена, — тот с ней поговорил. Свадьба была действительно необходима. Страсть девушки к скрипачу струилась вокруг нее, как ее волосы, когда она их распускала, как радость, сиявшая в

ее широко раскрытых глазах. Для Мореля почти все приятное или выгодное вызывало одинаковое чувство и одинаковые слова, иногда даже слезы. Он искренне — если только это слово к нему подходит — вел с племянницей Жюпьена речи, в которых было столько же сентиментального (сентиментальные речи юные вертопрахи ведут и с очаровательными дочками богатейших буржуа), сколько и в его откровенно низких речах, вроде той, в которой он распространялся барону о соблазнении, о лишении невинности. Однако пламенный восторг от собеседницы, которая ему нравилась, и торжественные обещания сменялись у Мореля чувствами противоположными. Стоило девушке ему разонравиться или, например, стоило данным ей обещаниям начать тяготить его, как она становилась ему неприятна, чему он находил оправдание в собственных глазах, в чем он после нескольких нервных припадков убеждался окончательно, и после того, как у него проходила эйфория нервной системы, когда он смотрел на все с точки зрения высокой добродетели, он считал себя свободным от всех обязательств.

Так, к концу своего пребывания в Бальбеке он потерял неизвестно где все свои деньги и, не

осмелившись сказать об этом де Шарлю, начал думать, у кого бы попросить. Он узнал от отца (который, кстати сказать, запретил ему всю жизнь оставаться «тапером»), что в таких случаях следует написать человеку, к которому он намерен обратиться, что он просит «назначить ему деловое свидание». Эта магическая формула до такой степени очаровала Мореля, что он, мне думается, предпочел бы потерять деньги, чем лишить себя удовольствия попросить «делового» свидания. Впоследствии он убедился, что эта формула не обладает таким всемогуществом, как он это себе представлял. Люди, которым он ни за что не написал бы, не будь у него крайних обстоятельств, не отвечали ему через пять минут на письмо о «деловом свидании». Если в течение дня Морель не получал ответа, ему не приходило на ум, даже в благополучном случае, что господина, которого домогался Морель, может не случиться дома, что ему надо написать еще несколько писем, а может, он в отъезде, болен, и т. д. Если по милости судьбы Морелю назначалось свидание на другой день утром, он начинал разговор таким образом: «Я, конечно, был удивлен, не получив ответа, я уж думал, не случилось ли чего, ну, слава богу, вы здоровы» — и т. д. Итак, в Бальбеке, ни слова

мне не сказав, что хочет поговорить о «деле», он обратился ко мне с просьбой представить его Блоку, с которым у него произошла стычка поделю тому назад в поезде. Блок, не задумываясь, ссудил ему — или, вернее, заставил ссудить Ниссона Бернара[76] — пять тысяч франков. С этого дня Морель заобожал Блока. Он со слезами на глазах задавал себе вопрос, чем он мог бы отплатить человеку, который спас ему жизнь. В конце концов я согласился попросить для Мореля у де Шарлю тысячу франков, с тем, чтобы тот выдавал ему по тысяче в месяц; деньги де Шарлю немедленно должен был вручить Блоку, а тот брал на себя обязательство возвратить долг в более или менее короткий срок. В первый месяц Морель, все еще находившийся под впечатлением от доброты Блока, выслал ему аккуратнейшим образом тысячу франков, но потом, должно быть, нашел более для себя приятное употребление для четырех тысяч, так как начал обливать грязью Блока. Самый вид Блока наводил его на мрачные мысли, а Блок, забыв, сколько именно он дал взаймы Морелю, потребовал у него три тысячи пятьсот франков

[76] Примечания: 76

Стр. 63. Ниссон Бернар — персонаж книг Пруста, дядя Блока по материнской линии. В романе «Содом и Гоморра» герой узнает о его противоестественных наклонностях.

вместо четырех тысяч, так что пятьсот франков оставались в пользу скрипача; скрипач хотел ответить, что после такого жульничества он не только больше не заплатит ни единого сантима, но что его заимодавец должен быть счастлив, что Морель не вчинил ему иска. Все это он говорил с горящими глазами. Он не постеснялся заявить, что Блок и Ниссон Бернар не только не должны быть на него в претензии, но что они должны быть еще счастливы, что он не в претензии на них. А еще Ниссон Бернар как будто бы сказал, что Тибо[77] играет не хуже Мореля, Морель решил было притянуть его к суду — подобное мнение могло отразиться на его карьере, — но потом, так как во Франции, по его мнению, суда более не существует, особенно по отношению к евреям (антисемитизм Мореля явился прямым следствием займа пяти тысяч франков у израильтянина), Морель ходил с заряженным револьвером.

Озлобленность, пришедшая на смену умилению, неминуемо должна была отразиться на отношении Мореля к племяннице жилетника. Де Шарлю, вернее всего, не подозревал об этой перемене; он не говорил о ней ни ползвука, на-

[77] Примечания: 77

Стр. 64. Тибо Жак (1880-1953) — выдающийся французский скрипач и музыкальный деятель.

против, чтобы подразнить ученика и невесту, он шутил, что, как только они поженятся, он их больше не увидит и что теперь они уж будут сами «ходить ножками». Эта мысль сама по себе была недостаточна для того, чтобы оторвать Мореля от девушки; зрея в уме Мореля, она уже была готова присоединиться к другим, родственным ей идеям, и, наконец, превратиться в могучую силу разрыва.

С де Шарлю и Морелем я встречался изредка. Обычно они входили в жилетную Жюпьена, когда я уходил от герцогини, — удовольствие, которое доставлял мне разговор с ней, было так сильно, что оно перевешивало нетерпеливое ожидание Альбертины, и я даже забывал, когда она должна вернуться.

Среди дней, когда я ждал возвращения Альбертины у герцогини Германтской, я выделяю тот, когда случилось маленькое происшествие, жестокий смысл которого остался для меня тогда совершенно непонятным и который открылся мне много спустя. В тот день герцогиня Германтская подарила мне — она знала, что я его люблю, — жасмин, привезенный с юга. Уйдя от герцогини, я поднялся к себе, Альбертина вернулась, и я столкнулся на лестнице с Андре, которой,

видимо, не понравился одуряющий запах тех самых цветов, которые я нес.

«Как, вы уже вернулись?» — спросил я. «Только что; Альбертина пишет записку и посылает меня с ней». — «Вы уверены, что там нет ничего оскорбительного?» — «Решительно ничего, это, кажется, тетке. Да, но Альбертина не любительница сильных запахов, так что она будет не в восторге от вашего жасмина». — «Стало быть, я дал маху! Скажу Франсуазе, чтобы она вынесла цветы на черную лестницу». — «А вы думаете, Альбертина не почувствует? Запах жасмина и запах туберозы, пожалуй, самые въедливые запахи. А кроме того, Франсуаза как будто пошла прогуляться». — «Но у меня сегодня нет с собой ключа, как же я попаду?» — «А вы позвоните. Альбертина вам отворит. Да и Франсуаза, наверно, будет гулять недолго».

Я простился с Андре. Как только я позвонил, Альбертина тотчас же мне отворила, что было не просто, так как Франсуаза ушла, а Альбертина не знала, где зажигался свет. В конце концов она мне отворила, но от жасмина ударилась в бегство. Я перенес жасмин в кухню; моя подружка, не закончив письма (я так и не понял, почему), прошла ко мне в комнату, позвала меня и легла

на мою кровать. Как и прежде, в тот момент я нашел все это вполне естественным, может быть, немного странным; во всяком случае, я не придал этому никакого значения[78].

Не считая этого единственного случая, когда я уходил к герцогине, все бывало в порядке после возвращения Альбертины. Если Альбертина не знала, что я не хочу ехать с ней утром, я, как обычно, находил в передней ее шляпку, пальто, зонтик, которые она разбрасывала где попало. Если, войдя, я их находил на прежних местах, в доме дышалось легко. Я чувствовал, что его наполнял не разряженный воздух — его наполняло счастье. Тоска не мучила меня, эти мелочи сулили мне обладание Альбертиной, я бежал к ней.

В те дни, когда я не спускался к герцогине Германтской, я, чтобы мне не было скучно одному, до возвращения подружки перелистывал альбом Эльстира, книгу Бергота, сонату Вентейля. Так как художественные произведения как будто бы

---

[78] Примечания: 78

Стр. 65. ...никакого значения. — В подстрочном примечании приводится текст рукописной вставки, сделанной Прустом на полях третьей машинописи. То, о чем говорится в этой вставке, будет раскрыто в романе «Беглянка». Новейшие издания Пруста вводят эту вставку в основной текст. [Пойманная с Андре, она постаралась за короткое время все замять: пошла ко мне прибрать смятую постель и сделала вид, что пишет записку. Но обо всем этом будет сказано дальше — обо всем, что для меня так и осталось тайной.]

непосредственно обращаются к нашему зрению и слуху и требуют, чтобы мы их восприняли, требуют от нашего пробужденного сознания тесного сотрудничества с этими двумя чувствами, я, сам того не подозревая, предавался мечтам, которые Альбертина же и вызвала к жизни, когда я ее еще не знал, и которые потом затмила повседневность. Я бросал их во фразу композитора или в образ художника, как в горнило, я пропитывал ими книгу, которую читал. И, конечно, книга от этого представлялась мне живее. Но Альбертина не много выигрывала от перенесения в один из двух миров, куда нам есть доступ и где мы имеем возможность селить то здесь, то там один и тот же объект, избегая таким образом давления материи и резвясь в текучих пространствах мысли. Я мог внезапно и только на одно мгновенье воспылать любовью к скучной девушке. В этот миг она приобретала обличье произведения Эльстира или Бергота; меня охватывала быстролетная страсть, когда я представлял ее себе или видел изображенной.

Мне сказали, что Альбертина сейчас придет; еще мне было приказано не называть ее имени, если у меня сидит, например, Блок, которого я задержал на минутку — чтобы он не встретился

с моей подружкой. Ведь я же скрывал от всех, что она живет в этом доме и даже что мы с ней видимся у меня, — так я боялся, что кто-нибудь из моих приятелей приударит за ней; я не ждал ее во дворе: боялся, что при встрече в коридоре или в передней она сделает кому-нибудь знак и назначит свидание. Затем я прислушался, не слыхать ли шелеста юбки Альбертины, пробирающейся к себе в комнату; когда-то, во времена наших ужинов в Ла-Распельер[79], она, из скромности и, без сомнения, из уважения ко мне, а также чтобы не возбуждать во мне ревность, зная, что я не один, ко мне не заходила. Но не только из-за этого — теперь я это понял. Я вспоминал; я знал первую Альбертину, затем внезапно она превратилась в другую, нынешнюю. И в этом изменении я считал виновным только себя. Все, в чем она признавалась мне без всякого нажима с моей стороны, а затем, когда мы стали приятелями, даже охотно, — все это перестало мне открываться, как только она убедилась, что я ее люблю, или, быть может, не упоминала имени Амура, как только догадалась об инквизиторском чувстве, которое

[79] Примечания: 79

Стр. 66. Ла-Распельер — имение семейства Говожо в окрестностях Бальбека; чета Вердюренов снимает его на летний сезон, о чем подробно рассказано в романе «Содом и Гоморра».

хочет допытаться, страдает, когда допытается, и хочет знать еще больше. С этих пор она от меня замкнулась. Она обходила мою комнату, если думала, что я там не один, — и даже часто не с подружкой, а с приятелем, — это она-то, у которой загорались глаза, когда я говорил о какой-нибудь девушке: «Надо ее пригласить, мне хочется с ней познакомиться». — «Но ведь она то, что вы называете „дурным тоном“!» — «Это еще забавней». К этому времени я мог бы, пожалуй, дознаться до всего. Мне кажется, что в маленьком казино она перестала прижиматься грудью к груди Андре[80] не из-за меня, а из-за Котара[81], чтобы — думала она, без сомнения, — он не испортил ей репутацию. И тем не менее она начала уходить в себя, перестала говорить со мной доверительно, ее движения стали сдержанны. Затем она начала избегать всего, что могло меня взволновать. Она открывала мне такие области своей жизни, которых я не знал, чтобы подчеркнуть, что все это вполне безобидно. Но теперь превращение

[80] Примечания: 80

Стр. 67. ...в маленьком казино она перестала прижиматься грудью к груди Андре... — Эта сцена описана в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 207-208).

[81] Примечания: 81

Котар — персонаж книг Пруста, врач, завсегдатай салона Вердюренов.

завершилось: она прошла прямо к себе в комнату на случай, если я не один, — не только чтобы не помешать, но и чтобы показать мне, что другие ее не интересуют. Одного она теперь никогда не сделала бы для меня, что она делала, когда мне это было безразлично, что она охотно делала из-за отсутствия у меня к этому интереса, — это именно признания. Я был обречен навсегда, подобно судье, делать шаткие выводы на основании неосторожно вырвавшихся слов, которые, быть может, остались бы непонятными, если не принять во внимание виновность в целом. И теперь я оставался для нее навсегда ревнивцем и судьей.

Наше бракосочетание надвигалось с быстротой судебного процесса;[82] от одной мысли о нем Альбертина робела, как преступница. Теперь она меняла разговор, когда речь заходила о нестарых мужчинах и женщинах. Мне нужно было спрашивать у нее обо всем, что мне хотелось знать, когда она еще не подозревала, что я ее ревную. Этим временем нужно пользоваться. Тогда наша подружка рассказывает нам о своих удовольстви-

[82] Примечания: 82

Наше бракосочетание надвигалось с быстротой судебного процесса... — Этот текст, присутствующий в машинописи, с которой набиралось первое издание книги, почти дословно повторен в другом месте романа.

ях и даже о средствах, к которым она прибегает, чтобы утаить их от других. Теперь Альбертина ни о чем мне не рассказывала, как рассказывала в Бальбеке, — отчасти потому, что это была правда, отчасти — чтобы оправдать себя в том, что она старается не открывать своего чувства ко мне, — теперь я ее утомлял, да и она по моему нежному к ней отношению видела, что ей нет надобности показывать свое расположение ко мне в такой степени, в какой это показывают другие, — только чтобы получить побольше в обмен. Теперь бы она мне уже не сказала: «По-моему, это глупо — распространяться о своей любви, у меня наоборот: если кто-то мне нравится, я делаю вид, что не обращаю на него внимания. Так никто не догадается». Вот оно что! Разве теперь со мной была прежняя Альбертина с ее игрой в откровенность и безразличием ко всем? Теперь она уже не заявляла, что по-прежнему придерживается этого правила. Теперь она довольствовалась тем, что в разговоре со мной применяла его таким образом: «Не знаю, я ее не разглядела, — так, какое-то ничтожество». И лишь время от времени, чтобы рассказать мне первой о том, что я мог узнать из другого источника, она пускалась в откровенности, но так, что самая их интонация,

прежде чем я мог бы добраться до истины, которую эти откровенности призваны были исказить, оправдать, уже изобличала их лживость.

Прислушиваясь к шагам Альбертины и испытывая блаженство при мысли, что вечером она уже не уйдет, я думал, что для этой девушки, с которой прежде я и не мечтал познакомиться, возвращаться ежедневно домой значит возвращаться ко мне. Блаженство таинственности и чувственности, мимолетное и обрывочное, которое я испытал в Бальбеке в тот вечер, когда она пришла ко мне в отеле, усиливалось, стабилизировалось, заселяло мою комнату, прежде пустую, постоянно пополняло ее запасом домашнего уюта, почти семейного, светлого даже в коридорах, и бестревожно насыщало все мои чувства то не бесцельно, то, когда я был один, в воображении, в ожидании ее возвращения. Когда я слышал, как затворяется дверь в комнату Альбертины, а у меня в это время сидел знакомый, я старался как можно скорей его выпроводить, не расставаясь с ним, однако, до тех пор, когда я был твердо уверен, что он сейчас на лестнице, по которой я поневоле спускался на несколько

ступеней.[83]

В коридоре подле меня стояла Альбертина. «Пока я раздевалась, я к вам послала Андре — только на секунду, проститься», — сказала она и, с развевавшимся все еще вокруг нее большим серым шарфом, спускавшимся с шапочки из шиншиллы, которую я подарил ей в Бальбеке, удалилась к себе в комнату, как будто догадавшись, что Андре, которой я поручил следить за ней, шла ко мне, чтобы о многом довести до моего сведения, между прочим — о встрече с одним знакомым, чтобы внести определенность в те неведомые края, куда они вдвоем отправились на прогулку, которая длилась целый день и которую я не мог себе представить.

Недостатки Андре проявились, она была уже

---

[83] Примечания: 83

Стр. 68. …на несколько ступеней. — В первых изданиях за этой фразой следовал текст, вычеркнутый Прустом в третьей машинописи: «Блок говорил мне, что я непременно простужусь, так как наш дом был пронизан холодом, по нему гуляли сквозняки, и жизнь в нем мне дорого обойдется. На этот холод все жаловались потому, что холода только еще начинались, к ним еще не привыкли, но как раз по этой самой причине во мне росла радость от подсознательного воспоминания о первых зимних вечерах, когда давным-давно, возвращаясь из путешествия, я шел в кафе, где играла музыка, чтобы снова приобщиться к позабытым радостям Парижа. Расставшись со своим старым товарищем, я напевал, поднимаясь по лестнице. Лето, уносясь прочь, увлекало за собой и птиц. Но другие невидимые музыканты заменяли их, они были где-то внутри. Ледяной ветер, на который ворчал Блок, восхитительно проникал сквозь щели наших плохо прикрытых дверей, и его неудержимо приветствовали, подобно лесным птицам

в летние дни, раздававшиеся повсюду напевы Фрагсона, Майоля или Паулюса». Здесь Пруст упоминает популярных в свое время певцов Гарри Фрагсона (1869-1913), Феликса Майоля (1872-1941) в Жана-Поля Паулюса (1845-1908).

не так мила, как при первом знакомстве. Теперь у нее выступило на поверхность что-то вроде едкой тревоги, каждую минуту, как только я заговаривал о чем-нибудь приятном для Альбертины и для меня, готовое слиться в одно, точно волны, образующие на море шквал. Вместе с тем Андре бывала лучше со мной, нежнее — доказательств этому у меня было много, — чем самые любезные люди. Но малейшее проявление радостного чувства — если только не она его вызвала — действовало ей на нервы, раздражало ее, как стук двери, которой изо всех сил хлопнули. Она допускала страдания, в которых не принимала участия, но не допускала чужих удовольствий; если она видела, что я болен, она огорчалась, жалела меня, готова была ухаживать за мной. Но если я получал некоторое удовлетворение, если я продлевал на своем лице минуту блаженства, закрывая книгу и говоря: «Я провел два чудесных часа, пока читал эту интересную книгу», мои слова, которые доставили бы удовольствие моей матери, Альбертине, Сен-Лу, вызывали у Андре что-то вроде возмущения — может быть, чисто нервного характера. Мои услады вызывали у нее раздражение, которое она не в силах была скрыть. Обнаружились у нее и более серьезные

недостатки; однажды, когда я говорил о молодом человеке, который прекрасно играл во все спортивные игры, в гольф и был совершенно несведущ во всех прочих областях и с которым я встречался, когда он гулял со стайкой в Бальбеке, Апдре захихикала: «А вам известно, что его отец вор? Он только избежал судебного следствия. Они храбрятся, но я с удовольствием рассказываю об этом направо и налево. Хотела бы я посмотреть, как это они станут обвинять меня в клевете! У меня есть такая улика!» Глаза у нее сверкали. Потом я узнал, что отец ничего предосудительного не совершил и что Андре знала об этом не хуже всякого другого. Но она вообразила, что сын относится к ней с пренебрежением, и вот она начала ломать себе голову, как бы поставить его в неловкое положение, опозорить его, придумала целый роман с уликами, которые она в своем воображении ему предъявляла, и так как она повторяла это во всех подробностях, то, может быть, в конце концов и сама в это поверила. Так вот (даже не считая ее коротких и злобных вспышек), я не жаждал встреч с той, какою она стала, хотя бы из-за недоброжелательной подозрительности, облегавшей едким и холодным поясом ее истинную сущность, более жаркую и лучшую по

природе. Но сведения, которые она одна могла дать мне о моей подружке, будили во мне живой интерес, я не мог упустить столь редкий случай их получить. Андре входила ко мне, затворяла за собой дверь; они встретили подругу, между тем Альбертина никогда мне о ней не говорила. «О чем они разговаривали?» — «Не знаю; я воспользовалась тем, что Альбертина не одна, и пошла за шерстью». — «За шерстью?» — «Да, Альбертина меня просила». — «Не надо было ходить; это, наверно, для того, чтобы избавиться от вашего присутствия». — «Но она меня об этом просила еще до встречи с подругой». — «А!» — с трудом выдыхал я. Меня вновь охватывали подозрения: «А может, она заранее назначила свидание своей подружке, но не придумала предлога, чтобы остаться одной, когда это ей понадобится?» Во всяком случае, я был твердо уверен, что давнее предположение о горничной (когда Андре говорила мне правду) тут ни при чем. Андре, может быть, в стачке с Альбертиной.

От любви у женщины, — говорил я себе в Бальбеке, — которую наша ревность выбрала себе объектом, остаются главным образом поступки; если она откроет вам их все до одного, вам, пожалуй, легко будет исцелиться от любви. Как бы

ловко ни утаивал ревность тот, кого она мучает, ее довольно быстро разоблачает тот, кто ее вызывает: ведь и он применяет уловки. Ревность пытается сбить нас с толку в том, что может причинить нам боль, и она легко сбивает нас, если мы не предупреждены, почему незначащая фраза может раскрыть скрывающуюся в ней ложь; другие фразы мы и вовсе пропускаем мимо ушей, а ту произносят со страхом, но мы не задерживаем на ней внимания. Потом, когда мы останемся одни, мы еще вернемся к этой фразе и почувствуем, что она не совсем соответствует действительности. Но мы ее помним хорошо! Нам кажется, что она самопроизвольно, по своему почину зародилась в нас; нас подводит наша память; это сомнение принадлежит к роду тех, что в силу нервного состояния мы никак не можем вспомнить: задвинули ли мы засов, — это мы не можем вспомнить в пятидесятый раз так же точно, как и в первый. Можно совершать одно и то же действие бесконечно, но оно не оставит по себе точного и избавительного воспоминания. Мы можем, по меньшей мере, пятьдесят один раз затворять дверь. Пока нервирующая фраза — в прошлом, едва различима, от нас не зависит воскресить ее. Тогда мы устремляем наше внимание к дру-

гим, которые ничего не скрывают; единственное средство, от которого мы отказываемся, — это находиться в полном неведении — тогда у нас отпадет любопытство.

Как только ровность обнаружена, та, что ее вызвала, расценивает ее как недоверие, оправдывающее обман. Чтобы постараться вызвать что-либо, мы первые обманываем, лжем. Андре, Эме обещают нам молчать, но исполнят ли они свое обещание? Блок ничего не мог обещать, потому что ничего не знал. Как бы мало ни говорила Альбертина с каждым из трех, она, с помощью того, что Сен-Лу называл «проверкой сведений», узнает, что мы ей лжем, когда притворяемся безразличными к ее поступкам и выказываем неспособность следить за ее душевными движениями. Отсюда — я имею в виду то, как проводила время Альбертина, — мое постоянное, обратившееся в привычку сомнение, болезненное именно в силу своей неопределенности, действующее на ревнивца так же, как на горюющего начало забвения или умиротворение, рождающееся из неясности; это что-то вроде обрывка письма, которое мне принесла Андре и которое сейчас же поставило новые вопросы: я достиг лишь того, исследуя клочок громадного пространства, раскинувшегося

передо мной, что расширил нам неизвестное, каким мы действительно хотим представить его себе: реальную жизнь другого человека. Я продолжал допрашивать Андре, между тем как Альбертина из чувства стыдливости и желая предоставить мне как можно больше времени (впрочем, старалась ли она мне угодить?), чтобы выспросить Андре, все еще раздевалась у себя в комнате.

«По-моему, дядя и тетя Альбертины меня любят», — рассеянно говорил я Андре, не думая, кому я это говорю. Вдруг я увидел, что ее свежее лицо начинает портиться, как прокисший сироп, оно как будто бы мутнело. В углах ее рта залегла горечь. От Андре с ее девичьей веселостью, которую, как и вся стайка, она, несмотря на свою нервность, проявляла в первый год моего пребывания в Бальбеке и которая теперь (правда, с тех пор прошло уже несколько лет) так скоро гасла у нее, уже ничего не осталось. Но я, наперекор Андре, до того, как она уехала бы к себе ужинать, постарался ее растормошить. «Один человек от вас без ума», — сказал я. В то же мгновение луч радости озарил ее взгляд; сейчас у нее было выражение лица, говорившее о том, что она действительно любит меня. Она силилась

не смотреть на меня, но глаза у нее внезапно стали круглыми, и в них затаился смех. «Кто это?» — спросила она с наивным и плотоядным интересом. Я ей ответил; ей было безразлично, кто, но она была счастлива.

Ей надо было ехать, и она со мной простилась. Появилась Альбертина; она была дезабилье; на ней был то ли красивый крепдешиновый пеньюар, то ли одно из кимоно, описание которых я попросил у герцогини Германтской и дополнением к которому меня снабдила г-жа Сван в письме, начинавшемся со слов: «После Вашего длительного исчезновения я уж было подумала, читая Ваше письмо относительно моих tea gown[84], что получила весточку от воскресшего из мертвых». На ногах у Альбертины были украшенные бриллиантами черные туфельки, которые Франсуаза называла в ярости пантофлями и которые она видела из окна гостиницы на герцогине Германтской, ходившей в таких туфлях вечерами у себя дома, а немного погодя у Альбертины появились туфли из золоченого шевро и из шиншиллы — они были мне дороги, потому что и те и другие являлись как бы знаками (другие туфли ни о чем

[84] Примечания: 84
Платьев для чая (англ.).

не говорили) того, что она живет у меня. У нее были и другие вещи, которые дарил ей не я, как, например, красивое золотое кольцо. Я любовался крыльями орла. «Мне их подарила тетя, — сказала Альбертина. — Несмотря ни на что, она бывает иногда мила. Это меня старит: она мне их подарила в день моего двадцатилетия».

Ко всем этим красивым вещам Альбертина относилась с гораздо более живым интересом, чем герцогиня, потому что, как всякое препятствие к обладанию (для меня это была болезнь, из-за которой прогулки были мне так трудны и так желанны), бедность, более великодушная, чем богатство, обогащает женщин в гораздо большей мере, чем туалет, недоступный им по цене: желанием приобрести этот туалет и тем, что благодаря этому желанию они по-настоящему изучили его и знают подробно и глубоко. Альбертина — потому что не имела возможности приобрести эти вещи, я — потому что, уговаривая ее приобрести их, старался доставить ей удовольствие, — мы напоми-

нали студентов,[85] заранее изучивших картины, которые они жаждали увидеть в Дрездене или в Вене. Напротив: богатые женщины в толчее своих шляп и платьев напоминают посетителей, которые, перед приходом в музей не доставив себе никакого удовольствия, испытывают лишь головокружение, усталость и скуку. Шляпка, пальто на соболевом меху, пеньюар от Дусе, с рукавами на розовой подкладке, приобретали для Альбертины, которая их высмотрела, облюбовала, с помощью характерной для желания сосредоточенности и цепкости взгляда отделила от всего остального, поместила в замкнутом пространстве, где с предельной отчетливостью были видны и подкладка, и шарф, изучила до малейшей подробности, — и для меня, ходившего

[85] Примечания: 85

Стр. 72. …мы напоминали студентов… — Во второй машинописи мысль Пруста развита более пространно (в третьей машинописи этот текст вычеркнут): «…тех студентов, что прочитали массу книг о том или ином живописце, насмотрелись массу репродукций с его картин (а может быть, и видели некоторые из них) и прониклись такой любовью к его искусству, что приходили в отчаяние оттого, что их скудные средства не позволяют им отправиться в Мюнхен или Дрезден, где хранились основные произведения этого художника. Каждое из этих произведений они изучили по описаниям, по фотографиям; сто раз на дню они представляли себе их краски; их влекли малейшие детали этих картин, горшок с молоком, что стоял в углу, расписная скатерть на столе; и тогда, когда они отправлялись наконец в путешествие, посещение музея доставляло им восхитительное чувство гурмана, настолько изголодавшегося, что у него случались уже галлюцинации, и теперь получавшего полное удовлетворение от еды, в то время

как унылое мелькание красок внушало лишь усталость простому посетителю, не способному понять, что же он, собственно, видит, так как он не рассматривал все это мысленно до прихода в музей».

к герцогине Германтской, чтобы она попыталась мне объяснить, в чем заключается необычайность, совершенство, шик той или иной вещи, а также неподражаемость приемов большого мастера, — приобретали значение и прелесть, каких они, конечно, не имели в глазах герцогини, насытившейся, еще не успев войти в аппетит, и даже для меня, если я их видел несколько лет назад, сопровождая элегантную даму во время ее скучнейшего похода к портнихам.

Конечно, Альбертина была прирожденная элегантная дама, таковою она в конце концов и стала. Я заказывал для нее только вещи в своем роде наилучшие, со всеми тонкостями, которые привносили в них герцогиня Германтская или г-жа Сван, а таких вещей у нее постепенно накопилось много. Но это ее ничуть не заботило — ведь она полюбила их с первого взгляда и по отдельности. Если человек увлекается сначала одним художником, потом другим, то в конце концов он станет восхищаться целым музеем, и это будет восхищение не холодное, поскольку оно состоит из вереницы пристрастий, в каждый период времени не имеющих себе равных, но в

конце концов совмещающихся.[86]

Альбертина не была, кстати сказать, пустой девчонкой; она много читала, когда бывала одна, и читала мне, когда мы бывали вдвоем. Она поражала своим умственным развитием.[87] Она говорила (и тут она заблуждалась): «Я прихожу в ужас, когда думаю, что без вас я так бы и осталась глупенькой.[88] Не спорьте, вы открыли мне целый мир идей, о которых я понятия не имела; тем немногим, что из меня вышло, я обязана вам».

То же говорила она и о моем влиянии на Андре. Кто же из них любил меня? И что собой действительно представляли Альбертина и Андре? Чтобы это узнать, вам надо быть неподвижными, перестать жить в непрерывном ожидании, когда вы будете другими, чтобы закрепить ваш образ,

---

[86] Примечания: 86

Стр. 73. …но в конце концов совмещающихся. — Далее в третьей машинописи следует текст, который Пруст вычеркнул, так как решил не вводить Блока в эту часть книги: «Я мог, расставшись с Блоком и действительно испытывая холод, продолжать напевать песенки, что исполняли тогда Майоль или Фрагсон, менее талантливые последователи Паулюса (хотя они и прекрасно пользовались тем, что пришли ему на смену), но я, конечно, и не думал идти их слушать. Я слишком боялся оставлять Альбертину дома одну, пестрая же толпа в кафешантане могла пробудить в ней сожаления и желания; и я оставался с ней дома, греясь у камина, а она весь вечер сидела у пианолы, которую я недавно купил, и играла мне».

[87] Примечания: 87

Она поражала своим умственным развитием. — Во второй машинописи далее следует текст, вычеркнутый Прустом в третьей машинописи:

«Иногда она сама, закатившись смехом, говорила мне: «Вспомните *моего дорогого Расина*». Я отвечал: «Да, да, в Бальбеке, на лужайке». — «Ну да, но только тогда вы не сказали мне, как же я смешна. А в Париже, помните, в тот день, когда вы сказали мне, насколько это глупо. Что там такое написала Жизель? *Мой дорогой друг*. Хорошее было времечко!» Последние слова огорчали меня, но я утешал себя тем, что Альбертина произнесла их, как бы условно возвращаясь в прошлое. Я особенно утешился после того, как она добавила: «Теперь-то я все время спрашиваю себя, как это я могла быть такой глупой девчонкой, верить во все эти штучки».

[88] Примечания: 88

…так бы и осталась глупенькой. — Во второй машинописи далее следует текст, вычеркнутый в третьей машинописи: «Да все говорят, что я далеко ушла. Сначала-то Андре твердила, что, возвращаясь от вас, я приносила с собой не только запах травинок, что вы сжигали, и дым от которых пропитывал мою одежду. Как, вы не знали? Это потому, что вы живете среди всего этого, да только это можно почувствовать за двести метров от вашего открытого окна. Да все ваши книги этим пахнут, ваше пальто, ваша кровать. Но Андре говорила, что даже без этого запаха можно было почувствовать, что я была у вас, ведь, приходя от вас, я говорила, как вы, мой голос становился похожим на ваш, я и фразы строила, как вы. А когда я говорю по телефону, то создается впечатление, что начинаю я совершенно вашими фразами».

надо разлюбить вас, не ждать нескончаемо долго вашего всегда озадачивающего появления, о девушки, о, идущий на смену один другому луч в вихре, в котором мы трепещем, ожидая, что вы вот-вот покажетесь вновь, и с трудом узнавая вас в головокружительной стремительности света! Быть может, мы бы ничего не знали об этой стремительности и все представлялось бы нам неподвижным, если бы половое влечение не заставляло нас бежать к вам — к вам, золотые блестки, всегда не похожие одна на другую и всегда превосходящие наши ожидания. Любая девушка так разнится от той, какою она была прошлый раз (стоит нам заметить ее — и воспоминание, которое мы о ней сохраняли, разбивается вдребезги, а вместе с ним и желание, которое они вызвали в нас), что наше постоянство, о котором мы ей толкуем, превращается в фикцию, употребляющуюся для красоты слога. Нам говорят, что вот эта красивая девушка нежна, любвеобильна, полна самых тонких чувств. Наше воображение верит рекомендующим ее на слово, и, когда впервые появляется перед нами, под кудрявой лентой белокурых волос, диск ее розового лица, мы уже начинаем бояться, что это ее чересчур добродетельная сестра и что, действуя на нас

охлаждающе самой своей добродетелью, она никогда не сможет стать нашей возлюбленной, о которой мы мечтали. Во всяком случае, сколько признаний выслушивает она в первый же час нашей встречи, ибо мы уверовали в ее душевное благородство, сколько планов составили вместе! Но уже несколько дней спустя мы жалеем, что были так доверчивы, ибо во второй раз розовая девушка обращается с нами, как похотливая фурия. Не поручусь, что по истечении нескольких дней, когда розовый свет показывал уловленные нами свои чередующиеся облики, у девушек не меняется внешний movimientum[89], и вот это-то как раз и могло случиться с моими бальбекскими девушками. Вам хвалят кротость, душевную чистоту девицы. Но немного погодя вы чувствуете, что вам хочется чего-то более острого, а ей советуют держаться смелей. В глубине души она больше первая или вторая? Быть может, в меньшей степени вторая, но способная — в бурном потоке жизни — развернуть самые разнообразные возможности. Или еще какая-нибудь девушка, для которой вся радость жизни заключается в беспощадности (которую мы надеялись смягчить), вроде, напри-

[89] Примечания: 89
Движущая часть, двигатель (лат.).

мер, ужасной бальбекской прыгуньи, хлопавшей во время своих скачков по затылкам испуганных стариков, — какое разочарование постигло нас, когда она показала нам свой новый облик в тот момент, когда мы говорили ей нежные слова, вылившиеся наружу при воспоминании об ее жестокости по отношению к другим: мы услышали от нее, в виде музыкального вступления, что она застенчива, что при первом знакомстве она теряется — до такой степени она боязлива — и что только через две недели она могла бы спокойно поговорить с нами! Сталь превратилась в хлопок, нам уже незачем было пробовать что-то разбивать в этой девушке, поскольку она утратила устойчивость. Это случилось само собой, но, пожалуй, и по нашей вине, ибо нежные слова, которые мы обращали к твердости, внушили ей, быть может, — причем никаких корыстных целей в данном случае она не преследовала, — что нужно быть мягче. (Это нас огорчило, но наше поведение было не столь уж бестактно, ибо кротость ее была такова, что, быть может, требовала от нас чего-то большего, чем просто восхищения упрощенной жестокостью.)

Я не поручусь, что в один прекрасный день мы найдем, что даже у наших лучезарных девушек

чересчур суровый нрав, но это будет тогда, когда они перестанут интересовать нас, когда их приход уже не будет для нас появлением чего-то нежданного и при виде новых воплощений сердце у нас не перевернется в груди. Их неизменность явится следствием нашего равнодушия, и оно передаст их на суд разума. Суд в своем решении не выкажет особой категоричности: установив, что такой-то недостаток, преобладающий в характере одной, по счастью, отсутствует у другой, он обнаружит, что полная противоположность этого недостатка — драгоценное качество. Так, из вынесенного рассудком неверного суждения, вступающего в силу, когда мы перестаем проявлять к девушкам интерес, определятся постоянные характеры девушек, о которых мы узнаем не больше, чем о тех, поражавших нас, что представали перед нами в головокружительной быстроте нашего ожидания, представали в течение нескольких недель ежедневно, слишком разные, чтобы мы могли решиться — а ведь бег все не прекращался — распределить их по разрядам, поставить их в определенный ряд. О наших чувствах мы уже говорили немало, повторяться не хочется. Часто любовь есть лишь связь девушки (иначе она скоро опротивела бы

нам) с биением нашего сердца, неотделимого от нескончаемого, напрасного ожидания и от того, как девица однажды надула нас, не пришла на свидание. Все это верно по отношению к наделенным богатым воображением молодым людям, встретившимся с вечно меняющимися девушками. Впоследствии я узнал, что к тому времени, к которому подходит наш рассказ, племянница Жюпьена, должно быть, изменила мнение о Мореле и о де Шарлю. Мой шофер, дабы укрепить в ней чувство к Морелю, восхищался его бесконечной нежностью к ней, но ей что-то не верилось. А Морель все твердил ей, что де Шарлю играет по отношению к нему роль палача и что она видит в нем только злобу, а любви не чувствует. Она вынуждена была выразить свое неудовольствие по поводу того, что де Шарлю, сущий тиран, присутствует при всех их свиданиях. Она наслушалась подтверждавших ее мнение разговоров между светскими дамами о чудовищной злобе барона. Но немного погодя ее мнение было целиком опровергнуто. Она обнаружила в Мореле (хотя все-таки не переставала любить его) бездну злобы и лукавства, хотя, правда, эти чувства он вознаграждал частыми проявлениями душевной мягкости и неподдельной чувствительности, а

у де Шарлю — неожиданную, беспредельную, смешанную с жестокостью доброту, о которой она раньше не подозревала. Таким образом, у нее было столь же неопределенное мнение о том, что на самом деле собой представляют скрипач и его покровитель, как у меня — об Андре, с которой я, однако, встречался ежедневно, и об Альбертине, которая жила в одной квартире со мной.

В те вечера, когда Альбертина не читала мне вслух, она играла, затевала партию в шашки, занимала меня разговором, а я игру в шашки и разговоры прерывал поцелуями. Простота наших отношений действовала успокаивающе.[90] Пустота жизни выработала в Альбертине предупредительность, готовность сделать для меня все, что бы я ни попросил.[91] За этой девушкой,

---

[90] Примечания: 90

Стр. 76. Простота наших отношений действовала успокаивающе — Далее во второй машинописи следовал текст, вычеркнутый в третьей машинописи: «Я не разговаривал с Альбертиной, мы даже не беседовали, мы время от времени едва обменивались то шуткой, то поцелуем, подобно плывущим в лодке по течению и изредка взмахивающим веслами. Большие орлы, похожие на того, что был изображен на ее перстне, почти неподвижные, держатся на головокружительной высоте, лишь едва шевеля крыльями. Я испытывал к ней такую нежность, что ее простые слова и движения трогали меня. Когда она подбрасывала полено в огонь, чтобы мне не было холодно, я поздравлял себя с тем, что имею такую служанку. Когда я звал ее к себе в комнату, чтобы она провела ночь со мной, я восхищался этим послушным существом, я очень ценил то, что у меня такая подружка, которая приходит согреть меня или помочь провести часы бессонницы, когда мне этого хочется».

[91] Примечания: 91

…что бы я ни попросил. — Далее во второй машинописи следовал текст, вычеркнутый Прустом в третьей машинописи: «А если я просил ее, перед тем как лечь рядом со мной, немного поспать в моем кресле, то она так легко засыпала, даже если ей не хотелось спать, и так же легко просыпалась по первому моему зову, что мне казалось, что я слышу в дыхании спящей, которое я мог тут же прервать, легкое журчание фонтана. А когда она гуляла, она сообщала мне, что за погода сегодня. Простенькая вещь, вызывавшая у меня когда-то улыбку, ибо мой отец называл эту вещь „весьма интересной“ (правда, в несколько ином смысле). Но даже признавая не без сожаления, что, когда Альбертина стала жить у меня, я начал вести жизнь менее насыщенную, чем я вел в одиночестве, я не испытывал рядом с этой девушкой того ощущения сухости и пустоты, что внушала мне светская жизнь и даже мужская дружба, дружба Блока и Сен-Лу. Чувственность, дремавшая где-то очень глубоко во мне самом, превращала Альбертину в существо, которое могло дать мне удовольствие, несопоставимое с тем удовольствием, что доставляют нам тщеславие и беседа».

как за пурпурным светом, падавшим к подножию моих занавесей в Бальбеке в тот час, когда гремела музыка, перламутились голубоватые волны моря. Да полно, та ли это девушка (сблизившаяся со мной до того, что, если не считать ее тетки, пожалуй, я был тем, кого она в наименьшей степени отделяла от самой себя), девушка, которую я увидел впервые в Бальбеке, в плоской панамке, с упорным взглядом смеющихся глаз, еще незнакомую со мной, тонкую, как силуэт, вычерчивавшийся на волне? Когда находишь сохранившиеся нетронутыми в памяти образы, то поражаешься их непохожести на нынешние, уже знакомые, и начинаешь понимать, какую искусную работу ваятеля проделывает ежедневно привычка. В той прелести, какую имела для меня Альбертина в Париже, подле камина, еще было живо желание, которое возбуждало во мне вызывающее, цветущее шествие по пляжу, — так Рахиль[92], когда Сен-Лу уже оставил ее, сохраняла для него обаяние театра, — в Альбертине, заточенной у меня в доме, далеко от Бальбека, откуда я ее так быстро увез, жили волнение, социальная неразборчивость, чередующиеся увлечения

[92] Примечания: 92
Рахиль — персонаж книг Пруста, куртизанка, возлюбленная Сен-Лу.

— все как на морском курорте. Она так привыкла к своей клетке, что в иные вечера мне даже не приходилось звать ее в свою комнату, — это ее, за которой когда-то все шли толпой, ее, которую мне стоило таких трудов снова поймать, которая мчалась на велосипеде, которую даже лифтер не мог ко мне привезти и при этом не давал мне никакой надежды, что она придет, и которую я все-таки ждал до утра![93] Альбертина уже не была той, какой она была вблизи отеля, — большой актрисой с пылающего пляжа, возбуждавшей ревность, когда она шла по этой естественной сцене, ни с кем не говорившей, расталкивавшей знакомых, подавлявшей своих подруг, и вот эта актриса, страстно куда-то стремившаяся, — разве это не она же, взятая мной из театра, запертая у

[93] Примечания: 93

Стр. 77. …которую я все-таки ждал до утра! — Далее во второй машинописи следует рукописное добавление, вычеркнутое Прустом в третьей машинописи: «Пронзающие нас копья могут чудесным образом превратиться в цветы. Теперь, когда Альбертина жила у меня и я знал, что она сидит у себя в комнате перед начатой ею картиной или занята гравированием, к чему она последнее время приохотилась, а не проносится со страшной скоростью на велосипеде, что она больше не окружена толпой поклонников и поклонниц, сладостная красота девушки уже не была сотворена из моих страданий. Если раньше я любил ее за те радости, которые я ждал от Бальбека, то теперь я любил ее за воспоминания о нем. Она была как бы частью тех восхитительных послеполуденных встреч, столь непохожих на мою теперешнюю жизнь; и, прижимая к себе эту девушку, я стремился не упустить воспоминания о тех встречах; Альбертина же возбуждала во мне и иное чувство, и, по правде говоря, лишь она одна могла

его утолить. Я был горд, что мне удалось сорвать самую прекрасную розу, что красовалась среди девушек в цвету, удалось унести ее вместе с корнями, удалось увести ее из-под носа всех тех, кто безуспешно разыскивал ее теперь в Бальбеке».

меня, живущая под защитой от желаний всех ее поклонников, всех, кто с тех пор мог тщетно ее искать: то в моей комнате, то в ее, где она немного рисовала или гравировала?[94]

В первые дни моей жизни в Бальбеке Альбертина как будто находилась в плане параллельном тому, где жил я, затем мы стали сближаться (когда я был у Эльстира), потом опять — во время наших встреч в Бальбеке, в Париже, потом опять в Бальбеке. Кстати, какая разница между двумя картинами — Бальбека времен первого моего и второго приезда, картинами, изображающими все те же виллы, откуда выходят все те же девушки и направляются все к тому же морю! Среди подруг Альбертины, появившихся во время моего второго приезда, с отчетливо проступающими на

---

[94] Примечания: 94

…где она немного рисовала или гравировала? — Во второй машинописи далее следует рукописная вставка, вычеркнутая Прустом в третьей машинописи: «И оттого, что она сидела здесь полуодетая, я лишь усилием памяти восстанавливал того человека, каким была она в Бальбеке у моря: настолько мы были теперь другими людьми — и по одежде, и по поведению, и по окружению: изменения произошли и внутри нас, и я сознавал, насколько мало останется от нас прежних, когда износятся эти ткани и им на смену придут другие. Море отступило от нас с легким шумом, который все еще звучал у меня в ушах; и взамен, набравшись знаний, которые она могла получить лишь от меня, Альбертина постепенно сбрасывала старую кожу и покрывалась новой, а я отвыкал от того представления о ее великолепии, сложившегося у меня ранее, на смену которому пришла безыскусственная сладость обладания».

их лицах достоинствами и недостатками, мог ли я отыскать свежих и таинственных незнакомок, которые когда-то, выкрикивая номера своих дач и задевая на ходу трепещущий тамариск, вызывали у меня сердцебиение? С тех пор их глаза стали не такими большими, — вероятно, потому, что они вышли из детского возраста, но еще и потому, что очаровательные незнакомки, актрисы романтичного первого года, о которых я постоянно наводил справки, утратили для меня свою таинственность. Послушно исполнявшие мои капризы, они стали для меня просто девушками в цвету, и теперь я нимало не гордился бы, если б мне удалось сорвать и укрыть от всех самую красивую розу.

Между двумя декорациями, столь непохожими одна на другую, был парижский интервал в несколько лет, и на этом длинном перегоне от Бальбека до Бальбека сколько было приходов Альбертины! Я видел ее в разные годы моей жизни, видел занимавшей по отношению ко мне различные позиции, которые давали мне почувствовать красоту интерферирующих пространств; я представлял себе то долгое время, когда я не видел ее, а между тем в полупрозрачной дали этого времени передо мной вместе со

всеми своими таинственными тенями и мощным рельефом вырисовывалась розовая девушка. Перемена в Альбертине объяснялась не только напластованием одного на другой ее образов, но и ее неожиданными для меня большими умственными способностями, незаурядными душевными качествами, недостатками характера, проставшими, множившимися в пей, ее пышными формами, как бы написанными в темных тонах, — все это наслаивалось на ее натуру, в былое время почти бесцветную, а теперь с трудом поддающуюся изучению. Дело в том, что люди, о которых мы столько мечтали, что они представлялись нам единым образом, фигурой Беноццо Гоццоли[95] на зеленоватом фоне, о которых мы склонны были думать, что происходящие в них малейшие изменения зависят от того, откуда мы на них смотрим, от расстояния, разделяющего нас, от освещения, — эти люди, меняющиеся для нас, меняются и внутри себя, и та фигура, что некогда едва-едва означалась на фоне моря, с течением времени накопляла душевные богатства,

[95] Примечания: 95

Стр. 78. Беноццо Гоццоли (1420-1497) — итальянский художник флорентийской школы. Пруст имеет в виду одну из фигур его фрески «Поклонение волхвов», находящейся во дворце Медичи-Рикарди во Флоренции.

отвердевала и увеличивалась в объеме.

Конечно, не только море в конце дня жило для меня в Альбертине, но порой и тихое шуршание волн на берегу лунными ночами. Иной раз, когда я вставал, чтобы поискать книгу в кабинете отца, моя подружка просила позволения полежать пока у меня на кровати: ее так утомляли долгие утренняя и дневная прогулки на свежем воздухе, что даже если я выходил из комнаты на минутку, то, когда я возвращался, Альбертина уже спала, и я ее не будил. Вытянувшись на моей кровати, приняв такую естественную позу, какой нарочно не выдумаешь, она казалась длинным цветущим стеблем; и точно: обыкновенно я мог спать, только когда ее не было в комнате, но в эти мгновения я обретал способность спать возле нее, как будто, заснув, она из человека превратилась в растение. Ее сон осуществлял для меня в известной мере способность любить; когда я оставался один, я мог думать о ней, но мне ее недоставало, я ею не обладал; когда она была тут, со мной, я говорил с ней, но я был слишком далек от самого себя, чтобы мыслить. Когда она спала, я уже не мог говорить, я знал, что она уже на меня не смотрит, я уже не ощущал потребности во внешней жизни.

Закрыв глаза, погрузившись в небытие, Аль-

бертина отбрасывала одно за другим свойства человеческого существа, которые вводили меня в заблуждение с первого же дня нашего знакомства. Теперь она жила бессознательной жизнью растений, деревьев, жизнью более разнообразной, чем моя, более необычной и, однако, в еще большей степени принадлежала мне. Ее «я» не ускользало поминутно, как во время нашей беседы, через все отверстия невысказанной мысли и взгляда. Она притягивала к себе все, что еще оставалось от нее во внешнем мире; она укрывалась, замыкалась, сосредоточивалась в своем теле. Она была под моим взглядом, в моих руках, и у меня создавалось впечатление, что я владею ею всей, — впечатление, исчезавшее, как только она просыпалась. Ее жизнь была подчинена мне, я ощущал на себе ее легкое дыхание.

Я вслушивался в это таинственное, шелестящее излучение, ласковое, как морской ветерок, волшебное, как лунный свет, — в то, что было ее сном. Пока он длился, я мог думать о ней, смотреть на нее, а когда он становился глубже, то — дотрагиваться до нее, обнимать ее. В эти мгновенья я любил ее такой же чистой, такой же идеальной, такой же таинственной любовью, какою я любил неодушевленные создания, со-

ставляющие красоту природы. Когда она спала чуть крепче, она была уже не только растением; ее сон, на берегу которого я мечтал, охваченный освежающим наслаждением, которое никогда не утомляло меня и которое я мог бы впивать в себя до бесконечности, — это был для меня целый пейзаж. Ее сон распространял вокруг меня нечто столь же успокоительное, столь же изумительно сладострастное, как бальбекская бухта в полнолунье, затихавшая, точно озеро, на берегу которого чуть колышутся ветви деревьев, на берег которого набегают волны, чей шум ты без конца мог бы слушать, разлегшись на песке.

Войдя к себе в комнату, я останавливался на пороге, боясь чем-нибудь стукнуть и не слыша иного звука, кроме дыхания Альбертины, излетавшего из ее губ через один и тот же промежуток времени, точно прилив, но только более успокаивающий и более мягкий. И в тот миг, когда я улавливал этот божественный звук, мне казалось, будто вся она, вся жизнь прелестной пленницы, лежавшей у меня перед глазами, поместилась во мне. По улице с грохотом проезжали экипажи — ее лоб оставался по-прежнему неподвижным, по-прежнему гладким, ее дыхание — по-прежнему легким, — это было просто-на-

просто необходимое выдыхание воздуха, не более. Затем, видя, что ее сон все так же глубок, я делал несколько шагов по комнате, садился на стул у кровати, потом на кровать.

Я провел ряд чудесных вечеров, беседуя, играя с Альбертиной, но особенно сладостны были те вечера, когда я видел ее спящей. Болтая, играя в карты, она была так естественна, что никакая актриса не взялась бы ей подражать; ее сон — это была более глубокая, высшая естественность. Ее волосы лежали на подушке, около ее розового лица, и порой выбившаяся прямая прядь производила тот же эффект перспективы, что и озаренные луной, тонкоствольные, белые деревья, стоящие совершенно прямо в глубине рафаэлевских картин Эльстира. Если губы Альбертины были плотно сжаты, — не так, как до моего ухода, — то ее веки были только чуть-чуть сомкнуты, так что можно было усомниться: правда ли она спит. И все же, благодаря опущенным векам, ее лицо являло собой нечто безукоризненно единое — такое единство не нарушили бы глаза. Есть люди, чьи лица вдруг становятся такими необыкновенно прекрасными и величественными, что отсутствие взгляда не имеет для них значения.

Я смотрел сверху вниз на Альбертину. Временами по ней пробегала легкая, необъяснимая дрожь — так листья на деревьях некоторое время трепещут под неожиданно налетевшим ветром. Она дотрагивалась до волос, затем, не сумев сделать того, что ей хотелось, протягивала к ним руку такими настойчивыми, такими сознательными движениями, что казалось, она вот-вот проснется. Ничуть не бывало; она опять спала спокойным сном. После этого она уже была неподвижна. Она бессильно опускала руку на грудь, и в этом было столько наивно-ребяческого, что, наблюдая за ней, я едва удерживался от улыбки, которую своей серьезностью, невинностью и прелестью вызывают на наши лица маленькие дети.

Я знал нескольких Альбертин в ней одной; мне казалось, что много других Альбертин лежат подле меня. Я словно впервые видел дуги ее бровей: они окружали шары ее век, образуя мягкие гнезда зимородка. На ее лице оставили свой след расы, атавизмы, пороки. Всякий раз, как ее голова меняла положение, рождалась новая женщина, часто мне незнакомая. Казалось, будто я обладаю не одной, а неисчислимым множеством девушек. Ее дыхание, все более и более глубокое, равномерно поднимало ее грудь и, на груди, скрещенные

руки, бисеринки, перемещенные одним движением, — так волна колышет лодки или якорные цепи. Чувствуя, что она спит непробудным сном, что я не натолкнусь на подводные камни сознания, накрытые сейчас морем глубокого сна, я смело и бесшумно прыгал в постель, ложился рядом с Альбертиной, одной рукой брал ее за талию, целовал в щеку и в сердце; куда бы я ни положил вторую руку, она пользовалась полной свободой, и ее тоже колыхало, как и бисеринки, дыхание спящей; ее легко перемещало равномерное движение; я причаливал к сну Альбертины.

Иногда я испытывал менее чистое наслаждение; для этого мне не надо было делать никаких движений, я только опускал ногу на ее ногу — так отпускают весло, и его время от времени покачивает легкая зыбь, которая напоминает перемежающееся биение крыльев у птиц, спящих в воздухе. Я смотрел на ту сторону ее лица, которой никогда раньше не видел, а между тем она была так прекрасна! Буквы в письме, которое вам пишет кто-либо, хотя и похожи приблизительно одна на другую, все-таки рисуют облик более или менее отличный от облика известного вам человека, так что двух одинаковых обликов не получается. Но как странно, что одна жен-

щина, точно Розита к Доодике,[96] прилепилась к другой женщине, совершенно иная красота которой притягивает к себе другой характер, и, чтобы разглядеть одну, надо смотреть на нее в профиль, а на другую — анфас! Когда дыхание Альбертины становилось более шумным, то создавалось впечатление, что она задыхается от счастья, и, когда мое счастье достигало предела, я мог обнимать Альбертину, не нарушая ее сна. В эти мгновения мне казалось, что я овладел ею всецело, словно неодушевленным предметом, не встречая сопротивления, как не встретил бы его в мертвой природе. Меня не волновали слова, порой излетавшие из ее спящих уст: их смысл был для меня неясен, а кроме того, незнакомка, чье имя она называла, была у меня на руке, на щеке, которую ее рука, порой охваченная легкой дрожью, сжимала на миг. Я наслаждался ее сном с бескорыстной и умиротворяющей любовью, как будто бы я часами слушал прибой.

Быть может, мы должны много страдать из-за человека, чтобы в часы передышки он вознаграждал нас тем умиротворяющим покоем, каким

[96] Примечания: 96

Стр. 81. ...точно Розита к Доодике... — Речь идет о двенадцатилетних сестрах, сиамских близнецах, Розите и Доодике, которых показывали в парижских мюзик-холлах во время всемирной выставки 1900 г.

дышит природа. Мне нечего было ей ответить, как во время наших бесед, я имел полную возможность молчать — совершенно так же, как я молчал, когда она говорила: слушая ее, я все же не проникал в ее сущность. Я продолжал прислушиваться к ней, вслушиваться поминутно, о чем шепчет успокаивающее, как невидимый бриз, ее чистое дыхание; передо мной была принадлежавшая мне целая жизнь — та самая жизнь, в которую я когда-то так же долго всматривался, вслушивался, лежа под луной на пляже. Иной раз я слышал разговоры о том, что море неспокойно, что даже в бухте чувствуется приближение грозы, и я шел навстречу буре, чтобы послушать гул ее уже хриплого дыхания.

Иногда, в жаркий день, она, полусонная, снимала кимоно и бросала на кресло. Пока она спала, я говорил себе, что все ее письма — во внутреннем кармане кимоно; она всегда клала туда письма. Почерка, назначавшегося свидания было бы для меня достаточно, чтобы доказать, что она *лжет*, или чтобы рассеять мое сомнение. Когда я чувствовал, что Альбертина спит крепким сном, я спускал ногу с кровати, где я уже давно смотрел на нее, не двигаясь, и, подстрекаемый жгучим любопытством, уверенный, что тайна ее жизни

разоблачена, лишена основы, что тайне нечем прикрыться, я отваживался сделать шаг по направлению к креслу. Быть может, я делал этот шаг еще и потому, что неподвижно смотреть на спящего человека утомительно. Итак, тихохонько, все время оборачиваясь, чтобы убедиться, спит ли по-прежнему Альбертина, я доходил до кресла. Тут я останавливался и долго осматривал кимоно, так же, как я долго рассматривал Альбертину, но (и, быть может, в этом была моя ошибка) я ни разу не дотронулся до кимоно, не сунул руку в карман, не посмотрел на письма. В конце концов, уверившись, что не решусь, я на цыпочках крался обратно к кровати и опять смотрел на спавшую и ни слова мне не говорившую Альбертину, меж тем как на спинке кресла висело кимоно, которое, быть может, о многом бы мне рассказало.

И в то время как другие платили сто франков в день за комнату в бальбекском отеле, чтобы дышать морским воздухом, я находил вполне естественным расходовать на Альбертину больше, потому что ощущал ее дыхание на моей щеке, во рту, который я открывал навстречу ее рту, где, напротив моего языка, шла ее жизнь.

Но счастье видеть ее спящей, такое же сла-

достное, как счастье чувствовать, что она живет, сменялось другим — счастьем видеть, что она пробуждается. Оно было еще более глубоким и таинственным, чем даже счастье, что она живет у меня. Разумеется, я был счастлив тем, что она во второй половине дня, выйдя из экипажа, входила не куда-нибудь еще, а именно в мою квартиру. Я был еще более счастлив тем, что когда из глубины сна она поднималась по самым высоким его ступеням к возврату сознания и к жизни, то это происходило у меня в комнате, тем, что, спросив себя: «Где я?» — и увидев вещи, которыми она была окружена, лампу, от света которой она слегка жмурилась, увидев, что она проснулась у меня в комнате, она могла с уверенностью ответить: «У себя». В эту первую чудную нерешительную минуту у меня было такое чувство, что я заново и более полно обладаю ею, потому что, уйдя, она опять пришла ко мне в комнату, что эта комната стала опять моей, как только ее узнала Альбертина, что сейчас моя подружка заключит ее в себе, вберет ее в себя, и при этом ее глаза не выразят ни малейшего смущения, будут так же спокойны, как будто она и не засыпала. Растерянность при пробуждении сказывалась в ее молчании, но не во взгляде.

К ней возвращался дар речи; она говорила: «Мой» — или: «Мой милый», затем произносила одно или другое имя, данное мне при крещении, а так как у повествователя то же имя, что и у автора этой книги, то получалось: «Мой Марсель», «Мой милый Марсель!». С тех пор я не позволял никому из моих родственниц называть меня «милый»: дивные слова, которые мне говорила Альбертина, утрачивали от этого свою неповторимость. Говоря мне их, она строила гримаску, которую она же сама сменяла поцелуем. Пробуждалась она так же быстро, как засыпала.

Не столько мое перемещение во времени, не столько возможность смотреть на девушку, сидящую под лампой, освещающей иначе, чем солнце, когда оно, стоя, движется по морю, не столько непридуманное обогащение моей жизни, не столько прогресс в Альбертине, которым она была обязана себе самой, послужили важной причиной различия между тем, как я смотрел на нее теперь, и тем, как я смотрел на все вначале в Бальбеке. Два образа может разделять большее число лет и все-таки не произвести такой полной перемены; перемена произошла, существенная и внезапная, когда я узнал, что мою подружку почти воспитала приятельница

мадмуазель Вентейль. Если прежде я загорался, когда мне казалось, что в глазах Альбертины я вижу тайну, то теперь я был счастлив только в те минуты, когда с ее глаз, с ее щек, столь же прозрачных, как и ее глаза, порою нежных, порою — мгновенно — нахмуривавшихся, мне удавалось согнать какую бы то ни было тайну. Образ, который я искал, который веял на меня покоем, за который я готов был умереть, это был не образ Альбертины, ведущей неведомую мне жизнь, — это была Альбертина, ясная для меня, насколько это возможно (потому-то моя любовь не могла быть продолжительной, а если бы она продолжалась, то это была бы несчастная любовь, так как, по существу своему, она не испытывала бы потребности в тайне); это была Альбертина, не являвшаяся отражением дальнего мира и желавшая одного — минутами мне казалось, что это именно так, — быть со мной, быть во всем похожей на меня, быть Альбертиной, образ которой только мой, а не чей-либо еще.

Если вот так, из тоски по ком-либо, из неуверенности, сможешь ли ты его удержать или он ускользнет, возникает любовь, то на любви этой лежит печать породившей ее революции, и она лишь очень смутно напоминает то, что пред-

ставлялось нам до сих пор, когда мы думали о любимом существе. И лишь малая часть моих первых впечатлений от Альбертины, сложившихся на берегу моря, продолжала жить в моем чувстве к ней; на самом деле давние впечатления занимают небольшое место в такого рода любви с ее силой, с ее страданиями, с ее потребностью в ласке и с ее тягой к воспоминанию спокойному, успокаивающему, с желанием укрыться в нем и больше ничего не знать о любимой, хотя бы о ней ходили темные слухи; даже если вы сохранили давние воспоминания, такая любовь создана из совсем другого материала!

Иной раз я тушил свет до ее прихода. Она ложилась рядом со мной в темноте, при слабом свете головешки, указывавшем ей дорогу. Мои глаза, часто боявшиеся найти в ней перемену, не видели ее — ее узнавали только мои руки, мои щеки. Благодаря такой слепой любви, она, быть может, чувствовала, что я проникнут к ней нежным чувством, более глубоким, чем обыкновенно.

Я раздевался, ложился, Альбертина садилась в уголочек кровати, и мы продолжали отложенную партию в карты или разговор, прерванный поцелуем; и, охваченные желанием, — а ведь только желание пробуждает в нас интерес к жизни и

к характеру женщины, — мы остаемся такими верными нашей натуре, мы так скоро забываем одну за другой тех, кого мы любили прежде, что как-то раз, увидев себя в зеркале в тот момент, как я обнимал Альбертину и называл ее «моя девочка», увидев скорбное и страстное выражение моего лица, похожее на то, какое у меня бывало, когда я смотрел на Жильберту, о которой я теперь и не вспоминал, — быть может, на другой день после того, как я давал себе клятву навсегда забыть Альбертину, — я невольно подумал, что, несмотря на все сложившиеся у нас мнения о человеке (инстинкт требует, чтобы мы считали последнее наше мнение самым верным), я не мог не исполнить долг пламенного и мучительного обожания, не принести как бы жертвы женской молодости и красоте. И все-таки к желанию, приносившему в честь молодости некий обет, а также к бальбекским воспоминаниям у меня примешивалось выражавшееся в потребности все вечера не отпускать от себя Альбертину нечто до сих пор чуждое мне, во всяком случае — чуждое моим сердечным делам, а может быть, даже и совсем для меня новое. То было успокоение, какого я не испытывал со времен далеких вечеров в Комбре, когда мать, склонившись над

моей кроватью, успокаивала меня поцелуем. Конечно, я был бы тогда очень удивлен, если б мне сказали, что во мне есть дурные черты, главное — что я все время стараюсь кого-нибудь лишить удовольствия. Без сомнения, я потом поступал дурно; вместо удовольствия, заключавшегося в том, что Альбертина живет в моей квартире, я должен был бы доставить себе менее эгоистичное удовольствие — уйти из того мира, где каждого могла бы увлечь девушка в цвету; если уж она не внесла в мою жизнь большой радости, то пусть бы она не лишала ее других. Честолюбие, слава меня не волновали. Еще менее я был способен кого-нибудь возненавидеть. А вот плотская любовь, радость победы над множеством соперников — это было во мне сильно. Об этом я никогда не устану говорить, это было самым большим моим успокоением.

Я мог сколько угодно, пока Альбертина не вернулась, сомневаться в ней, воображать, что она в Монжувене, — раз она в пеньюаре сидела напротив моего кресла или если, чаще всего, я лежал в постели, я опять начинал говорить ей о своих подозрениях, я донимал ее своими подозрениями для того, чтобы она избавила меня от них, — так от верующего требуют покаяния на исповеди.

Она могла целый вечер, шаловливо свернувшись клубочком на моей кровати, играть со мной, как большая кошка; в ее розовом носике, кончик которого становился еще меньше, и кокетливом взгляде, какой бывает у лукавых, избалованных, холеных существ, было что-то задорное, зовущее; вот она, распустив длинную черную прядь волос по щеке, точно из розоватого воска, полузакрыла глаза, руки у нее повисли, и весь ее вид говорит: «Делай со мной что хочешь»; когда, в момент расставания, она подходила попрощаться, я целовал почти родственную нежность двух сторон ее крепкой шеи — теперь я не находил, что шея у нее чересчур загорелая и что у нее слишком большие родинки, как будто эти важные качества имели какое-то отношение к неизменной доброте Альбертины.

«Вы завтра поедете с нами, злюка противный?» — «А куда?» — «Это будет зависеть от погоды и от вас. Вы хоть что-нибудь написали за это время, детенок? Нет? Тогда, значит, надо было ехать гулять. Кстати, скажите: когда я вернулась, вы узнали мои шаги, догадались, что это я?» — «Конечно. Разве тут можно ошибиться? Разве среди тысячи шагов не отличишь шаги моей маленькой дурочки? Пусть только она позволит мне разуть

ее перед тем, как она ляжет, — это доставит мне большое удовольствие. Вы такая миленькая и такая розовая на фоне белизны кружев».[97]

Так я говорил с ней; в моей речи, наряду с языком страсти, вы узнаете излюбленные выражения моей матери и бабушки. С течением времени я становился все более похож на всех моих родственников: на отца, который — разумеется, не так, как я, ибо повторяется все, но с разными вариантами, — проявлял живой интерес к тому, какая сегодня погода, и не только на отца, но — все больше и больше — на тетю Леонию. Иначе Альбертина могла бы быть для меня только поводом для выезда из дома: чтобы не оставлять ее одну, без моего надзора. Елейная тетя Леония, с которой, клянусь, у меня не было решительно ничего общего, — и я, обожавший

[97] Примечания: 97

Стр. 86. «…такая розовая на фоне бледных кружев». — Далее в третьей машинописи следует рукописная вставка, не использованная Прустом (этот текст есть и в беловой рукописи, где он сопровождается пометкой: «Быть может, использовать в другом месте, например, разговоры Франсуазы о кольцах»): «Наступала очередь Альбертины пожелать мне спокойной ночи, целуя меня в шею; ее волосы ласкали меня, будто крыло, покрытое мягкими, но колкими перьями. Как бы ни были похожи друг на друга эти два прощальных поцелуя перед сном, но поцелуй Альбертины, просовывавшей язык мне в рот, словно это было святое причастие, награждавшее меня покоем на всю ночь, казался мне столь же сладостным, как и поцелуй мамы, в Комбре, когда она прикасалась губами к моему лбу».

земные утехи, всем своим видом резко отличавшийся от этой маньячки, у которой никаких утех не было, маньячки, молившейся по целым дням, я, страдавший оттого, что не могу посвятить себя литературе, меж тем как тетя Леония была единственным человеком в нашей семье, который никак не мог понять, что читать — это совсем не то, что «развлекаться», откуда вытекало, что даже на Пасху читать дозволялось только в воскресенье, когда всякое серьезное занятие воспрещалось, с тем чтобы Пасху освящала только молитва. Так вот, хотя я каждый день находил отговорку, ссылаясь на какое-то особенное недомогание, благодаря чему я так часто валялся на кровати дома, все же было на свете существо — не Альбертина, — существо, мною не любимое, но существо, имевшее надо мной гораздо большую власть, чем любимое; существо, переселившееся в меня, деспотичное до того, что заглушало подчас во мне ревнивые подозрения или, во всяком случае, удерживало меня от того, чтобы я ехал проверять, обоснованны они или нет, — этим существом была тетя Леония. Ну разве я не походил на отца, даже не превзошел его, так как не довольствовался тем, что смотрел, как он, на барометр, но сам превратился в живой барометр?

Разве я не слушался приказаний тети Леонии, лишь бы остаться наблюдать погоду, но только в комнате и даже в кровати? И с Альбертиной я говорил теперь то как ребенок, который в Комбре говорил с матерью, то как бабушка со мной. Когда мы достигаем известного возраста, душа ребенка, которым мы были, и душа мертвых, из которой мы вышли, пригоршнями бросают нам свои богатства и свои злополучия, прося присоединить их к новым чувствам, которые мы испытываем теперь, переплавить и, стерев их прежнее изображение, сотворить нечто своеобразное. Так, все мое прошлое, начиная с самых далеких лет, и, за их чертой, прошлое моих предков примешивали к моей нечистой любви к Альбертине ласковую нежность, сыновнюю и вместе с тем материнскую. Мы должны ждать, что в определенный час к нам придут издалека наши предки и соберутся вокруг нас.

Прежде чем Альбертина меня послушалась и сняла туфли, я распахнул ее сорочку. Ее маленькие высокие груди были так круглы, что казались не столько составной частью ее тела, сколько выросшими на нем двумя плодами; ее живот (маскировавший место, безобразящее мужчину, как кусок проволоки, что торчит из

поврежденной статуи) сжимался при сближении бедер — двух створок, образовывавших излучину, такую же мягкую, такую же нежащую взгляд, такую же безгрешную, как окоем в тот час, когда зайдет солнце. Альбертина снимала туфли, укладывалась рядом со мной.

О, бессмертное положение тел Мужчины и Женщины, стремящихся соединиться со всей невинностью первых своих дней и с податливостью глины, которую разломил Творец, первых дней, когда Ева изумленно и покорно стоит перед Мужчиной, рядом с кем она пробудилась, как пробудился он, пока еще один, перед лицом сотворившего его Бога! Альбертина уронила свою черноволосую голову на сцепленные руки, разжала бедра, ноги у нее изогнулись в виде шеи у лебедя, который вытягивается и изгибается, чтобы потом снова занять прежнее положение. Если Альбертина лежала на боку, ее лицо (доброе и красивое, если смотреть на нее анфас) вдруг становилось таким, какое я не выносил, — нос крючком, как на некоторых карикатурах Леонардо,[98] взгляд злобный, алчный, хитрый, точно у шпионки, — и какое всегда приводило меня в

[98] Примечания: 98

Стр. 88. ...на некоторых карикатурах Леонардо... — Имеются в виду сатирические рисунки Леонардо да Винчи.

ужас, ибо мне казалось, что если смотришь на ее лицо в профиль, то с него спадает маска. Я сейчас же брал Альбертину за лицо и повертывал так, чтобы снова видеть его фас. «Будьте добры, обещайте мне, что если вы не поедете завтра, то будете работать», — говорила моя подружка, снова надевая сорочку. «Хорошо, но только подождите, не надевайте пеньюара». Иногда я засыпал, лежа рядом с ней. В комнате становилось холодно, надо было принести дров. Я пытался найти у себя за спиной звонок — мне это не удавалось; я нащупывал медные пластинки, между которыми висел звонок, Альбертине же, вскакивавшей с кровати, чтобы Франсуаза не увидела, что мы лежим рядом, я говорил: «Нет, подождите минутку, я не могу найти звонок».

В эти сладостные, веселые, на поверхностный взгляд, невинные мгновенья растет, однако, непредугадываемая возможность беды; в жизни любящего сердца, исполненной контрастов, как никакая другая жизнь, непредвиденный серный и смоляной дождь низвергается вслед за самыми радостными минутами, а мы, не осмеливаясь извлечь из несчастья урок, тотчас же снова начинаем лазать по бокам кратера, откуда может вырваться только катастрофа. Я был беспечен,

как все верующие в продолжительность счастья. Именно благодаря тому, что блаженное состояние было необходимо, так как сменилось потом душевной болью, — и оно будет еще на время возвращаться успокаивать ее, — люди могут быть искренни с другими и даже с самими собой, когда они радуются, что женщина с ними добра, хотя, если уж говорить начистоту, внутри их связи шевелится втихомолку непрерывная, никому не поверяемая, обнаруживающаяся нечаянно, при ответах на вопросы, при расспросах, мучительная тревога. Но она не могла бы родиться без предшествующего ей блаженного состояния; даже впоследствии перемежающееся блаженное состояние остается необходимым, чтобы можно было терпеть боль и избегать разрывов, маскировка же тайного ада, который представляет собой совместная жизнь с женщиной, более того, выставление напоказ интимной стороны этой жизни, будто бы отрадной, есть выражение правильности точки зрения, непосредственной связи причины со следствием, один из способов, благодаря которому становится возможной душевная боль.

Я уже не удивлялся тому, что Альбертина живет в моей квартире и должна ехать завтра только

со мной или под надзором Андре. Привычки совместной жизни, четкие границы моего существования, которые никто не мог нарушить, кроме Альбертины, а также (в плане будущего, пока еще мне неведомого, в плане моей дальнейшей жизни, как бы начертанном ваятелем для памятника, который будет возведен еще не скоро) дальние границы, параллельные этим, но более широкие, с помощью которых во мне обозначался как бы уединенный скит, рождалась не отличавшаяся ни особой гибкостью, ни однообразием формула будущих моих увлечений, на самом деле возникли в Бальбеке, в ту ночь, когда Альбертина открыла мне в пригородном поезде, кто ее воспитал, и я тут же решил любой ценой помочь ей освободиться от некоторых влияний и несколько дней не отпускать от себя ни на шаг. Дни шли за днями, привычки приобрели механичность, но, как по поводу некоторых обрядов, до смысла которых история тщетно пытается докопаться, я на вопрос: почему я веду столь уединенный образ жизни, почему больше не хожу даже в театр, мог бы (но только не хотел) ответить нечленораздельно, что источником его является вечерняя тоска и потребность доказать самому себе, что в последующие дни той, о чьем

порочном детстве мне довелось узнать, не представится возможности поддаться, если она того пожелает, прежним искушениям. Я довольно редко думал о таких возможностях, но все же смутные мысли об этом должны были остаться в моем сознании. Уничтожение этих возможностей, или по крайней мере усилия, направленные к их уничтожению, конечно, с каждым днем становилось все более видимой причиной, отчего мне так приятно целовать эти щеки, хотя они были не лучше, чем у многих других; под каждым плотским влечением, более или менее глубоким, кроется постоянное ожидание опасности.

***

Я давал Альбертине обещание, что если не поеду с ней, то примусь за работу. Но на другой день, точно воспользовавшись нашим сном, наш дом каким-то чудом совершал путешествие, и я просыпался в другую погоду, в другом климате. В тот момент, когда вы причаливаете к новой стране и начинаете приспосабливаться к ее условиям, вам не до работы. И так каждый день становился для меня еще одной страной. Как мне было распознать мою лень под разными формами, в которые она облекалась? В дни, когда, как мне говорили,

дождь зарядил, только сидение дома, вокруг которого ровно и однообразно стучали капли, имело свою необъяснимую прелесть, сулило успокоительную тишину, увлекательность морского путешествия; в другой раз, ясным утром, остаться лежать на кровати значило позволить теням кружиться вокруг меня, как вокруг дерева. А иной раз, когда при первом ударе колоколов соседнего монастыря, редких, как утренние богомолки, когда темное небо едва-едва белело от изменчивых снеговых облаков, таявших и разгонявшихся теплым ветром, я предвидел, что день будет бурный, безалаберный, но приятный, когда с крыш, мокрых от перемежающихся ливней, которые сушит ветер или солнечные лучи, стекают, воркуя, потоки воды, когда в промежутках между дождями крыши лоснятся под неверным солнцем, расцвечивающим всеми цветами радуги их переливчатый шифер; день, полный бесчисленных перемен погоды, вихрей, гроз, так что ленивец не считает, что это для него потерянный день, ибо его внимание было привлечено деятельностью, но только проявлявшейся для него не на свежем воздухе, а — в известном смысле — у него в доме; день, похожий на день восстания или войны, который не кажется пустым школь-

нику, не пошедшему в класс, потому что, когда он находится около Дворца Правосудия[99] или читает газеты, у него создается иллюзия, что, хотя он и не выполнил своих обязанностей, зато в происходящих событиях нашел пищу для ума и оправдание своему шалопайству; день, наконец, подобный тому, в который в нашей жизни происходит какое-нибудь событие чрезвычайной важности и тот, кто никогда ничего не делал, надеется, если только все кончится благополучно, извлечь из него привычку к труду; например, утром он идет на дуэль, которая должна состояться на необыкновенно опасных условиях, и вдруг перед ним явственно обозначается в тот момент, когда он, может быть, лишится жизни, ее цена: он мог бы воспользоваться жизнью, чтобы стать писателем, наконец, просто чтобы получать от нее удовольствие, а он не сумел ничего от нее взять. «Если меня не убьют, — говорит он себе, — я в ту же минуту примусь за дело, и как же я буду развлекаться!» Жизнь, в самом деле, внезапно приобрела для него громадную ценность, ибо он представил себе, что жизнь может дать много, а не ту малость, какую он ежедневно из нее вы-

[99] Примечания: 99

Стр. 90. Дворец Правосудия — комплекс построек, занимаемых высшим судебным учреждением Франции.

колачивал. Теперь он видит ее такой, о какой он мечтает, а не такой, с какой опыт научил его кое-как расквитываться, то есть весьма жалкой. Жизнь сразу полнится трудом, путешествиями, поездками в горы, всякими превосходными вещами, о которых он думает, что роковой исход дуэли сделает их невозможными, забывая о том, что они были для него невозможны и до дуэли в силу дурных привычек, которые не прекратили бы в нем существования без всякой дуэли. Он возвращается с поединка, не будучи даже ранен. И наталкивается на те же препятствия удовольствиям, поездкам, путешествиям, всему, чего навсегда лишила бы его смерть, а он только что так этого боялся! Ведь для всего этого нужно жить полной жизнью! Что же касается труда, — исключительные обстоятельства усиливают то, что жило в человеке до них: в трудолюбивом — трудолюбие, в бездельнике — лень, — то он избавляет себя от него.

Я поступал так же, как он, и как поступал всегда, давным-давно приняв решение стать писателем, но только мне все казалось, что это решение я принял вчера, и смотрел на каждый новый день как на еще не наступивший. Я проводил таким же образом, ничего не делая, день проливней

и просветов и давал себе слово начать работу завтра. В безоблачный день я чувствовал себя по-другому; золотой звон колоколов не содержал в себе, словно мед, только свет — он содержал в себе ощущение света и приторный вкус варенья, потому что в Комбре звон, как оса, часто подолгу не унимался над нашим столом, с которого уже убрали. В такой ослепительно яркий солнечный день лежать все время с закрытыми глазами — это было позволено, это было обычно, полезно для здоровья, забавно, по сезону: все равно что от жары закрывать шторы. В один из таких дней, в начале моего второго приезда в Бальбек, я слушал скрипичный концерт, звуки которого до меня долетали сквозь голубоватые всплески прибоя. Насколько же в этот день Альбертина была мне ближе! В такие дни на поверхности колокольного звона, отбивавшего часы, возникала пластинка, такая новенькая, так плотно лежавшая в мокроте или в свету, точно это был перевод для слепых или, если хотите, перевод на язык музыки очарования дождя, очарования солнца. В такие минуты, лежа с закрытыми глазами в кровати, я говорил себе, что транспонировать можно все и что только слышимая вселенная может видоизменяться, как и всякая другая. Изо

дня в день лениво покачиваясь в лодке и все время видя перед собой новые волшебные воспоминания, которых я не выбирал, которые только что были от меня скрыты и которые моя память развертывала передо мной одно за другим без моей подсказки, я лениво продолжал прогулку по ровному пространству в солнечном свете.

Утренние концерты в Бальбеке не были далеким прошлым. И тем не менее в ту относительно недавнюю пору я еще не очень интересовался Альбертиной. Даже в первые дни после приезда я не знал, что она в Бальбеке. Кто же это мне сказал? Ах да, Эме! Был такой же солнечный день, как сегодня. Славный Эме! Он был рад меня видеть. Но Альбертину он не любит. Не могут же ее любить все. Да, это он сообщил мне, что она в Бальбеке. Как же это он узнал? Ах да, он ее встретил и нашел, что она — дурного пошиба. В этот момент к рассказу Эме причалило другое лицо, не то, которое он описывал, и моя мысль, до сих пор с улыбкой плававшая в водах счастья, вдруг взорвалась, как бы наскочив на опасную невидимую мину, коварно установленную в этом месте моей памяти. Он сказал, что он ее встретил, что она дурного пошиба. Что он хотел этим сказать? Я понял, что вульгарна, так как, чтобы успеть до

него высказать противоположное суждение, я заявил, что в ней есть тонкость обхождения. Да нет, может быть, он хотел сказать, что она — гоморритянка. Она была с подругой; может быть, они шли в обнимку, смотрели на других женщин, которые действительно были того «пошиба», какого я никогда не замечал у Альбертины. Кто была ее подруга? Где Эме повстречался с этой отталкивающей Альбертиной? Я старался припомнить, что мне дословно говорил Эме, — я хотел убедиться, имеет ли это отношение к тому, что я себе представлял, или он имел в виду просто манеры. Но я зря его расспрашивал: особа, о которой шла речь, и особа, о которой было что вспомнить, — увы! — это было одно и то же лицо, это был я, мгновенно раздваивавшийся, но ничего нового не сообщавший. Я мог без конца задавать вопросы — я же на них и отвечал, я ничего больше не узнавал. Я уже не думал о мадмуазель Вентейль. Вызванный новым подозрением, приступ ревности был тоже новым, или, вернее, он был продолжением, развитием подозрения; у него была все та же сцена, но только не Монжувен, а дорога, на которой Эме встретил Альбертину; в качестве предметов — подруги, та или другая из которых могла быть в этот день с Альбертиной. Какая-нибудь Элизабет или,

пожалуй, те две девушки, на которых Альбертина смотрела в зеркало в казино и делала при этом вид, что она их не замечает. Она безусловно была в каких-то отношениях с ними, а еще с Эстер, двоюродной сестрой Блока. Этих отношений, если бы мне кто-то о них рассказал, было бы достаточно, чтобы почти совсем раздавить меня, но так как я их выдумал, то мне пришлось, чтобы смягчить боль, прибавить к моим подозрениям основательное количество неуверенности. Бывает, что под предлогом подозрений человек ежедневно поглощает в громадных дозах обманувшее его предположение, крохотная частица которого может оказаться смертельной, если ввести в организм действительно ядовитое слово. И, без сомнения, с этой целью, повинуясь инстинкту самосохранения, тот же ревнивец не задумываясь нагромождает чудовищные подозрения вокруг невинных фактов, с тем чтобы при первом же доказательстве, которое ему представят, отвязаться от них перед подавляющей очевидностью. Любовь — болезнь неизлечимая, как диатез или ревматизм, которые дают передышку с тем, чтобы уступить место головным болям, какие бывают у эпилептиков. Когда чувство ревности затихало, я упрекал Альбертину в том, что она недостаточно

со мной нежна, что, быть может, она с Андре смеется надо мной. Я с ужасом представлял себе, что она подумает, если Андре перескажет ей наши разговоры; будущее рисовалось мне в самом мрачном свете. Мне было грустно, пока новое подозрение не устремляло меня на другие поиски или если, напротив, нежность Альбертины не обесценивала мое счастье. Кто же эта девушка? Надо написать Эме, постараться увидеть ее, и тогда, разговаривая с Альбертиной, исповедуя ее, я бы выяснил все. А пока, уверенный в том, что это двоюродная сестра Блока, я попросил у него — причем ему было совершенно непонятно, с какой целью, — показать мне ее фотографию или, еще лучше, познакомить меня с ней.

Сколько людей, городов, дорог мы жаждем изучить, движимые ревностью! Ревность — это жажда знания, благодаря которой мы в самых разных местах получаем всевозможные сведения, но только не то, которого добиваемся. Подозрение возникает неожиданно: вдруг вспоминаешь неясную по смыслу фразу, алиби, данное не без умысла. Между тем у вас не было новой встречи, но есть ревность, возникающая потом, зарождающаяся после того, как вы расстались, ревность задним числом. Быть может, привычка хранить в

себе иные желания: желание полюбить девушку из высшего света, вроде тех, каких я видел из окна, когда они шли с гувернантками, в частности — ту, о которой мне говорил Сен-Лу и которая посещала дом свиданий, желание любить смазливых горничных, в частности — горничную г-жи Пютбю,[100] желание поехать в деревню в начале весны полюбоваться боярышником, яблонями в цвету, желание любоваться грозами, желание поехать в Венецию, желание приняться за работу, желание жить как все, быть может, привычка хранить в себе, не утоляя, все эти желания, довольствуясь обещанием, данным самому себе, — не забыть как-нибудь их исполнить, — быть может, многолетняя привычка к постоянной отсрочке, к тому, что де Шарлю, со свойственной ему язвительностью, называл «отлагательством», — приобрела во мне столь всеобъемлющий характер, что под ее власть подпали и мои ревнивые подозрения, и, велев мне запомнить, что как-нибудь я непременно объяснюсь с Альбертиной по поводу девушки (а

[100] Примечания: 100

Стр. 94. ...любить смазливых горничных, в частности горничную г-жи Пютбю... — Об этом увлечении героя подробно рассказано в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 166-168). Баронесса Пютбю — второстепенный персонаж книг Пруста, наиболее часто упоминается в «Содоме и Гоморре».

может быть, девушек; эта часть моего рассказа — часть неясная, стершаяся, иначе говоря, не поддающаяся прочтению на страницах моей памяти), с которой (или с которыми) Эме встретил ее, именно эта привычка заставила меня растянуть объяснение. Вечером я не говорил об этом с моей подружкой из боязни показаться ей ревнивым и рассердить ее.

Тем не менее, когда, на другой день, Блок прислал мне фотографию своей двоюродной сестры Эстер, я поспешил передать ее Эме. И в ту же минуту вспомнил, что утром Альбертина отказала мне в удовольствии, которое, в самом деле, могло бы быть для нее утомительным. Так что же, может быть, она приберегала его для кого-то другого? Для кого? Ревности нет конца, ибо если даже любимое существо, допустим — умершее, уже не может вызывать его своими поступками, воспоминания о любом событии вдруг начинают производить в нашей памяти работу — производить так, как будто это не воспоминания, а сами события, — воспоминания, которые мы до сих пор не просвечивали, которые представлялись нам незначительными и для которых достаточно наших размышлений, без какого-либо толчка извне, чтобы придать им новый, зловещий

смысл. Чтобы думать, не обязательно быть вдвоем — достаточно быть одному в комнате, перед вами все равно всплывут новые измены вашей возлюбленной, хотя бы ее уже не было в живых. И не следует опасаться в любви, как и в обыденной жизни, что будущее — и даже прошлое — часто осуществляется только после будущего и мы не говорим только о прошлом, о котором мы узнаем задним числом, — мы говорим о том прошлом, которое мы издавна хранили в себе и которое мы вдруг научились читать.

Как бы то ни было, к вечеру я чувствовал себя счастливым при мысли, что недалек тот час, когда я обрету успокоение в присутствии Альбертины. К несчастью, наступивший вечер был одним из тех вечеров, который не принес мне умиротворения, вечер, когда поцелуй Альбертины при расставании, совсем не похожий на обычные ее поцелуи, не успокоил меня, как прежде поцелуй мамы в те дни, когда она сердилась на меня и я не смел ее позвать, а вместе с тем чувствовал, что не засну. Этот вечер был одним из тех, когда Альбертина обдумывала на завтра какой-то план втайне от меня. Если б она мне его поверила, я вложил бы в его осуществление столько пыла, сколько никто, кроме Альберти-

ны, не мог бы во мне возбудить. Но Альбертина ничего мне о своем замысле не говорила, да ей и не надо было ничего говорить; когда же она, вернувшись, остановилась на пороге моей комнаты, еще не сняв шляпы и шарфа, я уже видел неведомое мне, упорное, страстное, неукротимое желание. Часто это бывало в такие вечера, когда я ждал ее возвращения, думая о ней особенно нежно, когда мне казалось, что повисну у нее на шее от радости. Увы! Что по сравнению с этими разочарованиями те, что вызывали у меня в душе родители, которые были со мной холодны или сердиты на меня, как раз когда я мчался к ним, преисполненный самых нежных чувств! Страдания, испытываемые влюбленными, находятся не на поверхности, они гораздо мучительнее, они залегают в более глубоком тайнике души.

В тот вечер, когда у Альбертины созрел план, ей все же пришлось сказать мне о нем несколько слов; я сразу понял, что завтра она собирается к г-же Вердюрен. Сама по себе г-жа Вердюрен не вызывала во мне неприязни, но, конечно, там была назначена встреча, там Альбертину ожидало удовольствие. Иначе этот визит не был бы для нее так важен. Она бы не повторила, что ей туда не хочется. Я в своей жизни проделал путь,

обратный тому, какой проделывают народы, которые начинают пользоваться фонетической письменностью, лишь изучив буквы как ряд символов; я же в течение ряда лет искал реальную жизнь и мысль людей в их прямых добровольных высказываниях и по их вине придавал значение свидетельствам, которые не являлись рациональным и аналитическим выражением истины; слова осведомляли меня, только если на лице у смущенного человека проступал румянец или же если внезапно воцарялось молчание. Какое-нибудь наречие (например, употребленное маркизом де Говожо, когда он думал, что я — «писатель», и когда, еще не перекинувшись со мной двумя словами, рассказывая о своем визите к Вердюренам, он повернулся ко мне и сказал: «У него это было совершенно как у Борелли[101]»), выбившееся от удара при нечаянном, иногда опасном сближении двух идей, которые собеседник не выразил, но которые при помощи усвоенных мною методов анализа и электролиза я мог добыть, говорило мне больше, чем целая речь. Рассказы Альбертины порой представляли собой драгоценные амальгамы, которые я старал-

[101] Примечания: 101

Стр. 96. Борелли Раймон (1837-1906) — известный в свое время салонный поэт.

ся «подвергать изучению», чтобы превратить их в ясные мысли.

Кстати, для влюбленного страшнее многого другого, если отдельные факты — которые из всех многочисленных средств могли бы раскрыть только опыт и шпионаж — установить трудно, истину же в целом, напротив, легко прощупать или хотя бы предугадать. Я часто замечал в Бальбеке ее взгляд, внезапно приковавшийся к шедшим навстречу девушкам, взгляд, похожий на прикосновение; потом она мне говорила: «Не пригласить ли их? У меня язык чешется их изругать». А потом, после того, как она, конечно, прочла мои мысли, — ни одной просьбы о приглашении кого-либо, ни единого слова, даже поворота головы, взгляд — невидящий и молчаливый, рассеянный и бездумный, в такой же мере изобличающий, как прежде изобличала его намагниченность. Таким образом, мне не в чем было ее упрекать, не для чего расспрашивать о подробностях, о которых она сама же рассказала, таких мелких, таких незначительных, что я держал их в памяти только ради удовольствия «копаться в мелочах». Теперь мне скорей надо было спрашивать не «Почему вы посмотрели на прохожую?», а «Почему вы на нее не посмотре-

ли?». И, однако, я отлично знал, или, во всяком случае, мог бы знать при желании, если б не верил словам Альбертины, все, что они означают, все, что они доказывают, подобно тому как я нередко замечал противоречие в ее рассказе лишь много спустя после того, как она уходила, противоречие, из-за которого я не спал всю ночь, о котором я не осмеливался больше с ней заговаривать, но которое время от времени удостаивало мою память своими посещениями. Даже при ее беглом взгляде или повороте головы на пляже в Бальбеке или на парижских улицах я иной раз спрашивал себя, кто эта особа: только ли объект желаний в тот момент, когда она проходила, или старинная знакомая, или, наконец, девушка, с которой она только что перемолвилась, и, когда я дознавался, это вызывало крайнее мое изумление — так, если знать Альбертину, была она далека от круга ее знакомых. Но современная Гоморра — это головоломка, части которой появляются, откуда их меньше всего ждешь. Например, однажды в Ривбеле, на большом обеде я случайно знал из приглашенных женщин — по крайней мере, по именам — десять совершенно друг на друга не похожих и тем не менее прекрасно спевшихся; такого однородного общества я еще не видывал,

хотя оно было до крайности разношерстное.

Но вернемся к проходившим мимо нас девушкам: Альбертина никогда не смотрела на пожилую женщину или на старика так пристально, как на них, или, вернее, с такой сдержанностью: она как будто их не замечала. Обманутые мужья, которые ничего не знают, тем не менее знают все. Но, чтобы устроить сцену ревности, надо иметь в руках «дело», снабженное «документами» с возможно более ощутимыми доказательствами. Далее: если ревность помогает нам обнаружить в любимой женщине склонность ко лжи, то она стократ усиливает эту склонность, как только для женщины открывается, что мы ревнивы. Она лжет (в таком количестве, в каком она никогда прежде не лгала) то ли из жалости к нам, то ли от страха, то ли потому, что она инстинктивно прячется тем глубже, чем яростнее мы ее преследуем. Конечно, у нее есть романы, которые на первых порах, по мнению женщины легкого поведения, в глазах любящего человека должны повышать ее цену; но сколько таких, у которых отношения с мужчиной делятся на два резко отличающихся один от другого периода! В течение первого периода женщина почти свободно, с небольшими смягчениями, говорит о том, как

она любит удовольствия, о своих прежних любовных похождениях, обо всем, что она будет с пеной у рта отрицать в разговоре с тем же самым мужчиной, в котором она почувствовала ревнивца, следящего за ней. Иной жалеет, что время первых признаний миновало, хотя воспоминание о них его все-таки жалит. Сделай она ему еще несколько признаний, она сама открыла бы тайну почти всех своих грехов, которые он каждый день тщетно пытался обнаружить. А какую это доказывает с ее стороны откровенность, какое доверие, какую дружественность! Если она не может жить, не обманывая его, зато, по крайней мере, она обманывает его как друга, рассказывая ему о своих удовольствиях, приобщая его к ним. И он жалеет, что начальный период их жизни уже чуть виден, что продолжение оборвало этот период, превратив их отношения во что-то невыносимо тяжелое, в нечто такое, за чем должен бы следовать разрыв, и в иных случаях разрыв действительно неизбежен, а в иных — на него все-таки не решаются.

Иногда же идеографическое письмо Альбертины, в котором я расшифровывал ложь, надо было просто-напросто понимать наоборот. В тот вечер она с небрежным видом обронила

сообщение — так, чтобы оно прошло почти незамеченным: «Возможно, завтра я съезжу к Вердюренам, но только наверное сказать не могу: особого желания у меня нет». Детская анаграмма признания: «Завтра я поеду к Вердюренам, непременно поеду, для меня это очень важно». Внешнее колебание означало твердую волю и имело целью, сообщая мне о поездке, уменьшить ее важность. Когда речь шла о неотменяемых решениях, в тоне Альбертины неизменно слышалось сомнение. Мое решение было не менее твердым: устроить так, чтобы поездка к г-же Вердюрен не состоялась. Зачастую ревность есть не что иное, как потребность быть деспотом в сердечных делах. Я уверен, что унаследовал от отца внезапное, ничем не оправданное желание угрожать самым дорогим мне женщинам, убаюканным моей любовью к ним, — угрожать с полной гарантией, что сейчас я выведу их на чистую воду. Когда я убедился, что Альбертина без моего ведома, втайне от меня, обдумала план поездки, я, готовый, если только она осведомила бы меня обо всем, сделать все на свете, чтобы облегчить для нее эту поездку, чтобы поездка была ей особенно приятна, небрежным тоном сказал — нарочно, чтобы огорчить ее, — что я как раз

завтра собирался выехать на прогулку. Пытаясь скрыть волнение под притворным равнодушием, я стал предлагать Альбертине другие цели для прогулки, исключавшие возможность поездки к Вердюренам. Но она опрокидывала все мои замыслы. В ней жила электрическая сила воли к сопротивлению, и эта сила их отбрасывала; я видел в глазах Альбертины искры. Да и к чему мне было разгадывать, что в данный момент говорят ее глаза? Как же я столько времени не замечал, что глаза Альбертины принадлежат к числу тех (даже у людей заурядных), которые, кажется, сделаны из нескольких кусочков, потому что эти женщины сегодня желают побывать — и скрывают это желание — во многих местах? Глаза, всегда лживо неподвижные и бесстрастные, а на самом деле динамичные, способные пробежать несколько метров и даже километров, чтобы оказаться на месте свидания ожидаемого, неизбежного; глаза, которые не так ярко светятся, улыбаясь при мысли о прельщающем их удовольствии, как от грусти и уныния при мысли, что свидание может не состояться… Вот-вот эти женщины у вас в руках — глядь: убежали. Чтобы понять, какие чувства они вызывают и каких не вызывают даже те, что красивее их, надо иметь

в виду, что они вовсе не неподвижны, что они вечно в движении, и еще надо прибавить к их характеру одну черту в физике, соответствующую понятию быстроты.

Если вы путаете распорядок их дня, они вам откроют удовольствие, которое до того времени они от вас скрывали: «Мне так хотелось в пять часов выпить чашку чаю с такой-то женщиной, которую я люблю!» И вот если, полгода спустя, вы наконец познакомитесь с этой женщиной, то узнаете, что девушка, которой вы спутали карты и которая попалась в ловушку, нарассказала вам — чтобы от вас отвязаться — о чашке чаю, который она будто бы пила с любимой женщиной каждый день там, где вы ее ни разу не видели, — вы узнаете, что она никогда не принимала ее у себя, что они ни разу не пили вместе чай, что девушка говорила, будто ее держат в тисках, и держите ее именно вы. Итак, женщина, с которой она, по ее признанию, собиралась пить чай, к которой она умоляла вас отпустить ее пить чай, которая в трудную минуту играла для нее роль ширмы, — это была не она, это была другая, это было совсем другое дело! Другое дело, но какое? Другая, но кто?

Увы! Глаза, составленные из кусочков, груст-

ные и дальнозоркие, быть может, помогли бы измерить расстояние, но направления они не указывают. Полю возможностей нет конца-края, и если случайно перед нами предстанет реальность, то она будет так далека от возможностей, что, ошеломленные, стремясь пробить внезапно выросшую стену, мы упадем навзничь. Движение и бегство не обязательны — важно, что мы до них дошли индуктивным методом. Она обещала нам написать письмо — мы спокойны, мы уже разлюбили. Письмо не пришло, ни один почтальон нам его не доставил — «что случилось?», вновь рождаются тревога и любовь. Такие-то вот существа главным образом, к нашему несчастью, и влюбляют нас в себя. После каждой новой тревоги, которую мы из-за них испытываем, их личность что-то утрачивает в наших глазах. Полагая, что мы любим наперекор нашей воле, мы покорно страдаем; мы замечаем, что наша любовь — это функция нашей грусти, что наша любовь — это, быть может, и есть наша грусть и что маловероятный объект — черноволосая девушка. Но в конце-то концов именно такие девушки имеют успех у мужчин.

Чаще всего объектом любви является тело, если в основании чувства, страха утратить его,

неуверенности в том, что удастся его обрести, находится оно. Такого рода тревога сращена с телом. Она наделяет его качеством более высоким, чем даже красота, и это является одной из причин, почему некоторые мужчины равнодушны к красавицам и полны страстной любви к тем, что нам кажутся уродливыми. Этих женщин, этих беглянок снабжают крыльями их натура и наше беспокойство. Даже когда они с нами, их взгляд, кажется, говорит, что они вот сейчас улетят. Доказательством того, что они красивы красотою сверхмерной, которую придают им крылья, служит нам то, что перед нами очень часто одна и та же женщина предстает то без крыльев, то крылатой. Мы так боимся ее утратить, что забываем о других. Уверенные в том, что она у нас под охраной, мы сравниваем ее с другими и отдаем предпочтение им. Волнения и чувство уверенности могут меняться каждую неделю, вот почему на протяжении одной недели женщина удостоверяется в том, что мы жертвуем ради нее всем, что пленяло нас прежде, а на протяжении следующей — в том, что мы жертвуем ею, и так может длиться очень долго. Было бы странно, если б мы не знали (если б нам не подсказывал опыт), что каждый мужчина по крайней мере раз

в жизни переставал любить женщину, забывал о ней из-за сущей безделицы, что в нас продолжает жить женщина, когда ее уже нет или когда ее еще нет, — женщина, доступная внутреннему нашему зрению. И, разумеется, когда мы говорим: беглянки, это в равной мере относится к узницам, к пленницам, которые представляются нам потерянными навсегда. Мужчина ненавидит посредниц, потому что они способствуют бегству, придают особую заманчивость соблазну, но если мужчина любит женщину в заточении, то он упорно ищет посредниц, чтобы те помогли женщине бежать из тюрьмы и привести ее к нам. Так как союз с похищенными женщинами менее продолжителен, чем с другими, то страх при мысли, что мы ее не добьемся, или беспокойство при мысли, что они от нас убегут, и есть вся наша любовь, и, как только их доставят к мужу и вынудят действовать на их обычной сцене, излечившиеся от искушения покинуть нас, одним словом, отрезанные от нашей любви, какова бы она ни была, они становятся всего лишь такими, каковы они есть, иначе говоря — почти ничем, и о них, столь долгожданных, скоро забывает тот, кто так боялся, что они забудут его.

Я сказал: «Как же я не догадался?» Но разве я не

догадывался с первого же дня в Бальбеке? Разве я не угадал в Альбертине одну из девушек, под телесной оболочкой которых прячется больше существ, чем карт в колоде, чем в соборе или в театре, куда еще не впускают… какое там! Больше, чем в огромной толпе, где одни поминутно сменяют других? И не только многочисленных существ, но и желаний этих существ, их сладострастных воспоминаний, их беспокойных поисков. В Бальбеке я не был встревожен: тогда я еще не предполагал, что направляюсь по ложному следу. Но все же я ощущал в Альбертине существо, полное до краев, — полное желаний, полное сладострастных воспоминаний. И теперь, когда она мне сказала: «Мадмуазель Вентейль», мне захотелось сбросить с нее платье, не для того, чтобы посмотреть на ее тело, а для того, чтобы сквозь ее тело увидеть все записи ее воспоминаний и будущих пылких встреч.

Как внезапно происшествия, по всей вероятности крайне незначительные, приобретают огромную ценность, когда любимое существо (или такое, которому недостает только этой двойственности, чтобы мы его полюбили) скрывает их от нас! Само по себе страдание не всегда вызывает у нас чувство любви или ненависти к

тому, кто его причиняет: до хирурга, делающего больно, нам дела нет. Но мы бываем поражены, если вдруг почувствуем, что женщина, которая еще так недавно сказала нам, что мы для нее все, хотя она для нас всем не была, женщина, которую нам было приятно видеть, целовать, держать на коленях, — если мы вдруг почувствуем по ее резкому сопротивлению, что она уже нам не принадлежит. Тогда разочарование в иных случаях пробуждает в нас забытое воспоминание о былой тоске, о которой мы знаем, что вызвала ее не эта женщина, но целый строй измен других — измен, проходящих в нашем былом. Ну так где же взять мужества, чтобы желать жить, как сделать такое движение, чтобы предохранить себя от смерти в мире, где любовь зарождается от лжи и сводится к потребности убедиться в том, что наши страдания утолены существом, заставившим нас страдать? Чтобы выйти из угнетенного состояния, в каком мы находимся, когда ложь вылезает наружу или при сопротивлении, мы можем прибегнуть к печальному средству — начать действовать помимо нее, к помощи существ, теснее связанных с ее жизнью, чем мы, начать действовать против той, что нам сопротивляется и лжет, перехитрить самих себя, возбудить в себе

ненависть. Страдание, причиняемое любовью, неумолимо к больному, и он ищет в изменении позиции обманчивого благополучия. Увы! В способах действия у нас недостатка нет. Любовь, которую вызвало к жизни только беспокойство, потому ужасна, что мы без конца пережевываем в нашей клетке пустые слова; я не считаю тех редких случаев, когда существа, которые мы в них любим, с точки зрения физической нравятся нам в совокупности, ибо это не наш свободный выбор — это случайная минута тоски (минута, продолжающаяся бесконечно из-за нашей слабохарактерности, которая ежевечерне проделывает опыты и утихает благодаря успокоительным средствам) выбрала их для нас.

Разумеется, моя любовь к Альбертине была не бессознательной любовью, до которой можно докатиться из-за слабоволия; правда, моя любовь была не только платонической: она утоляла позывы моей плоти, но она же отвечала и духовным моим запросам. Впрочем, с этой стороны я ее переоценивал. Альбертина не могла бы мне сообщить ничего из области, занимавшей мой ум, — она могла лишь произнести слова, которые возбуждали во мне сомнение по поводу ее действий; я старался припомнить, что именно она

сказала, с каким видом, в какой момент, в ответ на чьи слова, возобновить в памяти всю сцену, весь диалог со мной, когда именно ей захотелось поехать к Вердюренам, после какого моего слова ее лицо приняло сердитое выражение. Речь шла об одном из важнейших для меня событий, а я не мог найти в себе силы, чтобы восстановить истину, воссоздать атмосферу и колорит. Разумеется, тревога, дойдя до той степени, когда она становится невыносимой, иной раз утихает в один вечер. Любимая девушка, чья истинная природа надолго погружала меня в раздумье, должна ехать на вечеринку, мы приглашены оба, моя подружка смотрит только на меня, говорит только со мной, я ее увожу, тревога моя рассеивается, и меня охватывает чувство такого полного, восстанавливающего силы покоя, который обволакивает иногда спящего крепким сном после долгого перехода. И, понятно, такой отдых стоит того, чтобы за него заплатить недешево. Но не проще ли не покупать тревогу, да еще по такой дорогой цене? Но ведь мы же отлично знаем, что, как бы ни были глубоки передышки, тревога пересилит их. Часто тревога вновь овладевает нами из-за одной фразы, цель которой была — успокоить нас. Любящая женщина не может

себе представить, как велики требования нашей ревности и ослепленность нашего доверия. Если она, без всякой задней мысли, клянется, что такой-то мужчина — ее друг, и только, она переворачивает нам всю душу, сообщая, — чего мы не подозревали, — что он ее друг. Когда она, чтобы доказать, насколько она с нами откровенна, рассказывает, как они сегодня вдвоем пили чай, при каждом ее слове невидимая, нежданная тревога принимает для нас все более плотные очертания. Женщина сознается, что он хотел, чтобы она была его любовницей, и мы испытываем страшные муки при мысли о том, как она могла спокойно выслушивать его предложения. Она их отклонила, — уверяет она. Но мы тотчас же, думая об ее рассказе, спрашиваем себя: правда ли она ему отказала? Говорила она о многом, но в ее речах отсутствовала необходимая логическая связь, которая в большей мере, чем факты, служит признаком истины. И потом, она с такой ужасной презрительной интонацией произносила эти слова: «Я ему сказала: „Нет! Категорически“, какая появляется у женщин из всех слоев общества, когда они лгут. А между тем нужно ведь благодарить за отказ, своей ласковостью подвигнуть ее и в будущем на столь жестокие признания.

Самое большее, если мы позволим себе вопрос: „Но если он уже сделал вам предложение быть его любовницей, то почему же вы согласились пить с ним чай?“ — „А чтобы он не сердился и не говорил, что я с ним недостаточно мила“. И мы даже не смеем сказать ей, что своим отказом она, быть может, доставила бы больше удовольствия нам, чем ему — совместным чаепитием.

Альбертина напугала меня, сказав, что я поступил правильно, заявив, чтобы не навредить ей, что я не был ее любовником. «Да ведь вы и правда не были моим любовником», — добавила она. Я, в самом деле, не был ее любовником в полном смысле этого слова, но тогда, значит, всем, чем мы с ней занимались, она занималась со всеми мужчинами, по поводу которых она мне клялась, что она не была их любовницей? Пытаться узнать любой ценой, о чем Альбертина думает, кого она видела, кого она любит, — как странно, что я жертвовал всем ради утоления этой потребности! Ведь я испытывал ту же самую потребность знать о Жильберте: имена, факты, которые теперь мне совершенно безразличны! Я отдавал себе отчет, что действия Альбертины сами по себе уже не представляют для меня интереса. Любопытно, что первая любовь, ослабив

сопротивляемость нашего сердца, прокладывает нам дорогу к другим увлечениям, но не снабжает нас хотя бы, приняв в расчет сходство симптомов и тяжелых переживаний, средством для того, чтобы от них излечиться. Да и так ли уж необходимо знать один какой-нибудь факт? Разве сначала не узнают о лжи в целом и о скрытности женщины, которой нужно что-то утаивать? Возможны ли ошибки? Женщины возводят молчание в добродетель, тогда как мы жаждем, чтобы они говорили. И мы чувствуем, что своего сообщника они заверили: «Я никогда ничего не рассказываю. Если что-нибудь становится известным, то не через меня, я никогда ничего не рассказываю».

Мужчины жертвуют состоянием, жизнью ради любимой женщины, а между тем они же отлично знают, что десять лет спустя, раньше или позже, они откажут ей в деньгах и предпочтут пожить подольше. К тому времени женщина оторвалась от нас, теперь она одна, теперь она — ничто. Нас связывает с любимой женщиной множество корней, бесчисленные нити, то есть воспоминание о вчерашнем вечере, надежды на завтрашнее утро, вся эта непрерывная вязь привычек, от которой мы никак не можем освободиться. Подобно скупцам, копящим из человеколюбия, мы

представляем собой расточителей, мотающих из скупости, и не столько жертвуем своей жизнью любимой женщине, сколько всему, что ей удалось привязать к себе из наших часов, из наших дней, из всего того, рядом с чем жизнь еще не прожитая, жизнь, условно говоря, будущая, кажется нам жизнью более отдаленной, более отъединенной, менее интимной, в меньшей степени нашей. Надо во что бы то ни стало порвать эти путы, имеющие гораздо большее значение, чем она сама, но цель которых — создать в нас поминутные обязанности по отношению к ней: например, обязанность — не сметь оставлять ее одну из боязни, чтобы она не подумала о нас плохо, тогда как позднее мы на это отважимся, ибо, оторвавшись от нас, она перестанет быть нашей, а еще потому, что в действительности мы создаем обязанности (хотя бы они, в явном противоречии с истинным положением вещей, доводили нас до самоубийства) по отношению к самим себе.

Если б я не любил Альбертину (в чем я не был уверен), то в месте, которое она занимала около меня, не было бы ничего необычного: мы живем только с теми, кого не любим, кого заставляем жить с нами, только чтобы убить невыносимую любовь, идет ли речь о женщине, о стране или о

женщине, заключающей в себе страну. Если у нас давно никого не было, мы очень боимся снова начать любить. С Альбертиной у меня до этого не дошло. Ее ложь, ее признания привели к тому, что я перестал добираться до истины. Ее ложь была беспрестанна, — она не довольствовалась тем, что лгала, как всякий человек, который уверен, что его любят, она лгала еще и потому, что была лгуньей от природы (говоря будто бы правду о тех или иных людях, она всякий раз высказывала противоположные мнения); между ее признаниями, редкими, отрывочными, оставались, поскольку они касались прошлого, большие промежутки, белые пятна, так что мне надо было все перечеркивать, а для этого сначала узнать ее жизнь.

Что касается настоящего, то тут — если только я правильно истолковывал вещие слова Франсуазы — Альбертина лгала не в особых случаях — тут все было ею создано из лжи, и «в один прекрасный день» мне бы открылось то, что будто бы знала Франсуаза, делавшая вид, что ей все известно, да только она не хотела со мной об этом толковать и о чем я не решался у нее спрашивать. К тому же во Франсуазе говорило, конечно, все то же чувство ревности, которое когда-то заставляло

ее плести небылицы о Евлалии[102], лишенные всякого правдоподобия, так что в них сразу можно было заподозрить клевету, а теперь нести ахинею, что бедная пленница (любившая женщин) готова выйти замуж за кого угодно, только не за того, кто напоминал бы ей меня. Если б это было так, то, несмотря на свою радиотелепатию, как Франсуаза могла бы об этом проведать? Конечно, рассказы Альбертины не могли внушить мне доверие, — они были так же разноречивы, как пестры цвета почти остановившегося волчка. С другой стороны, было ясно, что Франсуазой руководит главным образом злоба. Не проходило дня, чтобы я в отсутствие матери не выслушивал, набравшись терпения, что-нибудь вроде этого: «Конечно, вы человек добрый, и я всегда буду вам благодарна (это говорилось, вероятно, для того, чтобы я придумал ей какой-нибудь титул за ее благодарность), но только наш дом зачумлен с тех пор, как ваша доброта поселила здесь плутовство, с тех пор, как умный человек начал плясать под дудку такой глупой девицы, какой я сроду не ви-

[102] Примечания: 102

Стр. 105. Евлалия — персонаж книг Пруста, богомолка-приживалка, постоянно посещавшая тетку героя Леонию, когда та жила в Комбре; подробно описана в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 96-98, 129-135 и др.).

дывала, с тех пор, как ваша тонкость обращения, ваша чистая душа, — в каждом поступке чувство собственного достоинства, — с тех пор, как такой по виду принц — да вы и есть принц — дозволил хозяйничать, втирать вам очки, а меня унижать, а ведь я сорок лет у вас живу, и кому дозволили? Распутной, самой что ни на есть грубой и низкой девчонке».

Франсуаза сердилась на Альбертину главным образом за то, что она находится в подчинении у кого-то еще, а не у нас; ей хотелось, чтобы у Альбертины прибавилось дел по хозяйству, а то у старой служанки здоровье пошатнулось, и она устает (а между тем старая служанка была против того, чтобы кто-то ей помогал, «как будто она уж ни на что негожа»), — вот чем объяснялась раздражительность Франсуазы, ее вспышки. Конечно, ей бы хотелось, чтоб Альбертина-Эстер была изгнана.[103] Это было ее заветное желание. И если бы оно осуществилось, старая служанка успокоилась бы. Но, на мой взгляд, дело было не только в этом. Такая ненависть могла зародиться

[103] Примечания: 103

Стр. 106. …чтоб Альбертина-Эстер была изгнана. — Пруст имеет в виду известный библейский эпизод: персидский царь Артаксеркс женится на еврейке Есфири и исполняет все ее желания, в частности спасает от избиения евреев, задуманного его министром Аманом.

лишь в изношенном теле. И еще больше, чем в почтении, Франсуаза нуждалась в сне.

Пока Альбертина собиралась, я, чтобы принять поскорее меры, схватил телефонную трубку и вызвал неумолимые Божества, но только пробудил в них ярость, выразившуюся в слове «Занято». Ясное дело, Андре с кем-то говорила. В то время как она продолжала разговор, я спрашивал себя, почему, когда так много художников пытается возродить женские портреты XVIII века, на которых хитроумная мизансцена является предлогом для выражения ожидания, неудовольствия, интереса, мечтательности, почему ни один из современных Буше[104] и из тех, кого Саньет называл Ватто в век пара,[105] не пишет, вместо «Письма», «Клавесина» и т. д., сцену, которую можно было бы назвать «У телефона»; на устах у слушающей играет невольная улыбка, тем более

---

[104] Примечания: 104

Буше Франсуа (1703-1770) — французский живописец, типичный представитель искусства рококо с его склонностью к эротическим сюжетам.

[105] Примечания: 105

Саньет — персонаж книг Пруста, архивист, постоянный посетитель салона Вердюренов. Его слова о «Ватто в век пара» приведены в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 350). Антуан Ватто (1684-1721) — французский художник, мастер условного пейзажа и жанровых картин, изображавших маскарады и т. п.; далее упоминаются его известные работы.

искренняя, что слушающая уверена, что ее никто не видит. Наконец меня соединили с Андре: «Вы завтра возьмете с собой Альбертину?» Произнося имя Альбертины, я вспомнил о желании, какое внушил мне Сван, предложив в день именин принцессы Германтской: «Поедемте к Одетте», и о том, какую силу может обрести имя, которое, на всеобщий слух и на слух самой Одетты, только в устах Свана звучало как имя, ставшее его безраздельной собственностью. Захват всей жизни, выраженный в одном слове, казался мне, когда я бывал влюблен, таким отрадным! Но на самом деле ты можешь его произнести, когда ты к нему охладел или когда привычка, не притупив заключенной в нем для тебя нежности, преобразила отраду в душевную муку. Я знал, что только я в разговоре с Андре могу так произнести «Альбертина». И все же я чувствовал, что я ничто для Альбертины, для Андре и для себя самого. И еще я сознавал невозможность, на которую наталкивается любовь. Мы воображаем, что объектом любви является существо, которое, приняв телесную оболочку, быть может, лежало перед нами. Увы! Существо распространяется на все пункты пространства и времени, которое оно занимало прежде и которое оно еще займет в

будущем. Если мы не в контакте с такой-то местностью, с таким-то часом дня или ночи, мы этим существом не владеем. Мы не можем коснуться всех пунктов. Если они нам указаны, мы еще, пожалуй, можем до них дотянуться. Но мы идем ощупью — и не находим их. Отсюда недоверие, ревность, преследование. Мы теряем драгоценное время, двигаясь по следу, который никуда не ведет, и идем рядом с верным, не подозревая, что он существует.

Но вот уже одно из Божеств, вечно злых на неугомонных служанок, возмутилось, что меня соединили, а я молчу: «Послушайте, там же свободно с того времени, как я вас соединила; я вас разъединю». Но оно только пригрозило и, вызывая Андре, тотчас окутало ее, подобно большому поэту, каким всегда является телефонная барышня, особой атмосферой жилья, квартала, всей жизни Альбертининой подружки. «Это вы?» — спросила Андре, и ее голос долетел до меня мгновенно с помощью Богини, обладающей свойством сообщать звукам молниеносную быстроту. «Послушайте, — ответил я, — поезжайте куда хотите, куда угодно, только не к госпоже Вердюрен. Завтра надо любой ценой отдалить от нее Альбертину». — «Как раз завтра Альбертина должна

быть у нее». — «А!»

Тут мне пришлось прервать на минутку разговор и погрозить, потому что Франсуаза — точно это было что-то неприятное, как оспопрививание, и не менее опасное, чем аэроплан, — по-прежнему не желала научиться говорить по телефону, а между тем она могла бы освободить нас от необходимости отзываться на телефонные звонки и никто бы ей не препятствовал быть в курсе, кто и зачем звонил, зато она сейчас же врывалась ко мне, как только я начинал более или менее секретный разговор, который мне во что бы то ни стало надо было от нее скрыть. Когда она наконец вышла из комнаты, не преминув задержаться, чтобы захватить кое-что из вещей, которые были тут со вчерашнего дня и могли бы здесь оставаться, никому не мешая, еще целый час, и чтобы подбросить в камин полено, в чем не было ни малейшей нужды, потому что мне было и без того жарко от присутствия втируши и от страха, что меня «отрежет» барышня, я сказал Андре: «Простите, мне тут не давали говорить. То, что она завтра поедет к Вердюренам, — это решено бесповоротно?» — «Бесповоротно, но я могу сказать, что вы недовольны». — «Нет, напротив; возможно только, что я поеду с вами». — «Ах!»

— воскликнула Андре голосом недовольным и как бы испуганным моей смелостью, которой у меня от этого только прибавилось. «В таком случае — всего доброго; извините, что побеспокоил вас из-за пустяков». — «Да ну что вы! — возразила Андре и (так как теперь телефон вошел в обиход, то телефонные разговоры стало модным приукрашивать особым набором фраз, как прежде — „чашки чаю“) добавила: — Слышать ваш голос — это для меня большое удовольствие».

Я мог бы сказать то же самое, и с большей искренностью, чем Андре: я неизмеримо более чутко воспринимал звучание ее голоса, чем она — моего, так как до сих пор не замечал, до какой степени он не похож на другие голоса. Я вспомнил еще некоторые голоса, преимущественно — женские: иным точность поставленного собеседнику вопроса и напряжение внимания придавали размеренность, другие задыхались, даже прерывались от подступавшего к горлу волнения в связи с тем, о чем они рассказывали; я вспоминал один за другим голоса девушек, с которыми встречался в Бальбеке, потом голос Жильберты, потом бабушки, потом герцогини Германтской; они все были разные, отшлифованные особыми оборотами речи, игравшие на разных инстру-

ментах, и я думал, какой слабенький концерт, наверно, дают в раю три-четыре ангела-музыканта, которых написали старые мастера, когда возносится Богу состоящая из десятков, сотен, тысяч голосов стройная, многозвучная, всечеловеческая Молитва.

Я отошел от телефона только после того, как произнес несколько благодарственных и умилостивляющих слов. Та, что управляет скоростью звуков, пожелав воспользоваться своей властью, дабы смиренные мои речи как можно скорей достигли своей цели, донесла их с быстротой громового удара. Но мои выражения благодарности так и остались без ответа — они были прерваны. Альбертина вошла ко мне в черном шелковом платье, которое оттеняло ее анемичность и в котором она выглядела бледной, рыжеволосой, болезненной — из-за недостатка свежего воздуха, зараженного городской скученностью, и, быть может, из-за наклонности к пороку — парижанкой с беспокойными глазами, в которых не зажигал радостного блеска румянец на щеках. «Догадайтесь: с кем я только что говорил по телефону? — спросил я. — С Андре». — «С Андре? — крикнула Альбертина с таким изумлением и с таким волнением, каких не должно

было бы вызвать простое сообщение. — Надеюсь, она не забыла вам сказать, что мы недавно встретили госпожу Вердюрен?» — «Госпожу Вердюрен? Не помню», — ответил я, делая вид, что думаю о другом, чтобы показать, что сообщение об этой встрече не произвело на меня впечатления, и чтобы не выдать Андре, которая мне сказала, куда Альбертина собирается завтра. Но кто знает, не выдала ли меня Андре, не расскажет ли она завтра Альбертине, что я просил ее ни в коем случае не ездить к Вердюренам и что она уже довела до сведения Альбертины, что я неоднократно на этом настаивал? Андре уверяла меня, что она ни за что не проговорится Альбертине, но цена этим уверениям колебалась в моем уме, так как с некоторого времени мне стало казаться, что на лице Альбертины исчезло выражение доверия,

которое она издавна питала ко мне.[106]

Страдание от любви временами прекращается, а затем появляется вновь, но только в иных формах. Мы плачем, оттого что не наблюдаем у любимой девушки приливов чувства к нам, что она уже не заигрывает с нами, как на первых порах, и еще сильнее мы страдаем оттого, что, утратив любовный пыл, который раньше предназначался для нас, она снова обретает его, но предназначается он уже для кого-то другого; затем от этого страдания нас отвлекает новое зло, более жестокое: подозрение, что она вам солгала насчет вчерашнего вечера, — конечно, она нам тогда изменила; это подозрение тоже рассеивается, ласковость подружки нас успокаивает; но тут в нашей памяти всплывает забытое слово;

---

[106] Примечания: 106

Стр. 109. …которое она издавна питала ко мне. — Далее в третьей машинописи следует вставка на отдельном листке, не вошедшая в окончательный текст (хотя и печатавшаяся в первых изданиях «Пленницы»): «Забавно, что за несколько дней до этой ссоры с Альбертиной у нас уже была одна, но в присутствии Андре. Она всегда давала Альбертине хорошие советы, но делала вид, что дает плохие. „Ну, ну, не надо так говорить, замолчи“, — говорила Андре, будучи наверху блаженства. Лицо у нее сделалось цвета перезрелой малины, как у ханжей экономок, выгоняющих одну за другой всю прислугу. Пока я бросал Альбертине, возможно, незаслуженные упреки, у Андре был такой вид, словно она с наслаждением сосет кусочек сахару. В конце концов она не смогла сдержать ласкового смешка. „Пойдем, Титина, пойдем со мной. Ты ведь знаешь, что я твоя маленькая сестреночка“. Я был взбешен не только этой слащавой тирадой, я не мог понять, действительно ли Андре испытывает к Альбертине то чувство, которое

хочет показать. Альбертина знала Андре лучше, чем я, она пожимала плечами в ответ на мои вопросы о том, действительно ли Андре любит ее, но твердила, что нет никого на свете, кто бы так ее любил; я и сейчас был уверен в том, что любовь Андре не была ложью. Вероятно, нечто похожее можно было найти в ее богатой, но провинциальной семье, в тех маленьких кондитерских на Епископской площади, что слывут „самыми лучшими“. Но я знал также, хотя в приходил к обратному мнению, что Андре лишь старается кормить Альбертину из рук, и от сознания этого я проникался истинной нежностью к Альбертине, а гнев мой проходил».

нам сказали, что это девушка страстная, а между тем с нами она всегда уравновешенна; мы пытаемся представить себе, как она безумствовала с другими, мы сознаем, как мало мы значим в ее жизни, мы замечаем выражение скуки, тоски, грусти, появляющееся на ее лице в то время, когда мы говорим, нас угнетает, как ненастье, то, что, когда она с нами, на ней старые платья, а что для других она бережет те, в которых вначале восхищала наш взор. Если она с нами нежна — какое это для нас счастье! Но, мгновенье спустя, при виде ее призывно высунутого язычка, мы думаем о том, как часто она так призывала девушек — быть может, при мне, — даже не думая о них, так как, оттого что она слишком часто прибегала к такому знаку, он вошел у нее в привычку и стал машинальным. Затем чувство, которым мы ей докучаем, вспыхивает вновь. Но внезапно страдание обрушивается на нас из-за какой-нибудь малости — при мысли о неизвестной нам, растлевающей области ее жизни, о том, что она, наверное, побывала в таких местах, о которых мы не имеем понятия, в местах, где она бывает и теперь в часы, когда около нее нет нас, а может быть, даже намерена поселиться там окончательно, в местах, далеких от нас, в местах не наших,

в местах, где она счастливее, чем с нами. Таковы вращающиеся световые сигналы ревности.

Ревность — это еще и демон, которого нельзя заклясть, который возникает все время, под всевозможными личинами. Разве я в силах изгнать их всех, разве я могу постоянно охранять любимую девушку, если Злой Дух примет новое обличье, еще усиливающее мою душевную боль: обличье отчаяния при мысли, что от нее можно добиться верности только силой, отчаяния от сознания, что меня не любят?

Как бы ни была со мной ласкова в иные вечера Альбертина, у нее уже не было тех невольных душевных движений, которые я замечал у нее в Бальбеке, когда она мне говорила: «Какой вы все-таки славный!» — и эти восклицания, как мне казалось, вырывались из глубины ее души и доходили до меня непосредственно, без всяких помех, помехи появились у нее теперь, и о них она ничего не говорила, так как, без сомнения, считала, что они неустранимы, незабываемы, что их следует держать в тайне и что они выстраивают между нами стену осторожности в ее словоупотреблении и образуют промежутки непреодолимого молчания.

«Вы не скажете, зачем вы звонили Андре?»

— «Я спросил ее, не против ли она того, чтобы завтра я присоединился к вам и поехал к Вердюренам, которых я обещал навестить еще в Ла-Распельер». — «Как хотите. Но только я вас предупреждаю, что сегодня вечером страшный туман, и завтра, конечно, тоже будет туман. Боюсь, как бы вы не простудились. Я-то, понятно, предпочла бы, чтобы вы поехали с нами. Да я еще не знаю наверное, — добавила она с озабоченным видом, — поеду ли я к Вердюренам. Они были ко мне так добры, что навестить их просто необходимо. После вас это самые близкие мне люди, хотя кое-какие мелкие черты мне в них не нравятся. Мне непременно нужно быть в „Бон-Марше“[107] или в «Труа-Картье»[108] — хочу купить белую шемизетку, а то это платье уж очень темное».

Отпустить Альбертину одну в большой магазин, где толкотня, в котором столько выходов, что всегда можно сказать, что не нашла своего экипажа, ждавшего поодаль? Я твердо решил не соглашаться, но я был так несчастлив! И все-

[107] Примечания: 107

Стр. 111. «Бон-Марше» — большой универсальный магазин в Париже, на Севрской улице, рядом с Сен-Жерменским предместьем.

[108] Примечания: 108

«Труа-Картье» — большой универсальный магазин в Париже на бульваре Мадлен, очень близко от дома, в котором прошло детство Пруста.

таки я не сознавал, что ведь я давно не вижу Альбертину, так как для меня она давно вступила в тот печальный период, когда существо, рассеянное во времени и в пространстве, для нас уже не женщина, а ряд неясных нам событий, ряд неразрешимых проблем, море, которое мы пытаемся, подобно смехотворному Ксерксу[109], высечь в наказание за все то, что оно поглотило. Как только этот период начинается, поражение твое неизбежно. Счастливы те, кому это сразу становится ясно, и они не длят бесполезной, изнурительной, замкнутой в пределах воображения борьбы, во время которой ревность так же позорно сражается, как и прежде: стоит только взгляду той, которая была всегда с ним, на мгновенье остановиться на другом, он уж дает волю воображению, испытывает невыносимые муки, потом смиряется с тем, что она уходит одна, а иногда с другим, насколько ему известно — с ее любовником, и предпочитает пытку полуправды полной неизвестности! Надо приспособиться к определенному ритму, а дальше вступает в силу привычка. Люди нервные не могли бы пропустить обеда, после которого они устраивают

[109] Примечания: 109

...подобно смехотворному Ксерксу... — См. примеч. к с. 57.

себе непродолжительный отдых; женщины, еще недавно ведшие легкомысленный образ жизни, проводят дни в покаянии. Ревнивцы, которые, чтобы выследить любимую женщину, отказывают себе в сне, в отдыхе, затем, убедившись, что ее желаний не перебороть, что мир велик и таинствен, что время сильнее их, в конце концов позволяют ей ходить одной, отпускают ее в путешествие, затем расстаются с ней навсегда. Ревность не может существовать без пищи, она длится до того времени, пока постоянно в ней нуждается. Мне же было еще далеко до избавления от ревности.

Теперь я был волен устраивать частые прогулки с Альбертиной. Вокруг Парижа в короткий срок понастроили ангаров, которые для аэропланов служат тем же, чем гавани для кораблей; после того дня, когда около Ла-Распельер у нас произошла почти мифологическая встреча с авиатором, чей полет вздыбил мою лошадь, встреча, которая явилась для меня как бы образом свободы, теперь у меня появилась излюбленная цель наших выездов в конце дня, доставлявшая удовольствие и Альбертине, обожавшей все виды спорта: один из аэродромов. Мы туда отправлялись, она и я, привлеченные видом беспрерывной жизни

отъездов и прибытий, придающих для любителей моря столько прелести прогулкам на мол или хотя бы на пляж, а также хождению вокруг аэродрома для любителей неба. Каждую минуту, среди покоя бездействовавших, как бы стоявших на якоре аэропланов, мы видели, как один из них с трудом тащили несколько механиков, — так тащат по песку лодку, которую потребовал турист для морской прогулки. Потом заводили мотор, аэроплан разбегался и, наконец, под прямым углом, начинал медленно набирать высоту, напрягшийся, словно замерший от восторга, и вдруг его горизонтальная скорость превращалась в величественный вертикальный взлет. Альбертина не могла сдержать свою радость и все добивалась объяснений от механиков, а те, как только аэроплан взлетал, возвращались обратно. Турист — тот разрезал воду километр за километром; поместительный ялик, с которого мы не сводили глаз, в лазурной дали превращался в почти неразличимую точку, но потом, когда срок прогулки близился к концу и надо было возвращаться в гавань, мало-помалу вновь обретал вещность, величину, объем. Альбертина и я, мы оба с завистью смотрели, как он прыгал на сушу, на совершившего прогулку туриста, насладивше-

гося открытым морем, пустынным горизонтом, тихим, прозрачным вечером. Затем с аэродрома, из музея, из церкви мы вместе возвращались к обеду. И все же я возвращался не таким успокоенным, каким был в Бальбеке во время редких прогулок, о которых я потом с гордостью думал, что они продолжались всю вторую половину дня, и которые потом вырисовывались передо мной чудными цветочными массивами, выросшими в конце дня Альбертины как бы на пустом небе, куда я устремлял безмятежный, бездумный взгляд. Время Альбертины не принадлежало мне тогда в таком большом количестве, как теперь. Тем не менее тогда мне казалось, что я всецело распоряжаюсь ее временем, так как отсчитывал — моя любовь воспринимала это как особую милость — только часы, проведенные ею со мной, а теперь — моя ревность с тревогой выискивала, не затаилась ли где-нибудь тут измена, — только часы, проведенные без меня.

Итак, ей явно не хотелось, чтобы я был с ней. Передо мной был выбор: перестать страдать или перестать любить. Если вначале любовь возникает на основе желания, то потом ее поддерживает лишь мучительная тревога. Я чувствовал, что часть жизни Альбертины от меня ускользает.

Любовь, будь она порождена мучительной тревогой или блаженным желанием, требует всего. Она не возникнет, у нее недостанет сил жить, если какую-то часть предстоит еще завоевать. Чем не владеешь всецело, того не любишь. Альбертина лгала, уверяя, что, наверное, не поедет к Вердюренам, а я лгал, утверждая, что мне хочется у них побывать. Она добивалась одного: не дать мне возможности выйти с ней, я же, огорошивая ее проектом, который ни в какой мере не рассчитывал осуществить, преследовал одну цель: найти в ней, как мне представлялось, наиболее чувствительную точку, выгнать из норки таимое ею желание и заставить ее признаться, что завтра мое присутствие помешает ей удовлетворить его. И, в общем, она призналась, неожиданно расхотев ехать к Вердюренам.

«Раз вы не хотите ехать к Вердюренам, можно съездить в Трокадеро[110] на замечательный бенефисный спектакль». Она выслушала мое предложение со скорбным лицом. Я опять стал резок с ней, как в Бальбеке, во времена первых

[110] Примечания: 110

Стр. 113. Трокадеро — здание в Париже, построенное архитекторами Габриэлем Давиу (1823-1881) и Бурде в связи со всемирной выставкой 1878 г. В этом дворце были музейные помещения и очень большой театральный зал. В 1937 г. дворец Трокадеро был снесен и на его месте построен дворец Шайо.

приступов моей ревности. Она опечалилась, а я начал отчитывать мою подружку, приводя доводы, которые мне так часто приводили родители, когда я был маленький, и которые казались неразумными и жестокими моему непонятому детству. «Нет, несмотря на ваш печальный вид, — сказал я Альбертине, — я не испытываю к вам жалости; я бы пожалел вас, если б вы были больны, если б с вами случилось несчастье, если б умер кто-нибудь из ваших родных; впрочем, это бы вас не огорчило, потому что вы растрачиваете свою фальшивую чувствительность бог знает на что. Притом, на мой взгляд, дешево стоит чувствительность людей, которые притворяются, будто любят нас, а сами не могут оказать нам пустячной услуги и которые, хотя и думают якобы только о нас, до того рассеянны, что забывают отнести наше письмо, хотя от него зависит наше будущее».

Все это — большую часть того, что мы говорим, мы заранее вытверживаем наизусть — мне часто говорила моя мать; ей доставляло удовольствие пояснять мне, что не следует смешивать настоящую чувствительность с сентиментальностью, с тем, что, — говорила она, — немцы, язык которых она обожала, хотя дедушка терпеть их не мог, на-

зывают Empfindung[111] и Empfindelei[112], а как-то раз, когда я плакал, она договорилась до того, что Нерон, может, и был человек нервный, но это его не оправдывает. Подобно растению, которое раздваивается при росте, тому плаксе, каким я всегда был в детстве, теперь противостоял совсем другой человек, здравомыслящий, нетерпимый к болезненной чувствительности, человек, похожий на того, какого мечтали сделать из меня мои родители. Каждый из нас неизбежно продолжает в себе жизнь своих предков, а потому человек уравновешенный и насмешливый, которого не было во мне вначале, потом нагнал чувствительного, и это вполне естественно, потому что такими были мои родители. Более того: когда новый человек во мне сформировался, он нашел готовый язык в памяти насмешливого ворчуна, язык, каким прежде говорили со мной, каким я должен был говорить с другими теперь и какой свободно звучал в моих устах — то ли благодаря миметизму и связи с воспоминаниями, то ли благодаря тому, что генетическая сила, без моего ведома, словно на листе растения, врезала в меня

[111] Примечания: 111
Ощущение (нем.).

[112] Примечания: 112
Чувствительность (нем.).

таинственные, тонкой работы, инкрустации тех же интонаций, телодвижений, поз, какие были у тех, от кого я вел свое происхождение. Так, моей матери иной раз (вследствие того, что во мне проходили незримые токи, под влиянием которых пальцы моих рук и те действовали, как у моих родных) казалось, что пришел мой отец: я стучался в дверь так же, как он.

С другой стороны, сцепление противоположных элементов — это закон жизни, основа оплодотворения и, как это будет видно из дальнейшего, причина многих несчастий. Обычно мы ненавидим то, что на нас похоже; наши недостатки, когда мы смотрим на них со стороны, вызывают у нас отвращение. Особенно часто тот, кто выражал свои чувства непосредственно, теперь, когда разыгрываются страсти, переживает бури с каменным лицом — так ненавидит он собственные недостатки в ту минуту, когда их обнаруживает кто-нибудь другой, моложе его, наивнее или глупее! Есть такие душевно ранимые люди, которых раздражает, что кто-то плачет, хотя он сам в эту минуту с трудом удерживает слезы. Слишком большое сходство, несмотря на привязанность, — и даже иногда чем привязанность глубже — вносит в семьи

разлад. Быть может, во мне, да и во многих других, второй человек, в которого я превратился, представлял собой просто-напросто обличье другого: пылкий и чувствительный, когда дело касалось меня, я становился мудрым ментором по отношению к другим. Быть может, так же было и с моими родителями: и у них было одно отношение к самим себе, а другое — ко мне. Что касается бабушки и матери, то было совершенно ясно, что их строгость по отношению ко мне — строгость наигранная и они от нее страдали, и, быть может, холодность моего отца была всего лишь оболочкой его чувствительности. Быть может, человек действительно родится двуличным: у его внутреннего мира одно лицо, а другое — его общественных отношений, для выражения которых употреблялись слова, прежде казавшиеся мне неверными по существу и банальными по форме, когда про моего отца говорили: «Под внешней холодностью он таит необычайную чувствительность; его отличительная черта — страх показаться сентиментальным». Быть может, он и правда беспрестанно удерживался от вспышек, хранил спокойствие, если вынужден был выслушивать поучения, хранил запас иронии, когда при нем слишком назойливо проливали

слезы, и все это было его, врожденное, но чем я теперь нарочно привлекал к себе всеобщее внимание и в чем я себе особенно часто отказывал при известных обстоятельствах, в разговорах с Альбертиной.

В тот день я был действительно уверен, что расстаюсь с ней и уезжаю в Венецию.[113] Меня вновь потянуло в Нормандию не потому, чтобы Альбертина выражала желание ехать в этот край, где я ревновал ее (я всегда мог надеяться, что ее планы не коснутся самых мучительных моих воспоминаний), но потому, что, когда я сказал: «Я вам как будто говорил о подруге вашей тетушки, жившей в Инфревиле», — она ответила в бешенстве, счастливая, как все спорщики, нашедшие самый веский довод в доказательство, что другой не прав, а она права: «Моя тетка ни с кем в Инфревиле не была знакома, и я туда не собираюсь». Альбертина забыла, что она мне солгала: она как-то сказала про одну подозрительную даму, к которой ей будто бы крайне необходимо ехать на чашку чаю, хотя бы она из-за этого рассорилась со

---

[113] Примечания: 113

Стр. 115. …уезжаю в Венецию. — Этот мотив повторяется на протяжении всех предыдущих книг Пруста. Путешествие героя в Венецию описано в романе «Беглянка». Сам Пруст был в Венеции дважды — в мае и в октябре 1900 г.

мной или умерла. Я ей об этом не напомнил. Но ее ложь меня доконала. Я вторично задумал разрыв. Любовь не требует искренности, она даже не требует изворотливости во лжи. Я подразумеваю здесь под словом «любовь» взаимную пытку.

В тот вечер я не считал за грех быть с ней безукоризненным, как была со мной моя мать, ни объявить, что я поеду с ней к Вердюренам, резким тоном отца, объявлявшего о своих решениях так, что это вызывало у нас волнение непропорционально его решению. Поэтому у отца были все основания считать нас глупцами, раз мы из-за пустяков впадаем в отчаяние, хотя все-таки расстроил нас он. Слишком уж прямолинейная житейская мудрость бабушки и самодурство отца стали проявляться у меня как дополнение к моей чувствительной натуре, которой они долгое время были чужды до такой степени, что в детстве я от них очень страдал, но зато теперь моя чувствительная натура научилась обзаводиться самыми точными сведениями, чтобы бить без промаха: лучший наводчик — старый налетчик или же солдат, захваченный в плен. В иных лживых семьях брат, зашедший взглянуть на брата без всякой причины, мимоходом задающий ему, не переступая порога в его комнату,

случайный вопрос и даже не дослушивающий его, тем самым доказывает брату, что он пришел именно за справкой, так как брат отлично изучил его рассеянный взгляд, слова, сказанные как бы в скобках, в последнюю секунду, ибо он и сам произносил их точно так же. Существуют и семьи патологические, — существует деланная чувствительность, существуют особые родственные отношения, основанные на безмолвном языке, благодаря которому члены семьи понимают друг друга без слов. Кто сильнее действует на нервы, чем человек нервный? И все же в таких случаях в моем поведении была, пожалуй, заложена причина общего характера и более глубокая. В те мгновенья, краткие, но неизбежные, когда вы ненавидите любимое существо, — мгновенья, иногда длящиеся всю жизнь, если это существо нелюбимое, — вам не хочется казаться добрым, чтобы вас не жалели, но вместе с тем вам не хочется показаться до крайности злым и счастливцем из счастливцев, чтобы ваше счастье не вызывало ненависти и не язвило врага случайного или постоянного. Скольким меня оклеветали только из-за того, что мои «успехи» показались безнравственными и сильнее настроили против меня! Всегда надо избирать противоположный

путь, то есть без ложного самолюбия показывать, что вы питаете добрые чувства, а не запрятывать их как можно глубже. И это очень легко, если человек приучил себя никого не ненавидеть, а только любить. Ведь это же так хорошо — говорить только о том, что может осчастливить, растрогать других, что может их влюбить в вас!

Разумеется, я пожалел, что был резок с Альбертиной; я сказал себе: «Если б я ее не любил, она была бы мне только благодарна, потому что тогда у меня не было бы к ней злого чувства; да нет, то же на то же бы и вышло: я бы не был с ней так ласков». Я мог бы, в оправдание себе, сказать, что я люблю ее. Но мало того, что Альбертина ничего не поняла бы в этом признании, оно, пожалуй, еще больше отдалило бы ее от меня, так как единственным доказательством любви служат именно суровость и плутни. Быть суровым и лукавым с той, кого любишь, — это же так естественно! Если интерес, который мы проявляем к другим, не мешает нам быть нежными и уступчивыми с нашей возлюбленной, значит, этот наш интерес надуман. Другие нам безразличны, а безразличие не возбуждает злобного чувства.

Был уже конец вечера; до ухода Альбертины к себе у нас оставалось немного времени, чтобы

достичь примирения и опять начать целоваться. Но пока никому из нас не хотелось сделать первый шаг.

Чувствуя, что она зла на весь свет, я воспользовался этим и заговорил об Эстер Леви[114]: «Блок мне сказал (я говорил неправду), что вы близко знакомы с его двоюродной сестрой Эстер». — «Я бы даже ее не узнала», — с неопределенным видом сказала Альбертина. «Я видел ее фотографию», — злобно добавил я. На Альбертину я в этот момент не смотрел и не видел выражения ее лица, а это была бы единственная форма ее ответа, так как она молчала.

Поцелуй Альбертины в такие вечера был не похож на умиротворяющий поцелуй моей матери в Комбре, — напротив, — он напоминал тоску прощаний, когда мать сквозь зубы желала мне спокойной ночи или даже не поднималась ко мне в комнату то ли потому, что была на меня сердита, то ли потому, что не хотела уходить от гостей. Эта тоска — именно тоска, а не транспонировка ее в любовь, — нет, самая настоящая тоска, которая одно время сосредоточивалась в люб-

[114] Примечания: 114

Стр. 117. Эстер Леви. — персонаж книг Пруста, кузина Блока, друга героя; эпизодически появляется в романах «Под сенью девушек в цвету» и «Содом и Гоморра».

ви и которая, когда распределение, разделение страстей совершилось, действовала в одиночку, теперь, казалось, снова распространилась на все страсти, вновь стала неделимой, как в детстве, будто все мои чувства, трепетавшие оттого, что не могут удержать Альбертину у моей постели как любовницу, как сестру, как дочь, как мать с ее ежедневным «Спокойной ночи!», в котором я вновь начал ощущать потребность ребенка, стали сплачиваться, соединяться в один недозрелый вечер моей жизни, представлявшийся таким же коротким, как зимний день. От тоски, как в детстве, теперь изменилось все мое существо, чувство, внушаемое ею, было совсем иным, весь характер мой преобразовался, и я уже не мог добиваться умиротворения от Альбертины, как когда-то требовал его от матери. Я разучился говорить: «Мне скучно». С адом в душе, я ограничивался тем, что толковал о совершенно неважных вещах, которые ни в коем случае не привели бы меня к счастливой развязке. Я топтался на месте, не выходя из круга мучительных пошлостей. В силу интеллектуального эгоизма, — стоит лишь незначительному факту коснуться нашей любви, мы готовы поднять на пьедестал того, кто на этот факт обратил внимание, быть

может, так же случайно, как гадалка, которая предвозвестила самое обыкновенное событие в нашей жизни и которое потом сбылось, — я был не далек от того, чтобы поставить Франсуазу над Берготом и Эльстиром только потому, что она мне сказала в Бальбеке: «От этой девушки вы бед не оберетесь».

Каждое мгновенье приближало меня к прощанию с Альбертиной, и наконец она пожелала мне спокойной ночи. Но в тот вечер ее поцелуй, в который она не вложила себя всю и в котором она не встретилась со мной, так меня встревожил, что я с бьющимся сердцем провожал ее взглядом до двери и думал: «Если я хочу найти предлог, чтобы окликнуть ее, удержать, помириться, то нужно спешить: ей остается пройти всего несколько шагов до двери, ну еще два, ну еще один, потом она поворачивает ручку, отворяет дверь, а уж теперь поздно, дверь затворилась!» А может, все-таки еще не поздно. Как в былое время в Комбре, когда мать уходила, не успокоив меня поцелуем, мне хотелось броситься к ногам Альбертины, я чувствовал, что в моей душе не будет мира, пока я ее не увижу вновь, что это прощание вырастет во что-то громадное, чего до сих пор не было, и что, если мне не удастся своими силами избавиться

от тоски, у меня, возможно, появится постыдная привычка выклянчивать у Альбертины примирение; я спрыгивал с кровати, когда она уже была у себя в комнате, я ходил взад и вперед по коридору, в надежде, что она выйдет и позовет меня, я замирал у ее двери, боясь услыхать ее слабый зов, я возвращался к себе в комнату посмотреть, не забыла ли она, на мое счастье, носовой платок, сумочку, что-нибудь такое, что должно было меня напугать: она потеряла нужную вещь, значит, у меня есть предлог пойти к ней. Нет, она ничего не забыла. Я опять шел к ее двери, но в щели было темно. Альбертина погасила свет, легла, а я стоял неподвижно, в надежде неизвестно на что, чего мне так и не суждено было дождаться; долго я так стоял, потом, замерзнув, ложился под одеяло и плакал всю ночь до утра.

Иногда, в такие вечера, чтобы поцеловать Альбертину, я пускался на хитрость. Зная, что, как только она ложилась, она тут же и засыпала (она тоже это знала, так как, ложась, инстинктивно снимала с себя туфли, которые я ей подарил, а кольцо снимала и клала рядом с собой, как она это делала перед сном в своей спальне); зная, как глубок ее сон, а пробуждение медленно, я подыскивал предлог, чтобы пойти за чем-нибудь,

и укладывал ее на моей кровати. Когда я возвращался, она спала, и передо мной была другая женщина, какой она становилась, лежа лицом ко мне. Но она быстро менялась, как только я ложился рядом с ней и видел ее профиль. Я мог взять ее за голову, приподнять ее, притянуть к своим губам, обвить ее руками свою шею — она все спала, как продолжают идти часы, как не прекращает двигаться ползучее дерево, как не прекращает пускать все дальше и дальше свои усики вьюнок, какие бы подпорки ему ни ставили. Только дыхание изменялось у нее при каждом моем прикосновении, словно она представляла собой инструмент, из которого я извлекаю разные звуки, трогая то одну струну, то другую. Моя ревность утихала, как только я убеждался, что Альбертина превратилась в дышащее существо и ни во что другое, о чем свидетельствовало ее ровное дыхание, являющееся чисто физиологической функцией, неуловимое, ибо оно не обладает весомостью слова, молчания и, не ведающее зла, скорее приближается к дуновению сломанного тростника, чем к дыханию человека, к дыханию воистину небожительницы, какой в такие минуты казалась мне Альбертина с этой ее от всего отрешившейся, не только в материальном, но

и в моральном смысле, безгрешной ангельской песнью. И все же мне вдруг приходило на ум, что, быть может, в это дыхание память заносила много имен и они там резвились.

Иной раз к этой музыке присоединялся человеческий голос. Альбертина произносила несколько слов. Как мне хотелось уловить их смысл! Бывали случаи, когда она шептала имя человека, о котором мы с ней говорили и который возбуждал во мне ревность, однако сейчас я не страдал, ибо воспоминание, которое оно влекло за собой, представлялось мне воспоминанием только о разговоре. Но вот как-то вечером, когда Альбертина, лежа с закрытыми глазами, почти уже проснулась, она ласково сказала, обращаясь ко мне: «Андре!» Я не выдал своего волнения. «Ты бредишь, я не Андре», — сказал я со смехом. Она тоже улыбнулась: «Да нет, я хотела тебя спросить, что тебе сказала Андре». — «Я бы скорей подумал, что ты вот так лежала рядом с ней». — «Да что ты, никогда в жизни», — сказала Альбертина. Она только, прежде чем мне ответить, на секунду закрыла лицо руками. Значит, ее молчание было всего лишь покровом, ее показная нежность была, значит, ей нужна, только чтобы удержать в моей душе множество несносных для меня

воспоминаний, ее жизнь была, значит, полна происшествий, смешной рассказ о которых, уморительная хроника которых является ежедневным предметом болтовни о других, о тех, кто нам безразличен, но вот если кому-нибудь удалось проникнуть в наше сердце, та же самая болтовня кажется неоцененным просветом в его жизнь, а чтобы познать этот подземный мир, мы бы с радостью отдали жизнь. Тогда ее сон представлялся мне сказочным, волшебным миром, откуда временами, из полупрозрачной среды, доносится открытие тайны, которая никогда не будет разгадана. Но обычно Альбертина спала со своим обычным невинным видом. Поза, которую я ей придал, но которую во сне она быстро меняла на свою, привычную, выражала доверие ко мне. С ее лица исчезало выражение хитрости и вульгарности, и между ней, протягивавшей мне руку, и мной, казалось, устанавливалась полнейшая покорность, нерасторжимая дружба. Сон не разлучал ее со мной, в ней продолжала существовать наша взаимная нежность; скорее уничтожалось все остальное; я целовал ее, говорил, что немного пройдусь; она полуоткрывала глаза, говорила мне с удивлением — в самом деле, была уже темная ночь: «Куда ты так поздно, милый?..»

— она добавляла мое имя и тут же засыпала. Ее сон был лишь стушевкой всего остального в ее жизни, полным молчанием, по которому время от времени летали обычные слова, выражающие нежность. Когда они приближались друг к другу, из них составлялся однородный разговор, сокровенная задушевность чистой любви. Этот спокойный сон радовал меня — так радуется мать, уверенная, что, если ребенок спит спокойно, значит, он здоров. И Альбертина спала тоже как дети. Естественным, безмятежным сном — до тех пор, пока не отдавала себе отчета, где она находится, и я иногда спрашивал ее со страхом, спала ли она когда-нибудь до меня одна, а пробудившись, не искала ли глазами кого-то. Но детская ее прелесть брала верх. Опять-таки, как будто я был ее матерью, я дивился тому, что она всегда просыпается в отличном настроении. В течение нескольких минут она приходила в себя, из уст ее излетал очаровательный бессвязный лепет. Как в своего рода чехарде, ее шея, обычно мало заметная, а сейчас почти прекрасная, приобретала огромное значение за счет глаз, закрытых сном, глаз — обычных моих собеседников, к которым я уже не мог обращаться после того, как смыкались веки. Как закрытые глаза придают

лицу невинную и значительную красоту, уничтожая все, что слишком прямо выражают взгляды, так в не лишенных смысла, но прерывавшихся молчанием словах, произносившихся Альбертиной при пробуждении, была чистая красота, не загрязняемая поминутно, как в разговоре, любимыми словечками, избитыми выражениями, неправильностями. Когда я решался разбудить Альбертину, я мог будить ее безбоязненно; я знал, что ее пробуждение никак не связано с проведенным нами вечером, что она выйдет из сна, как из ночи выходит утро. Открывая глаза и улыбаясь, она протягивала мне губы, и, хотя она не произносила ни слова, я уже чувствовал успокоительную свежесть, какою тянет перед утром из еще тихого сада.

Утром, после того вечера, когда Альбертина сказала сперва, что, может быть, поедет, а потом — что не поедет к Вердюренам, я проснулся рано; еще в полусне обуявшая меня радость дала мне знать, что в зиму вошел весенний день. С той поры разные инструменты, вплоть до воронки для склеивания фарфора или палочки для обивания соломой стульев и кончая свистулькой пастуха, который в ясный день выглядел неким сицилийским пастырем, начинали тихонько

сыгрываться, чтобы исполнить сочиненные для них популярные мелодии, переходившие в утреннюю песнь, в «Увертюру для праздничного дня». Слух, это дивное чувство, переносит к нам в комнату уличную толпу, вычерчивает все ее линии, вырисовывает все ее движущиеся формы, показывает, какого они цвета. Железные «занавеси» булочника, молочника, которые еще вчера вечером опускались над всеми видами женского счастья, теперь поднимались, как легкие шкивы корабля, который снимается с якоря, сейчас отойдет и поплывет по прозрачному морю, сквозь сон молодых служащих. Этот стук поднимающихся железных занавесей составлял, пожалуй, единственное мое удовольствие в этом многообразном квартале. Сто кварталов, которые он в себя вмещал, по-своему радовали меня, и мне жаль было заспаться и хоть что-нибудь упустить. Например, очарование старинных аристократических и в то же время народных кварталов. Так, соборы находились невдалеке (иным случалось даже присвоить себе и сохранить, как, например, Руанскому собору, название Книжной лавки, потому что напротив него книжные лавки выставляли свой товар под открытым небом) от разных мелких бродячих ремесел, проходивших

мимо знатного дома Германтов и по временам напоминавших старинную религиозную Францию. Их забавный зов, который они обращали к соседним домишкам, за редкими исключениями представлял собой песенку. Он отличался от песенки так же, как отличался от декламации, чуть подкрашенной незаметными вибрациями, «Бориса Годунова»[115] или «Пелеаса»[116]; а иногда этот зов напоминал возглас священника во время богослужения, по отношению к которому уличные сцены являлись всего лишь безобидным балаганным и все же в известной мере литургическим контрастом. Такого удовольствия я еще не испытывал с момента переезда ко мне Альбертины; я воспринимал эти сцены как радостный сигнал ее пробуждения и, заинтересовавшись жизнью наружи, сильнее чувствовал успокоительное присутствие дорогого существа, которое будет со мной столько, сколько я захочу. Иные из пищевых товаров, названия которых

[115] Примечания: 115

Стр. 123. «Борис Годунов». — Эта опера М. П. Мусоргского (1839-1881) была впервые представлена в Париже в 1908 г. по инициативе Дягилева. Главную партию исполнял Шаляпин. Пруст слушал эту оперу в мае 1913 г.

[116] Примечания: 116

«Пелеас». — Речь идет об опере Клода Дебюсси (1862-1918) «Пелеас и Мелисанда» на сюжет одноименной пьесы М. Метерлинка; впервые поставлена на сцене театра Опера комик в 1902 г.

выкрикивались на улице и которые я терпеть не мог, очень любила Альбертина, и Франсуаза посылала за ними молодого лакея, которого, может быть, отчасти унижало то, что ему приходится смешиваться с простонародьем. В этом обычно тихом квартале (где очень разные шумы уже не звучали Франсуазе грустным мотивом и были отрадны мне) доходили до моего слуха, каждый со своей особой модуляцией, речитативы, произносившиеся простолюдинами так, как они произносились бы в чрезвычайно популярной музыке из «Бориса Годунова», где начальная интонация едва заметно нарушается тем, что одна нота находит на другую, в музыке толпы, точнее — — в языке музыки. Выкрики: «А вот бигорно, два су бигорно!» — заставляли толпу устремляться к кулькам, в которых продавались маленькие мерзкие улитки, которые, если бы со мной не было Альбертины, вызвали бы во мне отвращение, как, впрочем, и эскарго, продававшиеся в тот же час. В декламации торговца, продававшего эскарго, чуть-чуть сильнее звучали лирические порывы музыки Мусоргского, но не они одни. Почти проговорив: «Эскарго, свежие, вкусные» — с безотчетной грустью Метерлинка, положенной на музыку Дебюсси, продавец эскарго в одном

из своих душераздирающих финалов, в которых автор «Пелеаса» приближается к Рамо[117]: «Мне суждено быть побежденным — моим победителем будешь ты?»[118] — добавлял с певучей унылостью: «Шесть су дюжина…»

Мне всегда было трудно постичь, отчего такие понятные слова произносятся неподходящим тоном, таинственным, как тайна, опечалившая всех в старинном дворце, куда Мелисанде не удалось внести радость, и глубоким, как мысль старика Аркеля[119], пытающегося выразить в самых простых словах мудрость и судьбу. Высокие ноты — с их возрастающей мягкостью, — ноты голоса старого короля Аллемонда или Голо[120]: «Не поймешь, что здесь такое; это кажется странным; быть может, здесь не бывает ненужных событий»

---

[117] Примечания: 117

Рамо Жан-Филипп (1683-1768) — французский композитор, автор большого числа опер, в свое время очень популярных.

[118] Примечания: 118

«Мне суждено быть побежденным…» — В действительности Пруст цитирует (не очень точно) слова из оперы Жана-Батиста Люлли (1632-1687) «Армида» (1684).

[119] Примечания: 119

Аркель — персонаж пьесы Метерлинка (и оперы Дебюсси) «Пелеас и Мелисанда», король вымышленной страны Аллемонда.

[120] Примечания: 120

Голо — персонаж «Пелеаса и Мелисанды», внук короля Аркеля.

— или: «Не надо бояться, это такое же маленькое таинственное существо, как и все», — это были те же самые ноты, которые слышались в нескончаемой кантилене продавца эскарго: «Шесть су дюжина…» Но эта метафизическая жалоба не успевала замереть на грани бесконечности — ее прерывала веселая дудочка. На сей раз речь шла не о съестном, слова либретто были таковы: «Подстригаю и обрезаю собакам и кошкам хвосты и уши».

Разумеется, ум и фантазия каждого торговца или торговки часто варьировали слова музыкальных произведений, которые я слушал, лежа в постели. Но ритуальный обрыв на полуслове, да еще если он повторялся дважды, приводил на память старинные церкви. Разъезжая в колясочке, в которую была впряжена ослица, торговец платьем останавливался около каждого дома и, держа в руке кнут, тянул: «Платье, торговец платьем, платьем» — с той же паузой между слогами в слове «платье», как если бы он пел в церкви: «Per omnia saecula reculo…rum»[121] — или: «Requiescat in pa…ce»[122], хотя он не мог допустить, что его

[121] Примечания: 121
Во веки веков (лат.).

[122] Примечания: 122
Да почиет в мире (лат.).

платье просуществует вечность, и уж никак не мог предлагать его как покровы для тех, кто почил в мире.

И в этот же час, когда мотивы сталкивались между собой, уличная торговка, толкавшая тележку, пела свою молитву на грегорианский распев[123]:

На диво сочны, сочны, зелены,
Артишоки поспели в сроки,
Ар-тишоки,

— хотя на самом деле она ничего не смыслила в церковном пении, в том, что символизируют его семь тонов, то есть — четыре высшие науки квадривиума и три основные науки тривиума.[124]

Извлекая из свиристелки, из волынки звуки своего южного края, свет которого сливался с ясными днями в городе, человек в блузе и в

---

[123] Примечания: 123

Стр. 124. Грегорианский распев — тип церковного пения (одноголосный мужской хор в унисон), сложившийся в раннее средневековье и канонизированный при папе Григории I (на папском престоле в 590-604 гг.). Этот распев характеризуется ровным, плавным пением, лишенным разнообразия и мелодического выделения смысловых единиц.

[124] Примечания: 124

...четыре высшие науки квадривиума и три основные науки тривиума. — Речь идет об основном подразделении предметов обучения — так называемых «свободных искусств» (в отличие от теологии) — средневековой школы: тривиума (грамматика, риторика и диалектика) и квадривиума (арифметика, музыка, геометрия и астрономия).

баскском берете, держа в руке бычачью жилу, останавливался у домов. Это был пастух с двумя псами, гнавший стадо коз. Так как он шел издалека, то по нашему кварталу он шел довольно поздно; женщины бежали к нему с кувшинами за молоком, полезным для здоровья их малышей. А в пиренейские песенки благодетеля-пастуха уже врезался колокольчик точильщика, выкрикивавшего: «Ножи, ножницы, бритвы!» С ним не мог состязаться точильщик пил, ибо, не имея инструмента, он ограничивался тем, что взывал: «Вам нужно точить пилы? Я — точильщик», между тем как лудильщик, более веселого нрава, перечислив котлы, кастрюли, все, что он лудил, напевал:

Трам-трам-тарарам,
Я хожу по дворам,
Навожу полуду
На любую посуду,
Ярь-медянку сотру,
Залатаю в кастрюле дыру,
Тру-ру-ру!

А маленькие итальянцы с большими железными коробками, на которых были помечены проигрывающие и выигрывающие номера, раз-

махивая трещоткой, предлагали: «Позабавьтесь, дамочки, получите удовольствие!»

Франсуаза принесла мне «Фигаро». Достаточно было беглого взгляда, чтобы удостовериться, что сегодня моей вещи там нет. Франсуаза сказала, что Альбертина спрашивает: не может ли она ко мне войти и сказать, что она во всяком случае не поедет к Вердюренам и что ей хочется поехать по моему совету на необыкновенный утренник в Трокадеро — теперь это назвали бы, с меньшим основанием, «спектаклем-гала» — после того, как они с Андре немножко покатаются на лошадках. Когда я узнал, что она отказалась от своего — может быть, дурного — желания съездить к г-же Вердюрен, я крикнул со смехом: «Пусть войдет!» — а себе сказал, что она может ехать куда хочет и что мне это безразлично. Я знал, что к концу дня, когда нахлынут сумерки, я безусловно стану другим человеком, грустным, придающим значение кратковременным приходам и уходам Альбертины, а в такой ранний час и когда на улице так хорошо они не имели ровно никакого значения. Моя беспечность опиралась на точное представление об ее намерениях, но они ее не колебали. «Я узнала от Франсуазы, что вы проснулись и что я вас не побеспокоила», — входя, сказала мне

Альбертина. Больше всего она боялась, в неурочный час отворив окно, напустить мне в комнату холоду и войти, когда я сплю. «Надеюсь, я вам не помешала, — добавила она, — Я боялась, что вы мне скажете[125]:

«Что за безумец ждет здесь гибели своей?»

И она засмеялась тем особенным смехом, который так меня волновал. Я ответил ей таким же шутливым тоном:

Ты можешь пренебречь суровым сим запретом.

Но из боязни, что она теперь всегда будет нарушать установленный порядок, добавил: «Хотя я и зол на то, что вы меня разбудили». — «Знаю, знаю, не бойтесь», — сказала Альбертина. Чтобы смягчить предшествующие слова, я прибавил, продолжая разыгрывать с ней сцену из «Эсфири» и превращая в дикую мешанину уличные крики:

«Я восхищен тобой, души в тебе не чаю,

Я без тебя томлюсь, с тобою не ску-

---

[125] Примечания: 125

Стр. 125. Я боялась, что вы мне скажете... — Далее приводятся три цитаты из трагедии Расина «Есфирь».

чаю»

(а в это время думал: «Да, мне она надоедает очень часто»). Вспомнив, что она мне ответила вчера, когда я в преувеличенно нежных выражениях благодарил ее за отказ ехать к Вердюренам, чтобы она и впредь слушалась меня в том-то и том-то, я сказал: «Альбертина! Вы не доверяете мне, хотя я вас люблю, и доверяете тем, кто вас не любит». (Как будто не вполне естественно, что человек не доверяет тому, кто его любит и кто только в одном и заинтересован — лгать ему, чтобы что-то узнать, чтобы ему воспрепятствовать.) И я еще прибавил эти лживые слова: «В сущности, вы не верите, что я вас люблю, — забавно! В самом деле, я вас не *боготворю*». Теперь настала ее очередь лгать: она сказала, что доверяется только мне, а затем искренне призналась, что знает о моей любви к ней. Но в этом ее утверждении не чувствовалось уверенности, что она не считает меня лгуном и шпионом. Казалось, она меня прощает, как будто она считает, что это нестерпимое следствие сильной любви, или словно она находила, что сама-то она не такая уж хорошая.

«Пожалуйста, деточка, не прыгайте, как прошлый раз. Подумайте, Альбертина: ну что, если с

вами случится несчастье?»[126] Конечно, я не желал ей зла. Но какая бы это была для меня отрада, если бы ей пришла в голову прекрасная мысль со всеми лошадьми заехать неведомо куда, куда ей только захочется, и никогда больше не возвращаться домой! Как все упростится: она где-то будет жить счастливо, и я даже не буду знать, где! «О, я знаю: вы одного дня без меня не проживете, вы покончите с собой». Так мы обменивались лживыми словами. Но более глубокая правда, если б мы выказали чистосердечие, может иной раз быть выражена и возвещена другим путем, не путем чистосердечия.

«Вас не раздражает этот уличный гам? — спросила она. — Я его обожаю. Но ведь вы под утро так чутко спите?» Я спал иногда очень крепким

---

[126] Примечания: 126

Стр. 126. «…ну что, если с вами случится несчастье?» — Далее в рукописи следует текст, отсутствующий в машинописях: «Как, — воскликнула она смеясь, — вы не покончите с собой?» — «Нет, но для меня это было бы страшным горем». Живя у меня и сделавшись очень образованной, она тем не менее поддерживала таинственную связь с внешним миром, подобно розам, росшим в горшках в ее комнате и неизменно дававшим цветы весной, она подчинялась какой-то изначальной гармонии и, не говоря почти ни с кем, продолжала пользоваться глуповатым, но милым женским языком; и вот на этом самом языке она спросила: «Так что, все эти враки, оказывается, правда?» Видимо, она если и не любила меня больше, чем я ее любил, то могла заключить из моего с ней обращения, что моя нежность по отношению к ней была значительно большей, чем она была на самом деле; вот почему она добавила: «Вы такой милый, нет, нет, я не сомневаюсь, я знаю, что вы меня любите. Но что вы хотите, — продолжала она, — если

уж такая моя судьба — умереть, упав с лошади? У меня часто бывает такое предчувствие, но мне на это наплевать. Пусть случится то, что Господу угодно». Я же думаю, что у нее не было ни предчувствий, ни страха смерти и что слова ее не были искренними. Во всяком случае, я уверен, что искренности не было и в моих словах, когда я говорил о том, что ее смерть была бы для меня страшным горем. Чувствуя, что Альбертина может лишь лишить меня удовольствий или причинить страдания, что я понапрасну трачу свою жизнь ради нее, я вспоминал обет, данный когда-то Сваном в связи с Одеттой, и, не помышляя о смерти Альбертины, я мысленно говорил себе, словно султан, что эта смерть вернула бы мне полную свободу».

сном (я уже говорил ей об этом, но когда следовавшее за ним событие принуждало меня об этом напомнить), особенно если я спал только утром. Такой сон — в среднем — был в четыре раза более отдохновительным, он казался спящему в четыре раза более долгим, хотя на самом деле он был вчетверо короче. Эта изумительная ошибка в умножении на шестнадцать украшает пробуждение и вносит в жизнь подлинную новацию, подобную небывалым изменениям ритма, благодаря которым в музыке, в анданте, одна восьмая столь же продолжительна, как половина в prestissimo[127] и которые еще вчера были неизвестны. В жизни происходит почти то же самое — отсюда разочарование, которое испытываешь во время путешествий. Ты уверен, что ты проснулся, однако тут вступает в силу самая грубая материя жизни, но материя «обработанная», размягченная таким образом — с растяжкой, при которой никакие часовые границы вчерашнего дня не мешают ей достигать невиданных высот, — что ее не узнать. В такие счастливые для меня утра, когда губка сна стирала с моего мозга знаки повседневных занятий,

[127] Примечания: 127
Очень быстро (ит.).

которые выделялись на нем, как на черной доске, мне нужно было оживить мою память; сила воли способна вновь научить тому, что амнезия сна или припадок заставили забыть и что мало-помалу возрождается — по мере того, как открываются глаза или проходит припадок. Я прожил столько часов в несколько минут, что, желая вести с Франсуазой, которую я позвал, разговор на языке, соответствующем действительности и времени дня, я должен был изо всех сил взять себя в руки, чтобы не сказать: «Ну-с, Франсуаза, сейчас пять часов вечера, а я вас не видел со второй половины вчерашнего дня». Действуя наперекор моим снам и говоря неправду самому себе, я имел наглость, всеми силами стараясь перекричать ее, сказать ей слова, противоречившие тому, что было на самом деле: «Франсуаза! Уже десять часов!» Я говорил не «десять часов утра», а только «десять часов» для того, чтобы эти невероятные «десять часов» могли быть произнесены самым естественным тоном. Однако выговорить эти слова, вместо тех, что вертятся на языке у только что проснувшегося, как я, требовало от меня таких же усилий не потерять равновесие, какие требуются от человека, который, прыгнув с едущего поезда и пробежав несколько минут по пути, в конце

концов не падает. Некоторое время он бежит, потому что среда, покинутая им, была средой, движимой огромной скоростью и резко отличающейся от неподвижной почвы, по которой ногам трудновато ступать.

Из того, что мир сна не есть мир пробуждения, не следует, что мир пробуждения менее реален; напротив. В мире сна наше восприятие так перегружено, причем каждое восприятие утолщено за счет наслаивающегося на него и удваивающего, слепого поневоле, что мы лишены возможности разобраться в сонном забытье. Франсуаза ли то пришла, или я, устав звать, пошел к ней? В это мгновенье тишина является единственным средством ничего не обнаруживать, как по требованию судьи, изучившего ваше дело, но не посвященного в секретные сообщения. Франсуаза ли пришла, я ли ее позвал? Не спала ли Франсуаза и не разбудил ли Франсуазу я? Более того: не Франсуаза ли заключена в моей груди? Ведь отличение людей одного от другого, их взаимодействие, чуть видное в этой бурой тьме, где реальность так же прозрачна, как тело дикобраза, и где восприятие, которого мы почти лишены, может, пожалуй, дать представление о каких-то животных. Впрочем, если даже в том прозрачном

безумии, какое предшествует самым тяжелым снам, обрывки здравого смысла ясно видны на поверхности, если имена Тэна[128], Джорджа Элиота[129] я не забыл, значит, пробуждение имеет то преимущество, что оно каждое утро может возобновиться, а у вечернего сна его нет. Но, быть может, существуют иные миры, более реальные, чем мир пробуждения. Мы же видели, что даже мир пробуждения преобразует всякая революция в искусстве, более того: в любое время меняется уровень дарования и культуры, разнящего артиста от невежественного глупца.

Нередко лишний час сна — это атака паралича, после которого нужно вновь научиться владеть своими членами, вновь научиться говорить. Воля здесь не помощница. Мы слишком долго спали, больше не спится. Пробуждение ощущается едва-едва, механически, бессознательно, как, быть может, в водопроводной трубе ощущается закрытие крана. Настает жизнь менее одушевленная, чем жизнь медузы, если только знать наверное,

---

[128] Примечания: 128

Стр. 128. Тэн Ипполит (1828-1893) — французский философ и теоретик искусства, очень популярный в конце XIX в.

[129] Примечания: 129

Джордж Элиот — псевдоним Мэри Энн Эванс (1819-1880), популярной английской писательницы, автора романов на социальные темы.

что медузу достали со дна моря или вернули с каторги, и если только может такая мысль взбрести в голову. Но тут с высоты небес богиня Мнемотехника наклоняется над нами и протягивает нам в форме «привычки пить кофе с молоком» надежду на воскресение[130]. Воскресение настает не сразу; показалось, что позвонили, но звонка нет, обмениваются какими-то непонятными словами. Только движение возвращает мысль, и когда ты действительно нажимаешь электрическую грушу, то имеешь право сказать медленно, но четко: «Уже десять часов, Франсуаза! Принесите мне кофе с молоком».

О чудо! Франсуаза не догадывалась, что море ирреального еще омывало меня всего и что сквозь него у меня хватило силы обратиться к ней со странным призывом. Она и правда ответила: «Десять минут одиннадцатого», что утверждало меня в сознании, что я в здравом уме, и позволяло

---

[130] Примечания: 130

…надежду на воскресение. — Текст, приводимый в сноске, написан на отдельном листочке, подклеенном к машинописи. Современные издания включают его в основной текст романа. [Дар памяти не всегда прост. Часто в первые мгновенья, когда ты выныриваешь на поверхность пробуждения, тебе кажется, что ты можешь выбирать, как в игре в карты, окружающие тебя во множестве разные реальности. Сегодня пятница, утро, идут с прогулки, или: пора пить чай на берегу моря. Мысль о сне и что ты лег в ночной сорочке часто бывает последней твоей мыслью в этот день.]

мне не замечать странные разговоры, которые меня до этого непрерывно баюкали (в те дни, которые не представляли собой горы небытия, отнимавшей у меня жизнь). Усилием воли я возвращался к реальности, я еще наслаждался обломками сна, то есть единственной в своем роде выдумкой, единственным способом обновления того, что рассказывается, когда ты бодрствуешь, будь оно приукрашено литературой, содержит оно в себе или нет таинственные несовпадения, откуда проистекает красота. Здесь кстати было бы напомнить о красоте, которую творит опиум. Но человеку, привыкшему спать только с наркотиками, нежданный час естественного сна откроет утреннюю необъятность пейзажа столь же таинственного, только более свежего. Меняя час, место сна, вызывая сон искусственным путем или, напротив, погружаясь в естественный сон днем, — самый необычный для тех, кто привык спать со снотворными, — человеку случается напасть на разновидности сна в тысячу раз более многочисленные, чем садоводу — на разновидности гвоздик или роз. Одни садоводы выращивают цветы, похожие на дивные грезы, другие — на кошмары. Иногда я просыпался в ознобе, уверенный, что у меня корь, или с более

страшной мыслью: что бабушка (о которой я больше не думал) заболела, потому что я смеялся над ней весь день, или что она умирает в Бальбеке и просит меня сфотографировать ее. Я уже проснулся, но мне не терпится как можно скорее ей объяснить, что она меня не поняла. Но я уже согрелся. Подозрения на корь отпали, а бабушка была так далеко от меня, что сердце мое за нее не болело. Иногда на эти разные сны внезапно обрушивалась темнота. Мне становилось страшно идти гулять дальше по совершенно черной улице, где слышались только шаги бродяг. То вдруг до меня доносился разговор между полицейским и одной из женщин, которые изучили ремесло проводника и которых нанимают на далекое расстояние как молодых извозчиков. В моем кресле, окутанном тьмою, я не видел ее, но она говорила, и по ее голосу я угадывал красоту ее лица и молодость ее тела. Я шел к ней во мраке, чтобы вспрыгнуть в ее карету, пока она еще не тронула. Мне нужно было ехать далеко. К счастью, спор с полицейским затянулся. Я успел добежать до экипажа. Эта часть улицы освещалась фонарями. Стало видно кондуктора. Это была женщина, но старая, высокая и сильная, из-под форменной фуражки у нее торчали седые волосы, на щеке

краснело пятно проказы. Я от нее ушел. «Так это и есть молодость женщин? Те, с кем мы встретились, вот так, случайно, и с кем нам хочется увидеться еще, постарели? Молодая женщина, предмет желаний, — что же она, служит в театре, где, по нездоровью знаменитости, вынуждены доверить роль новой „звезде“? Нет, это не она».

Потом мною овладевала тоска. Во сне мы — многочисленные Жалости, подобно «Pieta»[131] эпохи Возрождения, но только не воплощенные в мраморе, как они, напротив — непрочные. Вместе с тем они нам полезны: они напоминают о каком-нибудь виде, наиболее умилительном, человечном, о котором так приятно забыть, погрузив его в заледенелый здравый смысл вчерашнего дня, подчас полный враждебного чувства. Я вспомнил о том, что дал себе слово в Бальбеке всегда жалеть Франсуазу. И по крайней мере все утро стараться относиться спокойно к стычкам Франсуазы с метрдотелем, быть ласковым с Франсуазой, которая так мало видела добра от других. Хотя бы нынче утром, а потом ввести это правило в жизненный обиход: ведь если целые народы на протяжении долгого вре-

[131] Примечания: 131

Стр. 130. «Pieta» — известная скульптура Микеланджело, находящаяся в соборе Святого Петра в Риме.

мени не управляются политикой, основанной на искреннем чувстве, то отдельные личности тем менее способны управляться воспоминанием о своих снах. Вот уже воспоминание и отлетает. Чтобы закрепить и зарисовать его, я его отгоняю. Мои веки уже не так плотно сомкнуты. Если я попробую восстановить мой сон, они сейчас же откроются. Все время приходится выбирать между здоровьем и благоразумием, с одной стороны, и духовными радостями — с другой. Я всегда был так низок, что выбирал первое. Опасная власть, от которой я отказался, была опаснее, чем можно было себе представить. Жалости, сны не отлетают в одиночку. В зависимости от разных условий, в которых человек засыпает, исчезают не одни сны, но и — на много дней, иногда на годы — исчезает способность не только спать, но и засыпать. Сон божествен, но не прочен: чтобы его спугнуть, достаточно легкого сотрясения. Его подруги — привычки — более устойчивые, чем он, удерживают его ежевечерне на его священном ложе, предохраняют его от малейшего толчка, но стоит ему переместиться, но стоит ему приладиться где-нибудь еще — и он развеивается, как дым. Он похож на молодость и на любовь — их больше не встретишь.

В снах — и еще в музыке — красота зависит от увеличения или уменьшения интервала. Я наслаждался ею, но зато потерял во сне — правда, кратком — множество выкриков, которые дают вам почувствовать бродячую жизнь парижских ремесел и продуктов. Вот почему обычно (увы! не предвидя драмы, которая из-за моих поздних пробуждений, а также из-за моих драконовских законов и персидских законов Расинова Агасфера в скором времени должна была со мной разыграться) я старался проснуться рано, чтобы ничего не потерять из выкриков.

К своему удовольствию зная также, как приятны они Альбертине и какая радость для меня — выйти из дому, оставаясь в постели, я воспринимал их как символ уличной атмосферы, символ опасной движущейся жизни, в гущу которой я пускал Альбертину только под моей опекой, во внешнее продолжение моей самоизоляции, и откуда я извлекал ее в тот час, когда мне хотелось вернуться домой вместе с ней. Вот почему я положа руку на сердце мог сказать Альбертине: «Напротив, они доставляют мне удовольствие — ведь я же знаю, что вы их любите». — «В лодке устрицы, в лодке!» — «Ах, устрицы, мне их так хотелось!» К счастью, Альбертина — смесь

непостоянства с покорностью — быстро забывала о своих прихотях; я не успевал сказать ей, что лучшие устрицы — у Прюнье[132], как она уже последовательно выражала желание купить то, что выкрикивала торговка рыбой: «Вот креветки, отличные креветки, живой скат, живой скат!», «Мерлан для жаркого, мерлан для жаркого!», «Есть макрель, свежая макрель, только что из воды. Вот макрель, сударыни, хорошая вещь — макрель!» Я себя сдерживаю, и, однако, уведомление: «Есть макрель» — бросает меня в дрожь. Но так как это объявление, по моим наблюдениям, не относится к нашему шоферу,[133] то я думаю только о рыбе, которую я ненавижу, потом неприятное чувство проходит. «Ах, ракушки! — восклицает Альбертина. — Я их так люблю!» — «Дорогая моя! Это хорошо в Бальбеке, здесь это дрянь; а затем, вспомните, пожалуйста, что вам говорил о ракушках Котар». Мое замечание было совершенно неуместно, ибо следующая уличная торговка выкрикнула нечто такое, что Котар воспрещал гораздо строже:

---

[132] Примечания: 132

Стр. 131. Прюнье — известный парижский ресторатор.

[133] Примечания: 133

…не относится к нашему шоферу… — На французском арго «макрелью» называют сутенеров.

Налетай на лук-порей,
Не зевай, бери скорей!

Альбертина готова была принести мне в жертву лук-порей за обещание купить ей через несколько дней то, что выкрикивала торговка: «Вот чудная аржантейльская спаржа, вот чудная аржантейльская спаржа!» Таинственный голос произносил более страшные слова: «Пушки, пушки!» Я не успевал разочаровывать Альбертину: речь шла не о пушках, а всего-навсего о детских хлопушках; это слово почти целиком заглушалось призывом: «Стекло, стекольщик, выбитые окна, вот стекольщик, стеколь-щик!» Это грегорианское рассечение слова все же не так напоминало мне литургию, как призыв тряпичника, который, сам того не подозревая, воспроизводил один из резких обрывов звука во время молитвы, довольно частых в церковном чинопоследовании: «Praeceptis saluttibus moniti et divina institutione formati, andemus dicere», — говорит священник, скороговоркой произнося «dicere». Подобно богобоязненному народу средневековья, у самой церковной паперти без всякой кощунственности разыгрывавшему фарсы и соти, тряпичник напоминал «dicere», когда, рас-

тягивая слова, он вдруг выпевал последний слог с быстротой, достойной акцентуации, установленной великим папой VII века[134]: «Продаются тряпки, железный лом (все это произносится монотонно, медленно, как и два следующих слова, зато последний — быстрее, чем „dicere“), кроличьи шкур-ки!», «Валенсия, прекрасная Валенсия, свежие апельсины», скромный лук-порей («Вот замечательный лук-порей!»), лук («У меня лук по восемь су») — все это обрушивалось на меня, как эхо прибоя, в котором Альбертина могла бы затеряться на воле, и приобретало мягкость Suave mari magno[135].

Вот морковка, вот лучок,
За два су любой пучок.

«О! — воскликнула Альбертина. — Капуста, морковь, апельсины! Мне этого больше всего хочется. Попросите купить Франсуазу. Она сделает морковь со сметаной. И потом будет так приятно это все есть вместе! Звуки, которые

---

[134] Примечания: 134

Стр. 132. …великим папой VII века… — Имеется в виду Григорий I (см. примеч. к с. 124).

[135] Примечания: 135

Сладко, когда на просторах морских (лат.). Лукреций, «О природе вещей», II, Перевод Ф. Петровского.

мы сейчас слышим, будут превращены во вкусный завтрак!» — «Скат совсем живехонький, совсем живехонький!» — «Ах, боже мой, попросите Франсуазу поджарить на масле ската! Объеденье!» — «Попрошу, дорогая. Дальше задерживаться нет смысла: это все, что вы можете требовать от уличных торговок». — «Ну хорошо, еду, но теперь я буду есть за обедом только то, что они выкрикивали. До чего ж это забавно! И подумать только: надо ждать целых два месяца, чтобы услышать: „Зеленая фасоль, самая нежная фасоль, вот зеленая фасоль!“ Как это хорошо сказано: „Нежная фасоль“! Я люблю ее тоненькую-тоненькую, всю в соусе; про нее не скажешь: „Я ее ем“ — это как роса. Увы! Это вроде творожных сердечек со сметаной, нет, вроде еще более давнего: „Вот вкусный творожок со сметанкой, вкусный творожок!“ А шасла[136] из Фонтенбло: «У меня наилучший шасла». Я с содроганием подумал о том, сколько еще мне остается прожить с ней до сезона шасла. «Только не поймите меня так, что теперь я стану есть только то, что здесь выкрикивали; разумеется, я делаю исключения. Так, например, нет ничего невозможного в том,

[136] Примечания: 136
Стр. 133. Шасла — сорт винограда.

что я закажу у Ребате[137] мороженого на двоих. Вы мне возразите, что еще не сезон, но мне так хочется!» Это был день приема у Вердюренов, и с тех пор, как Сван внушил им, что у них лучший дом, они стали заказывать мороженое и печенье у Ребате. «Я ничего не имею против мороженого, милая Альбертина, но уж вы доверьтесь моему выбору: я еще сам не знаю, закажу ли я его в „Белой груше“[138], у Ребате, у Ритца[139]; словом, там посмотрим». — «Так вы, значит, выедете?» — спросила она с недоверчивым видом. Она не уставала повторять, что была бы в восторге, если б я как можно чаще выезжал, но, если хоть из одного моего слова можно было сделать вывод, что я не останусь дома, ее встревоженный вид наводил на мысль, что радость, которую я бы ей доставлял постоянными выездами, — пожалуй что радость не вполне искренняя. «Может, выеду, а может, нет, вы же отлично знаете, что я никогда не строю планов на будущее. Во всяком случае,

---

[137] Примечания: 137

Ребате — известный парижский кондитер.

[138] Примечания: 138

«Белая груша» — парижское кафе на бульваре Сен-Жермен.

[139] Примечания: 139

Ритц — парижская гостиница с фешенебельным рестораном на Вандомской площади. Пруст часто бывал в нем.

мороженое не выкрикивают, с ним не ходят по улицам, чем же вы недовольны?» И тут Альбертина выказала в своем ответе столько ума, такую бездну вкуса, развившегося у нее поразительно быстро со времен Бальбека, она употребила такие выражения, которые она приписывала исключительно моему влиянию, жизни со мной, выражения, к которым, однако, я сам никогда не прибегал, как будто бы кто-то неизвестный предохранял меня от применения в разговоре литературных оборотов. У Альбертины и у меня будущее должно было, видимо, сложиться по-разному. У меня даже возникало на этот счет что-то вроде предчувствия, когда я наблюдал, как она спешит употребить в разговоре поэтические образы, которые, с моей точки зрения, предназначались для иной, более высокой цели и которых я еще не знал. Она мне сказала (и я был, несмотря ни на что, растроган; я думал: «Конечно, я не буду так говорить, как она, но все-таки без меня она бы так не говорила, она находится под сильным моим влиянием, значит, она не может не любить меня, она — мое творение»): «Я люблю эту выкрикиваемую пищу за то, что продукт, звучавший как рапсодия, обретает свою изначальную природу за столом и ведет переговоры с моим нёбом.

Что касается мороженого (ведь я твердо уверена, что вы мне его закажете только в вышедших из моды формах, среди которых можно найти решительно все виды архитектуры), то каждый раз, когда я его ем, я сначала рассматриваю храмы, церкви, обелиски, скалы, целую живописную географию, а затем малиновые монументы или мороженое с ванилью превращаются в холодок у меня в гортани». Я заметил, что это даже чересчур хорошо сказано, но она почувствовала, что это хорошо сказано, и, посмеявшись удачному сравнению своим прелестным смехом, который так больно отзывался в моей душе, потому что это был смех сладострастный, продолжала: «Боже мой! Я очень боюсь, что в отеле „Ритц“ вы не найдете мороженого в виде Вандомских колонн[140], шоколадного или малинового мороженого, и тогда придется купить много, чтобы это имело вид колонн в честь какого-нибудь памятного события или пилонов, возведенных в аллее во славу Прохлады. Еще они делают обелиски из малины, которые будут воздвигаться то здесь, то там в жгучей пустыне моей жажды, и у меня в горле я расплавлю их розовый гранит, так

[140] Примечания: 140

Стр. 134. Вандомская колонна — колонна на одноименной площади в Париже, воздвигнута в память наполеоновских побед.

что они утолят мне жажду лучше, чем оазисы. (Здесь снова послышался громкий смех — то ли от удовлетворения своим красноречием, то ли это был смех над самой собой, употребляющей стертые образы, то ли — увы! — это был смех, вызванный сладострастным ощущением чего-то такого вкусного, такого свежего, равным по силе наслаждению физическому.) Эти ледяные горы у Ритца напоминают иногда гору Розу[141], и если мороженое — с лимоном, то я ничего не имею против того, чтобы оно не было монументальной формы, чтобы оно было неправильной формы, чтобы это была утесистая гора, как на картине Эльстира. Она должна быть не белоснежной, а чуть желтоватой, с грязным, тусклым снегом, как на полотнах Эльстира. Хорошо, когда мороженое небольшое, пусть это будет половинка, если хотите; мороженое с лимоном — это совсем низенькие горы, но воображение восстанавливает пропорции: это вроде японских карликовых деревьев, среди которых вы тем не менее прекрасно различаете кедры, дубы, манценииллу[142];

---

[141] Примечания: 141

Роза — Монте-Роз, горный массив в Швейцарии.

[142] Примечания: 142

Манценилла — небольшое дерево, произрастающее в Центральной и Южной Америке.

если б я имела возможность расставить у себя в комнате некоторые из них вдоль бороздки, у меня вырос бы громадный лес, спускающийся к реке, такой лес, что дети в нем заблудились бы. Кроме того, у подножья моей желтоватой половинки мороженого с лимоном я вижу ясно форейторов, путешественников, почтовые кареты, на которые мой язык обрушивает глыбы льда, и глыбы их поглощают (жестокий смех, с которым она это проговорила, возбудил во мне ревность); а еще, — добавила она, — мои губы разрушат — колонну за колонной — венецианские церкви из малинового порфира и низвергнут на молящихся все, что я для них приготовила. Да, все эти монументы перейдут со своего каменного основания ко мне в грудь, трепещущую в ожидании их тающего во рту холодка. Но не будем говорить о мороженом; ничто так не волнует и не возбуждает жажды, как объявления о тепловых источниках. В Монжувене, у мадмуазель Вентейль, нет по соседству хорошего ледника, но мы каждый день делали в саду прогулку по Франции, наслаждаясь минеральной водой; это вроде Виши[143]: когда ее наливаешь, из глубины стакана поднимается

[143] Примечания: 143

Стр. 135. Виши — городок на юго-западе Франции, знаменитый своими источниками минеральной воды.

белое облако, и, если только его не пить быстро, оно успокаивает и развеивается». Слушать рассказ про Монжувен мне было слишком тяжело, и я прервал ее. «Я вам надоела; до свиданья, мой милый!» Как изменилась Альбертина со времен Бальбека, где я напал на самого Эльстира за то, что он угадал в ней сокровища поэзии, поэзии менее причудливой, менее своеобразной, чем, например, поэзия Селесты Альбаре! Альбертина никогда не дошла бы до того, что говорила мне Селеста, но любовь, даже когда нам представляется, что она идет на убыль, пристрастна. Я предпочитал живописную географию фруктового мороженого, за общедоступную прелесть которой я считал возможным любить Альбертину и в которой я видел доказательство, что я имею над ней власть, что она меня любит.

Стоило Альбертине уехать — и я почувствовал, как тяжело мне ее постоянное присутствие, в котором столько жизни, движения, которое будило меня, то и дело устраивало сквозняк, заставляло меня подыскивать благовидные предлоги для того, чтобы не ехать вместе с ней, и в то же время не производить впечатления опасно больного, а с другой стороны, подбирать ей провожатого, каждый день проявлять больше находчивости, чем

проявляла ее Шахерезада. К несчастью, благодаря находчивости персидская сказочница отдаляла свою смерть, я же свою смерть приближал. В жизни бывают положения, не всецело созданные, как мое положение, любовной ревностью и слабым здоровьем, не позволяющим делить досуг с деятельным, молодым существом, но вместе с тем ставящие вопрос с почти медицинской неумолимостью: продолжать совместную жизнь или вернуться к жизни раздельной, каким отдыхом пожертвовать (продолжая ежедневно переутомляться или вернуться к тоске по ушедшей): отдыхом мозга или отдыхом сердца?

Во всяком случае, я был очень доволен, что Андре поедет с Альбертиной в Трокадеро, так как частые и к тому же мелкие недоразумения привели к тому, что мое прежнее доверие к добросовестности шофера, его осторожности и предусмотрительности было несколько подорвано. Так, например, совсем недавно он вез Альбертину одну в Версаль, и Альбертина мне сказала, что завтракала в «Источниках»[144]; между тем шофер мне сказал, что завтракала она у

[144] Примечания: 144

Стр. 136. «Источники» — отель и ресторан в Версале; находится недалеко от Дворца. Пруст несколько раз здесь останавливался.

Вателя[145]; в тот день, когда я столкнулся с этим противоречием, я нашел предлог, пока Альбертина одевалась, поговорить с шофером (тем самым, с которым мы встретились в Бальбеке): «Вы мне сказали, что завтракали у Вателя, а мадмуазель Альбертина говорит, что в „Источниках“. В чем же дело?» Шофер ответил мне так: «Да, верно, я сказал, что позавтракал у Вателя, а вот где завтракала мадмуазель, этого я не знаю. Когда мы приехали в Версаль, она пересела на извозчика: она всегда так делает, если ей не к спеху». При мысли, что она была одна, я пришел в ярость; и потом, это было самое время завтракать. «Но ведь вы могли позавтракать, — сказал я самым милым тоном (во-первых, я не хотел, чтобы стало понятно, что я слежу за Альбертиной, — это было бы для меня унизительно, — а во-вторых, это доказывало бы, что она не все мне говорит), — не с ней, конечно, но в одном ресторане». — «Она меня только просила быть в шесть часов на Плац-парадной площади. После того, как она позавтракала, я не должен был ее разыскивать». — «Ах вот оно что!» — проговорил я, делая вид, что теперь мне все ясно. Я поднялся к себе. Итак, семь часов с лиш-

[145] Примечания: 145
«Ватель» — ресторан там же.

ним Альбертина пробыла одна, предоставленная самой себе. Правда, я понимал, что фиакр — не просто способ отделаться от шоферского надзора. По городу Альбертина предпочитала ездить в фиакре; она уверяла, что в фиакре ей все видно и не так душно. И все же она пробыла одна семь часов, и об этом времени я так ничего и не узнаю. И я даже не смел строить догадки, как она провела эти семь часов. Шофер опростоволосился, но отныне я доверял ему всецело. Ведь если б он был хотя бы отчасти в заговоре с Альбертиной, он ни за что бы не признался, что оставил ее одну с одиннадцати утра до шести вечера. Можно было по-иному объяснить признание шофера, но такое объяснение было бы нелепо. Он поссорился с Альбертиной, он-де все мне расскажет и даст понять моей подружке, что он — доказчик и что если после первого мягкого предостережения она не поедет, куда он захочет, то он подложит свинью. Но такое объяснение было нелепо; сначала следовало предположить, что меж ним и Альбертиной произошла ссора, а затем вообразить, что этот хороший малый, прекрасный, всегда приветливый шофер — вымогатель. Тем не менее через день я заметил, что, хотя я ничем больше не обнаружил своей подозрительности, шофер установил над

Альбертиной корректный и бдительный надзор. Уединившись с ним и начав разговор с Версаля, я придал этому разговору характер откровенной, дружеской беседы: «Поездка в Версаль, о которой вы мне рассказывали позавчера, была безукоризненна. Вы были на высоте, как всегда. Но я хочу на всякий случай предупредить вас: я взвалил на себя такую ответственность с тех пор, как госпожа Бонтан согласилась, чтобы ее племянница находилась под моим присмотром, я так боюсь всяких несчастных случаев, я так себя корю за то, что не езжу с ней, — вот почему мне бы хотелось, чтобы с мадмуазель Альбертиной всюду ездили вы, — вы человек надежный, поразительно ловкий, с вами несчастного случая произойти не может. Тогда я не буду бояться». Милейший, благонравный шофер, хитро усмехнувшись, положил как бы в знак даваемого обета руку на колесо машины, а затем, изгнав из моего сердца тревогу, обратился ко мне со словами, от которых в приливе счастья я чуть было не бросился к нему на шею. «Не бойтесь, — сказал он. — Ничего страшного случиться не может: когда я не везу ее в автомобиле, я все равно не спускаю с нее глаз. В Версале, не подавая виду, я изъездил город, можно сказать, с ней. Из „Источников“ она поехала во Дворец, из

Дворца в Трианон[146]. Мадмуазель, конечно, не могла не обратить внимания, что у меня с собой книга, что я интересуюсь стариной (он говорил правду; я был бы поражен, если б узнал, что он друг Мореля, — настолько он был выше скрипача и в смысле благовоспитанности, и в смысле художественного вкуса). Но, так или иначе, она меня не видела». — «Она не могла не встретить подружек — в Версале у нее их много». — «Нет, она всегда там бывала одна». — «Но на нее не могли не заглядываться: чудная девушка и совершенно одна!» — «Я не сомневаюсь, что на нее смотрят, но она почти ничего про это не знает; она смотрит то в путеводитель, то на картины». Рассказ шофера показался мне достоверным, так как он представлял собой две открытки — с видом Дворца и с видом Трианона, которые Альбертина прислала мне в день своей прогулки. Внимание, с каким милый шофер следил за каждым шагом Альбертины, глубоко тронуло меня. Мог ли я предположить, что это уточнение — под видом обширного дополнения к тому, что он говорил

[146] Примечания: 146

Стр. 137. Трианон — небольшой дворец в версальском парке; собственно, речь должна идти о Большом Трианоне, построенном в конце XVIII в., и о Малом Трианоне, воздвигнутом недалеко от Большого в начале 70-х годов XVIII в.

мне третьего дня, — проистекало из того, что в течение этих двух дней Альбертина, взбешенная разговором шофера со мной, унизилась до того, что в конце концов заключила с шофером мир? Почем же я знал? Рассказ шофера, рассеяв страх, что Альбертина обманывает меня, вызвал во мне вполне естественное охлаждение к моей подружке, и меня теперь уже не так живо интересовало, как она провела день в Версале. И все же я склонен думать, что объяснений шофера, выгораживавшего Альбертину, вследствие чего жизнь с ней стала для меня еще скучней, пожалуй, было недостаточно, чтобы в короткий срок меня успокоить. Два прыщика, которые несколько дней я видел на лбу у моей подружки, пожалуй, подействовали на меня благотворнее. Наконец, еще больше отвратило меня от нее (до такой степени, что я вспоминал о ней, только когда ее видел) необычайное признание горничной Жильберты при случайной встрече с ней. Мне стало известно, что, когда я каждый день ходил к Жильберте, она была влюблена в одного молодого человека и виделась с ним чаще, чем со мной. В ту пору у меня мелькнуло на этот счет подозрение, и я тогда же спросил горничную. Но, зная, что я увлечен Жильбертой, она сказала,

что я заблуждаюсь, и поклялась, что мадмуазель Сван никогда не видела этого человека. Но теперь, осведомленная о том, что я давным-давно разлюбил Жильберту, что я уже несколько лет назад перестал отвечать ей на письма, — и, быть может, еще и потому, что она уже не служила у Жильберты, — она ни с того ни с сего подробно рассказала мне о том, что у Жильберты был роман, о котором я не имел понятия. Ей это казалось вполне естественным. Вспомнив ее тогдашние клятвы, я подумал, что она не в курсе дела. Ничуть не бывало! По распоряжению мадмуазель Сван она ходила к молодому человеку сказать ему, что та, кого я люблю, сейчас одна. Любил тогда… Но тут я задал себе вопрос: прав ли я, что былая моя любовь угасла, если мне тяжело было слушать горничную? Я не думаю, чтобы ревность могла пробудить угасшую любовь, а потому решил, что мое мрачное настроение — во всяком случае, частично — навеяно задетым самолюбием, так как девушки, которых я не любил и которые в то время и даже немного позднее — с тех пор многое изменилось — от меня отворачивались, прекрасно знали, что, когда я был влюблен в Жильберту, она меня околпачивала. И еще я пытался уяснить себе задним числом, не

было ли в моем увлечении Жильбертой некоторой доли самолюбия, ибо мне сейчас было так больно от сознания, что часы ласк, когда я был счастлив, стали известны по милости тех, кого я не любил, моей подружке, что я был жертвой наглого обмана. Как бы то ни было, любовь-ли тут причиной или самолюбие, Жильберта почти перестала существовать для меня, почти, но не совсем, и это горькое чувство подлило масла в огонь моего не знавшего меры нянчанья с Альбертиной, занимавшей, в сущности, очень небольшое место в моем сердце. Но возвратимся, однако, к ней (после столь длинного отступления) и к ее поездке в Версаль. Открытки из Версаля (могут ли все-таки в сердце одновременно пересекаться два ревнивых чувства, относящихся к разным лицам?) всякий раз оставляли во мне не очень приятное впечатление, когда я приводил в порядок свои бумаги и мой взгляд падал на них. Но я думал о том, что если шофер не такой уже честный человек, то соответствие его второго рассказа открыткам Альбертины не имеет большого значения, ибо вам должно быть безразлично, кто сперва прислал вам из Версаля вид Дворца или Трианона, лишь бы открытка была выбрана знатоком, влюбленным в какую-нибудь

статую, а не болваном, который считает красивым видом остановку конки или Шантьерский вокзал[147]. Впрочем, в данном случае я напрасно обозвал такого человека «болваном». Подобные открытки не всегда покупает кто-нибудь из них случайно, чтобы похвастаться, что он в Версале. Людям интеллигентным, художникам, два года жившим в Сиене, Венеции, Гранаде, все это приедалось, и они говорили о любом омнибусе, обо всех вагонах: «Какая красота!» Потом это веяние прошло, как проходит всякое веяние. Я не поручусь, что вернутся к «святотатственному разрушению прекрасной старины». Во всяком случае, на вагон первого класса a priori уже не смотрят как на нечто более совершенное, чем Святой Марк в Венеции[148]. И все-таки можно услышать: «Жизнь идет вперед, возвращение к прошлому искусственно», но выводов, однако, не делают. На всякий случай, вполне доверяя шоферу и чтобы Альбертина не прогнала шофера, если только он сам не уйдет от меня из боязни, что его будут принимать за шпиона, я ее выпускал, только заручившись поддержкой Андре, хотя в

[147] Примечания: 147
Стр. 139. Шантьерский вокзал — железнодорожный вокзал в Версале.

[148] Примечания: 148
Стр. 140. Святой Марк — то есть венецианский собор Святого Марка.

течение некоторого времени одного шофера мне было достаточно. Я даже решился (на что не отважился бы потом) отпустить ее на три дня, одну с шофером, в Бальбек — уж очень ей хотелось прокатиться на простой машине, на большой скорости. Три дня я был совершенно спокоен, хотя она обещала засыпать меня открытками, но они так до меня и не дошли из-за того, что бретонская почта работала отвратительно (хорошо — летом, но, конечно, зимой у нее все шло кое-как), а через неделю Альбертина и шофер вернулись, и в то же утро, как будто они никуда не ездили, неутомимые путешественники предприняли обычную прогулку. Я был в восторге, что Альбертина поехала в это «необыкновенное» утро в Трокадеро, и я был спокоен, потому что спутницей ее была Андре.

Как только Альбертина уехала, я, выкинув все это из головы, выглянул в окно. Сначала все было тихо, только свистулька торговца требухой и звонки трамвая звучали в разных тональностях, как клавиши рояля у слепого настройщика. Появилась еще одна свистулька — призыв торговца, о котором мне было неизвестно, чем он торгует, свистулька, звук которой был необычайно похож на звонок трамвая, и так как он никуда не уезжал,

то можно было подумать, что это звенит трамвай, обладающий способностью передвигаться, но застрявший, стоящий неподвижно, через небольшие промежутки времени испускающий крики издыхающего животного. И тут я подумал, что, если когда-нибудь мне придется выехать из этого аристократического квартала, — лишь бы это не был квартал, заселенный одним простонародьем, — улицы и бульвары центра, где при наличии больших фруктовых, рыбных и прочих магазинов крики уличных торговцев были не нужны, да их и не было бы слышно, показались бы мне угрюмыми, нежилыми без всех этих песнословий мелких ремесел и бродячих продавцов еды, лишенными оркестра, услаждавшего мне слух по утрам. По тротуару прошла дама, не очень элегантная (или некрасиво одетая), в чересчур светлом саке из козьего меха; да нет, это не женщина, это шофер в пальто на козьем меху шел в свой гараж. Не нуждавшиеся в больших домах, крылатые охотники с переливавшимися на них изменчивыми бликами сновали около вокзалов на своих мотоциклетах, чтобы залучить пассажиров, прибывших с утренним поездом. По временам гудел, как скрипка, гудок автомобиля, по временам гудела моя электрическая грелка,

оттого что я в нее налил мало воды. Среди этой симфонии детонировала вышедшая из моды «ария»: вытеснив продавщицу конфет, обычно певшую свою арию под аккомпанемент трещотки, продавец игрушек, к дудочке которого была прикреплена качавшаяся кукла, заставлявшая качаться другие, и не обращая внимания на обрядовую декламацию Григория Великого, на реформированную декламацию Палестрины[149] и на лирическую декламацию модернистов, этот отсталый сторонник чистой мелодии распевал во весь голос:

Спешите, папаши, не спите, мамаши,

Игрушек для деток не сыщете краше!

Сам я их делал, сам продаю,

Сам и деньжонки в кошель сую.

Что толку держать сбереженья в кубышке?

Тра-ля-ля-ля, тюр-лю-лю-лю!

А ну-ка, слетайтесь ко мне, ребятишки,

[149] Примечания: 149

Стр. 141. Палестрина — Джованни Пьерлуиджи (1524-1594), прозванный Палестриной (так как родился в одноименном городе), — итальянский композитор, реформатор церковной музыки.

Игрушками всех оделю!

Маленькие итальянцы в беретах не отваживались бороться с этим aria vivace[150] — они, конечно, торговали статуэтками. Тем временем дудочка игрушечника удалялась и пела тише, хотя presto[151]: «А ну-ка, папы, а ну-ка, мамы!» Не была ли дудочка одним из тех драгунов, которых я слышал по утрам в Донсьере? Нет, так как пел он под музыку: «Реставратор фаянса и фарфора. Я реставрирую стекло, мрамор, хрусталь, кость, слоновую кость и старинные вещи. Кому нужен реставратор?» В мясной лавке, где слева при входе был нарисован солнечный диск, а справа висела целая бычья туша, молодой мясник, очень высокий и очень худой, белокурый, шея которого виднелась из-под небесно-голубого воротничка, с головокружительной быстротой и благоговением раскладывал на одной стороне изумительные говяжьи филе, на другой — огузье последнего сорта, клал их на до блеска начищенные весы, увенчанные крестом, с которого свешивались изящные цепочки, и — хотя потом он выставлял

---

[150] Примечания: 150
Оживлением (ит.).

[151] Примечания: 151
Быстро (ит.).

на витрину почки, филе, антрекоты — он гораздо больше был похож на прекрасного ангела, который в день последнего суда подготовит для Бога, в зависимости от их свойств, отделение Добрых от Злых и определит вес их душ. И опять звучала тонкая, писклявая дудочка, предвозвестница не разрушений, которых пугалась Франсуаза всякий раз, как проходил кавалерийский полк, но «нововведений», обещанных «антикваром», наивным зубоскалом, ни на чем не специализировавшимся, объектом для которого служили самые разные области. Маленькие хлебницы торопились укладывать хлебцы и разнести их в корзинках для «второго завтрака», молочницы проворно навешивали на крючок бутылки с молоком. Не давал ли мне об этих девочках самое точное представление их унылый вид? Не показалась ли бы мне совсем иной любая из них, если бы я мог задержать ее на несколько минут, ее, которую я обычно видел из окна стоящей в лавке или спешащей по улице? Чтобы оценить ущерб, который мне причиняло мое заключение, вернее сказать — богатство, которым меня одарял день, следовало остановить какую-нибудь девочку с бельем или с молоком, эту одушевленную, беспрестанно разматывающуюся ниточку, пропустить ее, как

силуэт подвижной декорации среди проносящих ее мимо моей двери, а потом остановить как раз перед моими глазами и о чем-нибудь спросить, что даст мне возможность потом узнать ее: так орнитологи или ихтиологи, прежде чем выпустить на свободу птиц или рыб, подвязывают у них под животом жетон, по которому они, может быть, узнают их после миграции.

С этой целью я попросил Франсуазу направить ко мне для переговоров о посылках одну из малышек, которые то и дело уносят и приносят белье, хлеб, молоко и которым Франсуаза часто давала поручения. В этом я был похож на Эльстира: вынужденный замыкаться в своей мастерской, в один из весенних дней, зная, что леса полны фиалок, испытывая страстное желание полюбоваться ими, он посылал свою привратницу купить ему букет; для него это была не маленькая растительная модель, стоящая на столе, но целый ковер лесной чащи, в которой он видел когда-то множество вьющихся стеблей, изгибавшихся под голубым клювом, — теперь он воображал, что перед его глазами полоса, вклинившаяся в его мастерскую и наполнившая ее влажным запахом незабвенного цветка.

Можно было не сомневаться, что в воскресенье

придет прачка. Что же касается хлебницы, то с ней не повезло: она позвонила, когда Франсуаза отлучилась, поставила корзинку с хлебцами на площадку и убежала. Фруктовщица должна была прийти позднее. Как-то я купил у молочника сыру и среди мелких разносчиц заметил истинное белокурое чудо, высокую, но еще совсем молоденькую, казалось, замкнувшуюся в гордом молчании и замечтавшуюся. Я смотрел на нее издали и потом прошел так быстро, что не мог бы сказать, какая она, кроме того, что у нее, наверно, быстрая походка и что у ее шевелюры гораздо меньше сходства с живыми волосинками, чем со скульптурным изображением излучин между фирновыми полями. Это все, что я рассмотрел, да еще точеный нос (у ребят такие носы бывают редко) на худом лице, напоминавший клюв грифа. К тому же не только сослуживицы, столпившиеся вокруг нее, мешали мне рассмотреть ее, но и неуверенность в том, что я при первом взгляде и после вызову у нее хмурую недоступность, насмешку или презрение, о котором она разболтает подружкам. Эти возникшие одно за другим предположения, промелькнувшие в один миг, сгустили вокруг нее туманную атмосферу, где она таилась, точно богиня в облаке, которое сотрясал

гром. Душевная неуверенность — это более важная причина, мешающая составить себе точное зрительное представление, чем близорукость. В этой поразительно худой девушке, в которой кто-нибудь другой, пожалуй, нашел бы своеобразное обаяние, заключалось именно то, что должно было мне не нравиться, но в конце концов я ничего больше не увидел, не рассмотрел маленьких молочниц, так как от крючковатого носа той, от ее взгляда, отталкивающего, погруженного в себя, отчужденного, как будто всех осуждающего, стало еще темней, как после вспышки молнии. Таким образом, от моего похода за сыром в памяти у меня осталась (если только можно сказать «осталось в памяти» о лице, которое я так плохо рассмотрел, что потом мог вызвать из небытия только ее оригинальный нос) девушка, которая мне не приглянулась. Но этого было достаточно, чтобы я в нее влюбился. И все же я забыл бы белокурое чудо и мне бы не захотелось увидеть ее еще раз, если бы Франсуаза мне не сказала, что хотя она еще совсем девчонка, но уж ходит по рукам и что она расстается со своей хозяйкой, потому что любит наряжаться и кругом задолжала в нашем квартале. Говорят, что красота — это залог счастья. А может быть, и наоборот: возможность

наслаждения есть начало красоты.

Я стал читать письмо от мамы. Сквозь цитаты из г-жи де Севинье («Мои мысли в Комбре не совсем черные — они серо-бурые; я думаю о тебе все время; я скучаю без тебя; твое здоровье, дела, дальность расстояния, — не кажется ли тебе, что я живу как бы в сумерках?») я чувствовал недовольство матери тем, что жизнь Альбертины у нас в квартире затягивается, что она у нас обосновалась, хотя я еще не сделал ей предложения. Она не писала мне об этом прямо, так как боялась, что я не стану читать ее писем. И все же, как бы ни были завуалированы ее намеки, она всякий раз упрекала меня в том, что я не отвечаю немедленно на каждое ее письмо: «Ты знаешь, что говорила г-жа де Севинье: „Когда люди живут далеко друг от друга, то нехорошо смеяться над их письмами, начинающимися: „Я получила Ваше письмо“. Помимо того, что ее особенно волновало, она сердилась на меня за мотовство: „На что у тебя уходят деньги? Меня очень беспокоит, что, как Шарль де Севинье, ты сам не знаешь, чего тебе хочется, что у тебя „семь пятниц на неделе“; постарайся по крайней мере, чтобы у тебя не было семи пятниц на неделе в расходах и чтобы я не могла сказать про тебя: „Он изобрел способ расходовать, не

тратя, проигрывать, не играя, и расплачиваться, не расквитываясь“. Я дочитывал письмо, когда Франсуаза пришла сказать, что здесь сейчас та самая довольно-таки развязная молоденькая молочница, про которую она мне говорила: «Она вполне может отнести ваше письмо и быть у вас на посылках, если только недалеко. Сейчас вы ее увидите — она похожа на Красную шапочку“. Франсуаза пошла за ней, а затем я услышал, как она ей говорила по дороге: «Я вижу, ты оробела, потому тут коридор, распротак его; я думала, ты не такая трусиха. Хочешь, я возьму тебя за руку?“ И тут Франсуаза, как хорошая, преданная служанка, которая считает, что своего хозяина нужно уважать, как самое себя, напустила на себя величественность, облагораживающую сводней на картинах старых мастеров, сводней, рядом с которыми любовница и любовник кажутся почти полными ничтожествами.

Эльстир, когда на них смотрел, не размышлял о фиалках. Приход молоденькой молочницы тотчас же лишил меня спокойствия созерцателя; я думал только о том, как бы придать побольше правдоподобия небылице с письмом, которое ей предстояло унести, и быстро начал строчить, почти не осмеливаясь взглянуть на нее, чтобы

она не подумала, что я вызвал ее, только чтобы на нее посмотреть. Она была полна врожденного обаяния неизвестности, без всяких украшений, рассчитанных на то, чтобы меня соблазнить, в отличие от хорошеньких девушек, с которыми вы встретились бы в веселом доме, где они вас поджидали. Она была ни нагая, ни разряженная, она была самая настоящая молочница, одна из тех, которые рисуются вашему воображению такими прелестными, когда у вас нет времени подойти к ним; с ней связывалось что-то от вечного желания и вечного недовольства жизнью, от этих двух потоков, в конце концов поворачивающих назад и струящихся подле нас. Двух, потому что речь идет о неизвестном, о существе загадочном, по всей вероятности — божественном, судя по ее сложению, пропорциям, равнодушному взгляду, надменному спокойствию; с другой стороны, нам нужно, чтобы эта женщина была отличной мастерицей, мы хотим погрузиться в мир, где костюм особого покроя придавал бы нам нечто романтическое, чтобы он выделял нас. В общем, если мы попытаемся сформулировать закон наших любовных влечений, то надо искать его в максимальном различии между женщиной только замеченной и женщиной уже прибли-

зившейся, нами ласкаемой. Если женщины из тех домов, которые прежде назывались домами терпимости, если кокотки (при условии, что мы знаем их за кокоток) не привлекают нас, то это не значит, что другие красивее их; это значит, что они готовы отдаться; это значит, что то, чего мы от них ждем, они уже нам предлагают; победы тут нет. Разница здесь сведена к минимуму. Потаскушка улыбается нам на улице так, как будто она рядом с нами. Мы скульпторы. Мы стремимся вылепить из женщины статую, совершенно не похожую на женщину, какой она перед нами предстала. Мы видели на берегу моря девушку с безразличным, вызывающим взглядом, мы видели серьезную, деятельную продавщицу за прилавком, отвечающую нам сухо, чтобы после над ней не потешались товарки, фруктовщицу, которая цедит слова сквозь зубы. И что же? Мы вольны без конца проделывать опыты над гордой девицей на берегу моря, над продавщицей, думающей только о том, что о ней скажут, над рассеянной фруктовщицей, насколько они становятся податливее после ловких подходов с нашей стороны, насколько нам удастся смягчить их суровость, удастся ли нам обвить нашу шею их руками, недавно перекладывавшими фрукты,

притянуть к нашим губам отвечающие нам согласной улыбкой их глаза, обычно холодные или рассеянные, — где ты, красота злых глаз в рабочее время, когда продавщица так боится злословия товарок, глаз, избегающих наших упорных взглядов, а теперь, наедине, прикрывающих зрачки под радующей тяжестью смеха, когда мы говорим о любви? Между продавщицей, прачкой, все внимание которой поглощено глажкой, фруктовщицей, молочницей и той девушкой, которой суждено стать нашей любовницей, максимум различия достигнут, дотягивается до наивысших пределов, с несходством лишь в обычных профессиональных движениях рук во время работы, таких же совершенно разных, как арабески, гибких нитей, которые уже ежевечерне обвиваются вокруг нашей шеи, меж тем как губы вот-вот сольются в поцелуй. Так и проводим мы нашу жизнь — в волнующих, все время возобновляемых действиях, предпринимаемых для победы над серьезными девушками, ремесло которых как будто должно было бы отдалить их от нас. У нас в объятиях они все те же, перевоплощения, о котором мы мечтали, не произошло. Так же начинается с другими женщинами, на эти затеи тратится все наше время, все наши деньги, все

наши силы, мы готовы избить кучера за то, что он медленно везет и мы из-за этого пропустим свидание, мы в исступлении. Мы знаем, что это первое свидание окончится тем, что наша мечта не сбудется. Не важно: пока иллюзия длится, мы жаждем удостовериться, может ли она осуществиться, и думаем о прачке, от которой веяло холодом. Любовное влечение подобно любопытству, которое возбуждают у нас названия стран: неизменно терпящее неудачу, оно воскресает и вечно остается неутолимым.

Увы! Очутившись у меня, белокурая молочница с волнистыми прядями, не прикрытая ни игрой моего богатого воображения, ни желаниями, снова стала самой собой. Колышущееся облако моих предположений не окутывало ее больше, доводя меня до головокружения. У нее был растерянный вид с одним (вместо десяти, двадцати, которые я припоминал поочередно, не в силах остановить на каком-нибудь одном мою память) носом, расползшимся, — а я представлял его себе другим, — придававшим ей глупый вид и обладавшим способностью в случае крайней необходимости размножаться. Эта явная кража, безвольная, повлекшая за собой полное самоуничтожение, неспособная ничего прибавить

к ее жалкой внешности, ничем не могла снабдить мое воображение для совместной работы с ней. Упавший с облаков в неподвижную действительность, я все-таки пытался собраться с силами; ее щеки, не замеченные мною в лавке, показались мне теперь такими красивыми, что я смутился и, чтобы скрыть смущение, сказал молочнице: «Будьте добры, передайте мне „Фигаро“ — вон он, мне надо посмотреть адрес». Когда она брала газету, у нее стал виден до локтя красный рукав жакетки, и она протянула мне орган консерваторов неловким и очаровательным движением, которое понравилось мне своей непринужденной быстротой, своей внешней мягкостью и промельком ярко-красного цвета. Когда я развертывал «Фигаро», я, чтобы что-нибудь сказать, не поднимая глаз спросил малышку: «Как называется ваша красная курточка? Это очень красиво». — «Гольф», — ответила она. Следуя закону вырождения всякой моды, мода на определенную одежду и на определенные слова несколько лет назад как будто являлась достоянием относительно элегантного мира подруг Альбертины, а теперь все эти названия вошли в язык работниц. «Для вас правда не очень тяжело, что я посылаю вас так далеко?» — притворив-

шись, будто перелистываю «Фигаро», спросил я. Как только я сделал вид, что мне кажется трудной ее услуга, она тотчас заговорила о том, что это ей не по силам. «Значит, придется ехать на велосипеде. Да ведь мы и можем только по воскресеньям». — «Вам не холодно с непокрытой головой?» — «А я не с непокрытой головой, у меня есть поло, да и волосы защитят от холода». При взгляде на золотистые кудрявые пряди сердце у меня заколотилось, и я почувствовал, что буря этих прядей уносит меня к свету и к вихрям урагана красоты. Я опять начал просматривать газету, и, хотя я просматривал только для большей непринужденности и чтобы оттянуть время, хотя я только делал вид, что читаю газету, я все-таки понимал смысл слов, которые были у меня перед глазами, и тех, которые лезли мне в уши: «К утренней программе того, что сегодня будет представлено в парадной зале Трокадеро, следует добавить, что в „Плутнях Нерины“[152] выступит м-ль Леа[153]. Само собой разумеется, она сыграет

[152] Примечания: 152

Стр. 147. «Плутни Нерины» — комедия французского поэта Теодора де Банвиля (1823-1891), написанная в 1864 г.

[153] Примечания: 153

Леа — персонаж книг Пруста; о ней рассказывается в романе «Под сенью девушек в цвету». Полагают, что ее прототипом была французская актриса Жинет Лантельм (ум. в 1911 г.).

роль Нерины, в которой она уже показала, какой у нее огромный темперамент и сколько чарующей живости». Это было равносильно тому, как если бы с меня сорвали повязку, под которой рана с момента возвращения из Бальбека начала заживать. Ручьем хлынула тревога. Леа была артистка, подруга двух девушек, которых Альбертина, делая вид, что не замечает их, разглядывала в зеркале. Правда, в Бальбеке Альбертина при имени Леа говорила мне с возмущенным видом, словно она была оскорблена, что Леа могут подозревать в такой наклонности: «Да нет, она совсем не из таких, это очень порядочная женщина». К несчастью для меня, когда Альбертина так отзывалась о Леа, это было только начало ее суждений о Леа. Вскоре после первого последовало второе: «Я ее не знаю». Tertio[154], когда Альбертина говорила мне о женщине, что она «вне всяких подозрений» и что (secundo[155]) «она ее не знает», она с течением времени забывала о том, что прежде говорила, что не знает ее, и из одной фразы, произнося которую она, сама того не замечая, «садилась в лужу», становилось ясно,

[154] Примечания: 154
В-третьих (ит.).

[155] Примечания: 155
Во-вторых (ит.).

что она ее знает. Одну забывчивость сменяла другая: эта особа вне всяких подозрений. «А разве она не подвержена таким наклонностям?» — «Конечно, подвержена, об этом каждая собака знает». Это утверждалось с возмущением, которое являлось слабым, едва слышным эхом самого первого утверждения: «Должна сказать, что со мной она ведет себя безукоризненно. Конечно, ей известно, что в случае чего я бы ее осадила и что я хорошо воспитана. Но я имею в виду другое. Я должна быть ей признательна за то, что она относится ко мне с неизменным уважением. Сразу видно, что она знает, с кем имеет дело». Правда запоминается потому, что у нее есть имя и глубокие корни, но импровизированная ложь забывается тут же. Альбертина забыла последнюю ложь, четвертую, и однажды, когда ей понадобилось заслужить мое доверие откровенными признаниями, она выпалила мне про эту особу, которая была так безупречна вначале и которую она не знала: «Она в меня втюрилась. Несколько раз просила меня проводить ее и зайти к ней. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы проводить ее, на глазах у всех, белым днем, на вольном воздухе. Но когда мы доходим до ее дверей, я всякий раз подыскиваю предлог и никогда не захожу

к ней». Немного погодя Альбертина проговорилась, что у этой дамы она видела много красивых вещей. Подробность за подробностью, в конце концов она выложила всю правду, правду, быть может, не столь уже важную для меня, оттого что женщины Альбертине доступны, вот почему женщины предпочитают возлюбленного, а так как в данное время возлюбленным Альбертины был я, то о Леа она не думала. Во всяком случае, меня кольнуло при первом разговоре о Леа, и я не стал допытываться, знает ли ее Альбертина[156].

Нет, тут ничем не поможешь. Можно было любой ценой помешать Альбертине встретиться с ее знакомой в Трокадеро или познакомиться с ней самому. Я говорил, что мне неизвестно, знакома она с Леа или нет, надо было порасспрашивать о

---

[156] Примечания: 156

Стр. 149. …знает ли ее Альбертина. — В рукописи вставка, помещаемая под строкой. В новейших изданиях «Пленницы» эта вставка введена в основной текст. [Во многих случаях мне было достаточно собрать воедино противоречивые утверждения моей возлюбленной, чтобы уличить ее во *лжи*, используя ее ошибки (ошибки, которые гораздо легче, нежели законы астрономии, выявить посредством рассуждения, чем наблюдения, чем если вы поймаете женщину на месте). Но еще лучше сказать, что она *лжет*, когда она с жаром что-то доказывает; отступление разрушило бы всю мою систему, гораздо лучше дознаться, что все, о чем она рассказывала, с начала до конца сплошная ложь. Ее рассказы похожи на сказки из «Тысячи и одной ночи», и тем не менее они очаровывают нас. Мы страдаем за человека, которого мы любим, и это дает нам возможность чуть-чуть продвинуться вглубь в познании человеческой природы, а не резвиться на ее поверхности. В нас проникает грусть и при помощи мучительного любопытства

заставляет нас проникать все глубже. За некоторыми истинами мы не признаем права таиться, что не мешает какому-нибудь открывшему их умирающему атеисту, отрицающему бессмертие, тратить последние часы жизни на их распространение.]

Бальбеке у нее самой. Забывчивость уничтожила и у меня и у Альбертины очень многое из того, что она мне сообщала. Память, вместо того чтобы служить всегда находящимся у нас перед глазами дубликатом разных событий из нашей жизни, скорее представляет собою небытие, откуда мы имеем возможность время от времени извлекать нынешние подобия мертвых воспоминаний; но есть множество мелких фактов, на которые по распространяется эта способность нашей памяти и которые навсегда останутся для нас непроверенными. На все, что нам неизвестно о действительной жизни нашей возлюбленной, мы не обращаем никакого внимания, мы в ту же секунду забываем, что она сказала нам о таких-то происшествиях, о таких-то людях и о том, какой у нее был при этом вид. Вот почему, когда потом в нас возбуждают ревность эти самые люди, чтобы проверить, нет ли тут ошибки, действительно ли это те, что повинны в ее спешке перед уходом, в том, что, вернувшись слишком рано, мы лишили ее удовольствия, наша ревность, роясь в прошлом, чтобы в нем найти для себя указания, не находит ничего; всегда ретроспективная, она подобна ученому, который собирается написать историю, не имея ни единого документа; вечно

запаздывающая, она мчится, как разъяренный бык, туда, где нет гордого, блестящего мужчины, чей образ еще больнее ранит ее, где жестокая толпа ценит только великолепие и изворотливость. Ревность сражается и темноте, неуверенно, как неуверенны мы во сне, страдая оттого, что не можем найти женщину в ее необитаемом доме, женщину, которую мы хорошо знали в жизни и которая, может быть, находится здесь, но только в другом обличье, еще более неуверенная, чем мы после сна, когда мы силимся сопоставить с действительностью подробности нашего сновидения. Какой вид будет у нашей подружки, когда она станет нам рассказывать? Будет ли от нее веять счастьем, не начнет ли она что-нибудь насвистывать, как всякий раз, когда думает о том, в кого она влюблена, а наше присутствие мешает ей и раздражает ее? Не говорила ли она нам что-нибудь такое, что противоречит тому, что сама же утверждает сейчас; знакома она или не знакома с такой-то? Мы этого не знаем, мы этого никогда не узнаем; мы с остервенением копаемся в ломких осколках сна, и наша жизнь все с той же возлюбленной, наша жизнь, проходящая мимо того, что должно быть важно для нас, внимательная к тому, что, быть может, для нас

не важно, окошмаренная существами, которые в действительности никак с нами не связаны, жизнь, полная провалов в памяти, пробелов, беспричинных тревог, наша жизнь похожа на сон.

Молоденькая молочница была еще здесь. Я сказал, что действительно это очень далеко, что я не нуждаюсь в ее услугах. Она подтвердила, что это ей неудобно: «Скоро начнется хорошенький матч, мне хочется на нем побывать». Наверное, она говорила теперь: «Надо любить спорт», а спустя несколько лет скажет: «Надо пользоваться жизнью». Я твердо решил, что обойдусь без ее услуг, и дал ей пять франков. Немного помявшись и смекнув, что если она будет получать пять франков ни за что, то ей гораздо выгоднее быть у меня на посылках, она сказала, что этот матч не так уж интересен: «Я вполне могла бы исполнить ваше поручение. Всегда можно найти выход». Но я ее выпроводил, мне нужно было остаться одному; следовало любой ценой помешать Альбертине встретиться в Трокадеро с подружками Леа. Так мне было надо, надо было достичь своей цели; по правде говоря, я еще не знал, как я ее достигну; первое время я рассматривал свои ладони, хрустел пальцами, как это бывает, когда ум, охваченный ленью, решает сделать минутную

остановку, и тогда самые разные вещи видятся ему отчетливо, как из окна вагона верхушки трав, растущих на откосе и качающихся на ветру, между тем как поезд стоит (эта неподвижность не всегда бывает более плодотворна, чем неподвижность пойманного зверя, парализованного страхом или завороженного и глядящего вокруг себя не шевелясь); или когда до отказа напрягаешь тело, внутри тела — ум, а в уме готовишь средства борьбы с той или иной особой, хотя существует только одно оружие, выстрел из которого разлучил бы Альбертину с Леа и с ее двумя подружками. Конечно, утром, когда Франсуаза объявила, что Альбертина едет в Трокадеро, я сказал себе: «Альбертина вольна поступать, как ей угодно» — и был уверен, что до вечера, лучезарным днем, ее поступки не будут иметь для меня ощутимых последствий. Но дело было не только в утреннем солнце, от которого, как я воображал, на душе у меня было легко; дело было еще в том, что, заставив Альбертину отказаться от планов, которые она могла, пожалуй, задумать или даже осуществить у Вердюренов, и вынудив ее поехать на утренний спектакль, мною же самим для нее выбранный, чтобы она не успела что-нибудь замыслить, я знал, что она в силу

необходимости будет передо мной чиста. Более того, через несколько минут она сказала: «Если я лишу себя жизни, мне это будет все равно» — сказала потому, что была уверена, что не лишит себя жизни. В то утро (в гораздо большей степени, чем светозарным днем) нас с Альбертиной разделяла незримая среда, которую мы все-таки видим благодаря ее прозрачности и изменчивости: я — ее поступки, она — цену своей жизни, то есть убежденность, которую мы не различаем, но которая может быть усваиваема, как прозрачная пустота, каковой является окружающий нас воздух; создавая вокруг нас изменчивую атмосферу, порой чудесную, часто спертую, она заслуживает того, чтобы быть замеченной и записываемой с такой же тщательностью, как температура, барометрическое давление, время года, ибо каждый наш день не похож на другой и физически и нравственно. Убежденность, не замеченная мной утром и тем не менее радостно усиливавшаяся во мне до той минуты, когда я снова развернул «Фигаро», эта убежденность в том, что Альбертина ничего предосудительного не совершит, внезапно исчезла. Меня окружал уже не ясный день, а тот, который породила в первом тревога из-за того, что Альбертина возобновит отноше-

ния с Леа и, еще проще, с теми двумя девушками, если они, что мне казалось вполне вероятным, пойдут выражать восторг актрисе в Трокадеро, где им будет нетрудно встретиться в антракте с Альбертиной. О г-же Вентейль я больше не думал; имя Леа, вместе с ревнивым чувством, воскресило во мне образ Альбертины в казино меж двух девушек. Моя память обладала множеством фотографических карточек Альбертины, отделенных одна от другой, незавершенных, моментальных, множеством ее профилей; равным образом, моя ревность ограничивалась незаконченным, меняющимся и одновременно устойчивым выражением лица у женщин, тень которых падала на лицо Альбертины. Я вспоминал, как в Бальбеке на Альбертину уставлялись то ли две девушки, то ли две женщины этой породы; я вспоминал, как мне было больно, оттого что они вглядывались в нее взглядом художника, которому хочется сделать набросок, как они закрывали все ее лицо и как она — из-за меня, конечно, — делала вид, что ничего не замечает, с безучастностью, в которой, быть может, таилось сладострастие. Прежде чем опомниться и заговорить со мной, Альбертина не шевелилась, чему-то улыбалась все с тем же деланно естественным и затаенно счастливым

видом, так что если в эту минуту снять ее или выбрать для нее перед объективом более разухабистую позу — как в Донсьере, когда мы гуляли с Сен-Лу: она с улыбкой облизывает губы, — можно было бы подумать, что она дразнит собаку. Конечно, в эти мгновения она была совсем не та, какой бывала, когда прогуливавшиеся девушки интересовали ее. В таких случаях, напротив, взгляд ее прищуренных бархатистых глаз задерживался и впивался в девушку; это был такой прилипчивый, въедливый взгляд, что казалось, будто, оторвавшись, он мог бы содрать кожу. Но этот ее взгляд, который, по крайней мере, придавал ее лицу что-то вдумчивое, даже страдальческое, казался мне мягким по сравнению с неподвижным, счастливым взглядом, каким она смотрела на двух девушек; я предпочитал мрачное выражение желания, которое она, быть может, иногда ощущала, веселому выражению желания, внушаемого ею. Как бы она ни старалась его скрыть, оно, зыбкое, сладострастное, окутывало ее, обнимало, придавало сходство ее лицу с пышной розой. То, что в такие минуты колебалось в душе Альбертины, что она излучала вокруг себя, доставляло мне столько мучений, но кто знает: если бы меня тут не было с ней, продолжала ли бы она хранить

молчание, нашла бы она в себе смелость не отвечать на заигрыванья двух девушек? Конечно, эти воспоминания причиняли мне острую боль; это была как бы общая исповедь Альбертины в ее пристрастиях, итог ее неверности, над которым не могли получить перевес ее клятвы в отдельных случаях, хотя я и заставлял себя им верить, отрицательные результаты моих исследований, которым недоставало полноты, уверения Андре, которая, быть может, сговорилась с Альбертиной. Альбертина могла отрицать отдельные измены, но ей легче было бы руки на себя наложить, чем из-за слова, сорвавшегося у нее с языка и перевешивавшего целую опровергающую речь, из-за нечаянно выдавшего ее взгляда сознаться в том, что она скрывала неизмеримо более тщательно: свою наклонность. Неприятно, когда залезают в душу.

Как бы я ни мучился от этих воспоминаний, но ведь не мог же я отрицать, что пробудил во мне желание, чтобы Альбертина осталась со мной, утренний спектакль в Трокадеро? Альбертина принадлежала к числу женщин, которым в случае надобности греховность может придавать обаяние; как и греховность, предшествующая ей женская доброта в такой же мере живит нас

своею нежностью, и, если женщина сейчас с нами, мы, точно больной, чувствующий себя хорошо всего лишь два дня кряду, всякий раз вынуждены за нее бороться. Кроме грехов, которые женщины совершают, когда мы их любим, есть такие, которые они совершили до нашего с ними знакомства, и первый из них — их натура. Мучительность такой любви зависит от наличия у женщин разновидности первородного греха, греха, за который мы их и любим; когда мы о нем забываем, потребность в женщине у нас ослабевает, и, чтобы вновь полюбить ее, нам нужно вновь начать страдать. В этот момент меня больше всего волновало: найдет ли Альбертина двух девушек и знает ли она Леа, хотя частности не должны бы привлекать внимание из-за их незначительности, из-за их пустячности в сравнении с такими важными решениями, как поездка, с такими желаниями, как желание знать женщин, хотя мы не должны бы дробить наше любопытство на плывущую незримым потоком жестокую повседневность, о которой мы никогда ничего не узнаем и обрывки которой случайно застрянут у нас в мозгу. Если даже мы что-то одно разрушим, сейчас же на его месте образуется что-то другое. Вчера я боялся, что Альбертина поедет к г-же

Вердюрен. Сегодня все мои мысли заняты Леа. Ревность не только ничего не способна разглядеть в окутывающем ее сумраке, если на глазах у нее повязка, — она принадлежит к числу тех мучений, когда работа ни на секунду не прекращается, как у Данаид[157], как у Иксиона[158]. Если даже двух девушек там бы и не оказалось, какое впечатление могла произвести на нее Леа в красивом костюме, Леа, которой устраивают овацию! Какие мечты заронила бы она в Альбертине! Какие вызвала бы у нее желания, даже укрощенные мной, скука жизни, которая не предоставляет ей возможности удовлетворить эти желания!

Да и потом, откуда нам может быть известно, знает ли она Леа и не была ли у нее в ложе? И даже если Леа ее не знает, то кто мог бы мне поклясться, что, обратив внимание на Альбертину в Бальбеке, она потом не узнала ее и не сделала ей со сцены знака, по которому Альбертина не могла бы проникнуть к ней за кулисы? Опас-

---

[157] Примечания: 157

Стр. 153. Данаиды — дочери Даная; они убили во время первой брачной ночи своих мужей (которым были отданы насильно) и за это после смерти были обречены вечно наполнять бездонную бочку (греч. миф.).

[158] Примечания: 158

Иксион — царь лапифов; он вероломно убил тестя, добивался любви Геры, жены Зевса; за это он был прикован к вечно вращающемуся огненному колесу (греч. миф.).

ность представляется легко устранимой после того, как ее предотвратили. Эта опасность была еще не предотвращена, я боялся, что ее нельзя предотвратить, и от этого она представлялась мне особенно грозной. Когда я пытался оживить в себе чувство к Альбертине, мне казалось, что моя любовь к ней почти угасла, но сегодняшний приступ душевной боли отчасти доказывал обратное. Я ни о чем больше не думал, у меня была одна забота: помешать им встретиться в Трокадеро; я готов был предложить Леа невероятную сумму за то, чтобы она туда не ездила. Если наиболее сильным доказательством предпочтения является поступок, а не замысел, значит, я любил Альбертину. Но эта вспышка душевной боли не прибавляла устойчивости образу Альбертины. Она говорила о моих печалях, как незримая богиня. Строя всевозможные предположения, я старался украшать мою душевную боль, ничего не отнимая у любви.

Прежде всего, надо было быть уверенным, что Леа действительно поехала в Трокадеро. Отпустив молочницу, которой я дал два франка, я позвонил Блоку. Он ничего не знал о Леа и был удивлен моим вопросом. Мне надо было торопиться: Франсуаза совсем готова, а я — нет; я

начал одеваться, а ей велел заказать автомобиль; она должна была ехать в Трокадеро, взять билет, отыскать Альбертину в зрительном зале и передать ей от меня записку. Я писал ей, что меня взволновало письмо, только что полученное от дамы, из-за которой я, как это было хорошо известно Альбертине, промучился целую ночь в Бальбеке. Я ей напомнил, что на другой день она мне дала слово, что и не думала звать ее. Кроме того, я просил ее пожертвовать ради меня концертом и вместе со мной подышать воздухом, чтобы я успокоился. Я просил ее еще вот о каком одолжении: воспользовавшись присутствием Франсуазы, пока я буду одеваться и приведу себя в полный порядок, заехать в магазин «Труа-Картье» (этот магазин я считая менее опасным, чем «Бон-Марше») и купить белую тюлевую шемизетку, которую ей хотелось приобрести.

Моя записка могла быть небесполезной. По правде сказать, я не имел понятия, чем занималась Альбертина ни после нашего знакомства, ни до. В разговоре (у Альбертины была привычка, если мы с ней о чем-нибудь толковали, утверждать, что я ее не так понял) у нее обнаруживались противоречия, поправки, которые представлялись мне такими же важными, как явная улика, но

менее пригодными для борьбы с Альбертиной, ибо она, уличенная в обмане, перехватывала стратегическую инициативу, отбивала мои ожесточенные атаки и восстанавливала исходное положение. Жестокими эти атаки были для меня. Она неожиданно прибегала, не ради изысканности речи, но чтобы сгладить допущенные неловкости, к неправильным согласованиям слов в предложении, похожим на те, что лингвисты именуют не то анаколуфами[159], не то как-то еще. В разговоре о женщинах она начинала, не следя за собой: «Помню, что последнее время я…», затем, после короткой паузы, «я» превращалось в «она»: это было что-то, обратившее на себя ее внимание в ни в чем не повинной гуляющей, что-то совершенно несущественное. Действующим лицом была не она. Я старался припомнить в точности начало фразы с тем, чтобы закончить ее самому: поскольку фраза выскочила из головы, значит, надо догадаться, каков должен быть ее конец. Но, угадывая конец, я забывал начало, — по-видимому, у меня был такой заинтересованный вид, что Альбертина тоже начинала забывать, с чего начала; я жаждал уловить ее настоящую

[159] Примечания: 159

Стр. 155. Анаколуф — несогласованность частей или членов предложения.

мысль, ее подлинное воспоминание. К несчастью, ложь часто уже в самом начале пропитывает отношение к нам наших избранниц, проникает в нашу любовь к ним, в нашу склонность. Эти первоисточники образуются, скапливаются, не привлекая к себе нашего внимания. Когда мы хотим вспомнить, как началась наша любовь к женщине, мы ее уже любим; былые мечтания не вспоминаются; внимание — это уже прелюдия к любви! Неожиданно они проходят мимо нас, но мы их почти не замечаем. Кроме относительно редких случаев, я лишь для удобства читателей часто сопоставлял ложь Альбертины с первоначальным ее суждением (на одну и ту же тему). Это первоначальное суждение, если не читать в будущем и не строить догадок, в какое противоречие она впадет, проскальзывало незамеченным, уловленное только моим слухом, который не отделял его от общего речевого потока Альбертины. Позднее, перед лицом явной ее лжи или же охваченный мучительным сомнением, я силился вспомнить; напрасно; моя память была своевременно не подготовлена; она считала ненужным хранить копии.

Я просил Франсуазу, когда она выведет Альбертину из зрительного зала, известить меня по

телефону и доставить ее ко мне, как бы она ни упорствовала. «Она не захочет с вами повидаться — этого еще только не хватало! — сказала Франсуаза. — А вот что ей не хочется повидаться со мной — тут уж я могу побиться об заклад. Надо ж быть такой неблагодарной!» — заключила Франсуаза, в которой, после стольких лет, Альбертина возбуждала то же ревнивое чувство, какое причиняло ей пытку во времена Евлалии и моей тетки. Не зная, что Альбертина занимает у меня положение, желательное не для нее, а для меня (что из самолюбия и чтобы позлить Франсуазу я тщательно от нее скрывал), Франсуаза дивилась ее ловкости и возмущалась ею, называла ее, когда говорила о ней с другими служанками, «комедианткой», «обольстительницей», которая вертит мной как хочет. Она пока еще не осмеливалась начинать против Альбертины военные действия, была с ней приветлива, считала нужным докладывать мне об одолжениях, которые она оказывала ей в ее отношениях со мной; она полагала, что наушничать на Альбертину нет смысла, что та все равно ничего не добьется, надо только подождать благоприятного случая; и если она замечала в положении Альбертины трещину, то давала себе слово расширить ее и разлучить

нас навсегда. «Неблагодарная? Да нет, Франсуаза, это я неблагодарный, вы не представляете себе, как хорошо она ко мне относится. (Мне было так приятно делать вид, что меня любят!) Скорей!» — «На коня — и полным ходом!»

Под влиянием дочери язык Франсуазы начал понемногу изменяться. Так теряют чистоту все языки от присоединения новых речений. В этом упадке языка я считал Франсуазу, которую знал в лучшие ее времена, косвенно ответственной. Дочь Франсуазы никогда не опустила бы до низшего слоя классический язык матери, если б удовольствовалась разговором с ней на местном наречии. Обе не были бы лишены этого удовольствия и при мне: когда им хотелось посекретничать, что им стоило, вместо того чтобы запираться в кухне, воздвигнуть посреди моей комнаты более надежную защиту, чем наглухо запертая дверь, а именно — начать говорить на местном наречии? Впрочем, я предполагаю, что мать с дочкой не всегда ладили между собой, если судить по тому, как часто они употребляли единственное выражение, которое я мог понять: «Чтоб тебя!» (Но, может быть, оно относилось ко мне.) К несчастью, самый малоизвестный нам язык в конце концов становится понятным, если

слышишь его постоянно. Я жалел, что это было местное наречие, — я уже изучил его; я так же легко усвоил бы и персидский язык, если б у Франсуазы появилась привычка на нем изъясняться. Обратив внимание на мои успехи, Франсуаза решила говорить быстрее, и дочь ее тоже, но и это не помогло. Поначалу мамаша пришла в отчаяние, что я понимаю местное наречие, потом ей доставляло удовольствие, когда я на нем говорил. По правде сказать, это была для нее только забава: хотя с течением времени я произносил почти так же, как она, все же она не могла не видеть, что наши манеры произношения разделяет пропасть, и эта пропасть восхищала ее; теперь она жалела, что не видит больше своих земляков, о которых и думать забыла: она была убеждена, что они корчились бы от смеха, услышав, как скверно я говорю на местном наречии. Самая эта мысль приводила ее в веселое расположение духа и вместе с тем преисполняла сожаления, как только она представляла себе крестьянина, плачущего от смеха. И все-таки ее угнетала мрачная мысль, что хотя я и произношу худо, а понимать понимаю прекрасно. Ключи становятся ненужными, как только тот, кого не пускают, может воспользоваться отмычкой или ломиком. Когда

местное наречие перестало достигать своей цели, Франсуаза заговорила с дочерью на том французском языке, который очень скоро устарел.

Итак, я был готов, но Франсуаза еще не звонила по телефону; выйти, не дожидаясь? Но найдет ли она Альбертину? Если Альбертина не за кулисами? А если Франсуаза встретит ее и доставит домой? Через полчаса зазвонил телефон, и в моем сердце шумно забились надежда и страх. Это звонил, по распоряжению телефониста, летучий эскадрон звуков, который с молниеносной быстротой донес до меня слова телефониста, но не Франсуазы, потому что ей атавистический страх и мрак в душе при одном виде предмета, которого не знали наши предки, мешали подойти к аппарату, что было для нее равносильно посещению заразного больного. Франсуаза увидела Альбертину в зрительном зале, в проходе, одну; Альбертине надо было только предупредить Андре, что она не останется на спектакль, а потом она сейчас же догонит Франсуазу. «Она не рассердилась? Ах, простите! Спросите у этой дамы, не рассердилась ли девушка…» — «Дама просит вам передать, что нет, нисколько, как раз наоборот; во всяком случае, если она чем-нибудь и недовольна, то про это никаких разговоров не

было. Сейчас они едут в „Труа-Картье“ и вернутся в два часа». Я рассчитал, что два часа — это значит три часа, так как было уже начало третьего. Особый недостаток Франсуазы, постоянный, неизлечимый, который мы называем болезнью, заключался в том, что она никогда не смотрела на часы и не говорила точно, который час. Если Франсуаза смотрела на часы, а на них было два, она говорила: «Час» — или: «Три»; я так и не мог понять, что в эту минуту мешало Франсуазе: зрение, мысль или язык, но что в ней всегда в таких случаях что-то происходило — это несомненно. Человечество очень старо. Наследственность, скрещивания придали неодолимую силу дурным привычкам, порочным рефлексам. Человек чихает и хрипит, потому что проходит мимо розового куста; у другого на коже выступает сыпь, когда он вдыхает в себя запах только что нарисованной картины; перед отъездом начинаются боли; внуки воров, миллионеры, порядочные люди, не могут удержаться, чтобы не украсть у нас пятьдесят франков. Что же касается неспособности Франсуазы точно ответить, который час, то она так и не смогла объяснить мне, отчего это зависит. Несмотря на то, что ее неточные ответы злили меня, Франсуаза не пыталась ни изви-

няться, ни растолковывать. Она молчала с таким видом, будто никто ничего не сказал, и этим доводила меня до бешенства. Мне хотелось услышать одно слово в оправдание, хотя бы для того, чтобы прорвать позиции противника; в ответ — ни звука, глухое молчание. Во всяком случае, сегодня не оставалось сомнений, что Альбертина вернется с Франсуазой в три часа и что Альбертина не виделась ни с Леа, ни с ее подругами. И едва лишь угроза, что она возобновит с ними отношения, была отведена, эта угроза утратила в моих глазах всякое значение; я был уверен, что не добьюсь своего, и теперь дивился, видя, с какой легкостью мне удалось этого достигнуть. К Альбертине я испытывал чувство глубокой благодарности за то, что она, как я в этом убедился, не останется в Трокадеро с подругами Леа, и за то, что она доказала мне, уйдя со спектакля и собираясь вернуться домой по первому моему знаку; до сих пор я даже не представлял себе, до какой степени она — моя и будет моею впредь. Моя благодарность ей еще возросла, когда велосипедист привез мне от нее записку с просьбой запастись терпением и с этими характерными для нее ласковыми выражениями: «Дорогой мой Марсель! Я приеду не так скоро, как этот велосипедист, которого я попро-

сила оседлать своего конька и духом домчаться до Вас. Как Вы могли подумать, что я рассержусь и что на свете может быть что-нибудь приятнее, чем проводить время с Вами? До чего приятно выйти из дому вдвоем, до чего приятно выходить из дому всегда только вдвоем! Откуда у Вас такие мысли? Ох уж этот мне Марсель! Ох уж этот мне Марсель! Вся Ваша, твоя *Альбертина*».

Послушание Альбертины являлось не платой за туалеты, которые я ей покупал, за яхту, которую я ей обещал, за пеньюары от Фортюни, а дополнением к ней, моей привилегией; долги и повинности властелина составляют часть его владычества, определяют его, служат доказательством так же, как и его права. Признаваемые ею мои права сообщали моим повинностям тот характер, который они должны были иметь в действительности: мне принадлежит женщина, которая по первому слову, неожиданно для нее переданному ей от меня, послушно телефонирует мне, что она скоро будет дома. Я сам не думал, что я над ней — всевластный повелитель. Всевластный повелитель — значит, покорный раб. И тут у меня пропала всякая охота увидеться с Альбертиной. Сейчас она едет с Франсуазой, затем последует ее возвращение, которое я с удо-

вольствием бы ей отсрочил, — подобно яркому и мирному светилу, ожидание озарило мне то время, какое я теперь с несравненно большим удовольствием провел бы один. Моя любовь к Альбертине вынудила меня встать с постели и приготовиться к выходу, но Альбертины мне было мало для того, чтобы порадоваться выходу. Я представил себе, что сегодня воскресенье и что Булонский лес кишмя кишит работницами, швейками, кокотками. И при словах «швейки», «работницы» (как это со мной часто случалось, когда я твердил себе имя девушки, которое находил в отчете о бале) я воображал белый корсаж и короткую юбку, так как за этим костюмом я помещал неизвестную девушку, которая могла бы полюбить меня; в полном одиночестве я создавал образы желанных женщин и говорил себе: «Как с ними было бы хорошо!» Но зачем они мне, раз я все равно выйду не один? Воспользовавшись тем, что пока я еще один, наполовину задернув занавески, чтобы солнце не мешало мне читать ноты, я сел за рояль, открыл наугад сонату Вентейля и заиграл; Альбертина должна была вернуться не так скоро, но — непременно, поэтому я располагал свободным временем и у меня было спокойно на душе. Упиваясь ожиданием ее

непременного возвращения с Франсуазой и доверием к ней, наслаждаясь красотой освещения в комнате, такого же теплого, как свет наружи, я мог свободно предаваться мечтам, отвлечься на время от мыслей об Альбертине, слить мысль о ней с мыслью о сонате. В сонате я сейчас не замечал, с какой необыкновенной точностью соответствует сочетание мотивов сладострастных и тоскливых моему увлечению Альбертиной, к которому так долго не примешивалась ревность, что я мог бы признаться Свану, что это чувство мне незнакомо. Нет, я смотрел на сонату с другой точки зрения, как на произведение великого музыканта, и пропускал его через себя, и звуковая волна влекла меня к дням Комбре, но не к дням Монжувена и направления к Мезеглизу, а к дням прогулок по направлению к Германтам, когда я мечтал быть писателем. Отказавшись от этих притязаний, упустил ли я что-нибудь реальное? Могла ли бы жизнь порадовать меня искусством? Есть ли в искусстве более глубокая реальность или наша подлинная личность находит в нем выражение, в котором ей отказывает живая жизнь? Каждый большой художник так резко отличается от обыкновенных людей и вызывает у нас такое сильное ощущение личности, какое

мы тщетно пытаемся найти в обыденной жизни. В этот момент меня поразило одно место в сонате; кстати сказать, я хорошо знал, что иногда наше внимание по-иному освещает давно знакомые вещи, и вот тут-то наше внимание задерживается на том, чего мы прежде не замечали. Проигрывая это место, — хотя Вентейль пытался истолковать образ, совершенно чуждый Вагнеру, — я не мог удержаться, чтобы не прошептать: «Тристан»[160] — с улыбкой друга дома, находящего что-то от предка в интонации, в жесте потомка, который его не знал. И, подобно тому как рассматривают фотографию, помогающую установить сходство, так я раскладывал на пюпитре поверх сонаты Вентейля партитуру «Тристана», отрывки из которого должны были исполняться как раз сегодня на концерте Ламурё[161]. Восхищаясь байрейтским гением[162], я ни в малой мере не испытывал

---

[160] Примечания: 160

Стр. 160. «Тристан» — опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда», созданная в 1865 г. Пруст слушал эту оперу в Париже в июне 1902 года.

[161] Примечания: 161

Ламурё Шарль (1834-1899) — французский скрипач и дирижер, организатор публичных концертов, пропагандировавших серьезную музыку.

[162] Примечания: 162

Байрейтский гений — то есть Вагнер; в Байрейте у композитора был свои театр, где ставились почти все его оперы.

того, что испытывают люди вроде Ницше[163], которым чувство долга внушает, и в искусстве и в жизни, бежать от манящей их красоты, которые вырываются из-под власти «Тристана» так же, как они отрекаются от «Парсифаля»[164], и, проникнутые духовным аскетизмом, смертью смерть поправ, достигают того, что, следуя самым кровавым из крестных путей, возвышаются до безупречного понимания и безоговорочного признания «Почтальона из Лонжюмо»[165]. В том реальном, что есть в творчестве Вагнера, его быстро и настойчиво проходящие темы, возникающие в том или ином акте, уходят только для того, чтобы появиться снова; порой звучащие вдали, затихающие, почти самоценные, они в других местах, не теряя своей неопределенности, становятся такими упорными и близкими, такими неотделимыми от твоего внутреннего мира, такими органическими, такими вросшими

---

[163] Примечания: 163

Ницше Фридрих (1844-1900) — немецкий философ, чьи произведения были очень популярны в Европе на рубеже XIX и XX вв.

[164] Примечания: 164

«Парсифаль» — опера Вагнера, созданная в 1882 г. Пруст слушал ее в 1914 году.

[165] Примечания: 165

«Почтальон из Лонжюмо» — комическая опера Адольфа Адана (1803-1856), впервые поставленная в Париже в 1836 г.

в тебя, что реприза кажется уже не мотивом, а твоей невралгической болью.

Такая музыка, далекая от общества Альбертины, помогала мне погружаться в себя и находить в себе новое, находить разнообразие, которое я напрасно искал в жизни, во время путешествий, когда тоска по родине слышалась мне в звуковых волнах, сверкавшие на солнце брызги которых разбивались возле меня. Разнообразие в искусстве и разнообразие во внутреннем мире. Подобно тому, как спектр выявляет для нас состав света, так гармония Вагнера и цвет Эльстира дают возможность познать сущность ощущений другого человека, куда любовь не пропускает. Затем разнообразие внутри каждого произведения, достигаемое с помощью единственного средства быть действительно разнообразным: объединить разные индивидуальности. Там, где маленький композитор считал бы, что создал образы оруженосца и рыцаря, а пели бы они на один лад, Вагнер каждому действующему лицу придает различные черты, и всякий раз, как у него появляется на сцене оруженосец, перед нами возникает человек с особым обличьем, сложным и вместе с тем упрощенным, который со всем переплетением жизнерадостных звуков,

характерных для феодальной эпохи, вписывается в звучащую бесконечность. Отсюда полнозвучие музыки, сплетенной из множества партий, каждая из которых — не похожий на других человек. Человек — или впечатление, которое получается от моментального взгляда на натуру. Даже то, что в ней наиболее удалено от чувства, которое она нам внушает, сохраняет свою внешнюю, вполне законченную реальность; пение птицы, рев охотничьего рога, песенка, которую играет пастух на своей свирели, — все вычерчивает на горизонте свой звучащий силуэт. Конечно, Вагнер стремился приблизить к нам натуру, поймать ее, ввести ее в оркестр, подчинить ее своим самым высоким музыкальным идеям, не теряя при этом присущей ему оригинальности, — так резчик не касается волокон особой породы дерева, которое он обрабатывает.

Но тут я подумал, что, несмотря на богатство его творчестна, в котором созерцание натуры уживается с развитием действия и обрисовкой лиц, чьи имена мы отчетливо различаем, сколько же его вещей — пусть и великолепных — принадлежит к числу вещей несовершенных, что присуще всем великим произведениям XIX века — века, в котором величайшие писатели не ценили своих

книг, а смотрели на свой труд глазами рабочего и приемщика, извлекая из этого самосозерцания и придавая произведению новую красоту, внутреннюю и внешнюю, сообщая ему, по закону обратного действия, единство и величие, которыми оно не обладало. Не останавливаясь на том, кто, бросив взгляд назад, увидел в своих романах «Человеческую комедию», ни на тех, кто именует поэмами и очерками надерганные отовсюду «Легенды веков»[166] и «Библию человечества»[167], не правильно ли будет сказать о Мишле, великолепно изображающем XIX век, что главные его достоинства следует искать не в самих его произведениях, а в той позиции, какую он по отношению к ним занимает? Не в «Истории Франции» и не в «Истории Революции», но в предисловиях к этим двум книгам? В предисловиях, иными словами — на страницах, написанных после произведений, на страницах, на которых он их оценивает, не следует ли коегде добавить

---

[166] Примечания: 166

Стр. 162. «Легенда веков» — поэтический цикл Виктора Гюго, написанный в 1859-1863 гг.

[167] Примечания: 167

«Библия человечества» — книга известного французского историка Жюля Мишле (1798-1874), вышедшая в 1864 г. Ниже Пруст называет две другие его работы — «Историю Франции» (1833-1867) и «Историю Французской революции» (1847-1853).

несколько фраз, обычно начинающихся у него с «Да будет мне позволено…» и представляющих собой не прием осторожного ученого, но каденцию музыканта-исполнителя? Другой музыкант, которым я в это время увлекался, Вагнер, вынул из ящика чудесный отрывок и, уже в разгаре работы почувствовав его необходимость в произведении, о котором он еще не думал, когда сочинял отрывок, сочинив первую мифологическую оперу, потом вторую, потом еще несколько и вдруг обнаружив, что создал целую тетралогию, вероятно, испытал нечто похожее на восторг, который охватил Бальзака, когда тот, окинув свои книги взглядом постороннего и вместе с тем отца, найдя в одном чистоту Рафаэля, а в другом — простоту Евангелия, вдруг все понял; когда его в конце концов озарила мысль, что его книги станут еще прекраснее, если их объединить в один цикл, где персонажи будут появляться снова и снова, и когда он добавил к своей эпопее, при этой ее пригонке, еще один взмах кисти, последний и наиболее совершенный. То было объединение уже написанных книг, объединение не искусственное, иначе оно рассыпалось бы в прах, подобно стольким сериям произведений посредственных писателей, которые, при мощ-

ной поддержке заглавий и подзаголовков, делают вид, что у них единый сверхчувственный замысел. То было единство не искусственно и, быть может, более реальное в силу того, что мысль о нем родилась, когда произведение было уже создано, что мысль о нем родилась в порыве восторга, когда единство было найдено и оставалось только слепить отрывки; единство, ничего о себе не знавшее, следовательно, жизнеспособное и не схематичное, не исключавшее разнообразия, не охлажденное исполнением. Оно (сейчас мы имеем в виду единство целей), подобно обособленному отрывку, родилось по вдохновению, а не по искусственному требованию определенного тезиса и охватило все остальное. До бури в оркестре, перед возвращением Изольды, это самостоятельное произведение, притянувшее к себе песенку на свирели, полузабытую пастухом. И, несомненно, насколько могуче нарастание оркестровой партии по мере приближения корабля, когда она завладевает мелодией свирели, преображает ее, заражает своим восторгом, ломает ее ритм, меняет ее тональность, ускоряет ее темп, настолько же, несомненно, велика была радость Вагнера, когда он, вспомнив эту пастушескую песенку, включил ее в свое произведение, предо-

ставив ей заслуженную ею роль. Эта радость не покидает его никогда. Как бы ни грустил поэт, он утешен, радость сочинителя преодолела в нем грустное чувство — то есть, к сожалению, внесла в него некоторые разрушения. Но тут, так же как сродство, которое я только что обнаружил между фразой Вентейля и фразой Вагнера, меня привела в смущение сверхъестественная виртуозность Вагнера. Не виртуозность ли создает у великих художников иллюзию врожденной неукротимой единственности, на поверхностный взгляд — отсвет иного бытия, на самом деле — плод изощренного мастерства? Если искусство — только это, значит, оно не более реально, чем жизнь, и мне особенно не было о чем жалеть. Я продолжал играть «Тристана». Отделенный от Вагнера звучащей перегородкой, я слышал, как он ликует, как он предлагает мне разделить с ним его радость, я слышал, как все громче становится вечно юный смех и как все громче бьет молотом Зигфрид;[168] удары этих фраз звучали все громоноснее, а техника мастера нужна была теперь только для того, чтобы облегчить отлет птицам, похожим не на

[168] Примечания: 168

Отр. 163. …бьет молотом Зигфрид… — Пруст имеет в виду оперу Вагнера «Зигфрид» (1876) из тетралогии «Кольцо нибелунга».

лебедя Лоэнгрина,[169] а на аэроплан, который я видел в Бальбеке, видел, как он набирает высоту, как он планирует над морем и исчезает вдали. Быть может, этим птицам, поднимающимся особенно высоко, летающим особенно быстро, с более могучими крыльями, требуются для того, чтобы исследовать бесконечность, настоящие двигатели в сто двадцать лошадиных сил, марки «Тайна», но на той высоте, на которой они летают, им будет мешать наслаждаться тишиной пространств мощное гуденье мотора!

Не знаю, почему мои размышления о музыке сменились воспоминаниями об игре лучших исполнителей нашего времени, и среди них, несколько приукрасив его, я представил себе Мореля. Тут моя мысль сделала неожиданный скачок, и я начал думать о характере Мореля и е некоторых его особенностях. Между прочим, — это могло сочетаться, по не смешивалось с глодавшей его неврастенией — Морель любил рассказывать о себе, но образ у него выходил столь неясный, что его было очень трудно различить. Морель соглашался быть в распоряжении

[169] Примечания: 169

…не на лебедя Лоэнгрина… — Речь идет об опере Вагнера «Лоэнгрин» (1850), герой которой, рыцарь Лоэнгрин, страж волшебного замка Монсальват, появляется в челне, влекомом лебедем.

де Шарлю — с условием, что вечера у него свободны: после обеда ему хотелось пройти курс алгебры. Де Шарлю шел ему на уступки, но требовал после занятий свидания. «Нет, но может быть, это старая итальянская картина».[170] Эта шутка сама по себе не имеет смысла, но де Шарлю велел Морелю прочитать «Воспитание чувств», в предпоследней главе которого Фредерик Моро произносит эту фразу; шутки ради Морель всегда повторял ее: «Это старая итальянская картина, занятия кончаются поздно, прерывать их неудобно, преподаватель был бы очень недоволен...» «Да тут никакого курса и не нужно, алгебра — не плавание и даже не английский язык, ее легко усваивают по учебнику», — вот что мог бы — но считал бесполезным — возразить де Шарлю, легко догадавшийся, что курс алгебры — это выдумка, в которой не разберешься. Может быть, Морель собирается спать с бабой, а может быть, вознамерившись зарабатывать деньги некрасивыми средствами, он поступил на службу в

[170] Примечания: 170

Стр. 164. «...это старая итальянская картина». — Намек на один из эпизодов романа Флобера «Воспитание чувств»; к герою книги Фредерику Моро приходит г-жа Арну, в которую он влюблен; она видит на стене женский портрет (это изображение его любовницы) и говорит, что узнает эту женщину, на что Фредерик возражает, указывая, что «это старая итальянская картина».

тайную полицию, да и кто его знает? Может, тут просто что-нибудь худшее, может, он в ожидании, что ему предложат роль «кота», в котором может оказаться надобность в публичном доме. «Гораздо легче учить самому по книге, — говорил барону Морель. — С учителем ничего понять нельзя». «Так почему же ты не занимаешься у меня, или ты нашел более комфортабельное помещение?» — хотелось спросить барону, но он воздержался, зная, что вечерние часы у Мореля все равно останутся свободными, вот только воображаемый курс алгебры сейчас же заменится обязательным уроком танцев или рисования. И все же де Шарлю убедился, что он ошибается в своих предположениях, во всяком случае — отчасти. Морель нередко занимался у барона тем, что решал уравнения. Де Шарлю резонно заметил, что скрипачу алгебра не нужна. Морель возразил, что это развлечение, что оно помогает бороться с неврастенией. Конечно, де Шарлю мог приложить старания к тому, чтобы получить сведения, разузнать, что же это за таинственные и неотвратимые уроки алгебры, которые даются только по ночам. Но де Шарлю был человек слишком светский, и ему некогда было разматывать клубок занятий Мореля. Отданные им и

нанесенные ему визиты, клуб, обеды в городе, вечера в театре отвлекали его мысли от этого, а также от клокотавшей внутри Мореля неистовой злобы, которая, по слухам, в разных городах, где он бывал, то прорывалась у него, то затаивалась, так что потом в этих городах о Мореле говорили с содроганием, понизив голос и не смея ничего о нем рассказать.

К сожалению, в этот день я оказался свидетелем одной из таких вспышек нервической злобы, когда, перестав играть на рояле, я спустился во двор, чтобы пойти навстречу Альбертине. Проходя мимо мастерской Жюпьена, где Морель и та, которая, как я думал, скоро станет его женой, должны были быть вдвоем, Морель орал во все горло таким голосом, какого я у него не слышал, обычно привыкшим сдерживаться, а сейчас впервые разошедшимся, мужицким. Слова были тоже необычные, с ошибками. Но ведь Морель все знал плохо. «Я тебе сказал: убирайся отсюда, мать твою за ногу, лахудра, лахудра, лахудра!» — повторял он бедной малышке; та сначала не поняла, что он хочет сказать, но потом, хотя и дрожа всем телом, приняла гордый вид. «Я тебе сказал: убирайся, мать твою за ногу, лахудра, лахудра, приведи сюда своего дядю, я ему скажу,

что ты шлюха». Как раз в эту минуту во дворе послышался голос Жюпьена, возвращавшегося и разговаривавшего со своим приятелем, а так как мне было известно, что Морель — трус, каких мало, то я счел бесполезным присоединять свои усилия к усилиям Жюпьена и его приятеля, уже подходивших к мастерской, и поднялся к себе, чтобы избежать встречи с Морелем, который (вероятно, он хотел только попугать малышку и для этой цели прибегнуть к шантажу, быть может, ни на чем не основанному) так жаждал свидания с Жюпьеном, что, только заслышав его голос во дворе, тут же дал тягу. Случайно донесшиеся слова сами по себе ничего не значат, они ничего не объяснили бы в сердцебиении, с каким я поднимался. Сцены же, при которых мы присутствуем, играют огромную роль в том, что военные называют в теории наступательных действий успехом внезапного нападения. Сколько бы я ни успокаивал себя, что Альбертива, вместо того чтобы остаться в Трокадеро, вернется ко мне, в ушах у меня раздавался звук десятикратно повторенного, потрясшего меня слова: «Лахудра, лахудра».

Мало-помалу волнение мое улеглось. Альбертина должна вернуться. Сейчас я услышу звонок.

Я сознавал, что моя жизнь уже не та, какой могла бы быть, что у меня есть женщина, и когда она вернется, то вполне естественно, что я выйду с ней пройтись, что все мои силы, вся моя жизнедеятельность с каждым днем все больше подчиняются одной цели: порадовать ее, отчего я становлюсь похожим на стебель, вытянувшийся в длину, но отягченный налитым плодом, поглощающим все его запасы. В противоположность тоске, которая владела мной час назад, спокойствие, охватывавшее меня при мысли о возвращении Альбертины, было шире того, какое я ощутил утром, до ее отъезда. Предвосхищая будущее, почти полным хозяином которого я становился, более устойчивое, как бы полное до краев и упроченное неизбежным, докучным, неминуемым, отрадным присутствием другого лица, то было спокойствие (избавлявшее нас от поисков счастья в нас самих), рождающееся из чувства семейного уюта и из чувства домашнего очага. Семейное и домашнее; таким еще, не менее сильным, чем чувство, которое умиротворило меня, пока я ждал Альбертину, было то спокойствие, которое я испытывал позднее, гуляя с ней. Она в одну секунду сняла перчатку — то ли чтобы коснуться моей руки, то ли чтобы

я подивился, увидев у нее на мизинце, рядом с кольцом, подаренным г-жой Бонтан, кольцо, по ободку которого тянулся широкий, прозрачный узор в виде светлорубинового цветка. «Опять новое кольцо, Альбертина! Какая у вас добрая тетя!» — «Нет, это кольцо — не тетино, — сказала, смеясь, Альбертина. — Я его купила — благодаря вам я могу делать большие сбережения. Я даже не знаю, кому оно принадлежало раньше. Путешественник, который растратил все деньги, оставил его хозяину отеля, где я жила в Мане. Тот не знал, что с ним делать, и чуть было не продал его гораздо дешевле, чем оно стоит. Тогда это было мне не по карману. Но теперь, благодаря вам, я стала шикарной дамой, и я спросила хозяина отеля, не продал ли он еще кольцо. Ну так вот оно!» — «Это дивное кольцо, Альбертина. А где будет то, которое я вам подарю? Во всяком случае, это очень красивое кольцо; вот только я не могу различить чеканку вокруг рубина; похоже на голову гримасничающего человека. Но у меня плохое зрение». — «У вас будет лучше, чем это, не забегайте вперед. Я тоже плохо вижу».

Прежде я часто читал в мемуарах и романах о том, как мужчина выходит из дому всегда с женщиной, завтракает с ней, и меня потянуло по-

следовать их примеру. Иногда мне казалось, что это достижимо, что я могу, допустим, повести обедать любовницу Сен-Лу. Но я тщетно призывал на помощь мысль, что сейчас я хорошо играю роль мужчины, которому позавидовал, читая роман; эта мысль укрепляла меня в убеждении, что мне будет приятно с Рахилью, но ничего хорошего из этого не выходило. Дело в том, что, когда мы хотим подражать чему-то вполне реальному, мы забываем, что это нечто порождено не желанием подражать, а бессознательной силой, тоже реальной; но в силу особого настроения, которое так и не создало во мне страстного желания испытать утонченное наслаждение от прогулки с Рахилью, теперь я наконец испытывал его, отнюдь не стараясь искусственно возбудить его в себе, но в силу совершенно иных причин, неприкровенных, глубоких; к примеру, по той причине, что из ревности я не мог находиться вдали от Альбертины и, когда мне надо было выйти из дому, не мог отпустить ее гулять. Я испытывал это чувство только сейчас, ибо познание не есть познание внешнего мира, который я сейчас избираю объектом своих наблюдений, но познание бессознательных ощущений; ибо в былое время женщина могла сидеть в том же экипаже, что и мы, *в действительности*

же она не была рядом с нами: в нас не рождалась поминутно потребность в ней, как у меня — в Альбертине, так же как упорная ласка нашего взгляда не вызывала беспрерывно на ее лицо краску, требующую постоянного освежения, так же как чувства, утихшие, но не изгладившиеся из памяти, не придавали окраске сочности и прочности, так же как ревность, в сочетании с чувствами и с воспламеняющим их воображением, не удерживает эту женщину подле нас силой равного притяжения, столь же мощной, как закон всемирного тяготения. Автомобиль, в котором сидели мы с Альбертиной, быстро ехал по бульварам, по улицам, и ряд отелей, застывший воздух, розовый от солнца и от мороза, напоминали мне мои приходы к г-же Сван, ее комнаты — до того, как зажигали лампы, — озаренные мягким светом хризантем.

Я едва успевал разглядеть, отделенный от них стеклом автомобиля так же, как мог быть отделен оконным стеклом, молодую фруктовщицу, молочницу, стоявшую за дверью, освещенную ясным утром, подобно героине, которую мне хотелось сделать участницей упоительных приключений в самом начале романа, который я так и не дочту до конца. Ведь я же не мог попросить Альбертину

остановиться, а молодых женщин я уже плохо видел, я лишь едва различал отдельные их черты и втягивал в себя свежесть белесого пара, которым они были окутаны. Чувство, которое меня охватывало, когда я видел дочку виноторговца за кассой или прачку, болтающую с кем-нибудь на улице, могли бы распознать богини. С тех пор, как Олимпа не существует, его обитатели живут на земле. И когда, трудясь над картиной на мифологический сюжет, художники заставляют позировать для Венеры и Цереры девушек из простонародья, выполняющих самую черную работу, то это вовсе не кощунство: они только прибавляют, возвращают им свойства, атрибуты божественности, которых они были лишены. «Как вам понравилось в Трокадеро, юная сумасбродка?» — «Я безумно рада, что оттуда ушла и поехала с вами. По-моему, это Давиу». — «Какая у меня Альбертина образованная! Да, я совсем забыл, Давиу». — «Пока вы спите, соня, я читаю ваши книги. Архитектура довольно безобразная, правда?» — «Вот что, девчурка: вы так быстро развиваетесь и становитесь такой интеллигентной (я говорил правду, но мне было бы приятно, если бы ей доставило удовольствие — за неимением других — сказать мне, что, по крайней мере,

время, которое она проводит у меня, она не считает для себя потерянным), что при случае я вас спрошу о вещах, которые большинство считают неверными, но которые соответствуют истине, являющейся целью моих исканий. Вы знаете, что такое импрессионизм?» — «Прекрасно знаю». — «Так вот что я хочу сказать: помните церковь Сен-Мара-Одетого[171], которую Эльстир не любил, потому что она новая? Разве это до некоторой степени не противоречит его собственному импрессионизму? Он вырывает памятники из их окружения, отрывает от освещения и, как археолог, оценивает их действительную стоимость. Когда он рисует, разве больница, школа, афиша на стене не представляют собою такой же ценности в общей картине, как стоящий поблизости дивный собор? Вспомните фасад, обожженный солнцем, вспомните рельеф маркувильских святых, купающихся в свету. Какое мне дело до того, что памятник — новый, если он кажется старым и даже если не кажется? Та поэзия, которую содержат в себе старинные кварталы, извлечена

[171] Примечания: 171

Стр. 168. Сен-Мар-Одетый — в рукописи первоначально упоминалась церковь в Маркувиле (вымышленное местечко недалеко от Бальбека), затем Пруст заменил ее на Сен-Мара-Одетого, но ниже упоминание Маркувиля осталось.

из них до последней капли, но некоторые дома, построенные разбогатевшими мещанами в новых кварталах, где недавно тесанный камень слишком бел, не раздирают ли знойный воздух июльского юга в тот час, когда коммерсанты едут завтракать в пригород, криком таким же терпким, как запах вишен, каким пахнет, пока готовится завтрак, в темной столовой, где призматические стаканы для ножей сверкают разноцветными огнями, такими же красивыми, как витражи в Шартре?» — «Какая вы прелесть! Если я когда-нибудь стану интеллигентной, то только благодаря вам». — «Почему бы в ясный день не оторвать взгляд от Трокадеро, башни которого в виде шеи жирафа приводят на память обитель в Павии?[172]» — «Мне еще говорили о церкви, возвышающейся вот так, на холме; у вас есть репродукция Мантеньи[173]; по-моему, это «Святой Себастьян»; ему еще служит фоном

[172] Примечания: 172

Стр. 169. Обитель в Павии. — Речь идет об архитектурном комплексе — монастыре картезианцев близ Павии, построенном во второй половине XV в.

[173] Примечания: 173

Мантенья Андреа (1431-1506) — итальянский художник падуанской школы. Далее упоминается его картина «Святой Себастьян» (находится в Лувре). Но здание Трокадеро в большей мере напоминает одну из построек, изображенных на другой картине Мантеньи — «Моление о чаше» (Лондон, Национальная галерея).

город, поднимающийся амфитеатром; пожалуй, в нем можно найти сходство с Трокадеро». — «У вас зоркий глаз. И как это вы обратили внимание на репродукцию Мантеньи? Поразительно!» Мы въехали в кварталы более простонародные; воздвигнутая, как Венера, за каждым прилавком служанка превращала для меня прилавок в пригородный алтарь, и мне хотелось провести всю свою жизнь у его подножья.

Как это делают некоторые, чувствуя приближение безвременной кончины, я мысленно составлял список удовольствий, которых меня лишала Альбертина, окончательно ставившая предел моей свободе. В Пасси[174] на шоссе образовался затор, и я увидел вблизи обнявшихся девушек, очаровавших меня своими улыбками. Я не успел хорошенько разглядеть девушек, но вряд ли я преувеличиваю: в толпе, в толпе молодежи, благородный профиль — не редкость. Праздничная сутолока на улицах для человека влюбчивого такая же находка, как для археолога неровная земля, в которой он производит раскопки и обнаруживает античные медали. Мы

[174] Примечания: 174

Стр. 169. Пасси — сначала пригород, затем район Парижа; в начале XX в. он стал застраиваться большими доходными домами, превратившись в один из фешенебельных районов столицы.

приехали в Булонский лес. Я подумал о том, что, если бы Альбертина со мной не поехала, я мог бы сейчас в цирке Елисейских полей услышать вагнерианскую бурю, от которой сотрясается вся оснастка оркестра, бурю, в которую я мог бы вовлечь подобную легкой накипи песенку свирели, которую я только что играл, заставлять ее взлетать, лепить из нее, изменять ее форму, рассекать, втягивать во все усиливавшийся вихрь. Словом, мне хотелось, чтобы наша прогулка была короткой и чтобы вернулись мы рано, так как, тайно от Альбертины, я решил поехать сегодня к Вердюренам. На днях они прислали мне приглашение — тогда я его вместе с прочими бросил в корзину. Но я предвосхищал поездку к ним сегодня — мне хотелось выяснить, кого Альбертина надеется у них встретить. Откровенно говоря, мы с Альбертиной дошли теперь до той черты, за которой (если все так продолжалось бы и дальше, если дела шли бы нормально) женщина служит для нас только переходным мостиком к другой. Она еще дорога нашему сердцу, но не очень; мы каждый вечер спешим к незнакомкам, главным образом — к незнакомкам, знакомым с нею, которые могут рассказать нам о ней. В сущности, мы знаем о ней, мы почерпнули у нее то, что она

решилась поверить нам о себе. Ее жизнь — это тоже она, но именно та ее часть, которую мы не знаем, то, насчет чего мы безуспешно пытались расспрашивать ее, то, что мы можем пожать на губах у других.

Если уж моя жизнь с Альбертиной грозила помешать мне ехать в Венецию, путешествовать, то по крайней мере я мог бы теперь, будь я один, познакомиться с молодыми швейками, растворившимися в залитом солнцем прекрасном воскресном дне и чью красу я заполнил бы влечением к неведомой им жизни, занимавшей их уже сейчас. Глаза, в которые смотрят, — разве они не пронизаны взглядом, заключающим в себе неизвестные образы, воспоминания, нетерпение, презрение, и разве с ними можно расстаться? Не вынуждает ли самое положение мимоезжего по-разному оценивать нахмуренные брови, расширенные ноздри? Присутствие Альбертины не давало мне возможности подойти к девушкам и, быть может, только усиливало во мне желание. Кто хочет сохранить в себе желание жить и веру в нечто более прекрасное, чем повседневность, должен гулять, ибо улицы, бульвары полны Богинь. Но Богини к себе не подпускают. То здесь, то там, меж деревьев, при входе в кафе сторожит служан-

ка, подобно нимфе на опушке священного леса, а в глубине три девушки сидят возле велосипедов, составленных в виде огромной арки, подобно трем бессмертным, облокотившимся на облако или на сказочного скакуна, на которых они совершают свои мифологические путешествия. Я заметил, что всякий раз, как Альбертина внимательно оглядывала всех этих девушек, она потом сейчас же оборачивалась ко мне. Но меня не смущала ни пристальность, ни беглость взгляда; часто случалось, что Альбертина, то ли потому, что она устала, то ли потому, что у нее была такая манера смотреть на внимательно глядящего на нее человека, она точно таким же задумчивым взглядом окидывала моего отца или Франсуазу; а что Альбертина быстро оборачивалась ко мне, то это можно было объяснить тем, что ей, знающей мою подозрительность, хотелось, даже если мои подозрения не имели под собой оснований, не давать для них повода. Как и Альбертина, чье поведение казалось мне предосудительным (в равной степени — по отношению к молодым людям), я заглядывался — не считая себя, однако, виновным, считая, что виновата Альбертина — в том, что мешает мне остановиться и выйти из машины, — на всех швеек. Испытывать желание

считается непредосудительным, возмутителен тот, другой, кто желает. И этот разный подход к нам и к тем, кого мы любим, применяется не только когда речь идет о желании, но и о лжи тоже. А между тем нет ничего обычнее, чем утаить недомоганье и казаться здоровым, скрыть порок, не в ущерб другим пойти туда, куда тянет. Это средство маскировки, самое нужное и наиболее употребительное. Так, например, мы воображаем, что это его мы изгоняем из жизни нашей возлюбленной, это его мы выслеживаем, это его след мы обнюхиваем, это его мы ненавидим всюду. Оно тревожит нас, оно способно послужить причиной разрыва, нам чудится, что оно скрывает самые тяжкие провинности, если только оно не прячет их так глубоко, что мы ничего не подозреваем. В трудном положении оказываемся мы, до такой степени чувствительные к действию патогенного вещества, что в связи с мгновенным и повсеместным его размножением мы лишаемся защиты от других веществ, и как опасно оно для тех, у кого нет к нему иммунитета!

Жизнь молодых девушек, с которыми, по причине долгих периодов заточения, я встречался редко, представлялась мне, как всем, у кого легкость свершений не притупила способности к

осмысливанию, чем-то совершенно отличным от того, что мне было известно, и желанным, как самые красивые города, которые мы наметили себе посетить во время путешествия.

Неудачи, постигавшие меня с женщинами, которых я знал или встречал на городских улицах, не мешали мне обращать внимание на новых и верить в их реальность. Точно так же видеть Венецию, без которой я тоже скучал весной и куда меня не пускала женитьба на Альбертине, видеть Венецию в панораме Ского[175], где она была красивее по тону, чем реальный город, — это никак не могло заменить мне путешествие в Венецию, которую мне казалось необходимым — хочешь не хочешь — пройти из конца в конец; точно так же, как бы ни была миловидна швейка, которую мне ловко подсунула сводня, она ни в коей мере не могла заменить мне ту, что, виляя задом, шла сейчас с подружкой под деревьями и чему-то смеялась. Та, которую я встретил в публичном доме, была красивее, но — это совсем не так важно: ведь мы не смотрим в глаза незнакомке с той же пристальностью, с какой рассматриваем маленький

[175] Примечания: 175

Стр. 171. Ский — персонаж книг Пруста (уменьшительное от Виродобетский), польский художник, завсегдатай салона Вердюренов. Впервые появляется на страницах романа «Содом и Гоморра».

опал или агат. Мы знаем, что солнечный лучик, расцвечивающий их всеми цветами радуги, или брильянтики, придающие им блеск, — это все, что мы можем углядеть в мысли, в силе воли, в воспоминании, где стоит отчий дом и где живут дорогие друзья, по ком мы тоскуем. Овладение всем этим — а ведь это достигается ценой таких тяжких усилий! — вот что в гораздо большей степени повышает ценность глаз, чем их физическая красота (этим, быть может, объясняется тот факт, что молодой человек влюбляет в себя женщину, прослышавшую, что он — принц Уэльский, но что, убедившись в ложности слуха, она сейчас же перестает обращать на него внимание). Встретить швейку в публичном доме — это значит встретить ее, когда в ней не осталось ничего от той неведомой нам жизни, которая в ней угадывалась и которой я надеялся жить вместе с ней; это значит приблизить к себе ее глаза, превратившиеся в обыкновенные драгоценные камни, и ее сморщенный носик, который так же мне не нужен, как брошенный цветок. Нет, вот чего меня действительно лишает моя жизнь с Альбертиной, так это незнакомой швейки, прошедшей вон там; если я хочу продолжать верить в ее реальность, — так же, как мне необходимо

совершить долгую поездку по железной дороге, если я хочу верить в реальность Пизы, которая иначе предстанет передо мной зрелищем всемирной выставки, — мне необходимо наталкиваться на сопротивление, приспосабливать к ней свои устремления, сносить обиды, возобновлять попытки, добиваться свидания, ждать ее при выходе из мастерской, узнавать эпизод за эпизодом, как жила эта девчурка, заставить ее разделить со мной удовольствие, о котором я мечтал, проходить расстояние, которое в силу всевозможных ее привычек и особого образа жизни разделяло нас, пользоваться ее благосклонностью, которой я хотел добиться и которую хотел завоевать. Установив сходство желания и путешествия, я дал себе слово "зажать в тиски сущность этой силы, невидимой, но столь же мощной, как вера, или, в мире физическом, как атмосферное давление, возносящее так высоко города, женщин, пока я их не узнал, женщин, которые прячутся друг за друга, когда я к ним приближаюсь, и которые затем падают плашмя в заурядность тривиальной реальности. Поодаль еще одна девчонка, стоя на коленях около своего велосипеда, поправляла его. Поправив что нужно, юная велогонщица вскочила на велосипед, но не села на него, как поступил

бы мужчина. Велосипед закачался, и тут мне почудилось, будто у юного тела появился парус, выросло огромное крыло, а немного погодя мы увидели юное получеловеческое-полукрылатое создание — ангела или пери, — продолжающее прогулку и мчащееся на полной скорости.

Вот чего присутствие Альбертины, вот чего жизнь с Альбертиной меня как раз и лишали. Разве мне не могла прийти в голову мысль: чем она меня отблагодарит? Если Альбертина не жила бы со мной, была бы свободна, я мог бы представить себе — и не без основания — всех этих женщин как возможные, вероятные объекты ее желаний, ее наслаждения. Они представились бы мне в виде танцовщиц, изображающих на бале-маскараде у сатаны Искушения одного человека, мечущие стрелы в другого. Швейки, девушки, комедиантки, как же я вас ненавидел! Они притягивали к себе душевную грязь, и я исторгал их из красоты мира. Рабство Альбертины, позволяя мне не страдать из-за них, вновь приобщало их к красоте мира. Они были беззащитны, они потеряли иголку, которой пронзает сердце ревность, и это давало мне право восхищаться ими, ласкать их взглядом, в иные дни переходить, быть может, к ласкам более интимным. Я заточил Альбер-

тину, но мне наносили равной силы ответный удар все эти разноцветные крылья, шумевшие на прогулках, на балах, в театрах, и они снова становились для меня соблазнительны, потому что Альбертина уже не могла поддаваться их искушению. В них была красота мира. Когда-то в них была заключена красота Альбертины. Она представлялась мне таинственной птицей, потом знаменитой актрисой с пляжа, желанной, быть может, доступной, — вот почему она была для меня такой обольстительной. Однажды я поймал птицу, медленно прогуливавшуюся на набережной с целой свитой девушек, похожих на чаек, налетевших неизвестно откуда, и тут Альбертина утратила в моих глазах все краски вместе со всеми шансами, которые были у других девушек приобрести эти краски. Мало-помалу Альбертина утратила свою красоту. Только во время прогулок, без меня, когда я представлял себе, как с ней заговаривает женщина или молодой человек, она снова виделась мне на фоне чудного прибрежья, хотя моя ревность не знаменовала заката пиршеств моего воображения. Но если не считать внезапных взрывов, когда, пробуждая желание у других, она снова казалась мне красивой, я точно мог разделить ее жизнь у меня на

два периода: первый период — это когда она еще, хотя и не каждый день, была блистательной знаменитостью пляжа; второй — это когда она стала бесцветной, поблекшей пленницей; ей нужны были вспышки молнии, когда я воскрешал прошлое, чтобы вернуть ей краски.

Временами, в те часы, когда я был к ней совершенно равнодушен, мне приходил на память из далекого прошлого один момент на пляже, когда я еще не был с нею знаком: стоя недалеко от дамы, с которой я был в очень плохих отношениях и насчет которой у меня не оставалось сомнений теперь, когда у нее были определенного сорта связи, Альбертина хохотала, нагло глядя мне прямо в лицо. Вокруг шумела синяя морская равнина. Под солнцем пляжа Альбертина была самой красивой среди своих подруг. И эта чудная девушка на привычном фоне бескрайнего моря, восхищавшая даму, которая не спускала с нее глаз, нанесла мне оскорбление. Повториться оно не могло, так как дама, возможно, вернулась в Бальбек, потом, быть может, обратила внимание, что на облитом солнцем, шумном пляже Альбертины нет; но она не знала, что теперь эта девушка живет у меня, только со мной. Бесконечная синяя водная ширь, преданная забвению

особая симпатия, которую эта дама питала к Альбертине и которая со временем перейдет на других, все это, связанное в моей памяти с оскорблением, нанесенным мне Альбертиной, поместило его в ярко раскрашенный, неломкий ларец. А тогда ненависть к этой женщине точила мне сердце; и к Альбертине тоже, но ненависть, сочетавшаяся с восхищением захваленной, с чудными волосами, красавицей, чей смех на пляже звучал как оскорбление. Стыд, ревность, воскрешение начальных желаний и сверкающее обрамление возвращали Альбертине ее красоту, ее прежнюю ценность. Вот так и чередовался с тяжеловесной скукой трепет желания, полный прекрасных образов и сожалений в зависимости от того, находилась Альбертина у меня в комнате или если я в своем воображении выпускал ее на волю и она в веселеньком пляжном костюме гуляла под звуки музыки по набережной: чередовалась Альбертина, порывавшая с этой средой, находившаяся в моей власти и ничем особенно не примечательная, с вновь погружавшейся в эту среду и ускользавшей от меня в прошлом, которого я не знал, оскорбившей меня при даме, при своей подруге; как взлетают по временам брызги, как солнечный удар, Альбертина то

снова появлялась на пляже, то возвращалась ко мне в комнату, внося и туда и сюда свою любовь — любовь-амфибию.

Поодаль целая компания играла в мяч. Всем этим девушкам хотелось погреться на солнце — в феврале, даже если стоят ясные дни, солнце закатывается рано, и вся яркость его света не задерживает его захода. До захода мы побыли еще некоторое время в сумерках, так как, когда мы доехали до Сены, Альбертина начала восхищаться видом и помешала мне своим присутствием любоваться багряными отсветами на зимней синей воде, домом с черепичной крышей вдали, похожим на одиноко растущий мак, и, еще дальше, — Сен-Клу, похожим на обломки вот-вот рассыплющейся ребристой окаменелости; мы вышли из автомобиля и гуляющей походкой двинулись вперед. Немного погодя я подал ей руку, и мне казалось, что ее кольцо под моим соединяет нас обоих в единое существо и связывает наши судьбы.

У наших ног из наших параллельных, все сближавшихся и смыкавшихся теней складывался прелестный рисунок. Конечно, он казался мне совсем уже чудесным дома, где Альбертина жила со мной: ведь это она лежала на моей кровати.

А это был как бы выход во внешний мир, в природу, где у озера в Булонском лесу, которое я так любил, вычерчивалась ее, а не чья-нибудь тень, непорочная, схематичная тень ее груди, ноги, которую солнце рядом с моей разрисовывало сепией на песке аллеи. И я находил особую прелесть, не материальную, конечно, но от этого не менее интимную, чем в сближении наших тел, в слиянии наших теней. Потом мы снова сели в автомобиль. Возвращались мы извилистыми аллейками, где зимние деревья, точно развалины, облаченные в плющ, окруженные кустарником, казалось, вели нас в жилище волшебника. Высвободившись из-под их мрачного покрова, мы при выезде из Булонского леса застали ясный день, такой еще светлый, что я уж было подумал, не успею ли я сделать все, что нужно, до обеда, как вдруг, всего лишь несколько мгновений спустя, в тот момент, когда наш автомобиль приближался к Триумфальной арке, я вздрогнул от неожиданности и от страха: я увидел над Парижем полную, преждевременно взошедшую луну, похожую на циферблат остановившихся часов, показывающий, что мы запаздываем. Мы велели шоферу везти нас обратно. Для нее это тоже означало возвращаться ко мне. Как бы мы

ни любили живущую в нашем доме женщину, но если она от нас уходит, а потом возвращается, то такая жизнь не вносит в нашу жизнь покоя, каким я наслаждался, когда Альбертина сидела рядом со мной в автомобиле, когда присутствие женщины напоминает нам не о пустоте часов разлуки, но о постоянном общении у меня дома, а следовательно, и у нее дома — об этом материальном символе того, что я обладаю ею. Правда, чтобы обладать, нужно желать. Мы не обладаем линией, поверхностью, объемом, если они находятся во владениях нашей любви. Но Альбертина не была для меня во время нашей прогулки, как когда-то Рахиль, пылью, приставшей к телу и к платью. Воображение моих глаз, губ, рук было в Бальбеке столь прочным и оно так бережно ласкало ее тело, что теперь, в автомобиле, чтобы дотронуться до ее тела, чтобы его обнять, мне не нужно было прижимать Альбертину к себе, даже не нужно было на нее смотреть, — достаточно было слушать ее, а если она молчала, то знать, что она здесь, рядом; мои сплетшиеся чувства окутывали ее всю. Около дома она, совершенно естественно, вышла из автомобиля, я же задержался сказать шоферу, чтобы он за мной заехал, но мой взгляд все еще окутывал ее, когда она про-

ходила под аркой, и это был все тот же ленивый, домашний покой, каким я наслаждался, видя, как она, грузная, раскрасневшаяся, располневшая, покоренная, вполне естественно возвращается со мной, как женщина, принадлежащая мне, и, укрытая стенами, исчезает в глубине нашего дома. К сожалению, мне казалось, что она не дома, а в тюрьме и что она разделяет мнение г-жи де Ларошфуко[176], которая, когда у нее спросили, хорошо ли ей в таком красивом доме, как Лианкур, ответила, что «красивых тюрем не бывает», если судить по грустному и усталому виду, какой был у Альбертины в ее комнате, где мы обедали вдвоем. Сперва я не обратил на это внимания; я приходил в отчаяние при мысли, что, если б Альбертины со мной не было (но ведь в отеле, где она целыми днями общалась бы со столькими

[176] Примечания: 176

Стр. 176. Г-жа де Ларошфуко. — Предполагается, что речь идет о жене французского политического деятеля и писателя-моралиста Франсуа де Ларошфуко (1613-1680); Пруст приписывает ей слова, в действительности сказанные графиней Анной-Елизаветой де Ларошгийон, урожденной де Ланнуа (ум. в 1654 г.). Она славилась легкомысленным образом жизни, имела много любовников, что вынудило ее родителей заточить ее в их замке Лианкур, недалеко от Парижа. Об этом рассказано в «Занимательных историях» Таллемана де Рео (1619-1692), которые Пруст хорошо знал. Ошибка Пруста объясняется, видимо, тем, что большой известностью пользовался герцог Ларошфуко-Лианкур (1747-1837), придворный Людовика XVI; ему приписывается ряд знаменитых высказываний.

людьми, я бы так страдал от ревности!), я бы мог сейчас обедать в Венеции в одной из маленьких столовых с низким сводчатым потолком, как в трюме, откуда, из дугообразных окошек с мавританским орнаментом, виден Канале Гранде.

Следует заметить, что Альбертина очень любила массивную барбедьенскую бронзу[177], которую Блок с полным основанием находил удивительно некрасивой. Вероятно, его удивляло, что я с ней не расстаюсь. Я никогда не гонялся, как он, за художественной меблировкой, за тем, чтобы у меня все было подобрано и расставлено в строгом порядке, — для этого я был слишком ленив, слишком равнодушен к тому, что у меня вечно перед глазами. Поскольку вкуса у меня к этому не было, я имел право не заботиться об интерьерах. Я мог бы расстаться с бронзой. Но некрасивые и дорогие вещи очень полезны, так как — создают нам у женщин, которые нас не понимают, у которых другие вкусы, но в которых мы можем влюбиться, престиж, которого не могла бы нам создать красивая вещь, не выставляющая напоказ своей красоты. Следовательно, только в глазах у тех, кто нас не понимает, нам

[177] Примечания: 177

Барбедьенская бронза. — Называется так по имени популярного французского литейщика Фердинанда Барбедьена (1810-1892).

выгодно поддерживать престиж, который наша интеллигентность утвердила в глазах людей более образованных, чем мы. У Альбертины хотя и начал развиваться вкус, а все-таки у нее еще оставалась известная доля почтения к бронзе, и это почтение она переносила на меня, а поскольку оно исходило от нее, то оно было мне дорого (во много раз дороже, чем отчасти компрометировавшая меня бронза) — ведь я же любил Альбертину.

Мысль о моем рабстве мгновенно переставала меня тяготить, и я начинал мечтать о том, чтобы оно длилось, так как мне казалось, что Альбертина не в силах терпеть свое рабство. Разумеется, всякий раз, как я обращался к ней с вопросом, не плохо ли ей у меня, она отвечала, что не знает, где бы она была счастливей. Но часто ее словам не соответствовал тоскующий, беспокойный взгляд.

Конечно, если у нее, как я предполагал, были определенные вкусы, то невозможность их удовлетворить должна была раздражать ее в такой же степени, в какой она успокоительно действовала на меня, успокоительно, пока гипотеза, которую я неправомерно построил насчет нее, казалась мне наиболее правдоподобной, так что благодаря этой гипотезе мне не составляло

большого труда объяснить, почему Альбертина осуждена всегда быть одной, не задерживаться ни на секунду у входной двери, когда возвращается, всякий раз ходить к телефону с кем-нибудь, кто может повторить мне ее слова, с Франсуазой, с Андре, оставлять меня одного, не показывая вида, что это делается нарочно, или с Андре, если они раньше выходили вдвоем, — чтобы я мог заставить Андре сделать подробный доклад об их выходе. С этой умилительной покорностью составляли контраст быстро подавляемые признаки нетерпения, наводившие меня на мысль: уж не задумала ли Альбертина сбросить свои оковы? Дополнительные факты подтверждали мою догадку. Так, однажды, когда ее не было дома, я встретил недалеко от Пасси Жизель[178], и мы с ней разговорились. Немного погодя, довольный тем, что могу об этом сообщить, я сказал, что часто вижусь с Альбертиной. Жизель спросила: где можно ее найти, — ей, Жизель, как раз нужно кое-что сказать Альбертине. «А именно?» — «Это касается ее приятелей». — «Каких приятелей? Быть может, я могу быть вам чем-нибудь полез-

[178] Примечания: 178

Стр. 178. Жизель — персонаж книг Пруста, одна из подружек Альбертины по Бальбеку; впервые появляется на страницах романа «Под сенью девушек в цвету».

ным, но это не помешает вам свидеться». — «Это все старинные приятели, я даже не помню, как их зовут», — ответила мне Жизель неопределенно, не желая на этом останавливаться. Она пошла дальше, уверенная, что говорила осторожно и не заронила во мне никаких сомнений. Но ложь так нетребовательна, так мало нужно, чтобы выявить ее! Если речь шла о таких старинных приятелях, что она забыла, как их зовут, то почему же ей «как раз» теперь нужно поговорить о них с Альбертиной? Это словосочетание, довольно близкое к излюбленному выражению г-жи Котар: «Как раз кстати», может быть применимо к чему-то особенному, своевременному, пожалуй, даже срочному, может относиться к определенным лицам. В сущности, достаточно было манеры Жизель открыть рот, как будто она зевает, и неопределенного выражения лица, с каким она сказала (слегка подавшись назад, точно хотела сейчас же после нашего разговора дать задний ход машине): «Да я их не знаю, не помню даже, как их зовут», в сочетании с голосом, чтобы понять, что это лгунья, у которой было совсем другое выражение лица до «как раз», выражение «себе на уме», оживленное, и это и был подлинный ее облик. Я не расспрашивал

Жизель. К чему? Разумеется, лгала она иначе, чем Альбертина. И, разумеется, ложь Альбертины была для меня мучительней. Но между ними было и нечто общее: самый факт лжи, который в иных случаях есть очевидность. Реальность за ложью не скрывается. Известно, что убийца, например, воображает, что он все предусмотрел и что его не возьмут; в результате почти всех убийц арестовывают. Напротив, лгунов уличают редко, и среди лгунов больше всего любимых женщин. Где она ходила, что она делала — это остается неизвестным. Но в тот момент, когда она говорит, говорит о вещах посторонних, не касаясь главного, ложь мгновенно обнаруживается, а ревность усиливается, потому что ложь чувствуется, а до истины не докапываются. У Альбертины ложь проступала во многих частностях, и это мы наблюдали в течение всего нашего повествования, но главным образом в том, что, когда она лгала, ее рассказ страдал неполнотой, изобиловал опущениями, неправдоподобием или же, наоборот, был полон мелких фактов, которые долженствовали придать рассказу правдоподобие. Правдоподобие, вопреки тому, что думает о нем лгун, ничего общего не имеет с правдой. Как только, слушая что-нибудь правдивое, мы слы-

шим лишь правдоподобное, являющееся чем-то больше чем правдивым, быть может, даже слишком правдивым, сколько-нибудь музыкальное ухо чувствует, что это что-то не то, вроде нескладного стиха или же слова, прочитанного вслух кем-то другим. Ухо это чувствует, и если сердце любит, то оно настораживается. Почему бы, когда меняется вся жизнь, оттого что мы не знаем, прошла ли женщина по улице де Берри или по улице Вашингтона, — почему бы не задуматься над тем, что несколько метров расстояния превратятся в сто миллионов (то есть достигнут величины, которую мы не можем себе представить), если только у нас не хватит ума несколько лет не видеться с этой женщиной, и тогда Гулливер из великана превратится в лилипутку, которую ни в какой микроскоп — во всяком случае, в микроскоп сердца, ибо микроскоп памяти слишком грузен и не настолько гибок, — не увидишь? Как бы то ни было, если существовала точка соприкосновения — а именно ложь — между Альбертиной и Жизелью, то Жизель все-таки не лгала так же, как Альбертина, и тем более не так, как Андре, но их ложь до того ловко вдвигалась одна в другую, вместе с тем будучи на удивление разной, что у маленькой компании вырастали

дома с непроницаемо толстыми стенами, например торговый дом, книжный магазин или издательство, куда злосчастному автору ходу нет, несмотря на множество посредников, и не дознаться ему, обманут он или нет. Редактор газеты или журнала лжет с самым невинным видом, тем более торжественным, что ему во многих случаях нужно скрывать, что он поступает точно так же и прибегает к тем же торгашеским уловкам, какие он клеймил у других редакторов газет и директоров театров, у других издателей, воздвигая против них знамя Честности. Если он (как главарь политической партии или кто угодно) заявит, что лгать подло, то это очень часто заставляет его лгать больше других, не снимая торжественной маски, не снимая тиары Честности. Помощник «честного человека» лжет по-другому, более простодушно. Он обманывает автора, как обманывает жену, — с водевильными трюками. Секретарь редакции, человек порядочный и тучный, лжет без всяких ухищрений, как архитектор, который обещает вам, что ваш дом будет готов к такому-то времени; когда же это время подойдет, то окажется, что постройка еще и не начиналась. Главный редактор, ангельская душа, летающая среди трех других, не зная, в чем

дело, оказывает им из чувства глубочайшей братской солидарности драгоценную помощь в виде не вызывающего кривотолков слова. Между этими четырьмя лицами идет нескончаемая склока, и только приход автора на время ее прекращает. Забыв о внутренних распрях, каждый вспоминает о своем воинском долге — прийти на помощь «части», которой угрожает противник. Я долго, не отдавая себе в этом отчета, играл роль автора в этой «стайке». Если Жизель, когда говорила «как раз», думала о подруге Альбертины, желавшей поехать с ней на прогулку, или о том, что моя подружка под тем или иным предлогом должна уйти из дома, о том, что надо предупредить Альбертину, что, мол, уже пора, что времени осталось немного, то Жизель можно было резать на куски — все равно она ничего бы мне не сказала; следовательно, расспрашивать ее было бесполезно.

Не одна такая встреча, как встреча с Жизелью, усиливала мои подозрения. Например, я любил рисунки Альбертины. Это развлечение пленницы трогало меня до такой степени, что я ее поздравлял. «Нет, это очень плохо, но ведь я не взяла ни одного урока рисования». — «Как-то вечером, в Бальбеке, вы мне сказали, что брали урок рисования». Я напомнил ей день и сказал,

что тогда же смекнул, что в такой час уроков рисования не берут. Альбертина покраснела. «Это правда, — сказала она, — я не брала уроков рисования, вначале я вам много лгала, признаюсь. Но теперь я уже не лгу». Мне так хотелось допытаться, каковы были многочисленные случаи, когда она мне лгала вначале! Но я был уверен, что ее признания — это будет только новая ложь. Поэтому я удовольствовался тем, что поцеловал ее. Я только попросил ее сознаться в одной какой-нибудь лжи. Она ответила: «Ну хорошо, вот вам: например, что морской воздух мне вреден». Я прекратил расспросы. Чтобы цепь показалась ей легче, я решил, что тактичнее всего — уверить Альбертину, что порву ее сам. Но я не мог открыть ей этот лживый замысел сейчас — слишком она была мила, вернувшись из Трокадеро; единственно, на что я в состоянии был решиться, не огорчая ее угрозой разрыва, это не говорить ей о мечтах постоянной жизни, переполнявших мое благодарное сердце. Глядя на нее, я с трудом удерживался от того, чтобы излить ей душу, и, быть может, она это заметила. К несчастью, эти мечты не заразительны. Случай со старой манерной дамой, бароном де Шарлю, который, чтобы видеть в своем воображении только надменного молодого

человека, думает, что он сам стал надменным молодым человеком, и от этого становится еще более манерным и более смешным, — случай частый, и в этом беда влюбленного — не отдавать себе отчета, что, когда он видит перед собой красивое лицо своей возлюбленной, возлюбленная видит, что его лицо не покрасивело — напротив, оно искажено наслаждением, которое ему доставляет созерцание красоты. И этим случаем не исчерпываются любовные отношения; мы не видим своего тела, которое другие видят, наша мысль следит за объектом, который другие не видят и который тем не менее находится перед нами. Писатель иногда показывает его нам. И поклонники женщины разочаровываются в писателе, который не отразил в полной мере ее внутренней красоты.

Всякое любимое существо, а в известной мере всякое существо, является для нас Янусом, показывающим лоб, который нам нравится, если это существо от нас уходит, или лоб нахмуренный, если мы уверены, что он в нашем полном распоряжении. В длительном общении с Альбертиной было нечто по-другому тягостное, о чем я не могу здесь рассказать. Это ужасно, когда жизнь другого человека привязана к твоей, как бомба, от

которой нельзя отделаться, не совершив преступления. Но пусть примут во внимание верх и низ, опасности, тревогу, боязнь убедиться впоследствии в истинности ложного и правдоподобного, которое потом ничем уже не объяснишь, чувства, которые испытывает только тот, в глубине души которого живет безумец. Например, мне было жаль де Шарлю, что он живет с Морелем (при воспоминании о дневной сцене я почувствовал, что левая сторона груди у меня толще); не касаясь вопроса, жили они или нет вместе, я должен подчеркнуть, что вначале де Шарлю мог и не знать, что Морель — сумасшедший. Красота Мореля, его пошлость, его надменность должны были бы обратить взор барона очень далеко, к дням тоски, когда Морель, не приводя доказательств, обвинял де Шарлю в том, что ему грустно, ругал его за недоверие, с помощью ложных, но в высшей степени тонких доказательств угрожал решиться на отчаянный шаг, но когда над всем главенствовала забота о насущных потребностях. Это всего только сопоставление. Альбертина безумною не

была.[179]

Я узнал, что тот день был днем смерти, очень меня огорчившей, — днем смерти Бергота. Болел он долго. Очевидно, не той болезнью, какая была у него раньше, болезнь врожденная. Природа способна насылать на человека более или менее короткие болезни. Но медицина изобрела искусство их продлевать. Лекарства, ремиссия, которой они добиваются, недомоганье, которое в силу их вмешательства возобновляется, — все это создает ложную болезнь, которую привычка пациента в конце концов стабилизирует, стилизует: так, например, у детей долго не проходят приступы кашля, когда коклюш у них давно прошел. Затем лекарства оказывают более слабое действие, их дозу усиливают, тогда они совсем перестают помогать — напротив, из-за продолжи-

---

[179] Примечания: 179

Стр. 182. Альбертина безумною не была. — Далее в рукописи следует текст, не попавший в машинопись: «От моей мечты о Венеции осталось только то, что как-то было связано с Альбертиной, что, в свою очередь, могло хоть немного скрасить ее пребывание в моем доме; я заговорил с ней о платье Фортюни, которое сегодня следовало пойти заказывать. Мне бы хотелось сделать ей сюрприз и подарить, если бы удалось их разыскать, старинные французские изделия из серебра. Одно время мы собирались купить яхту, что Альбертине казалось маловероятным — как и мне казалось, каждый раз, как она начинала представляться мне добродетельной, а жизнь с нею — столь же расточительной, сколь и брак с нею невозможным, — и тем не менее мы обращались за советом к Эльстиру, хотя Альбертина и не верила, что яхту я куплю».

тельности болезни они в конце концов начинают причинять вред. Природа не рассчитывает на их длительное вмешательство. Великое чудо медицины состоит в том, что она, почти наравне с природой, может заставить больного лежать в постели, продолжать под страхом смерти принимать лекарство. Болезнь, искусственно привитая, пускает корни, превращается в болезнь второстепенную, но уже невыдуманную; разница между этими болезнями та, что болезни настоящие излечиваются, болезни же, созданные медициной — никогда, так как секрет излечения ей неведом.

Бергот уже несколько лет не выходил из дому. Да он и всегда-то не любил общества, вернее, любил только один день, чтобы презирать и его, и все остальное, презирать по-своему; презирать не потому, что он его лишен, а как только он его приобрел. Жил он до того просто, что никто не догадывался, какие у него огромные средства, и если бы это узналось, то все решили бы, что он их обманывает, что он скупец, тогда как трудно было найти человека щедрее его. Особенно был он щедр с женщинами, вернее сказать — с девочками, которым стыдно бывало так много получать за этакие малости. Он оправдывал себя в своих собственных глазах тем, что ему нико-

гда так хорошо не работается, как в атмосфере влюбленности. Влюбленность — это слишком сильно сказано; писателю помогает творить наслаждение, слегка углубившееся в его плоть, потому что оно уничтожает другие удовольствия — например, удовольствие побыть в обществе, — удовольствия, которые любят все. И даже если влюбленность повлечет за собой разочарование, то она таким образом воздействует на поверхностный слой души, что без влюбленности в душе мог бы образоваться застой. Следовательно, желание небесполезно для писателя: оно сперва отдаляет его от других людей, а потом заставляет жить с ними в ладу, чтобы привести в движение духовную машину, у которой в известном возрасте появляется тенденция останавливаться. Ты не становишься счастливым, но ты наблюдаешь за тем, что мешает быть счастливым и что набрасывает покров на внезапные приливы разочарования. Мечты неосуществимы — мы это знаем; без желания мы бы их, пожалуй, не создали, а мечтать все-таки нужно — нужно для того, чтобы видеть, почему мечты не сбываются; их неосуществимость поучительна. Бергот говорил: «Я трачусь на девочек больше, чем мультимиллионеры, но связанные с ними удовольствия и

разочарования дают мне возможность написать книгу, за которую я получу деньги». С экономической точки зрения это рассуждение абсурдно, но, конечно, ему нравилось превращать золото в ласки и ласки в золото. Мы видели, в момент смерти моей бабушки, что усталая старость любит покой. В мире есть только разговор. Он может быть глуп, но он обладает властью уничтожать женщин, и они становятся лишь вопросами и ответами. Вне общества женщины вновь становятся тем, что так успокоительно действует на усталого старика, — объектом созерцания. Теперь обо всем этом говорить бесполезно. Я упомянул, что Бергот не выходил из дома, а когда на час вставал с постели, то был весь укрыт шалями, пледами, тем, что надевают на себя в сильные холода или собираясь на поезд. Он извинялся перед редкими друзьями, что впустил их к себе, и, показывая свои шотландки и накидки, с веселым видом говорил: «Ничего не поделаешь, мой дорогой, Анаксагор[180] сказал: «Жизнь — это путешествие». Так он и двигался, постепенно остывая, — маленькая планета, образ, показывающий, во что превратится большая, когда

[180] Примечания: 180

Стр. 183. Анаксагор (ок. 500-428 до н. э.) — древнегреческий философ; он считал жизнь вечным круговращением.

мало-помалу Земля остынет, а вместе с теплом на ней прекратится и жизнь. Тогда возрождение закончится, так как если раньше сменяющиеся поколения гордились творчеством людей, то и теперь надо, чтобы были люди. Когда не станет людей, некоторые породы животных все-таки будут, наверное, еще долго сопротивляться холоду, окутывающему Землю, а вот слава Бергота, если только она доживет до тех пор, вдруг погаснет навеки. Последние животные его не прочтут, так как маловероятно, чтобы, подобно апостолам в Троицын день, они сумели понять языки разных народов,[181] ибо они их не учили.

Несколько месяцев перед смертью Бергот страдал бессонницей, и, что еще хуже, стоило ему заснуть, кошмары, если он просыпался, отбивали у него охоту попытаться заснуть опять. Он долго любил сны, даже дурные, так как благодаря им, благодаря их несходству с реальностью, которую мы видим при просыпании, у нас возникает, значительно позднее пробуждения, ясное ощущение того, что мы все это время спали.

---

[181] Примечания: 181

Стр. 184. ...маловероятно, чтобы, подобно апостолам в Троицын день, они сумели понять языки разных народов... — Имеется в виду известный новозаветный эпизод: в день Троицы (Пятидесятницы) ученики Христа, исполнившись Духа Святого, начали говорить на языках всех живших вокруг них племен и народов (Деяния Апостолов, II, 1-12).

Но кошмары Бергота были иные. Прежде ему слышалось что-то неприятное, проходившее через его мозг. Теперь это был кто-то другой: он подходил к нему с мокрой тряпкой в руке, а какая-то злая женщина проводила тряпкой по лицу Бергота, пытаясь его разбудить; нестерпимая щекотка под мышками; ярость — перед тем как заснуть, он прошептал, что его плохо везут, — кучера, в бешенстве накидывавшегося на писателя, кусавшего ему пальцы, перепиливавшего их. Наконец, когда Бергот засыпал сном непробудным, природа устраивала что-то вроде репетиции апоплексического удара — репетиции без костюмов; Бергот садился в экипаж у подъезда нового дома Свана, потом ему хотелось сойти. Страшное головокружение приковывало его к сиденью, консьерж пытался помочь ему выйти, он продолжал сидеть, он не мог приподняться, вытянуть ноги. Он пытался ухватиться за каменный столб, стоявший перед ним, но не находил достаточно мощной поддержки, чтобы встать. Он решил обратиться к врачам; позванные к нему, они нашли причину заболевания в его добросовестности — добросовестности великого труженика (он ничего не делал уже двадцать лет), в переутомлении. Они посоветовали ему не

читать страшных сказок (он совсем ничего не читал), больше бывать на солнце, «необходимом для здоровья» (последние несколько лет, после того как Бергот заперся у себя, он чувствовал себя лучше), больше есть (а он сам худел, зато выкармливал свои кошмары). Когда один из врачей, наделенный духом противоречия и склонностью поддразнивать других, бывал с Берготом наедине, Бергот, чтобы не обидеть его, выдавал за его мысли советы других; врач-спорщик, думая, что Бергот хочет, чтобы тот прописал что-нибудь по его вкусу, сейчас же запрещал ему это лекарство, иной раз мгновенно придумывал доводы и, перед лицом объективных данных Бергота, в силу необходимости противоречил себе в одной фразе, но, выставляя новые доводы, настаивал на запрещении лекарства. Бергот вернулся к одному из первых врачей — с потугами на остроумие. Если Бергот осторожно начинал: «По-моему, хотя доктор Икс мне говорил — разумеется, давно, — что это может вызвать воспаление почек и мозга…» — то врач лукаво усмехался, поднимал палец и возвещал: «Я говорил: употреблять, но я не говорил: злоупотреблять. Понятно, всякое лекарство, если его принимать в неумеренных дозах, превращается в палку о двух концах». В

нашем теле есть целительный инстинкт — это то же, что для души нравственный долг, и никакой доктор медицины и доктор богословия не властны его упразднить. Мы знаем, что холодные ванны нам вредны, а мы их любим; мы вызываем врача для того, чтобы он их нам прописал, а не для того, чтобы он устранил их вредное действие. От каждого из этих врачей Бергот брал то, что он благоразумно воспрещал себе несколько лет. По прошествии нескольких недель прежние симптомы повторились, недавние обострились. Измученный непрекращавшимися болями, к которым прибавилась бессонница, прерываемая мимолетными кошмарами, Бергот перестал звать врачей и не остерегся, а увлекся разными наркотиками, доверчиво читал прилагавшиеся к каждому из них проспекты, доказывавшие необходимость сна, внушая, однако, что все снотворные (кроме того, которое в этом пузырьке и которое никогда не вызывает отравления) ядовиты, что они не лечат, а умерщвляют. Бергот перепробовал все. Иные происходят не из того семейства, к какому мы привыкли: допустим, это производное амила и этила. Новое вещество, совершенно иного состава, принимается не иначе как с упоительным ожиданием чего-то

неизвестного. Сердце бьется как во время первого свидания. К какому неведомому роду сна и грез приведет нас незнакомец? Теперь он в нас, он движется по направлению нашей мысли. Как-то мы заснем? А когда мы заснем, то по каким неведомым путям, по каким вершинам, по каким бездонным пропастям поведет нас всемогущий вожатый? Какие новые ощущения познаем мы во время путешествия? Приведет ли он нас к недомоганью? Или к блаженству? Для Бергота блаженство настало на другой день после того, как он доверился одному из своих всемогущих приятелей (приятелей? неприятелей?). Скончался же он при следующих обстоятельствах. Довольно легкий приступ уремии послужил причиной того, что ему предписали покой. Но кто-то из критиков написал, что в «Виде Дельфта» Вермеера[182] (предоставленном гаагским музеем голландской выставке), в картине, кото-

[182] Примечания: 182

Стр. 188. «Вид Дельфта» — картина великого голландского художника Яна Вермеера Дельфтского (1632-1675), выполненная в конце 50-х годов (находится в музее Маурицхёйс в Гааге). Пруст неоднократно упоминает этого художника в своих книгах, Сван собирался написать о нем работу, Пруст писал об этом полотне Вермеера, которое он видел в музее Гааги 18 октября 1902 г., своему другу художественному критику Ж. —Л. Водуае: «С тех пор, как я увидел в Гааге „Вид Дельфта“, я понял, что я видел самую прекрасную картину в мире» (письмо от 2 мая 1921 г.). Эта картина была представлена на выставке голландской живописи из собрании Голландии в парижском музее Жё де Пом в мае 1921 г.

рую Бергот обожал и, как ему казалось, отлично знал, небольшая часть желтой стены (которую он не помнил) так хорошо написана, что если смотреть только на нее одну, как на драгоценное произведение китайского искусства, то другой красоты уже не захочешь, и Бергот, поев картошки, вышел из дома и отправился на выставку. На первых же ступенях лестницы, по которой ему надо было подняться, у него началось головокружение.[183] Он прошел мимо нескольких картин, и у него создалось впечатление скудости и ненужности такого надуманного искусства, не стоящего сквозняка и солнечного света в каком-нибудь венецианском палаццо или самого простого домика на берегу моря. Наконец он подошел к Вермееру; он помнил его более ярким, не похожим на все, что он знал, но сейчас, благодаря критической статье, он впервые заметил человечков в голубом, розовый песок и, наконец, чудесную фактуру всей небольшой части желтой стены. Головокружение у Бергота усилилось; он впился взглядом, как ребенок в желтую бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную стенку. «Вот как мне надо было писать, — сказал

[183] Примечания: 183

…у него началось головокружение. — Здесь Пруст описывает свое собственное посещение голландской выставки 24 мая 1921 г.

он. — Мои последние книги слишком сухи, на них нужно наложить несколько слоев краски, как на этой желтой стенке». Однако он понял всю серьезность головокружений. На одной чаше небесных весов ему представилась его жизнь, а на другой — стенка, очаровательно написанная желтой краской. Он понял, что безрассудно променял первую на вторую. «Мне бы все-таки не хотелось, — сказал он себе, — чтобы обо мне кричали вечерние газеты как о событии в связи с этой выставкой».

Он повторял про себя: «Желтая стенка с навесом, небольшая часть желтой стены». Наконец он рухнул на круглый диван; тут вдруг он перестал думать о том, что его жизнь в опасности, и, снова придя в веселое настроение, решил: «Это просто расстройство желудка из-за недоваренной картошки, только и всего». Последовал новый удар, он сполз с дивана на пол, сбежались посетители и служащие. Он был мертв. Мертв весь? Кто мог бы ответить на этот вопрос? Опыты спиритов, так же как и религиозные догмы, не могут доказать, что душа после смерти остается жива. Единственно, что тут можно сказать, это что все протекает в нашей жизни, как будто мы в нее вошли с грузом обязательств, принятых нами на себя в предыду-

щей жизни; в условиях нашего существования на земле нам нет никакого смысла считать себя обязанными делать добро, быть деликатными, даже вежливыми, нет никакого смысла неверующему художнику считать себя обязанным двадцать раз переделывать часть картины, восхищение которой будет довольно-таки безразлично его телу, съеденному червями, так же как часть желтой стены, которую он писал во всеоружии техники и с точностью неведомого художника, известного под именем Вермеера. Скорее можно предположить, что все эти обязательства, которые не были санкционированы в жизни настоящей, действительны в другом мире, основанном на доброте, на совести, на самопожертвовании, в мире, совершенно не похожем на этот, мире, который мы покидаем, чтобы родиться на земле, а затем, быть может, вернуться и снова начать жить под властью неизвестных законов, которым мы подчиняемся, потому что на нас начертал их знак неизвестно кто, законов, сближающих нас своей глубокой интеллектуальностью и невидимых только — все еще! — дуракам. Таким образом, мысль о том, что Бергот умер не весь, заключает в себе известную долю вероятности.

Его похоронят, но всю ночь после погребения,

ночь с освещенными витринами, его книги, разложенные по три в ряд, будут бодрствовать, как ангелы с распростертыми крыльями, и служить для того, кого уже нет в живых, символом воскресения.

Я уже говорил, что узнал о кончине Бергота. И дивился неточности газет, которые помещали одну и ту же заметку о том, что он умер вчера. А вчера Альбертина его встретила и в тот же вечер рассказала мне об этой встрече, и она даже из-за этого ненадолго задержалась, так как он довольно долго беседовал с ней. Вне всякого сомнения, это была его последняя встреча. Она слышала о нем от меня, но я долго с ним не виделся, а ей хотелось с ним познакомиться, и через год я написал старому мэтру письмо с просьбой привести его к ней. Он исполнил мою просьбу, хотя, мне думается, ему было обидно, что я изъявил желание с ним повидаться только для того, чтобы доставить удовольствие девушке, в чем выразилось мое равнодушие к нему. Такие случаи часты: иной раз тот или та, которых умоляют не ради удовольствия поговорить с ними, а ради третьего лица, отказывает так решительно, что наша просительница начинает думать: уж не преувеличиваем ли мы свое влияние? Чаще

всего гений или необыкновенная красавица дают согласие, но, оскорбленные в своем величии, уязвленные в своем расположении к нам, они теперь от нас отдаляются, в их отношении к нам появляется горестный, несколько презрительный оттенок. Ложно обвинив газеты в неточности, я не скоро понял свою ошибку, так как в тот день Альбертина и не думала встречаться с Берготом, но у меня ни на одну секунду не возникло сомнения — так естественно она мне об этом рассказывала, я лишь значительно позднее изучил ее прелестное искусство лгать с самым невинным видом. То, о чем она рассказывала, то, в чем она сознавалась, было так похоже на правду — на то, что мы видим, на то, что для нас уже неопровержимо, — что ей удавалось в разные периоды своей жизни рассыпать всевозможные случаи, о выдуманности которых я тогда еще не догадывался и понятие о которых я получил позднее. Я добавил «то, в чем она сознавалась» вот почему. Иной раз нарочитые сопоставления зарождали во мне ревнивые подозрения: рядом с ней в прошлом или — увы! — в будущем вырастала женщина. Для полной уверенности я называл имя, и Альбертина мне говорила: «Да, я ее встретила, с неделю тому назад, в нескольких

шагах от дома. Из вежливости я ответила на поклон. Прошлась с ней. Но между нами никогда ничего не было. И не может быть». Альбертина не встретила эту особу по той простой причине, что та десять месяцев назад выехала из Парижа. Но моя подружка считала, что если отрицать начисто, то выйдет не так правдоподобно. Вот откуда эта короткая несостоявшаяся встреча, о которой рассказывалось так просто, что я видел, как дама остановилась, как Альбертина с ней поздоровалась, прошлась. Свидетельство моих чувств, если б я был в тот момент не дома, быть может, доказало бы мне, что дама не прошлась с Альбертиной. Но если б я узнал совсем другое, то — посредством цепи рассуждений (когда те, кому мы доверяем, вставляют в свою речь прочные звенья), а не на основании свидетельства чувств. Для получения свидетельства чувств непременно нужно, чтобы я куда-то ушел, а между тем я был дома. Можно, однако, представить себе, что такая гипотеза не неправдоподобна: я мог выйти из дома и пойти по улице в тот вечерний час, который Альбертина мне указала (причем она меня не видела), в тот час, когда она прошлась с дамой, но вот тут-то и выяснилось бы, что Альбертина солгала. Каких еще нужно доказательств? Непроглядная тьма

окутывает мое сознание, мне уже кажется, что я видел Альбертину не одну, я силюсь понять, в силу какого обмана зрения я не заметил даму, и меня бы не удивило, если б я убедился, что меня обманули, так как течение светил не так трудно разгадать, как поступки людей, в особенности — тех, кого мы любим, потому что они защищены от наших подозрений баснями, которые служат им укреплениями. Сколько лет могут они держать нашу безразличную любовь в уверенности, что у любимой женщины за границей живет сестра, брат, золовка, а ведь их и на свете-то никогда не было!

Свидетельство чувств — это тоже мыслительная работа, в результате которой убежденность рождает очевидности. Мы часто замечали, что Франсуазе слышалось не произнесенное кем-либо слово, а то, которое казалось ей правильным, которого было достаточно, чтобы до нее не дошел его незаметно исправленный вариант в лучшем произношении. Наш метрдотель был устроен так же. Де Шарлю носил в это время — он часто менял туалеты — очень светлые панталоны, которые можно было отличить от тысячи. Так вот, наш метрдотель, полагавший, что нет слова «писсу-

ар» (де Рамбюто[184] очень рассердился, когда герцог Германтский так назвал один из домиков Рамбюто), а есть слово «писсар», ни разу ни от кого не слышал слова «писсуар», хотя при нем его употребляли очень часто. Но ошибка упрямее убежденности, и она не проверяет того, в чем она убеждена. Метрдотель постоянно говорил: «Наверно, барон де Шарлю болен — ведь он так долго пробыл в писсуаре. Вот что значит старый волокита! Недаром он носит такие панталоны. Утром барыня послала меня в Нейи[185]. Я видел, как на Бургундской улице в писсар вошел барон де Шарлю. А когда я возвращался из Нейи — пробыл я там больше часа, — я увидел те же желтые панталоны в том же писсаре, на том же самом месте, посредине, там, где он становится всегда, чтобы его не было видно». Для меня племянница герцогини Германтской — олицетворение красоты, благородства и юности. Вдруг, слышу, швейцар в ресторане, где я иногда бывал, говорит кому-то на ходу: «Посмотри на эту старую хрычовку, ну

[184] Примечания: 184

Стр. 189. Рамбюто Клод-Филибер (1781-1869) — французский государственный деятель, префект департамента Сены; он был инициатором установки в столице общественных писсуаров.

[185] Примечания: 185

Нейи — пригород Парижа. Там жил знакомый Пруста Робер де Монтескью (1855-1921), денди и поэт, один из прототипов барона Шарлю.

и красотка! Ей, по малой мере, восемьдесят». Насчет возраста я подумал, что он сам этому не верит. Но столпившиеся вокруг него посыльные, хихикавшие всякий раз, когда она проходила мимо отеля, чтобы навестить живших неподалеку своих прелестных бабушек, г-ж де Фезенсак[186] и де Бальруа[187], видели на лице этой юной красавицы восемьдесят лет, которые, в шутку или серьезно, дал консьерж «старой хрычовке». Они ржали, когда им говорили, что она изящнее одной из кассирш отеля, изъеденной экземой, безобразной туши и тем не менее казавшейся им красавицей. Пожалуй, только половое влечение могло бы убедить их, что они ошибаются, если б оно взыграло при проходе мнимой старой хрычовки и если б посыльных вдруг потянуло к юной богине. Но по неизвестным причинам, по-видимому социального порядка, влечение так и не

---

[186] Примечания: 186

Стр. 190. Г-же де Фезенсак — персонаж книг Пруста, родственница семейства Германтов. Представители рода Фезенсаков, находившегося в родстве с графами Монтескью, Пруст встречался с ними в светских салонах.

[187] Примечания: 187

Г-жа де Бальруа — персонаж книг Пруста, родственница Германтов. Во времена Пруста существовали представители этой старой дворянской фамилии, писатель посещал их замок в Нормандии летом 1907 г. и перенес его черты в описание замка Германтов, в романе «У Германтов» (см. указ. изд., с. 21-23).

взыграло. Тут есть над чем призадуматься. Все мы знаем, что вселенная существует, но у каждого из нас своя особая вселенная. Если бы ход рассказа не принуждал меня ограничиваться легкомысленными темами, то сколько более серьезных позволили бы мне показать, какую фальшивую утонченность проявил я в начале этого тома, когда, лежа в кровати, слушал, как пробуждается мир при такой-то погоде, как — при такой-то! Да, я вынужден был утончать и быть лгуном, но это же не вселенная, это миллионы людей, почти столько же, сколько существует человеческих зрачков и умов, просыпающихся каждое утро.

Но вернемся к Альбертине: я не знал женщин, в большей степени, чем она, наделенных счастливой способностью вдохновенной лжи, окрашенной в цвет самой жизни, если не считать одной из ее подружек, тоже одной из девушек в цвету, розовой, как Альбертина, но чьи неправильные черты, то ввалившиеся, то вновь расширявшиеся щеки удивительно напоминали розовый куст; название этих роз я позабыл, помню только, что у них тоже были изгибистые вдающиеся углы. Эта девушка, если смотреть на нее глазами фабулиста, была благороднее Альбертины: она не вносила в отношения с людьми

мучительных переживаний, язвительных намеков, частых у моей подружки. Я уже отмечал, что Альбертина бывала очаровательна, когда выдумывала историю, не оставлявшую места для сомнения, потому что в это время мы видели перед собой, пусть воображаемый, предмет, о котором она рассказывала, рисуя словами. Альбертину вдохновляло только правдоподобие, а не желание возбудить во мне ревность. Дело в том, что Альбертина, быть может бескорыстно, любила, чтобы ее хвалили. Если я на страницах этой книги имел, и еще буду иметь, множество случаев показать, как ревность усиливает любовь, то — лишь с точки зрения возлюбленного. Но если у него есть хоть капля самолюбия, если разлука грозит ему смертью, то он не ответит на измену, таящуюся под приветливостью, — он удалится или, не уходя, заставит себя притвориться холодным. Так что, причиняя ему невыносимые страдания, возлюбленная проигрывает все до последнего гроша. Напротив, зарони она исподволь, с помощью хитроумного слова, нежных ласк, в душу возлюбленного мучительные подозрения, он прикинется равнодушным и в самом деле не испытает неудержимого роста любви, но на почве ревности он внезапно перестанет терзать-

ся, счастливый, размягченный, расслабленный, как после грозы, когда дождь прошел и когда ты через большие промежутки времени слышишь, как падают с больших каштанов капли, которые окрашивает уже проглянувшее солнце, он не будет знать, как выразить свою признательность той, что его вылечила. Альбертина знала, что я люблю вознаграждать ее за милое отношение: вот чем, быть может, объясняется то, что она придумала, чтобы оправдываться, признания такие же правдивые, как ее рассказы, которым я верил, вроде рассказа о встрече с Берготом в то время, когда он был мертв. Я уже был осведомлен о некоторых небылицах, какие плела Альбертина, — мне о них докладывала в Бальбеке Франсуаза, но я опустил их, хотя мне было тогда очень больно. Если ей не хотелось выходить, она говорила: «Вы бы не могли сказать мосье Марселю, что вы меня не застали, что я ушла?» Однако преданным нам нашим слугам, как, например, Франсуазе, доставляет особое удовольствие задевать наше самолюбие.

После обеда я сказал Альбертине, что мне хочется воспользоваться тем, что я встал, и повидаться с друзьями: с маркизой де Вильпаризи, герцогиней Германтской, маркизом и маркизой

де Говожо. Я не знал хорошенько, с кем я встречусь, — наверняка знал только имя тех, к кому собирался ехать: Вердюрен. Я спросил, не поедет ли она со мной. Она выставила ту причину, что у нее нет платья. «И потом, я так плохо причесана! Вы считаете, что я могу ехать в этой прическе?» На прощанье она резким движением, подняв плечи, протянула мне руку, как протягивала ее мне когда-то на пляже в Бальбеке, но больше уже не протягивала. Это забытое движение, встряхнув тело Альбертины, превратило ее в ту, что меня почти еще не знала. Оно вернуло Альбертине, церемонной под напускной резкостью, ее первоначальную новизну, атмосферу незнакомого и даже ее окружение. Я вдруг увидел море за этой девушкой, которая никогда так не здоровалась со мной и не прощалась с тех пор, как я уехал с побережья. «Тетя находит, что эта прическа меня старит», — с мрачным видом добавила она. «Ну, пусть тетя права!» — подумал я. Пусть Альбертина, в которой еще много детского, кажется г-же Бонтан еще моложе — это все, чего она от нее требует, — да еще чтобы Альбертина ничего ей не стоила вплоть до того дня, когда, выйдя за меня замуж, она ей об этом сообщит. А мне, напротив, хотелось, чтобы Альбертина выглядела старше

своих лет, казалась не такой красивой и чтобы на нее поменьше засматривались. Старость дуэньи не разочаровывает ревнивого любовника в такой степени, как постаревшее лицо его возлюбленной. Я боялся одного — чтобы прическу, которую я просил носить Альбертину, она не восприняла как еще одно средство принуждения. И в этом было тоже новое чувство семейной жизни, связывавшее меня с Альбертиной, даже когда мы были не вместе.

Предложив Альбертине — не очень настойчиво, чем она не преминула меня уколоть, — поехать со мной к Германтам или к Говожо, — я еще сам не знал, куда поеду, — в конце концов я решил поехать к Вердюренам. В тот момент, когда я вышел на улицу и когда мысль о концерте, который я у них услышу, напомнила мне дневную сцену: «Мать твою за ногу, лахудра, мать твою за ногу, лахудра» — сцену потерпевшей крушение любви, быть может ревнивой, но такую же скотскую — иначе не скажешь, — какую может устроить самке орангутанг, который — если так можно сказать про орангутанга — в нее влюблен, — в тот момент, когда я уже собирался нанять фиакр, я услышал, как рыдает мужчина, сидевший на тумбе, и силится подавить рыдания. Я подошел

к нему; мужчина, у которого был вид юноши, уронил голову на руки; по чему-то белому, выглядывавшему из-под пальто, можно было заключить, что он в белом фраке и при белом галстуке. Услышав мои шаги, он отнял руки от своего заплаканного лица, но, узнав меня, сейчас же отвернулся. Это был Морель. Поняв, что я его узнал, и стараясь сдержать слезы, он сказал, что остановился на минутку, потому что ему очень плохо. «Я сегодня грубо оскорбил девушку, которую я очень любил, — сказал он. — Это подло, потому что она меня любит». — «Может быть, со временем она забудет», — сказал я, не подумав о том, что мои слова доказывают, что я слышал, как он кричал днем. Но он был в таком горе! Ему в голову не могло прийти, что я могу что-то знать. «Она, может, и забудет. Да я-то никогда не забуду. Мне стыдно, я противен сам себе! Но что сказано, то сказано, назад не воротишь. Когда меня разозлят, я могу натворить бог знает что. А ведь это так вредно для моего здоровья, у меня же сейчас ни до одного нерва не дотронешься». Как все неврастеники, он очень берег свое здоровье. Да, днем я видел любовный гнев разъяренного зверя, с тех пор до вечера за несколько часов протекли столетия, и новое чувство, чувство стыда, сожа-

ления, горечи, показывало, что новый этап был перейден в эволюции животного, долженствовавшего превратиться в человеческое существо. Но, несмотря ни на что, мне все время слышалось: «Мать твою за ногу, лахудра», и я опасался, как бы впоследствии он вновь не вернулся к животному состоянию. Да и потом, я очень плохо понимал, что произошло, и это было тем более естественно, что даже де Шарлю несколько дней не подозревал, в частности — сегодня, вплоть до постыдного эпизода, не имевшего прямого отношения к скрипачу, что у Мореля разыгралась неврастения. В предыдущем месяце он насколько мог быстро, но гораздо медленнее, чем ему хотелось, продвинул соблазнение племянницы Жюпьена, с которой он в качестве жениха мог ходить куда угодно. Но его план изнасилования был отложен, а главное, когда он предложил невесте завести знакомство с другими девушками, с которыми он ее свяжет, то натолкнулся на сопротивление, и это привело его в бешенство. В одно мгновение (то ли она была чересчур целомудренна, то ли, наоборот, уже отдалась) его страсть остыла; он решил порвать с ней, но, зная барона за человека по-своему нравственного, несмотря на его порочность, он боялся, как бы после разрыва де Шарлю

не выставил его за дверь. Вот почему недели две назад он дал себе слово больше не видеться с девушкой, предоставить де Шарлю и Жюпьену самим со всем этим распутываться (он употребил более сильный глагол) и, не объявляя о разрыве, «дернуть» по неведомому назначению.

Любовь имела для него довольно печальную развязку, хотя его поведение с племянницей Жюпьена как будто бы соответствовало до мельчайших подробностей теории, которую он развивал барону за обедом в Сен-Маре-Одетом, и все же не лишено вероятности, что на деле все обстояло совершенно иначе, что душа у него была не такая жестокая и, чего он не предвидел в своей теории, она в конце концов облагородила его поведение и внесла в него сентиментальное начало. Единственно, в чем действительность оказалась хуже замысла, так это в том, что, по плану, после такого предательства ему уже нельзя было бы оставаться в Париже. Теперь он гораздо проще рисовал себе глагол «дернуть». Это значило расстаться с бароном, который, конечно, будет рвать и метать, и это значило испортить себе карьеру. Морель потеряет все деньги, которые он получал от барона. Мысль о том, что это неизбежно, расстраивала ему нервы, он целыми часами

плакал и, чтобы забыться, принимал умеренные дозы морфина. Затем неожиданно у него родилась мысль, которая, разумеется, оформилась и созрела не сразу. Мысль же эта заключалась в том, что выбор между уходом от девушки и окончательным разрывом с де Шарлю, быть может, неминуем. Отказаться от всех денег барона — это больно накладно. Морель, в растерянности, несколько дней был погружен в свои мрачные мысли, в какие он неизменно погружался при виде Блока, а затем пришел к решению, что Жюпьен и его племянница поставили ему ловушку и что они будут счастливы так дешево от него отделаться. Он считал, что, в общем, девушка была не права, что она действовала неумело, что она не смогла удержать его силой страсти. Морелю представлялась нелепой не только утрата своего положения при де Шарлю, — теперь ему жаль было всего, вплоть до дорогих обедов, которыми он начал угощать девушку, как только они стали женихом и невестой, и стоимость которых он мог бы назвать как сын лакея, аккуратно каждый месяц приносивший моему дяде «книгу». Книга, в единственном числе, означающая труд, напечатанный для большинства смертных, теряет свой смысл для светлостей и для лакеев. Для

лакеев она означает приходо-расходную книгу, для светлостей — реестр, в котором они делают записи. (В Бальбеке, в тот день, когда принцесса Люксембургская сказала, что не привезла с собой книги, я чуть было не предложил ей почитать «Исландского рыбака»[188] и «Тартарена из Тараскона»[189], но потом сообразил, что она хотела сказать не то, что ей будет скучно без книг, но что мне не на чем будет у нее расписаться.)

Несмотря на то, что у Мореля изменилась точка зрения на последствия его поведения, хотя два месяца назад, когда он страстно любил племянницу Жюпьена, оно казалось ему чудовищным и хотя в течение двух недель он не уставал повторять, что его поведение естественно и похвально, все же оно неуклонно усиливало в нем состояние нервозности, в котором он недавно объявил о разрыве, И он готов был сорвать зло если не (разве только в минутном порыве) на девушке, которую он еще побаивался (последний остаток

---

[188] Примечания: 188

Стр. 194. «Исландский рыбак» — роман Пьера Лоти (1850-1923), вышедший в 1886 г. Лоти был одним из любимых писателей молодого Пруста.

[189] Примечания: 189

«Тартарен из Тараскона». — Этот роман Альфонса Доде вышел в 1872 г. Пруст очень любил эту книгу; он посвятил ее автору несколько газетных статей и был дружен с сыновьями Доде.

любви), то, во всяком случае, на бароне. Тем не менее он пока ничего ему не сказал: ставя выше всего свое искусство, он в тот день, когда ему предстояло играть трудные вещи (как, например, сегодня вечером у Вердюренов), избегал всего, что могло придать его движениям некоторую судорожность. Так хирург, страстный автомобилист, не водит авто в день операции. Я заметил, что, говоря со мной, он слегка двигал пальцами, чтобы проверить их гибкость. Сдвинутые брови указывали на то, что его нервное состояние еще не совсем прошло. Чтобы не дать ему усилиться, он распустил складки лица — так успокаивают свои нервы перед сном или перед тем, как лечь с женщиной, из боязни, что фобия оттянет миг сна или наслаждения. Итак, стремясь обрести спокойствие, чтобы, как обычно, быть совершенно спокойным, когда будет играть у Вердюренов, боясь, как бы я не проговорился, в каком тяжелом состоянии он был, когда мы встретились, он счел за благо попросить меня немедленно удалиться. Он напрасно меня об этом просил — отъезд был для меня облегчением. Я смертельно боялся, что, направляясь к Вердюренам, он несколько минут спустя попросит позволения проводить меня, — мне была слишком памятна дневная

сцена, и мне было бы неприятно иметь в лице Мореля такого спутника. Очень возможно, что любовь, затем равнодушие или даже ненависть Мореля к племяннице Жюпьена были искренни. К несчастью, он уже не в первый раз (и, наверно, не в последний) действовал таким образом: он доходил до того, что девушке, которой клялся в вечной любви, показывал заряженный револьвер и приставлял его к своему виску, приговаривая, что пробьет себе лоб, если окажется таким подлецом, что бросит ее. А затем он ее бросал и испытывал не сожаление, а что-то вроде злости. Не в первый раз он так поступал и, вероятно, не в последний, много девушек сильнее страдало по нем, чем он по ним, — страдало, как племянница Жюпьена, долго продолжавшая, презирая Мореля, любить его, — страдало, готовое каждую минуту разрыдаться от душевной боли, ибо в каждой из них, подобно фрагменту греческой скульптуры, лицо Мореля, твердое, как мрамор, и прекрасное античной красотой, отпечатлялось у них в мозгу — отпечатлялись цветы в волосах, лукавый взгляд, образующий выступ на лице длинноватый нос; нос не гармонировал с его общим обликом, но тут уж ничего нельзя было поделать. И в конце концов такие твердые фраг-

менты проскальзывают только до определенного места, а там у них уже не хватает сил для того, чтобы произвести глубокие разрывы тканей, и они перестают двигаться; их присутствие перестает ощущаться; наступает забвение или безразличное воспоминание.

Этот день принес мне два дара. Во-первых, по причине спокойствия, воцарившегося во мне как следствие покорности Альбертины, — сначала возможность, а потом и решение с нею порвать. Во-вторых, плод моих размышлений в то время, когда я ее ждал, сидя за роялем, — мысль, что Искусство, которому я пытался посвятить часы моей завоеванной свободы, не стоит особой жертвы, не находится вне жизни, отгороженное от ее суеты и пустоты, и что внешняя своеобычность произведения есть только обман зрения, достигаемый с помощью изощренной техники. Этот день оставил во мне и другие осадки, быть может, более глубокие, но они дошли до моего сознания позднее. Что касается тех двух, которые я мог бы взвесить на ладони, то они были непродолжительны, ибо в этот вечер искусство приобрело для меня более высокий смысл, зато спокойствие, а следовательно, свобода, которая предоставляла мне возможность посвятить себя ему, покинули

меня вновь.

Когда мой автомобиль, обогнув набережную, подъехал к Вердюренам, я велел остановиться. Мне было видно, как на углу улицы Бонапарта[190] вышел из омнибуса Бришо[191], как он почистил старой газетой ботинки и надел серые перчатки. Я подошел к нему. Его зрение все ухудшалось, и он носил новые очки, такие же дорогие, какие носят в лабораториях; мощные и сложные, как астрономические приборы, казалось, они были привинчены к его глазам; он навел на меня их ослепительные огни — и узнал. Очки были в превосходном состоянии. Но я увидел почти не заметный, бесцветный, судорожный, угасающий, далекий взгляд за этим мощным аппаратом — так в лабораториях, слишком щедро субсидируемых для простых операций, которые там производятся, кладут крошечную издыхающую козявку под самый усовершенствованный аппарат. Я подал полуслепому руку, чтобы он увереннее ступал. «На этот раз мы с вами встречаемся не

[190] Примечания: 190

Стр. 196. Улица Бонапарта — парижская улица на левом берегу Сены, выходящая к реке в том месте, где берет начало набережная Конти (где живут Вердюрены).

[191] Примечания: 191

Бришо — персонаж книг Пруста, профессор Сорбонны, завсегдатай салона Вердюренов.

около большого Шербура, а около маленького Дюнкерка»[192]. Эта его фраза показалась мне неостроумной — я в ней ничего не понял; и все-таки я не отважился спросить Бришо, что он хочет сказать, — из боязни не столько его презрения, сколько его объяснений. Я сказал, что мне хочется посмотреть гостиную Свана, где он когда-то каждый вечер встречался с Одеттой. «Как, вам известны все эти старые истории? — спросил он. — Это перекликается с тем, что поэт имел полное право назвать „grande spatium mortalis aevi“[193] [194].

Смерть Свана в свое время потрясла меня. Смерть Свана! Сван не играет в этой фразе роль простого дополнения в родительном падеже. Я слышу в ней отзвук смерти особенной, смерти, которую судьба послала на службу Свану. Когда

---

[192] Примечания: 192

…не около большого Шербура, а около маленького Дюнкерка. — Под «Шербуром» герой понимает святое Вердюренами имение Ла-Распельер, под «маленьким Дюнкерком» — их жилище на набережной Конти (в романе «Обретенное время» так называется антикварная лавка, находящаяся рядом с их домом).

[193] Примечания: 193

Большой срок смертного века (лат.).

[194] Примечания: 194

Стр. 197. …поэт имел полное право назвать grande spatium mortalis aevi. — Пруст цитирует древнеримского историка Тацита («Жизнь Агриколы», гл. III).

мы говорим «смерть», мы упрощаем это явление, а ведь смертей почти столько же, сколько людей. Мы не обладаем таким чувством, которое дало бы нам возможность видеть мчащиеся на полной скорости во всех направлениях смерти, смерти деятельные, направляемые судьбой к тому-то и к тому-то. Зачастую это смерти, которые будут совершенно свободны от своих обязанностей только через два — через три года. Они быстро бегут, чтобы забросить рак в живот Свану, потом отправляются по другим целям и возвращаются, только когда операция кончена и надо снова забросить рак. Затем наступает момент, когда мы читаем в «Голуа»[195], что здоровье Свана внушало опасения, но что теперь он на пути к выздоровлению. Тогда, за несколько минут до последнего вздоха, точно монахиня, которая ухаживает за вами, вместо того, чтобы вас истребить, смерть окружает наивысшим ореолом навеки застывшее тело, чье сердце перестало биться. Именно это многообразие смертей, таинственность их кругооборота и цвет их зловещей повязки производят такое сильное впечатление, когда мы читаем газетные строчки: «С глубоким

[195] Примечания: 195

Стр. 197. «Голуа» — парижская газета, основанная в 1867 г.; в конце XIX в. она была основным печатным органом монархистов.

прискорбием извещаем о кончине г-на Шарля Свана, умершего в Париже, в своем собственном доме, после тяжелой болезни. Все высоко ценили ум этого парижанина, равно как и его верность друзьям, которых у него было немного, но которым он был предан; о нем пожалеют как в кругах художников и литераторов, так и в кругах Джокей-клоба, где он был одним из самых старинных и самых популярных завсегдатаев. Он был также членом Клуба единомышленников и Сельскохозяйственного клуба. Недавно он вышел из состава членов Клуба на Королевской улице[196]. Его духовный облик, так же как и его широкая известность, не мог не возбуждать любопытство публики во всем great event[197] музыки и живописи, особенно на «вернисажах», неизменным посетителем которых он был вплоть до последних лет, когда он редко выходил из дома. Похороны там-то» — и т. д.

Если это не «знаменитость», отсутствие почетного звания ускоряет дело смерти. Конечно,

---

[196] Примечания: 196

Королевская улица — одна из фешенебельных улиц центра Парижа; на ней расположены министерства, банки, дорогие рестораны и т. п.

[197] Примечания: 197

Здесь: в великом мире (англ.).

герцог д'Юзес[198] — человек безвестный и безличный. Но герцогская корона на некоторое время собирает воедино разные части, похожие на обломки льдин с четко обрисованными формами, которыми любовалась Альбертина, тогда как имена ультрасветских буржуа, как только буржуа умирают, разлагаются и, «вынутые из формы», расплываются. Мы помним, что герцогиня Германтская говорила о Картье как о лучшем друге герцога де ла Тремуй, как о человеке, пользующемся большим уважением в аристократических кругах. Для следующего поколения Картье стал чем-то расплывчатым, так что его почти что возвеличивали, путая с ювелиром Картье, хотя сам-то он усмехался при мысли о том, как эти невежды смешивают его с ним! Напротив, Сван представлял собой замечательную личность и в интеллектуальном отношении, и как ценитель изящного, и, хотя он ничего не «создал», у него были основания для того, чтобы его помнили дольше. Дорогой Шарль Сван, которого я так мало знал, потому что был еще очень молод, вы, который сейчас лежит в гробу! Тот, на кого

[198] Примечания: 198

Стр. 198. Герцог д'Юзес — второстепенный персонаж книг Пруста. Аристократический род д'Юзес просуществовал до начала XX в., и писатель встречался в великосветских салонах с его представителями.

вы, наверно, смотрели как на дурачка, сделал вас героем одного из своих романов, благодаря чему о вас заговорили снова, и, пожалуй, вы еще будете жить. Если, глядя на картину Тиссо[199], изображающую балкон Клуба на Королевской, где вы находитесь вместе с Галифе[200], Эдмоном де Полиньяком[201] и Сен-Морисом[202], о вас так много говорят, то это потому, что в образе Свана находят некоторые ваши черты.

А теперь вернемся к действительности. О своей предсказанной смерти Сван, впоследствии умерший внезапно, сам говорил при мне у герцогини Германтской[203] в вечер именин ее родственницы. И это была та же самая смерть, которая поразила меня какой-то совершенно особенной необычностью в тот вечер, когда я просматривал

---

[199] Примечания: 199

Тиссо Джемс (1836-1902) — французский салонный художник. Его картина, изображающая балкон Клуба на Королевской, написана в 1868 г. На ней изображен, конечно, не Сван, а один из его прототипов, известный светский щеголь эпохи Второй империи Шарль Аас (1832-1902). В настоящее время картина находится в одном из французских частных собраний.

[200] Примечания: 200

Галифе Гастон (1830-1909) — французский военный деятель, участник войн Наполеона III, один из тех, кто жестоко расправился с коммунарами в 1871 г.

[201] Примечания: 201

Полиньяк Эдмон (1834-1901) — французский светский щеголь, сын известного политического деятеля, министра Карла X Жюля-Армана

де Полиньяка (1780-1847).

[202] Примечания: 202

Сен-Морис Гастон — светский щеголь эпохи Второй империи и Третьей республики.

[203] Примечания: 203

…сам говорил при мне у герцогини Германтской… — Об этом рассказывается на последних страницах романа «У Германтов» (см. указ. изд., с. 603-604).

газету и вдруг оцепенел, наткнувшись на таинственные строчки извещения, как бы попавшие не туда. Они способны превратить живого в кого-то, кто не может ответить ни на один вопрос, в некое *нет, нет*, записанное и тут же перешедшее из мира действительного в царство молчания. Это они еще возбуждали во мне желание получше узнать жилище, которое в былые времена занимали Вердюрены и где Сван, который тогда представлял собой несколько газетных строк, так часто ужинал с Одеттой. Я должен добавить (от этого смерть Свана долго была для меня большим горем, чем чья-либо еще, хотя эти мотивы не имеют прямого отношения к *его* до странности необычной смерти), что я не поехал к Жильберте, как обещал ему у принцессы Германтской; что он так и не открыл мне «другой причины», на которую он в тот вечер намекал мне, в связи с которой он избрал меня своим доверенным лицом в переговорах с принцем; что я припомнил множество вопросов (вдруг побежавших, как пузырьки по воде), которые я хотел задать ему по поводу всякого вздора: насчет Вермеера, насчет

де Муши[204], насчет него самого, насчет ковра Буше, насчет Комбре, — вопросов, по правде говоря, не очень важных, раз я откладывал их со дня на день, но казавшихся мне главными с тех пор, как уста его сомкнула печать и он бы мне уже не ответил.[205]

«Да нет, — продолжал Бришо, — Сван не здесь встречался со своей будущей женой, или разве что в самое последнее время, когда бедствие частично разрушило первое обиталище госпожи Вердюрен».[206]

К несчастью, из боязни подавить Бришо своим роскошным образом жизни, на мой взгляд переменившимся, поскольку преподаватель университета вел иной образ жизни, я слишком поспешно выскочил из автомобиля, а шофер не

---

[204] Примечания: 204

Стр. 199. Муши — герцог Антуан де Муши, французский аристократ рубежа XIX и XX вв. Пруст делает это реальное лицо персонажем своей книги.

[205] Примечания: 205

…и он бы мне уже не ответил. — Далее в черновой рукописи следует: «Смерть других подобна своему собственному путешествию, когда, отъехав уже километров на сто от Парижа, вдруг вспоминаешь, что забыл захватить с собой пару дюжин носовых платков, не отдал ключи кухарке, не попрощался с дядей, так и не спросил название города, в котором сохранился старинный фонтан, что непременно надо осмотреть. И в то время, как все это осаждает вас и вы, проформы ради, говорите об этом путешествующему с вами другу, в ответ вы слышите лишь, что сидячих мест нет или название станции, выкрикиваемое кондуктором, и тогда вы начинаете отвлекаться от мыслей о том, чего

теперь уж никак нельзя осуществить, и, решая не думать о безвозвратно утраченном, вы разворачиваете пакет с провизией и достаете газеты и журналы».

[206] Примечания: 206

«...частично разрушило первое обиталище госпожи Вердюрен». — Об этом пожаре на улице Монталиве будет рассказано в романе «Обретенное время».

понял, что я велел ему гнать вовсю, чтобы я успел отдалиться от него, пока Бришо меня не заметил. В результате кучер подъехал к нам и спросил, поеду ли я дальше; я быстро ответил «да» и стал вдвое почтительнее с преподавателем университета, приехавшим в омнибусе.

«А, вы в автомобиле! — торжественно проговорил он. — Боже, какой счастливый случай! Я всегда езжу в омнибусе или хожу пешком. Но благодаря этому мне, быть может, выпадет великая честь, если вы ничего не имеете против, ехать со мной в этой колымаге, доставить вас вечером домой. Нам будет тесновато, но вы так любезны!» «Предложив ему ехать со мной, я ничего себя не лишаю, — подумал я, — ведь я всегда должен возвращаться домой из-за Альбертины». Ее пребывание у меня в то время, когда никто ее не увидит, позволит мне свободнее располагать собой, чем днем, когда я знал, что она должна вернуться из Трокадеро, и когда я не томился в ожидании. Но, как и днем, я знал, что у меня есть женщина и что, вернувшись домой, я не испытываю того бодрящего возбуждения, какое испытываешь в одиночестве. «Я с большим удовольствием принимаю ваше предложение, — сказал Бришо. — В те времена, на которые вы

намекаете, наши друзья жили на улице Монталиве, в великолепной квартире на первом этаже, с антресолями, окнами в сад; конечно, это была не такая роскошная квартира, а все-таки я предпочитаю ее дому на улице Венецианских послов». Бришо сообщил мне, что сегодня вечером в «Набережной Конти» (так называли «верные» салон Вердюренов с тех пор, как он переехал туда) состоится великое музыкальное «тра-ла-ла», организованное бароном де Шарлю. К этому он добавил, что в те стародавние времена, которые я имел в виду, «ядрышко» было другое и тон в нем был другой, и не только потому, что «верные» были тогда моложе. Он рассказал мне о шутках Эльстира (которые он называл «чистейшим балаганом»): как-то раз, надумав одну штуку в последнюю минуту, Эльстир явился в костюме метрдотеля из шикарного ресторана и, обнося гостей блюдами, шепнул несколько вольных словечек на ухо крайне чопорной баронессе Пютбю, причем та покраснела от гнева и от испуга; затем, исчезнув до конца обеда, он велел внести в салон ванну, доверху налитую водой, откуда, когда все встали из-за стола, он вышел совершенно голый, отчаянно ругаясь. А еще Бришо рассказал об ужинах, на которые все приходили

в бумажных костюмах, разрисованных, вырезанных, раскрашенных Эльстиром, — настоящих произведениях искусства; Бришо однажды был в костюме придворного эпохи Карла VII[207], в туфлях с загнутым носком, а еще как-то в костюме Наполеона I, на который Эльстир нацепил длинную ленту Почетного легиона с сургучной печатью. Словом, Бришо, окинув мысленным взглядом тогдашний салон с большими окнами и с низкими, выгоревшими от южного солнца диванами, которые надо было заменить другими, все-таки признался, что предпочитает тот салон нынешнему. Конечно, я отлично понимал, что под словом «салон» Бришо подразумевал — подобно тому, как слово «церковь» означает не только здание, где совершаются обряды, но и общину верующих, — не только антресоли[208], но и людей, их посещающих, особые удовольствия, какие они там получают и какие в его памяти приняли форму диванов, на которых приезжавшие к г-же Вердюрен днем ждали, когда она к

[207] Примечания: 207

Стр. 200. Карл VII — французский король с 1422 по 1461 г.

[208] Примечания: 208

Антресоли. — Во Франции XVII — XVIII вв. на антресолях обычно помещались жилые комнаты, не предназначавшиеся для официальных приемов; туда допускались лишь близкие хозяевам люди.

ним выйдет, между тем как розовые цветы каштанов за окнами и гвоздики на камине в вазах, казалось преисполненные глубокой симпатии к посетителю, выражавшейся в праздничном радушии их розового цветенья, с нетерпением ожидали запоздалого выхода хозяйки дома. Но главным образом этот салон нравился больше теперешнего, быть может, потому, что наш ум, старый Протей[209], не желает быть рабом какой бы то ни было формы и даже в высшем свете внезапно вырывается из-под власти салона, медленно и трудно достигшего совершенства, и отдает предпочтение салону менее блестящему — так «ретушированные» фотографии Одетты, снимавшейся у Отто[210], фотографии, на которых она снята причесанная у Лантерика[211], в длинном платье принцессы, не так нравились Свану, как сделанная в Ницце маленькая «карточка для альбома», где, в суконной одежде, с растрепавшимися волосами, выбившимися из

[209] Примечания: 209

Стр. 201. Протей — морское божество, обладавшее способностью менять свою внешность (греч. миф.).

[210] Примечания: 210

Отто — модный парижский фотограф. Пруст фотографировался у него в 1896 г.

[211] Примечания: 211

Лантерик — известный парижский парфюмер.

расшитой анютиными глазками шляпы с черным бархатным узлом (женщины обыкновенно кажутся тем старше, чем стариннее их фотографии), выглядевшая на двадцать лет моложе благодаря своему изяществу, она производила впечатление маленькой горничной, которой можно было дать от силы лет двадцать. Быть может, Бришо, помимо всего прочего, доставляло удовольствие восторгаться тем, что я никогда не узнаю, описывать удовольствия, которые он себе доставлял и которых не будет у меня. Он этого и достигал — стоило ему назвать имена двух-трех человек, которых не было в живых и обаянию которых он придавал нечто таинственное своей манерой говорить о них; я чувствовал, что все, что он рассказывал о Вердюренах, на самом деле было гораздо грубее; я упрекал себя за то, что не уделял достаточно внимания Свану, которого я знал, внимания бескорыстного, за то, что я невнимательно слушал его, когда он принимал меня до выхода жены к завтраку и показывал красивые вещи, упрекал особенно горько, потому что теперь-то я знал, что Свана можно поставить рядом с лучшими собеседниками того времени.

Подъехав к г-же Вердюрен, я заметил, что всем своим огромным телом на нас надвигается де

Шарлю, волоча за собой помимо своего желания то ли бродягу, то ли нищего, которые теперь непременно выныривали при его появлении даже из пустынных, на первый взгляд, углов и на некотором расстоянии эскортировали это толстенное чудище, — волоча, понятно, не по своей доброй воле, точно акула своего лоцмана, — так не похожий на появившегося в первый год в Бальбеке высокомерного иностранца со строгим лицом, подчеркнуто мужественного, так что теперь, в сопровождении своего сателлита, он показался мне планетой, движущейся по какой-то другой орбите, достигшей своей высшей точки, или же больным, которого болезнь поглотила всего, между тем как несколько лет назад все это у него началось с маленького прыщика, который он до времени ловко скрывал и о злокачественности которого никто не догадывался. Хотя операция, которую перенес Бришо, вернула ему чуточку зрения, тогда как он уже думал, что ослеп совсем, я не стану утверждать, что он разглядел проходимца, увязавшегося за бароном. Впрочем, это не так важно, ибо со времен Ла-Распельер, несмотря на расположение, которое питал к нему преподаватель университета, при де Шарлю он все-таки чувствовал себя неловко.

Вне всякого сомнения, с точки зрения каждого человека жизнь другого прокладывает в темноте тропы, о которых никто не догадывается. Ложь, которую часто видно насквозь и у которой каждое слово рассчитано, хуже скрывает неприязненное чувство, заинтересованность, визит, о котором стараются умалчивать, однодневную проказу с любовницей, которую хотят скрыть от жены, чем хорошая репутация, прикрывающая — так, чтобы о ней не догадались, — безнравственность. Эти тропы могут так и остаться безвестными; случайная вечерняя встреча на дамбе открывает их; надо еще, чтобы это было правильно понято, чтобы треть хорошо осведомленных сообщила вам заветное слово. Но когда про них узнают, они пугают, потому что чувствуется, что их обнаружила не столько нравственность, сколько умоисступление. Маркизу де Сюржи-де-Дюк[212] никак нельзя было назвать женщиной высокой нравственности; она могла позволить своим сыновьям бог знает что ради удовлетворения их грязного любопытства к тому, что должно быть понятно только взрослым мужчинам. Но

[212] Примечания: 212

Стр. 202. Сюржи-ле-Дюк — персонаж книг Пруста, любовница герцога Германтского; о ней рассказывается в романах «У Германтов» (см. указ. изд., с. 500) и «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 67 и сл.).

она запретила им бывать у де Шарлю, как только узнала, что при каждом их посещении его, как часы с репетицией, роковым образом тянет щипать их за подбородок, а потом заставлять щипать друг друга. Она испытывала то тревожное ощущение физической тайны, какое наводит на мысль: не людоед ли наш сосед, с которым мы в прекрасных отношениях? — и на частые вопросы барона: «Скоро ли я увижу ваших юношей?» — предчувствуя, какие грозовые тучи собираются над ее головой, отвечала, что они очень заняты ученьем, приготовлениями к отъезду и т. д. Что ни говорите, а безответственность утяжеляет ошибки и даже преступления. Допустим, что Ландрю действительно убивал женщин;[213] если он так поступал из интереса — а на этом были основания настаивать, — то его можно помиловать; если же в нем говорил непреодолимый садизм, то помиловать его невозможно.

Грубые шутки Бришо в начале его дружбы с бароном вызывали в нем, как только он прекратил пересказывать всем известные вещи и попытался что-то понять, тягостное чувство, омрачавшее веселость. Он успокаивал себя, читая наизусть

---

[213] Примечания: 213

Ландрю — убийца, процесс над которым происходил в 1921 г.

Платона, стихи Вергилия; у него были не только слепые глаза, но и слепой ум, и он не мог взять в толк, что тогда любить молодого человека было равносильно тому, что теперь (шутки Сократа говорят об этом яснее, чем теории Платона) содержать танцовщицу, а потом обручиться. Даже де Шарлю этого не понимал, он, смешивавший свою манию с дружбой, ни в чем на нее не похожей, как не похожи атлеты Праксителя[214] на безвольных боксеров. Он не желал принимать в рассуждение, что за восемьсот лет («Набожный придворный при набожном государе был бы безбожником при государе-безбожнике», — сказал Лабрюйер[215]) обычный гомосексуализм — гомосексуализм молодых людей Платона, равно как и пастухов Вергилия, — исчез, что единственный гомосексуализм, который держится на поверхности и размножается, — это гомосексуализм нечаянный, нервный, тот, что прячется за других и переряживает себя. Де Шарлю допустил бы

[214] Примечания: 214

Стр. 203. Праксителъ — знаменитый древнегреческий скульптор IV в. до н.э.

[215] Примечания: 215

...сказал Лабрюйер... — Вольная цитата из «Характеров» Жана де Лабрюйера (1645-1696), из главы «О моде» (у Лабрюйера: «Благочестивец — это такой человек, который при короле-безбожнике сразу стал бы безбожником»).

ошибку, искренне отвергая языческое происхождение гомосексуализма. Взамен незначительной пластической красоты какое моральное превосходство! У Феокритова пастуха,[216] вздыхающего по молодом человеке, впоследствии не будет никаких оснований стать менее жестокосердным и обладать более тонким умом, чем у другого пастуха, играющего на флейте для Амарилис[217]. Первый не болен, он подчиняется духу времени. Это гомосексуализм, преодолевший всевозможные препятствия, стыдливый, вялый, единственно подлинный, единственный, которому может соответствовать в этом человеке его тонкая душевная организация. Люди трепещут при мысли о взаимосвязи физических и душевных качеств, при мысли о небольшом перемещении чисто физического тяготения к небольшому изъяну в каком-либо чувстве, чем объясняется, что вселенная поэтов и музыкантов, закрытая для герцога Германтского, приоткрывается для де Шарлю. Что у де Шарлю тонкий вкус, что он коллекционер — это никого не удивляет, но у него есть

---

[216] Примечания: 216

Феокрит — древнегреческий поэт III в. до н. э., автор идиллии, создатель жанра буколик.

[217] Примечания: 217

Амарилис — молодая пастушка, героиня первой идиллии Феокрита.

— правда, узенькая — щелка для Бетховена и для Веронезе[218]! Душевно здоровые люди все равно пугаются, когда умалишенный, сочиняющий дивную поэму, клянется им, что его упрятали в сумасшедший дом по ошибке, только оттого, что у него злая жена, и умоляет похлопотать за него у директора психиатрической лечебницы, жалуется на тесноту и заканчивает свое письмо так: «Можете себе представить? Тот, кто должен прийти ко мне во внутренний двор и с кем я обязан поддерживать отношения, уверен, что он — Иисус Христос. Уже по одному этому я могу судить, с какими сумасшедшими людьми меня здесь держат: ведь он не может быть Иисусом Христом; Иисус Христос — это же я!» За минуту до прочтения письма люди были уже готовы объяснить ошибку психиатру. Прочтя эти последние слова и даже подумав о прекрасной поэме, над которой ежедневно работает этот человек, люди удаляются, как удалялись сыновья маркизы де Сюржи от де Шарлю — не потому, чтобы он причинил им какое-нибудь зло, а потому, что слишком назойливы были его приглашения, что

[218] Примечания: 218

Веронезе Паоло (1528-1588) — итальянский художник венецианской школы, автор больших полотен на исторические и мифологические темы.

выражалось в том, что он щипал их за подбородок. Поэту есть на что жаловаться; у него нет Вергилия, он не может пройти через круги ада, через смолу и серу, не может броситься в падающий с неба огонь и вытащить оттуда нескольких жителей Содома. Творчество не приносит ему радости; он ведет такой же строгий образ жизни, как расстриги, следующие правилам целибатов — правилам неизменного целомудрия, чтобы снятие сутаны не смогли объяснить ничем иным, как утратой веры. Не тот же ли режим у этих писателей? У кого из психиатров не хватило бы силы духа посетить их, когда у них начинается припадок буйства? Хорошо, если он способен доказать, что у него нет внутренней, скрытой формы умопомешательства, которая толкнула бы его на то, чтобы посвятить им свою жизнь. Объект изучения часто действует на психиатра. Но еще до знакомства с объектом — что за непонятная наклонность, какой непреоборимый урок заставил его выбрать такой род занятий?

Делая вид, что не замечает подозрительного типа, следовавшего за ним по пятам (когда барон решался пройтись по бульварам или проходил по зале ожидания на вокзале Сен-Лазар, эти приставалы насчитывались десятками и, в чаянии

получить ломаный грош, не оставляли его в покое), барон со смиренным видом опускал свои черные ресницы, которые, составляя контраст с его напудренными щеками, придавали ему сходство с великим инквизитором кисти Эль Греко[219]. Но этот священнослужитель наводил страх; у него был вид священнослужителя, которому запрещено служить; всевозможные компромиссы, к которым он был вынужден прибегать, необходимость потворствовать своим пристрастиям и держать их в тайне — все это в конце концов привело к тому, что на его лице выступило именно то, что он пытался скрыть: распутная жизнь как следствие нравственного падения. Какова бы ни была причина такого падения, оно угадывается легко, оттого что быстро материализуется и распространяется по лицу, главным образом по щекам и вокруг глаз, с такой же физической наглядностью, с какой разливается охровая желтизна при болезни печени или отвратительные красные пятна при кожной болезни. Оно распространяется не только по

[219] Примечания: 219

Стр. 204. ...с великим инквизитором кисти Эль Греко. — Речь идет о портрете Великого инквизитора Ниньо де Гевара, написанном великим испанским художником Эль Греко (1541-1614) в 1601 г. (Нью-Йорк, Метрополитен-музей).

щекам или, вернее, по отвислостям подкрашенного лица, но и по груди с выпуклостями, как у женщин, по толстому заду этого тела, за которым уже не следят, тела, полноту которого выставил теперь напоказ растекшийся, как масло, порок, который в прежнее время так глубоко запрятывал в тайник, неведомый даже ему самому, барон де Шарлю. В данную минуту он разливался соловьем:

«Ну-с, Бришо, как-то вы провели ночь с красивым молодым человеком? — догнав нас, спросил он, в то время как разочарованный проходимец удалился. — Наверное, отлично? Вашим ученичкам из Сорбонны станет известно, что вы человек не такой уж серьезный. Во всяком случае, общество молодежи идет вам на пользу, господин профессор, вы свежи, как розочка. Я вам помешал, вы забавлялись, как две маленькие шалуньи, и не нуждались в опеке старой бабушки, брюзги, как я. Я не пойду с докладом, раз вы почти прибы-

ли»[220]. Барон был весел: он совершенно ничего не знал о дневной сцене, Жюпьен счел за благо уберечь племянницу от повторного взрыва и ничего не говорить барону. Вот почему барон верил в женитьбу Мореля и сиял. Очень одинокие люди находят утешение в том, чтобы смягчать свое трагическое безбрачие фиктивным отцовством. «Честное слово, Бришо, — со смехом обернувшись к нам, сказал он, — я краснею, видя вас в такой приятной компании. Можно подумать, что вы — влюбленные. Под руку! Послушайте, Бришо, вы позволяете себе вольности!» Стоит ли добавлять, что это уже было старо, что эта мысль уже не в такой степени владела им и что по рассеянности он мог выболтать тайну, столь бережно им хранимую на протяжении сорока лет? Или же он, как

---

[220] Примечания: 220

Стр. 205. …раз вы почти прибыли — Далее в беловой рукописи на отдельном листе дана вставка, помещаемая нами под строкой. В новейших изданиях она обычно вводится в основной текст.

[«Мы увидим сегодня вашу родственницу? О, она так хороша! А будет еще лучше, если станет и дальше изощрять свое редкое искусство, которым ей дано обладать от природы, — хорошо одеваться». Де Шарлю «обладал» как раз тем, что делало его полной противоположностью мне, моим антиподом: даром подмечать и различать подробности не только туалета, но и «фона». Злые языки и узкие теоретики скажут, что отсутствие интереса мужчины к мужским нарядам, к мужским костюмам и шляпам компенсируется врожденным вкусом к женским туалетам, желанием изучить их, знать. И в самом деле, так бывает: когда у мужчин исчерпывается физическое влечение, свойственное баронам де Шарлю, вся их глубокая нежность, женский пол возна-

граждается «платоническим» вкусом мужчин (определение очень неудачное), или, короче говоря, всем, что есть вкус, основанный на точнейшем знании и на неоспоримом благородстве. В связи с этим барону де Шарлю дали впоследствии прозвище «Портниха». Но его вкус, его наблюдательность распространялись на многое. Мы помним тот вечер, когда я заехал к нему от герцогини Германтской и когда я не обратил внимания на шедевры, которые он мне показывал. Он тотчас угадывал, чем тот или иной человек никогда не интересовался, и относилось это не только к произведениям искусства, но и к блюдам и в картинках на кухне, развешанных в простенках, он понимал толк). Мне всегда было жалко, что де Шарлю, вместо того чтобы ограничивать свои способности к рисованию раскрашиванием вееров, которые он подарил своей родственнице (мы видели, как герцогиня Германтская распахнула веер не столько для того, чтобы обмахнуться, сколько для того, чтобы похвастаться, чтобы показать, как она гордится своей дружбой с Паламедом), и усовершенствованием своей игры на рояле, чтобы без ошибок аккомпанировать Морелю, — повторяю: мне всегда было жалко, да я и сейчас еще жалею, что де Шарлю ничего не написал. Конечно, я не могу на основании яркости его устной речи и стиля его писем утверждать, что он талантливый писатель. Нам доводилось слышать скучнейшие банальные рацеи от людей, писавших шедевры, и королей устной речи, писавших хуже самых жалких посредственностей. Как бы то ни было, я полагаю, что если бы де Шарлю попробовал свои силы в прозе и написал что-нибудь об искусстве, которое он хорошо знал, огонь загорелся бы, молния вспыхнула бы и светский человек стал бы писателем. Я часто уговаривал его, но он так и не сделал ни одной попытки — быть может, просто-напросто от лени или потому, что время было у него занято блестящими празднествами и гнусными развлечениями, или же ему мешала потребность Германта болтать без конца. Я особенно жалею об этом потому, что во время его самых зажигательных речей ум всегда был у него в ладу с характером, находки одного с дерзостями другого. Если бы он писал, вместо того,

чтобы всех ненавидеть и одновременно всех обожать, как в салоне, где в моменты, когда он особенно блистал остроумием, он одновременно попирал ногами слабых, отмщал тем, кто его ничем не оскорбил, из низких побуждений старался рассорить друзей, — если бы он писал и его умственные способности развивались бы в одиночестве, вдалеке от зла, ничто не помешало бы ему восхищаться, и при описании многих поступков его потянуло бы к людям.

Во всяком случае, если даже я и ошибаюсь насчет того, сколь многого мог он достичь даже на одной страничке, он был бы очень полезен, потому что он замечал все, а замечая, все определял верно. Конечно, беседуя с ним, я не научился видеть все (мой ум и чувство бывали далеко), но, во всяком случае, я видел предметы, которые без него я бы так и не заметил, а вот их названия, которые помогли бы мне восстановить их очертания и цвет, я всегда очень быстро забывал. Если бы он писал книги, — пусть даже плохие, хотя я этого не думаю, — каким великолепным языком они были бы написаны; какой был бы у него неистощимый запас тем! А впрочем, кто знает? Вместо того, чтобы показывать свои познания и вкус, быть может, по внушению дьявола, который часто становится нам поперек дороги, он писал бы пошлые романы с продолжением или никому не нужные повести о путешествиях и приключениях.

«Да, она умеет наряжаться или, точнее говоря, одеваться, — продолжал де Шарлю, имея в виду Альбертину. — Сомневаюсь я только в одном: одевается ли она в соответствии со своей необычной красотой, и тут, быть может, повинен отчасти я — я не всегда давал ей строго обдуманные советы. То, о чем я с ней часто говорил по дороге в Ла-Распельер, было, пожалуй, скорее навеяно — и в этом я раскаиваюсь — колоритом местности, близостью пляжей, чем индивидуальностью вашей родственницы, — она меня наводила на легкий жанр. Я обращал ее внимание, я ей показывал красивые вещи из тарлатана[464], прелестные газовые шарфы, какую-нибудь розовую шапочку, которую не портило розовое перышко. Но мне кажется, что ее красота, вещная,

плотная, требует ласкающих взгляд тряпок. Подойдет ли шляпка к этой огромной шапке волос, которую украсил бы только кокошник? Лишь немногим женщинам подойдут старинные платья, в которых есть что-то от театральных костюмов. Но красота этой девушки, уже женщины, составляет исключение, она заслуживала бы старинного платья из женевского бархата (я сейчас же подумал об Эльстире и о платьях фортюни), которые я не побоялся бы утяжелить инкрустациями или подвесками из дивных камней, вышедших из моды (по мне, это высшая похвала), как, например, перидот[465], марказит[466] и несравненный лабрадор[467]. Да и потом, в ней самой как будто заложен инстинкт противовеса несколько тяжелой красоте. Помните, перед отъездом на ужин в Ла-Распельер, как она брала с собой целый набор красивых коробочек, увесистых мешочков, куда она, выйдя замуж, положит не только белоснежную пудру и кармин, но и — в лаэуритовом ларчике, только не слишком ярком, — жемчуга и рубины, надеюсь, не поддельные, так как она может выйти замуж за богача».

«А вас, я вижу, барон, — прервал его Бришо, боясь, что его последние слова меня заденут: он сомневался в чистоте и в родственности моих отношений с Альбертиной, — очень занимают девушки!»

«Уж вы бы при ребенке помолчали, злюка!» — с усмешкой проговорил де Шарлю, движением, просящим о молчании, опустив руку, которую он, впрочем, тут же положил мне на плечо.]

[464] Примечания: 464

Марказит — полудрагоценный камень золотистого цвета.

[465] Примечания: 465

Лабрадор — минерал разных оттенков — от серого до золотисто-зеленого; используется в ювелирном деле.

[466] Примечания: 466

Ксенофонт (ок. 445 — ок. 355 до н. э.) — древнегреческий писатель, автор исторических сочинений и романов.

[467] Примечания: 467

Ангелус — утренняя или вечерняя молитва.

в глубине души все Германты, презирал мнение разночинцев, в силу чего двоюродный брат де Шарлю, герцог, представлявший собой другую разновидность, не смущаясь тем, что моя мать может его увидеть, в распахнутой ночной сорочке брился у окна? Разве де Шарлю не отказался во время своих стремительных поездок из Донсьера в Довиль от опасной привычки чувствовать себя как дома и, сдвинув соломенную шляпу, чтобы охладить свой огромный лоб, развязывать — для начала только на несколько минут — маску, так долго и неукоснительно привязывавшуюся к его лицу? Человек, наглядевшись на брачные отношения между де Шарлю и Морелем, имел бы все основания удивиться, когда бы узнал, что он его не любит. Но случилось так, что однообразие удовольствий, которые доставляет его порок, утомило его. Он инстинктивно искал новых успехов и, устав от неизвестных, с которыми он встречался, перешел на другой полюс, перешел к тому, что, как ему казалось, он всегда ненавидел, — к игре в «хозяйство» или в «отцовство». Временами это его не удовлетворяло, и он шел ночевать к женщине, подобно тому как у нормального мужчины может раз в жизни явиться желание переспать с мальчиком, причем обои-

ми движет противоположное и в обоих случаях одинаково нездоровое любопытство. Положение «верного», занимаемое бароном из-за Чарли[221] только в кланчике, чтобы больше не тратить усилий, какие он долго прилагал для притворного соблюдения приличий, имело на него такое же влияние, какое научная экспедиция или жизнь в колониях имеет на иных европейцев, которые утрачивают там принципы, какими они руководствовались во Франции. И все же внутренний переворот, вначале неосведомленный о том, что он заключает в себе аномалию, затем пугающийся, когда об этом узнает, и, наконец, сживающийся с ней до такой степени, что перестает замечать, что уже не может, не опасаясь, говорить на эту тему в обществе, и кончающий тем, что без стыда признается в ней самому себе, — этот переворот оказался для де Шарлю более мощной силой, отрывавшей его от участия в последних социальных схватках, чем время, проведенное у Вердюренов. Правда, он не побывал на Южном полюсе, не взбирался на вершину Монблана, что так же отдаляет нас от общества, как продолжительное пребывание в лоне порока,

[221] Примечания: 221
Стр. 208. Чарли — кличка Мореля в салоне Вердюренов.

то есть в лоне мысли, чуждой другим. Теперь де Шарлю придавал пороку (когда-то он именовал его так) благодушное обличье обыкновенного недостатка, очень распространенного, скорее симпатичного и даже, пожалуй, забавного, как, например, лень, рассеянность или обжорство. Чувствуя, что созданное им действующее лицо возбуждает любопытство, де Шарлю испытывал известное удовольствие оттого, что удовлетворяет его, что он его подзуживает, подогревает его. Подобно тому, как публицист-еврей ежедневно строит из себя поборника католицизма, вероятно, не с тайной надеждой, что его примут всерьез, а чтобы не обманывать ожиданий благожелательных хохотунов, де Шарлю в кланчике забавно высмеивал безнравственность, так же как он коверкал бы английский язык, подражал бы Муне-Сюлли[222], не дожидаясь, чтобы его об этом попросили, с целью добровольно внести свою лепту, показав в обществе свой талант любителя; как де Шарлю грозил Бришо донести в Сорбонну, что теперь Бришо прогуливается с молодыми людьми, так обрезанный хроникер по всякому поводу говорит о «старшей дочери

[222] Примечания: 222

Муне-Сюлли — сценический псевдоним Жана-Сюлли Муне (1841-1916), знаменитого французского драматического актера.

Церкви» и о «Сердце Христовом», то есть без тени лицемерия, но с примесью комедиантства. Изменились даже его выражения, теперь так резко отличавшиеся от тех, какие он употреблял прежде, что было небезлюбопытно найти этому объяснение, изменились интонации, жесты: и те и другие приобрели теперь разительное сходство с теми, над которыми де Шарлю злобно издевался когда-то; теперь у него непроизвольно вырывалось что-то вроде негромких вскриков — нечаянных, но тем более значительных, которыми сознательно обмениваются извращенные, перекликающиеся, называя друг друга «милочка»; это нарочитое ломанье, которому де Шарлю так долго не поддавался, представляло собой на самом деле искусное, гениальное воспроизведение такими, как де Шарлю, манер, которые были свойственны им всегда, но к которым они стали прибегать только теперь, вступив в определенную фазу их порока: так у паралитика или у страдающего атаксией в конце концов неизбежно появляются известные симптомы. В сущности, в этом изобличении внутреннего ломанья между строгим Шарлю в черном костюме, Шарлю, подстриженным бобриком, Шарлю, которого я знал давно, и накрашенными молодыми людьми, уве-

шанными драгоценностями, была та бьющая в глаза разница, какая существует между взволнованным человеком, говорящим быстро, которому не сидится на месте, и невропатом, цедящим слова сквозь зубы, всегда флегматичным, но страдающим той же формой неврастении с точки зрения врача, знающего, что и тот и другой так же тоскуют и обнаруживают признаки одного и того же заболевания. Словом, было заметно, что постарение де Шарлю сказывается в самых разных областях, начиная с необыкновенно частого употребления в разговорной речи выражений, которыми он теперь так и сыпал, которые поминутно вертелись у него на языке (например, «сцепление обстоятельств») и на которые барон опирался в каждой фразе, как на необходимую подпорку. «Чарли уже приехал?» — когда мы позвонили, спросил барона Бришо. «Почем я знаю? — возразил барон, подняв руки и полузакрыв глаза с видом человека, который не желает, чтобы его обвинили в нескромности, тем более что Морель, вероятно, упрекал его в том, что он говорит о вещах, которые Морелю (тщеславному трусу, отрекавшемуся от де Шарлю так же охотно, как и хваставшемуся своими отношениями с ним) казались важными, хотя это были сущие

пустяки. — Вы же знаете, что я в его жизнь не вмешиваюсь». Если два человека, находящиеся друг с другом в связи, лгут на каждом шагу, то они не находят ничего неестественного в разговорах, которые третье лицо ведет с человеком об особе, в которую тот влюблен, каков бы ни был пол этой особы.

«Вы давно его не видели?» — спросил я барона, чтобы показать, что я не боюсь говорить с ним о Мореле и что я не верю в их совместную жизнь. «Утром он забежал на минутку, когда я еще не совсем проснулся, и присел на край моей кровати, как будто собирался меня изнасиловать». У меня мелькнула мысль, что де Шарлю видел Чарли час назад: ведь когда спрашивают любовницу, когда она видела человека, о котором все говорят — и, быть может, она предполагает, что этому верят, — как о ее любовнике, то если она пила с ним чай, она отвечает: «Мы виделись с ним буквально одну минутку перед завтраком». Разница между этими двумя фактами только в том, что один *лжив*, а другой достоверен. Но первый тоже достоверен или, если хотите, столь же недостоверен. И мы так и не поймем, почему любовница (в данном случае — де Шарлю) выбирает всегда ложь, если нам неизвестно, что

ее ответы, без ведома человека, к которому они относятся, определяются множеством причин, множеством ненужным, для оправдания мелкого факта. Но для физика место, занимаемое ягодкой бузины, зависит от столкновения или равновесия законов притяжения и отталкивания, которые управляют более обширными мирами. Не станем перечислять подряд что попало: желание казаться естественным и смелым, инстинктивное движение с целью скрыть тайное свидание, смесь застенчивости и кичливости, потребность рассказать о том, что вам так отрадно, показать, что вы любимы, проникновение в то, что знает или предполагает — но о чем не говорит — собеседник, проницательность, которая, бродя вокруг ее проницательности, принуждает ее то усиливать, то уменьшать желание играть с огнем и стремление составлять часть огня. Самые разные законы, действуя в противоположных направлениях, диктуют ответы более общего характера: о невинности, о «платонизме» или, напротив, о велениях плоти, об отношениях с человеком, о котором вам говорят, что с ним виделись утром, тогда как на самом деле — вечером. Ну, а теперь скажем в общих чертах о де Шарлю: несмотря на обострение его порока, который все время побуж-

дал его разоблачать, наговаривать, временами просто-напросто выдумывать компрометирующие подробности, он пытался, в течение этого периода своей жизни, утверждать, что Чарли не принадлежит к тому же сорту мужчин, что и он, де Шарлю, что их связывает только дружба. Подобное утверждение (хотя в нем, может быть, заключалась доля истины) уживалось у него с тем, что временами он себе противоречил (как, например, сейчас, когда он его только что видел): забыв, что говорил правду, он выдумывал небылицу, чтобы похвастаться, чтобы показаться человеком сентиментальным или же чтобы сбить с толку собеседника. «Знаете, он для меня — славный младший товарищ, — продолжал барон, — я к нему очень привязан и уверен (значит, он ощущал необходимость в том, чтобы подчеркивать, что он уверен?), что и он — ко мне, но ничего другого между нами нет, ни на вот столько — понимаете? — ни на вот столько, — произнес барон таким естественным тоном, как будто речь шла о женщине. — Да, он утром ко мне пришел и потянул меня за ноги. А ведь для него не тайна, что я ненавижу, когда меня видят лежащим. А вы — нет? Ах, это ужасно, это стесняет, человек в этом положении безобразен — испугаться можно,

я отлично понимаю, что мне уже не двадцать пять лет и что я не позирую перед девушкой, и все-таки слегка кокетничаешь».

Возможно, что барон был искренен, когда говорил о Мореле как о славном младшем товарище, и что, быть может, он говорил правду, думая, что лжет: «Я не знаю, чем он занимается, я в его жизнь не вмешиваюсь». Заметим, однако (сейчас мы забегаем на некоторое время вперед и вернемся к рассказу после этих скобок, которые мы открываем в тот момент, когда де Шарлю, Бришо и я направляемся к г-же Вердюрен), заметим, что вскоре после этого вечера барон был изумлен и огорчен: он случайно прочел письмо, адресованное Морелю. Это письмо, которое рикошетом должно было больно ударить по мне, было написано актрисой Леа, известной своим пристрастием к женщинам. Так вот, ее письмо к Морелю, о существовании которого де Шарлю не подозревал, было написано в самых пылких выражениях. Из-за его грубости оно не может быть здесь воспроизведено — мы только отметим, что Леа писала к Морелю, как к женщине: «Подлая ты шкура!», «Ненаглядная моя красавица», «Ты, по крайней мере, такая» — и т. д. В этом письме шла речь о других женщинах, которые, видимо,

были такими же близкими подругами Мореля, как и Леа. Насмешки Мореля над де Шарлю и Леа — над офицером, который ее содержал и о котором она писала: «Он умоляет меня в письмах быть умницей! Можешь себе представить, мой пушистый котеночек?» — явились для де Шарлю такой же неожиданностью, как и необыкновенные отношения между Морелем и Леа. Особенно смутило барона выражение «такая». Сначала он ничего не понял, но наконец, по прошествии долгого времени, сообразил, что ведь и он — «такая». Это заставило его призадуматься. Когда он догадался, что и он — «такая», ему стало ясно, что это значит; как говорит Сен-Симон, он любил не женщин. А Морель выражение «такая» толковал расширительно, о чем де Шарлю не имел понятия, толковал так часто и так удачно, что по этому письму было видно, что он — «такая», что он любит женщин, как женщина. С тех пор ревность де Шарлю не должна была ограничиваться мужчинами, которых Морель знал, — она должна была распространяться и на женщин. Следовательно, «такими» были не только те, которых он в этом подозревал, — «такой» была огромная часть планеты, состоявшая из женщин, равно как и из мужчин, мужчин, любивших не

только мужчин, но и женщин, и барон, постигнув новое значение слова, столь для него знакомого, испытывал тревогу ума и души перед этой двойной тайной, усиливавшей его ревность и внезапно вскрывшей неполноту его прежнего определения.

Де Шарлю всегда был только любителем. Это значит, что подобного рода случаи не приносили ему никакой пользы. Тяжелые впечатления он обычно претворял в бурные сцены, во время которых он блистал красноречием, или в хитроумные интриги. А для такого высокоодаренного человека, как Бергот, они могли бы быть драгоценной находкой. Это, пожалуй, служит частичным объяснением тому (мы же идем ощупью, но, подобно животным, выбирая растение, которое нас к себе привлекает), что такие люди, как Бергот, проводят обычно время в обществе женщин посредственных, лживых и злых. Их красота пленяет воображение писателя, пробуждает в нем добрые чувства, но ни в чем не меняет натуру его спутницы: ее жизнь, находящаяся на тысячу метров ниже, равно как иллюзорность отношений, ложь, исходящая оттуда и движущаяся главным образом в том направлении, где ее не ожидаешь, — все это время от времени

вспышками молнии предстает взору. Ложь, ложь, достигающая совершенства, ложь о наших знакомых, о наших с ними отношениях, побудительная причина, заставившая нас действовать так-то и так-то и совершенно нами переиначенная, ложь о том, что мы собой представляем, о том, что мы любим, что мы испытываем по отношению к любящему существу, которое думает, что мы так же устроены, как оно, ибо целуется с нами весь день, — эта ложь — одна из немногих вещей в мире, способных открыть нам вид на новое, на неведомое, способных разбудить спящие в нас чувства — разбудить для созерцания вселенной, которую мы бы так и не узнали. Что касается де Шарлю, то мы должны заметить, что, потрясенный тем, что он узнал о Мореле такие вещи, которые от него тщательно скрывались, он был бы не прав, если бы сделал отсюда вывод, что с простонародьем не стоит связываться. В последнем томе настоящего труда мы увидим, что де Шарлю совершает поступки, которые привели бы в большее изумление его родных и друзей, чем жизнь, на которую ему раскрыла глаза Леа.

Однако пора догнать барона, идущего с Бришо и со мной к Вердюренам. «А что поделывает, — повернувшись ко мне, спросил он, — ваш юный

друг — еврей, которого мы видели в Довиле? Я подумал вот о чем: если это доставит вам удовольствие, то можно пригласить его как-нибудь вечерком». Не довольствуясь бессовестной слежкой — слежкой соглядатая за действиями Мореля, он, как муж или же как любовник, не оставлял своим вниманием других молодых людей. Наблюдение за Морелем, которое он возложил на старого слугу, было до того назойливым, что выездным лакеям казалось, будто за ними все время подсматривают, горничной и вовсе житья не стало: она боялась выйти на улицу, ей всюду мерещился полицейский, гонящийся за ней по пятам. А старый слуга с насмешкой урезонивал барона: «Она может делать все, что угодно! Кому охота терять на нее время и деньги? Какое нам до нее дело?» Он был так трогательно привязан к своему господину, что, ни в малой мере не разделяя его пристрастий, в конце концов начал усердно служить избранникам барона и говорить о них так, как будто это были его избранники. «Другого такого поискать!» — отзывался о своем старом слуге де Шарлю: ведь мы же особенно высоко ценим таких людей, у которых к их большим достоинствам присоединяется еще одно — они позволяют постоянно ставить себя на службу

нашим порокам. Де Шарлю ревновал Мореля только к мужчинам такой высокой марки. К женщинам столь же высокой марки он его не ревновал. Впрочем, это присуще почти всем де Шарлю. Любовь к мужчине, которого они любят, как женщину, — это уже нечто другое; эта иная порода животных (лев не трогает тигров) но стесняет их, скорее даже успокаивает. Правда, в иных случаях те, для кого извращение — священнодействие, такого рода любовью брезгуют. Они гневаются на своего друга за то, что он предался такой любви, и смотрят на это не как на измену, а как на отсутствие вкуса. Какой-нибудь Шарлю, другой Шарлю, не барон, был бы так же возмущен, увидев Мореля с женщиной, как если б прочел на афише, что он, исполнитель Баха и Генделя, будет играть Пуччини[223]. Кстати, вот почему молодые люди, которые из любопытства отвечают взаимностью баронам де Шарлю, уверяют их, что «намаханные» ничего, кроме отвращения, у них не вызывают; это все равно, как если бы они сказали врачу, что никогда не пьют спиртного и любят только минеральную воду. Но в этом пункте де Шарлю не совсем подходил

[223] Примечания: 223

Стр. 214. Пуччини Джакомо (1859-1924) — итальянский композитор, автор популярных опер «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и др.

под общее правило. Он восхищался в Мореле всем, и успехи Мореля у женщин не вызывали у него опасений — они так же радовали де Шарлю, как успех Мореля на концерте или его удачная игра в экарте. «Вы знаете, дорогой мой, ему от баб проходу нет, — говорил он с видом человека, сделавшего открытие, оповещающего о скандале, быть может завидующего, но главное — восхищающегося. — Это что-то невообразимое. Прославившиеся на весь свет б… всюду глаз с него не сводят. На него везде обращают внимание — и в метро, и в театре. Как они мне надоели! Только мы придем с ним в ресторан, как уже гарсон несет ему записочки по крайней мере от трех женщин. И непременно — от красивых! Впрочем, это не удивительно. Я посмотрел на него вчера, и я их понял: он так похорошел, точно сошел с полотна Бронзино[224]. Нет, правда, он очарователен». Барону было приятно говорить о своей любви к Морелю, но ему нравилось также уверять других, а быть может, и себя самого, что и Морель его любит. Он от него не отходил и, несмотря на то, что этот худородный молодой человек мог повредить положению барона в обществе, тешил этим

[224] Примечания: 224

Бронзино Анджелло (1503-1572) — итальянский художник, автор целой серии портретов своих современников.

свое самолюбие. Дело в том (этот случай часто наблюдается среди снобов, занимающих высокое положение: они из тщеславия рвут отношения со всеми, лишь бы их всюду видели вдвоем с любовницей — дамой полусвета или продажной женщиной, которых никто но принимает и связью с которыми они, по-видимому, гордятся), что он дошел до той точки, когда самолюбие с неослабным упорством разрушает все, чего человек достиг: то ли под влиянием чувства в подчеркнутой близости с любимым существом ему видится особое очарование, то ли в связи с утолением светского честолюбия и приливом любопытства к служаночкам, любопытства тем более сильного, что оно более платонично, и эти его новые привязанности не только достигали уровня, на котором с трудом держались другие, но и возвышались над ним.

Что касается других молодых людей, нравившихся барону, то для них существование Мореля не служило препятствием, напротив: его блестящая репутация скрипача и его растущая известность как композитора и журналиста могла в иных случаях быть для них приманкой. Если барона знакомили с молодым композитором приятной наружности, то он изъявлял желание

оказать новичку услугу, связанную с талантами Мореля. «Принесите мне, пожалуйста, что-нибудь из ваших сочинений, — говорил он, — а Морель сыграет его в концерте или в турне. Для скрипки написано так мало хорошей музыки! Найти что-нибудь новое — это большая удача. Иностранцы тоже высоко это ценят. Даже в провинции есть маленькие музыкальные кружки, в которые входят люди, страстно любящие музыку и отлично разбирающиеся в ней». Столь же неискренне (ведь все это было наживкой, и ничем больше, — Морель редко исполнял эти вещи), как Блок, который говорил о себе, что он немного поэт, — «в определенные часы» — добавлял он с саркастическим смехом, каким он сопровождал банальность в том случае, если не мог подыскать оригинальной мысли, — де Шарлю сказал мне: «Передайте юному израильтянину: раз он пишет стихи, он должен непременно принести их для Мореля. Для композитора это трудная задача: найти что-нибудь красивое и положить на музыку. Следовало бы подумать о сборнике либретто. Это было бы небезынтересно и пригодилось бы поэту при моей протекции, при сцеплении побочных обстоятельств, среди которых талант Мореля занимает первое место. Ведь Морель теперь много

сочиняет, и пишет тоже, пишет очень красиво, я с вами еще об этом поговорю. Что касается его исполнительского дара (тут, как вы знаете, он уже зрелый мастер), то вечером вы услышите, как прекрасно этот паренек играет Вентейля. Он переворачивает мне душу; в его возрасте так глубоко понимать музыку и оставаться при этом настоящим мальчишкой, школяром! Вечером будет маленькая репетиция. Большой концерт состоится через несколько дней. Но самое изящное будет сегодня. Словом, мы в восторге, что вы приехали, — сказал он, употребляя „мы“, без сомнения, потому же, почему король говорит: „Мы желаем“. — Из-за великолепной программы я посоветовал госпоже Вердюрен устроить два праздника: один — через несколько дней, на котором она увидит всех его знакомых, а другой — сегодня вечером, на котором Покровительница, выражаясь юридическим языком, откажется от своих прав. Приглашал я, и мне удалось залучить милых людей из другой среды, которые могут быть полезны Чарли и познакомиться с которыми будет приятно Вердюренам. Конечно, попросить самого большого музыканта сыграть самые лучшие вещи — это чудесно, но резонанс будет приглушен, как в коробке, если публика

состоит из галантерейщицы, торгующей напротив, и из бакалейщика, торгующего на углу. Вам известны мои взгляды на интеллектуальный уровень светских людей, но некоторые из них играют довольно видную роль, например — роль, предоставленную политическими событиями прессе, — роль разгласителя. Вы понимаете, что я под этим подразумеваю. Например, я пригласил мою невестку Ориану; я не уверен, что она приедет, зато я уверен, что если она приедет, то не поймет решительно ничего. Но от нее и не требуется понимать — это ей не по силам, — от нее требуется говорить, а это ей свойственно в высшей степени, и тут уж она маху не даст. Следствие: с завтрашнего дня вместо молчания галантерейщицы и бакалейщика — оживленный разговор у Мортемаров[225], где Ориана рассказывает, что она слышала дивные вещи, которые некто Морель — и так далее. Неописуемое бешенство неприглашенных; они скажут: «Паламед, конечно, рассудил, что мы недостойны; ну да какой спрос с людей, у которых все в прошлом!»

---

[225] Примечания: 225

Стр. 216. Мортемары — старинный дворянский род, представители которого, возможно, существовали и во времена Пруста. К этому роду принадлежала, в частности, г-жа де Монтеспан (1641-1707), одна из возлюбленных Людовика XIV.

Противоположное мнение так же полезно, как и восторги Орианы: имя Мореля не сходит с уст и в конце концов отпечатлевается в памяти, как урок, который вытверживают десять раз подряд. Все это образует сцепление обстоятельств, которое может быть полезно и музыканту, и хозяйке дома, может служить чем-то вроде мегафона для широкой публики. Его, правда, стоит послушать: вы увидите, какие он сделал успехи. А кроме того, в нем находят еще один талант, дорогой мой: он пишет божественно. Уверяю вас, божественно». Де Шарлю не упомянул, что с некоторого времени он поручил Морелю — подобно вельможе XVII века, считавшему для себя унизительным подписывать и даже сочинять пасквили, — придумывать заметки, полные низкой клеветы,[226] и направленные против графини Моле[227]. Если они казались наглыми читателям, то как же они должны были ранить сердце молодой женщины, находившей в них так ловко вставленные, что

---

[226] Примечания: 226

…придумывать заметки, полные низкой клеветы… — В рукописи назван псевдоним, под которым Морель публиковал свои заметки, — Шармель.

[227] Примечания: 227

Графиня Моле — персонаж книг Пруста; упоминается в романах «Содом и Гоморра», «Пленница», «Обретенное время». Представители этой аристократической семьи реально существовали и в конце XIX в.

никто ничего не замечал, отрывки из ее писем, которые цитировались точно, но которым был придан другой смысл, вследствие чего они могли довести ее до сумасшествия, как самая жестокая месть. Она была смертельно оскорблена. В Париже, — сказал бы Бальзак, — выходит нечто вроде ежедневной устной газеты, нестрашнее любой другой. Впоследствии мы увидим, что эта устная пресса сокрушила могущество де Шарлю, уже вышедшего из моды, и вознесла Мореля, не годившегося в подметки своему бывшему покровителю. До чего же наивна эта интеллектуальная мода! Она искренне верит в падение какого-нибудь гениального Шарлю и в непререкаемый авторитет дуралея Мореля. Барон знал толк в такого рода беспощадной мести. Отсюда, конечно, этот яд, скоплявшийся у его губ и, когда он приходил в ярость, растекавшийся по щекам, словно он заболел желтухой.

«Вы знаете Бергота.[228] Я подумал, что, быть может, освежив в его памяти впечатление от прозы этого юнца, вы могли бы сотрудничать, в сущности, со мной, помогать мне создавать сцепление

[228] Примечания: 228

Стр. 217. «Вы знаете Бергота…» — Следующий далее текст написан явно до того, как Пруст создал замечательные страницы, рассказывающие о смерти Бергота.

обстоятельств, содействующее развитию двойного таланта — музыканта и писателя, который в один прекрасный день может достичь, вершин Берлиоза[229]. Вы понимаете, что нужно сказать Берготу. Знаменитости часто, знаете ли, говорят не то, что думают, им кадят, интересуются они только самими собой. Но Бергот человек простой, услужливый, ему ничего не стоит помещать в «Голуа» или где-нибудь еще маленькие заметки в хронике, написанные наполовину юмористом, наполовину музыкантом; они, в самом деле, очень милы, и я, в самом деле, буду весьма рад, если Чарли прибавит к скрипке два-три мазка Энгра.[230] Я знаю, что легко впадаю в преувеличение, когда речь идет о нем, как все старые обожатели консерватории. Дорогой мой, разве вы не слыхали? Стало быть, вы не имеете понятия о главном моем увлечении. Я часами выстаиваю у двери комнаты, где заседает жюри. Меня это забавляет, как ребенка. Что касается Бергота, то он

---

[229] Примечания: 229

Берлиоз Гектор (1803-1869) — французский композитор; Пруст хорошо знал его творчество и не раз писал о нем.

[230] Примечания: 230

...прибавит к скрипке два-три мазка Энгра. — Замечательный французский живописец Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780-1867) был также скрипачом-любителем, откуда возникло выражение «скрипка Энгра» для обозначения еще одного увлечения большого мастера.

меня уверил, что это правда очень интересно».

Де Шарлю, которого давно познакомил с Берготом Сван, действительно был у него и попросил, чтобы тот доставил Морелю возможность писать в газету полуюмористические заметки о музыке. Направляясь к Берготу, де Шарлю испытывал чувство неловкости, так как, будучи большим поклонником Бергота, он ни разу не посещал его ради него самого, но так как Бергот и в интеллектуальном и в социальном отношении представлял собой для него величину, то он воспользовался этим знакомством, чтобы оказать неоценимую услугу Морелю, графине Моле и другим. То, что де Шарлю пользовался знакомством со светскими людьми, не коробило его, но с Берготом дело обстояло сложнее — он же отдавал себе отчет, что на Бергота нельзя смотреть только как на исполнителя просьб, что Бергот заслуживает лучшего. Но он всегда был очень занят, и у него находилось свободное время, только когда ему чего-нибудь очень хотелось, например — повидаться с Морелем. Кроме того, для де Шарлю, как для человека в высшей степени интеллигентного, беседа с человеком интеллигентным не представляла интереса, особенно с Берготом, — Бергот был, с его точки

зрения, слишком литератор и из другого клана, они были люди разных взглядов. А Бергот хотя и отдавал себе отчет в корыстности визитов де Шарлю, но возмущения в нем это не вызывало; он не был постоянен в своем добролюбии, но ему нравилось доставлять удовольствия, он был отзывчив, не любил читать нравоучения. Что касается порока де Шарлю, то сам он не был им заражен ни в малой мере, но в его глазах — глазах художника — это придавало действующему лицу известную колоритность: fas et nefas[231], содержащееся не в примерах нравственной жизни, но в воспоминаниях о Платоне и о Содоме[232]. «Мне бы так хотелось, чтобы он приехал сегодня, — он бы послушал, что Чарли играет лучше всего. Но он, кажется, не выходит, не любит, чтобы ему надоедали, и он прав. Но и вас, прелестная молодежь, на набережной Конти не видать. Вы себя не утруждаете!» Я сказал, что выхожу из дому только с моей родственницей. «Вот так так! Он выходит только со своей родственницей. Какое благонравие! — обратившись к Бришо, сказал де

[231] Примечания: 231

Дозволенное и недозволенное (лат.).

[232] Примечания: 232

Стр. 218. Содома — прозвище итальянского художника, последователя Леонардо да Винчи, Джованни Антонио Бацци (1477-1549).

Шарлю. А затем снова обратился ко мне: — Да мы же не спрашиваем с вас отчета в ваших поступках, *диттта* мое! Вы вольны делать все, что вас забавляет. Мы только жалеем, что вы не бываете на концертах. А впрочем, у вас отменный вкус, ваша родственница очаровательна, спросите у Бришо: Довиль не выходит у него из головы. Жаль, что ее не будет вечером. Но вы, пожалуй, были правы, что не взяли ее с собой. Музыка Вентейля чудесна. Но утром я узнал от Чарли, что здесь будет дочь композитора с подругой, а ведь у них ужасная репутация. Для молодой девушки это не компания. Мне и то неловко перед теми, кого я пригласил. Но они почти все — солидного возраста, и для них это не может иметь последствий. Они будут здесь, даже если эти две девицы не смогут прибыть: они каждый день непременно должны быть на разучивании этюдов у госпожи Вердюрен, а госпожа Вердюрен приглашает на этюды людей скучных, родню или кого не должно быть сегодня вечером. Так вот, перед обедом Чарли объявил мне, что тех, кого мы называем «двумя девицами Вентейль», которых ждали непременно, не будет». Несмотря на невыносимую муку, вновь принявшуюся меня терзать только оттого, что мне стало наконец по-

нятно, почему Альбертине захотелось съездить к г-же Вердюрен, так как было объявлено о присутствии на вечере (чего я не знал) мадмуазель Вентейль и ее подруги, я все же сохранил ясность ума настолько, чтобы заметить, что де Шарлю, сказавший нам, что не видел Чарли с утра, несколько минут спустя, не подумав, сознался, что видел его перед обедом. Мое отчаяние стало заметно. «Что с вами? — спросил барон. — Вы позеленели, пойдемте скорей, а то простудитесь, у вас вид больного». Де Шарлю далеко не первый заставил меня усомниться в добродетели Альбертины. В мою душу уже закралось много других сомнений; при каждом новом сомнении кажется, что чаша переполнена, что больше не выдержишь, но потом все-таки находишь какое-то объяснение; войдя в нашу жизнь, оно вступает в непрерывную борьбу с желанием верить, с предлогами для забвения, так что довольно скоро с ним осваиваешься и в конце концов больше не думаешь о нем. Оно дает о себе знать лишь как не совсем залеченная болезнь, просто как угроза будущих страданий, на него смотришь как на оборотную сторону желания такого же порядка, и, подобно желанию, оно становится центром наших мыслей, обволакивает их на бесконеч-

ном расстоянии тончайшей грустью, подобно желанию, доставляет удовольствия непонятного происхождения — всюду, где что-то наводит на мысль о нашей любимой. Боль возникает снова, когда в нас входит новое сомнение, входит все целиком. Мы вольны почти сейчас же начать внушать себе: «Я приспособлюсь; я найду средство от страдания; этого не может быть» — все же в первый момент мы страдаем так, как можно страдать, только если веришь. Если б у нас ничего другого не было, кроме ног и рук, жизнь была бы сносной. К несчастью, в нас заключён маленький орган, который мы именуем сердцем, — орган, предрасположенный к заболеваниям, во время которых мы бываем необычайно чувствительны ко всему, что касается жизни некоей особы и когда ложь — вещь вообще вполне безобидная, среди которой нам так весело живется, все равно, кто бы ни солгал: мы ли сами или кто-нибудь другой, — ложь, исходящая от этой особы, причиняет нашему сердечку, которое хорошо бы удалить хирургическим путем, боль нестерпимую. Не будем говорить о мозге — наша мысль может сколько угодно рассуждать в течение сердечных припадков — она в состоянии их успокоить с таким же успехом, с каким наше внимание —

зубную боль. Эта особа способна солгать нам, так как она поклялась всегда говорить правду. Но мы знаем и по собственному опыту, и по опыту других людей, чего стоят такие клятвы. Мы хотели верить им, как раз когда в ее интересах было лгать, и ведь мы полюбили ее не за добродетели. Впоследствии ей почти не представится необходимости лгать нам — именно тогда, когда наше сердце станет равнодушным ко лжи, потому что ее жизнь уже утратила для нас свой интерес. Все это мы знаем, и, однако, мы с радостью пожертвуем ей своей жизнью — то ли наложим на себя руки, то ли убьем кого-нибудь другого и нам вынесут смертный приговор, то ли мы в несколько лет промотаем для нее все наше состояние, и это опять-таки заставит нас покончить с собой, потому что нам нечем будет жить. К тому же, как бы нам ни казалось, что мы спокойны, когда любим, любовь в нашем сердце всегда находится в положении неустойчивого равновесия. Всякая мелочь может внести в него счастье; мы сияем, мы расточаем ласки не ей, а тем, кто поднял нас в ее глазах, кто охранил ее от всяких посягательств; нам кажется, что мы спокойны, но достаточно нескольких слов: «Жильберта не придет», «Мадмуазель Вентейль приглашена»,

чтобы ожидаемое счастье, навстречу которому мы готовы устремиться, рухнуло, чтобы солнце спряталось, чтобы роза ветров повернулась, чтобы разбушевалась внутренняя буря, для сопротивления которой у нас в конце концов недостанет сил. В этот день, день, когда сердце становится таким слабым, наши близкие друзья страдают оттого, что какие-то ничтожества, какие-то людишки могут делать нам больно, могут нас уморить. Но что от них зависит? Если поэт умирает от воспаления легких, можно ли себе представить, что его друзья убедят пневмококка, что поэт талантлив и что нужно его вылечить? Подозрение, касавшееся мадмуазель Вентейль, закрадывалось ко мне не впервые. Но хотя оно и достигло определенных размеров, ревность, вспыхнувшая во мне днем из-за Леа и ее подруг, уничтожила его. Как только опасность Трокадеро миновала, я почувствовал, мне показалось, что я навсегда добился нерушимого мира. Но что явилось для меня полной неожиданностью, так это слова Андре, сказанные ею на прогулке: «Мы тут все обошли и никого не встретили», а между тем здесь, очевидно, мадмуазель Вентейль назначала свидание Альбертине у г-жи Вердюрен. Теперь я бы охотно отпустил Альбертину одну гулять

где ей угодно, лишь бы я мог держать где-нибудь взаперти мадмуазель Вентейль и ее подругу и быть уверенным, что Альбертина их не видит. Дело в том, что ревность — не единое целое, ей свойственны перемежающиеся локализации, то ли потому, что она является мучительным продолжением тревоги, вызываемой то одной особой, то другой, в которую наша подружка способна влюбиться, то ли из-за скудости нашей мысли, которая осознает лишь то, что она ясно себе представляет, что же касается всего прочего, то оно для нее останется в тумане, и страдать из-за него, в сущности, невозможно.

Когда мы вошли во двор, нас встретил Саньет, но не сразу понял, кто мы. «Я вас только сейчас узнал, — отдуваясь, сказал он. — Дивно, что я колебался, правда? — Сказать „удивительно“ вместо „дивно“ — это показалось бы ему ошибкой; он обращался со старинными выражениями удручающе свободно. — А между тем видно же, что это друзья. — Его серое лицо, казалось, было освещено свинцовым светом надвигающейся грозы. Одышка, которая еще этим летом появлялась у него, только когда Вердюрен принимался его „пиявить“, теперь не отпускала его ни на минуту. — Мне говорили, что будет исполнено

неизданное произведение Вентейля; исполнители — превосходные, в частности — Морель». — «Почему — „в частности“?» — спросил барон — в этом выражении ему послышалось что-то неуважительное. «Наш друг Саньет, знаменитый ученый, — поспешил пояснить Бришо, взявший на себя роль переводчика, — предпочитает говорить на языке того времени, когда „в частности“ соответствовало нашему „в особенности“.

В передней де Шарлю задал мне вопрос, работаю ли я; я ответил, что нет, но что в настоящее время я очень интересуюсь старинными серебряными и фарфоровыми сервизами. Он мне сказал, что лучших сервизов, чем у Вердюренов, я нигде не увижу, что я мог бы их увидеть в Ла-Распельер, так как, под тем предлогом, что вещи тоже друзья, Вердюрены от великого ума все брали с собой; что с вечера уходить крайне неудобно, но что он все-таки попросит показать то, что мне хочется посмотреть. Я сказал, чтобы он не беспокоился. Де Шарлю расстегнул пальто, снял шляпу; на верхушке его головы засеребрилось. Подобно редкостному растению, которое расцвечивает осень и листья которого укутывают в вату и обмазывают гипсом, де Шарлю от седины на голове в сочетании с сединой в бороде еще более запест-

релся. И все же, несмотря на многослойность взгляда, на румяна, на грубую краску лидемерия, лицо де Шарлю продолжало составлять почти для всех загадку, я же считал, что ничего яснее тут быть не может. Я боялся смотреть ему в глаза, чтобы он не понял, что я читаю в них, как в раскрытой книге, мне было неловко слушать его — казалось, он с неутомимым бесстыдством на все лады твердит о своей тайне. Но такого рода тайны находятся под надежной защитой, так как все, приближающиеся к ним, глухи и слепы. Люди, узнававшие истину от того, от другого, допустим — от Вердюренов, верили в нее, но — до знакомства с де Шарлю. Его лицо не распространяло, а рассеивало дурные слухи. Некоторые индивидуумы, как нам представляется, стоят на такой высоте, что мы не можем приложить к ним обычную мерку, какую мы прилагаем к нашим близким знакомым. Нам трудно поверить в пороки, так же как мы ни за что не поверим в гениальность человека, с которым мы только вчера были в Опере.

Де Шарлю снимал пальто и отдавал лакею приказания, какие может отдавать завсегдатай. Но лакей был новичок, совсем молоденький. У де Шарлю часто, как говорится, голова бывала не в

порядке, и он не знал, что нужно делать и чего не следует. В Бальбеке у него было похвальное намерение — показывать, что он не боится говорить на определенные темы, не боится сказать о ком-нибудь: «Какой хорошенький мальчик?» — словом, не боится говорить такие вещи, которые мог бы сказать всякий, кто не был таким, как он, а теперь, наоборот, ему случалось говорить о вещах, о которых ни за что не стал бы говорить не такой, как он, о вещах, на которых его ум был постоянно сосредоточен, и он забывал, что других людей это очень мало интересует. Итак, оглядев нового лакея, барон поднял указательный палец и угрожающим тоном, полагая, что это милая шутка, изрек: «Я вам запрещаю строить мне глазки. — А затем повернулся к Бришо: — У этого малыша смешная мордочка, у него забавный нос». Желая поставить жирную точку на своей шуточке или удовлетворить какое-то свое желание, он привел указательный палец в горизонтальное положение, а затем, после некоторого колебания, не в силах дольше себя сдерживать, направил палец прямо в нос лакею и, дотронувшись до кончика его носа, сказал «Пиф!», после чего, вместе с Бришо и со мной, направился в гостиную; Саньет успел сообщить

нам, что княгиня Щербатова[233] скончалась в шесть часов. «Ну и чудачина!» — сказал лакей и спросил товарищей, кто такой этот барон — шут гороховый или у него не все дома. «Это у него такие манеры, — ответил метрдотель (он думал, что барон немножко „того“, „тронутый“), — но это друг госпожи Вердюрен, я его очень даже уважаю, человек он хороший».

«Вы поедете в этом году в Энкарвиль? — спросил меня Бришо. — По-моему, наша Покровительница опять сняла Ла-Распельер, хотя у нее вышло недоразумение с хозяевами. Ну да это пустяки, милые бранятся — только тешатся», — добавил он в духе газетного оптимиста, который выражается так: «Тут были ошибки в самом их допущении, это верно, но кто не допускает ошибок?» Мне было еще памятно тяжелое состояние, в каком я уезжал из Бальбека, и у меня не было ни малейшего желания туда возвращаться. Я каждый день

---

[233] Примечания: 233

Стр. 223. Щербатова — персонаж книг Пруста; о встречах героя с нею рассказано в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 286 и сл.). Такой русской аристократки, посещавшей салон Вердюренов, конечно, не существовало; этот персонаж придуман Прустом. Но в первые годы XX в. в Париже жил князь С. А. Щербатов с женой; они были близки к художественным кругам французской столицы. Сам Щербатов занимался живописью, портрет его жены написал В. А. Серов. Возможно, Пруст знал этих супругов или слышал о них от общих знакомых, что и подсказало ему фамилию его персонажа.

откладывал на завтра обсуждение моих планов с Альбертиной. «Он непременно туда приедет, это наше общее желание, он нам необходим», — заявил де Шарлю с не допускающим возражений, непонятливым эгоизмом любезности.

Мы выразили Вердюрену сочувствие по поводу кончины княгини Щербатовой. «Да, я знаю, она очень плоха», — сказал он. «Да нет, она скончалась в шесть часов!» — воскликнул Саньет. «Вы всегда преувеличиваете», — резко заметил Саньету Вердюрен, — поскольку вечер не был отложен, он предпочитал гипотезу болезни: тут он, сам того не ведая, подражал герцогу Германтскому. Саньет, побаиваясь холода, так как дверь во двор все время отворялась, покорно ждал, когда у него возьмут верхнее платье. «Что это вы тут расположились в позе спящей собаки?» — спросил его Вердюрен. «Жду, чтобы кто-нибудь из тех, кто смотрит вещи, взял у меня пальто и выдал номерок». — «Как вы говорите? „Смотрит вещи“? — со злобным лицом спросил Вердюрен. — Вы что, слабоумный? Говорят: „смотреть за вещами“. Вас надо опять учить говорить, как будто у вас был удар!» — «Смотреть вещи» — это правильная форма, — задыхаясь, еле выговорил

Саньет. — Аббат Баттё...[234]» — «Вы меня из себя вон выводите! — завопил Вердюрен. — Почему вы так тяжело дышите? Вы что, да семь этажей взобрались?» Грубое обращение Вврдюрена с Саньетом послужило причиной того, что служащие в гардеробной пропустили несколько человек раньше Саньета и, когда он протянул им свое платье, сказали: «По очереди, сударь, не торопитесь». «Вот как надо следить за порядком, вот как надо знать свое дело, отлично, молодцы! — сказал с подбадривающей улыбкой Вердюрен для того, чтобы укрепить слуг в намерении взять платье у Саньета после всех. — Пойдемте, — сказал он, обращаясь к Бришо и ко мне. — Здесь эта скотина с его любовью к сквознякам уморит нас. В гостиной мы согреемся. „Смотреть вещи“! Вот болван!» — воскликнул он, когда мы были уже в гостиной. «Он манерничает, но вообще-то он человек неплохой», — возразил Бришо. «Да я и не говорю, что плохой, — я говорю только, что он болван», — с досадой отпарировал Вердюрен.

В это время у г-жи Вердюрен происходило важное совещание с Котаром и Ским. Морель отказался от приглашения (так как де Шарлю не мог там

[234] Примечания: 234

Стр. 223. Баттё Шарль (1713-1780) — французский эрудит в теоретик литературы.

быть) ее друзей, которым она, однако, обещала участие скрипача. Причина отказа Мореля играть на вечере у друзей Вердюренов, к которой, как мы сейчас увидим, примешались гораздо более серьезные, могла иметь значение в среде праздных людей, особенно — «в ядрышке». Если г-жа Вердюрен перехватывала перешептыванье между новичком и «верным» и могла предполагать, что они знакомы и хотят подружиться («Значит, в пятницу у таких-то» — или: «Заходите в мастерскую в любой день, я там всегда до пяти часов, вы мне доставите истинное удовольствие»), то, взволнованная этим, рассчитывая, что новичок благодаря «совокупности обстоятельств» может оказаться блестящим новобранцем для кланчика, сделав вид, будто она ничего не слыхала, сохраняя в своих чудных глазах с кругами, которые кокаин так не наведет, как любовь к Дебюсси, изнеможенное выражение, какое им придавало опьянение музыкой, в то время как в ее красивой голове, распухшей от стольких квартетов и от постоянных мигреней, кружились мысли, не всегда связанные с музыкой, и, наконец, не в силах сдержать себя, не в состоянии дольше ждать инъекции, Покровительница бросалась к двум собеседникам, отводила их в сторону и говорила

новичку, указывая на «верного»: «Не угодно ли вам пообедать у нас с ним, — скажем, в субботу или в другой день, какой вам удобнее, вместе с милыми людьми? Говорите тише, а то ведь я не собираюсь звать весь этот сброд». (Такое название давалось кланчику только на пять минут — ему выказывалось презрение ради новичка, на которого возлагались большие надежды.)

Потребность увлекаться, сближаться составляла одну сторону жизни кланчика. Привычка к средам породила у Вердюренов противоположную склонность. Это было желание ссорить, отдалять. Оно укрепилось, стало почти неистовым за те месяцы, что они провели в Ла-Распельер, где его можно было наблюдать с утра до вечера. Вердюрен изощрялся в уменье ловить на ошибке, растягивать паутину так, чтобы его подруга жизни не пропустила ни одной самой безобидной мушки. Если не в чем было упрекнуть, выдумывались смешные черточки. Через полчаса после того, как уходил «верный», над ним смеялись, притворялись удивленными, что не замечают, какие у него давно не чищенные зубы, или, наоборот, что у него причуда — чистить зубы двадцать раз на дню. Если кто-нибудь позволял себе отворить окно, то Покровитель и Покро-

вительница, возмущенные таким недостатком воспитания, переглядывались. Г-жа Вердюрен сейчас же просила дать ей шаль, что являлось предлогом для Вердюрена прорычать: «Да нет, я затворю окно; не понимаю, кто это мог позволить себе отворить его», а виновный краснел как рак. Вам намекали на то, что вы слишком много выпили вина: «Вы хорошо себя чувствуете? Это можно рабочему...» Прогулки «верных» вдвоем без разрешения Покровительницы потом без конца комментировались, хотя бы это были самые невинные прогулки. Прогулки де Шарлю с Морелем таковыми не считались. Тот факт, что барон не жил в Ла-Распельер (потому что Морель нес гарнизонную службу), отбивал аппетит, вызывал отвращение, позывал на тошноту. Тем не менее Морель собирался приехать.

Госпожа Вердюрен была в ярости; она решила «осветить» Морелю, какую смешную и постыдную роль заставляет его играть де Шарлю. «Я должна еще сказать, — продолжала г-жа Вердюрен (когда она считала себя кому-нибудь обязанной и это начинало ее тяготить, а уничтожать этого человека у нее все-таки не было оснований, то она находила у него серьезный недостаток и, не стесняясь, говорила об этом

открыто), — я должна еще сказать, что он исполняет у меня вещи, которые я не люблю». У г-жи Вердюрен была еще одна причина, более веская, чем отказ Мореля принять участие в концерте у ее друзей, сердиться на де Шарлю. Де Шарлю, считавший, что делает Покровительнице честь тем, что зовет на набережную Конти людей, которые ради нее к ней не поехали бы, услыхав первые же имена, которые г-жа Вердюрен назвала в качестве тех, кого можно было бы пригласить, наложил на них решительный запрет самым безапелляционным тоном, в котором слышались злопыхательствующая гордость капризного вельможи и непреклонность музыканта, опытного по части устройства празднеств, который не станет исполнять свою вещь или совсем откажется от участия в концерте, лишь бы не идти на уступки, которые, по его мнению, испортили бы общее впечатление. Де Шарлю дал с оговорками согласие только на приглашение Сентина — герцогиня Германтская прежде виделась с ним ежедневно, как с близким другом, но потом, чтобы не обременять себя посещениями его супруги, прекратила с ним всякие отношения, в отличие от де Шарлю, который считал его умным челове-

ком и встречался с ним постоянно. Сентин[235], некогда считавшийся красой и гордостью салона Германтов, устремился, по-видимому без посторонней помощи, искать счастья в смешанном общество буржуазии и захудалого дворянства, где все очень богаты, но и только, и породнился с той аристократией, которую высший свет не признавал. Г-жа Вердюрен, наслышанная о дворянской спеси, которой была заражена среда жены, и не представляя себе положение мужа (то, что находится почти непосредственно над нами и создает ощущение высоты, — а не то, что нам почти не видно, — теряется в заоблачной выси), считала своим долгом настоять на приглашении Сентина: значит, мол, он — человек светский, раз вступил в брак с мадмуазель***. Незнание света, какое выказала в этом своем утверждении, не имевшем ничего общего с действительностью, г-жа Вердюрен, вызвало на подкрашенное лицо барона улыбку, выражавшую снисходительное презрение и душевную широту. Он не соизволил ответить прямо. Но он охотно создавал целые теории относительно света, теории, в которых

[235] Примечания: 235

Стр. 226. Сентин — персонаж лишь этого романа Пруста. Его не следует путать с упоминаемым в романе «По направлению к Свану» второстепенным французским романистом Ксавье Сентином (1798-1865).

проявлялись и его умственная щедрость, и его крайнее высокомерие, и наследственное легкомыслие увлечений. «Прежде чем жениться, Сентин должен был посоветоваться со мной, — сказал барон. — Существует социальная евгеника[236], существует и евгеника психологическая, и тут я, пожалуй, мог бы быть его единственным доктором. Случай с Сентином бесспорен: было яснее ясного, что, женясь таким образом, он приобретает балласт и скрывает от людей правду. Его жизнь в обществе кончена. Я бы ему объяснил, и он бы меня понял, потому что он умен. И есть человек, который обладает всем для того, чтобы занять высокое, господствующее, охватывающее различные области положение, и только один ужасный канат тянул его к земле. Я помог ему, то ловкостью, то силой, порвать канат, теперь он — победитель и радостью победы, свободой, всемогуществом обязан мне. Пожалуй, ему недостает свободы, но зато какое возмещение! Ведь он же все равно остается самим собой, когда знает, что надо меня слушаться, меня — акушера его судьбы. — Было очевидно, что своей судьбой де

[236] Примечания: 236

Евгеника — получившая большое распространение на рубеже XIX в XX вв. наука о воздействии на наследственность и тем самым улучшении человеческих рас.

Шарлю управлять не умел; управлять — это не то, что говорить, хотя бы и красиво, и не то, что мыслить, — хотя бы и остро. — Ведь я же философ: я с любопытством слежу за социальными столкновениями — я их предсказал, но я им не содействую. Я продолжаю встречаться с Сентином — он всегда мне рад и неизменно почтителен. Я даже обедал у него на новоселье: здесь у него, среди неописуемой роскоши, можно умереть от скуки, а прежде было так весело, когда он, кое-как перебиваясь, собирал сливки общества на чердачке. Его вы можете позвать, я разрешаю. Но я накладываю вето на все другие имена, которые вы предлагаете. И потом вы меня еще благодарить будете: у меня есть опыт в брачных делах и не меньший — в устройстве вечеров. Я знаю людей восходящих, присутствие которых поднимает вес общества, придает ему размах, возвышает его, и я знаю имена, которые опускают уровень общества, которые роняют его вес». Когда де Шарлю кого-нибудь исключал, то им не всегда руководило злопамятство на чем-то помешанного или утонченный вкус — им руководила чисто антрепренерская сметка. Если у него были припасены о ком-нибудь или о чем-нибудь удачные куплеты, ему хотелось, чтобы их услышало как можно больше

народа, по чтобы во вторую партию не попал ни один приглашенный из первой, который мог бы установить, что куплеты — те же. Он заново отделывал свою залу именно потому, что не изменял афиши. Если он имел успех, ему приходилось организовывать турне, давать представления в провинции. Каковы бы ни были разнообразные причины доводов против, которые приводил де Шарлю, он не шел вразрез только со вкусами г-жи Вердюрен, которая чувствовала, что может быть подорван ее авторитет Покровительницы, а кроме того, доводы против, приводимые де Шарлю, наносили ущерб ее положению в свете, наносили по двум причинам. Первая заключалась в том, что де Шарлю, еще более обидчивый, чем Жюпьен, ссорился неизвестно почему с людьми, как будто созданными для того, чтобы быть с ним в дружбе. Разумеется, наказать их можно было прежде всего следующим образом: не пускать на вечер, устраиваемый Вердюренами. Между тем многие из изгоев принадлежали, что называется, к «верхам», но не в глазах де Шарлю, который после ссоры переставал причислять их к «верхам». Его воображение, богатое на выдумки причин для ссоры с людьми, так же легко изобретало причины, по которым они лишались всякого

значения, едва лишь переставали быть его друзьями. Если виновный хотя и принадлежал к очень старинному роду, но титул герцога этот род получил только в XIX веке, например Монтескью[237], то де Шарлю принимал во внимание род, а титул для него ничего не значил. «Они даже не герцоги! — восклицал он. — Это титул аббата Монтескью, который незаконным путем перешел к его родственнику не более восьмидесяти лет назад. Нынешний герцог — третий. Возьмите таких, как Юзес, Ла Тремуй, Люин[238], — это все десятые, четырнадцатые герцоги, вроде моего братца: он — двенадцатый герцог Германтский и семнадцатый князь Кондомский. Монтескью — старинного рода. Что же это доказывает, даже если это доказано? Они — четырнадцатые снизу». Де Шарлю поссорился и с дворянином, который давным-давно получил титул герцога, у которого были великолепные связи, который состоял в родстве с людьми, принадлежавшими к цар-

[237] Примечания: 237

Стр. 228. Монтескью — старинная французская дворянская фамилия; во времена Пруста Монтескью носили графский титул, как и знакомый писателя Робер де Монтескью (см. выше).

[238] Примечания: 238

Люин — старинный аристократический род, представители которого были видными политическими деятелями и военными, Пруст встречался с некоторыми из них.

ствующим домам, но к которому весь этот блеск пришел слишком скоро, так что род не успел возвыситься. Взять хотя бы Люин — все изменилось, остался только род. «Вот вам, пожалуйста, — господин Альберти[239]: он получил дворянское звание только при Людовике Тринадцатом! Подумаешь, какое дело: двор позволил им хапать герцогские титулы, на которые у них нет никаких прав!» По де Шарлю, падение непосредственно следует за милостями по той же причине, по какой оказались в своем теперешнем положении Германты: они требовали интересных разговоров, проявлений дружеских чувств, а сами по этой части были слабы; прибавьте к этому характерную боязнь злословия. Падение бывает тем глубже, чем больше было оказано чести. Никто не пользовался таким вниманием барона, какое он подчеркнуто выказывал графине Моле. Каким знаком безразличия дала она однажды понять, что она его не заслужила? Сама графиня всегда говорила, что ей так и не удалось догадаться. Одно ее имя приводило барона в неистовство, и он произносил красноречивые, но гневные филиппики. Г-жа Вердюрен, с которой графиня

[239] Примечания: 239
Альберти — один из предков семьи де Люин.

Моле всегда была очень любезна и которая, как мы увидим дальше, возлагала на нее большие надежды, заранее приходила в восторг от мысли, что графиня увидит у нее высшую знать, — как выражалась Покровительница, «на любой вкус». Она поспешила предложить «графиню де Моле». «Ах, боже мой, о вкусах не спорят, — сказал де Шарлю, — и если вам по вкусу беседовать с госпожой Пипле[240], с госпожой Жибу[241] и с госпожой Жозеф Прюдом[242], то я согласен, но с условием, что меня там не будет. Я вижу, что мы с вами говорим на разных языках: я называю имена аристократов, а вы — никому не известные имена судейских, оборотистых разночинцев, сплетников, пакостников, дамочек, которые считают себя покровительницами искусств только потому, что берут октавой выше моей невестки Германт, на манер вороны, подражающей павлину. Позвольте вам заметить, что нехорошо

[240] Примечания: 240

Стр. 229. Госпожа Пипле — консьержка из романа Эжена Сю (1804-1857) «Парижские тайны» (1849-1856).

[241] Примечания: 241

Госпожа Жибу — сатирический персонаж из книги Анри Монье (1799-1877) «Народные сцепы, набросанные пером» (1830).

[242] Примечания: 242

Госпожа Жозеф Прюдом — персонаж из книги Анри Монье «Мемуары Жозефа Прюдома» (1857).

звать на концерт, который мне хочется устроить у госпожи Вердюрен, особу, которую я с полным основанием исключил из числа моих близких знакомых, нахалку без роду-племени, которой ни в чем нельзя доверять, дуру, воображающую, что она может обвести вокруг пальца и герцогинь и принцесс Германтских: такое соединение — это уже само по себе глупость, потому что герцогиня Германтская и принцесса Германтская — это две крайности. Это все равно, как если бы кто-нибудь захотел быть одновременно Рейхенберг[243] и Сарой Бернар[244]. Если даже это и совместимо, то, во всяком случае, ужасно смешно. Я могу иной раз улыбнуться, глядя на паясничанье одной, меня может привести в печальное расположение духа сдержанная манера другой — это мое право. Но когда буржуазная лягушка надувается, чтобы сравняться с этими двумя дамами, которые, во всяком случае, неизменно оставляют впечатление ни с чем не сравнимой высшей породы, — это, как говорится, курам на смех. Моле! Эту фамилию

---

[243] Примечания: 243

Рейхенберг Сюзанна (1853-1924) — французская актриса; на протяжении 30 лет играла на сцене театра Комеди Франсез в амплуа инженю.

[244] Примечания: 244

Сара Бернар — псевдоним Розины Бернар (1844-1923), знаменитой французской драматической актрисы, которую Пруст много раз видел на сцене.

теперь уже неприлично произносить, иначе мне остается только уйти», — добавил он с улыбкой, тоном врача, который, желая больному добра наперекор самому больному, не допускает вмешательства гомеопата. Кое-кто из тех, кого де Шарлю не принимал в расчет, мог быть неприятен ему, а не г-же Вердюрен. Де Шарлю, благодаря своей родовитости, считался одним из самых элегантных людей, собрание которых превращало салон г-жи Вердюрен в один из первых в Париже. Г-жа Вердюрен стала замечать, что она уже много раз делала ложный шаг и как далеко отбросило ее назад заблуждение света, связанное с делом Дрейфуса. Не без пользы для нее, однако. «Я вам не рассказывал о том, какое неудовольствие вызывали у герцогини Германтской люди ее круга, которые, глядя на все через призму дела Дрейфуса, исключая из своего общества элегантных дам и заменяя их не элегантными, в зависимости от того, ревизионистки они или антиревизионистки, подвергали ее критике, утверждая, что она лишена темперамента, что у нее неправильный образ мыслей, что она подчиняет светскому этикету интересы отечества?» — мог бы я спросить читателя, как друга, о котором после частых бесед долго не вспоминают, мог бы я задать ему

вопрос, если решил, или если мне представился случай, ввести его в курс дела. Рассказывал я или не рассказывал, в данный момент положение герцогини Германтской представить себе легко, а если сейчас же перенестись к предшествующему периоду, то наше представление может показаться совершенно верным. Маркиз де Говожо смотрел на дело Дрейфуса как на происки иностранных держав, имевших целью ввести в обман нашу разведку, развалить дисциплину, ослабить армию, внести смуту во французское общество, подготовить вторжение. За исключением нескольких басен Лафонтена, он ничего не читал и держал свою жену в убеждении, что наша тенденциозная литература, обращающая внимание только на дурные стороны жизни, воспитывающая непочтительность, параллельным путем ведет к перевороту. «Рейнак[245] и Эрвье[246] — заговорщики», — говорила она. Нет оснований обвинять дело Дрейфуса в том, что оно вынашивало такие черные замыслы против

[245] Примечания: 245

Стр. 230. Рейнак Жозеф (1856-1921) — французский политический деятель и писатель, ярый дрейфусар; один из прототипов образа Бришо.

[246] Примечания: 246

Эрвье Поль (1857-1915) — французский драматург, сторонник пересмотра дела Дрейфуса.

французского света. Но, конечно, оно раскололо общество. Светские люди, не желающие впускать политику в свет, столь же предусмотрительны, как и военные, не желающие впускать политику в армию. В свете есть нечто от полового влечения в том смысле, что люди не знают, к каким извращениям оно может привести, стоит хотя бы один раз позволить эстетическим пристрастиям оказать влияние на выбор. То, что дамы элегантные были националистками, приучило Сен-Жерменское предместье принимать дам из другого общества; причина исчезла вместе с национализмом, привычка укоренилась. Г-жа Вердюрен перетянула к себе известных писателей из-за их дрейфусизма, однако в настоящее время они ничем не могли быть ей полезны в свете, потому что они были дрейфусары. Политические страсти так же непродолжительны, как и всякие другие. Новым поколениям они чужды; даже то поколение, которое было ими обуреваемо, меняется, предается политическим страстям, которые, не являясь точной копией предыдущих, частично реабилитируют исключенных из общества, так как изменился повод для исключения. Во время дела Дрейфуса монархистов не интересовало, кто он: республиканец, радикал, антиклерикал,

важно, чтобы он был антисемит и националист. Если вспыхнет война, патриотизм примет другую форму и о писателе-шовинисте никто не спросит, был он раньше дрейфусаром пли нет. И во время каждого политического кризиса, при смене художественных увлечений г-жа Вердюрен, подобно птице, вьющей гнездо, потихоньку тащила к себе веточку за веточкой, которые в настоящее время были ей не нужны, но из которых впоследствии образуется ее салон. Дело Дрейфуса прошло, у нее остался Анатоль Франс. Привлекательность г-жи Вердюрен заключалась в искренней любви к искусству, в заботах о «верных», в том, что она устраивала роскошные обеды только для них, не приглашая на эти обеды светских людей. С каждым из «верных» обходились у нее так же, как обходились с Берготом у г-жи Сван. Когда близкий ей человек в один прекрасный день становился знаменитостью и если общество горело желанием посмотреть на него, то в его присутствии у г-жи Вердюрен не было ничего искусственного, нарочитого, отзывавшего кухней официального банкета или «Карлом Великим» изготовления Петеля и Шаба[247], — в этом была

[247] Примечания: 247
Стр. 231. Петель и Шаба — парижские рестораторы.

будничная прелесть, такая же точно, как в тот вечер, когда у г-жи Вердюрен не было ни души. У г-жи Вердюрен труппа была высокоодаренная, сыгранная, репертуар — первосортный, не было только публики. И как только вкус публики изменил доступному, французскому искусству Бергота и публика увлеклась главным образом экзотической музыкой, г-жа Вердюрен, взявшая на себя роль собственного корреспондента всех иностранных знаменитостей в Париже, вскоре, вместе с обворожительной княгиней Юрбелетьевой[248], преобразилась в старую фею Карабос[249], но только всемогущую, при русских танцовщиках. Нашествие этих очаровательных артистов, которые не обольщали только критиков, лишенных вкуса, как известно, вызвало в Париже

---

[248] Примечания: 248

Юрбелетьева. — Этот персонаж уже появлялся на страницах романа «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 156). Персонаж этот, конечно, вымышлен, но он мог вобрать в себя отдельные черты богатых русских дам-меценаток, в начале века активно содействовавших различным художественным и театральным начинаниям; такова была, например, М. К. Тенишева (1867-1928), собирательница картин, устроительница выставок и т. п., тесно связанная с группой «Мир искусства».

[249] Примечания: 249

Фея Карабос — персонаж французских народных сказок и созданных на их основе произведений, в том числе балета П. И. Чайковского «Спящая красавица». Этот балет был впервые показан в Париже в 1922 г. антрепризой Дягилева; Пруст был в это время уже очень болен и наверняка спектакля не видел, но он мог читать о нем в газетах или слышать разговоры об этой постановке.

лихорадку чисто эстетическую, не такую болезненную, но, быть может, не менее сильную, чем дело Дрейфуса. Теперь снова, но только вызывая к себе иное отношение в свете, г-жа Вердюрен пробивалась в первый ряд. В былое время она восседала на видном месте, рядом с г-жой Золя в трибунале,[250] на заседаниях суда присяжных, а когда новое поколение, рукоплескавшее русским балетам, увешанное модными эгретками, теснилось в Опере, в первой ложе всякий раз можно было видеть г-жу Вердюрен рядом с княгиней Юрбелетьевой. И как после оваций в суде у г-жи Вердюрен вечером можно было увидеть вблизи Пикара[251] или Лабори[252], а главное — услышать последние новости, узнать, чего можно ждать от Цурлиндена[253], от Лубе[254],

[250] Примечания: 250

…рядом с г-жой Золя в трибунале… — Речь идет о суде над Эмилем Золя в феврале 1898 г. Обвиненный в клевете на армию (в памфлете «Я обвиняю!»), Золя был осужден на год тюремного заключения и штраф в 3000 франков. Это вынудило писателя покинуть Францию и провести около года в Англии. Пруст на этом процессе присутствовал.

[251] Примечания: 251

Стр. 232. Пикар Жорж (1854-1914) — офицер французского генерального штаба, начальник его разведывательного управления.

Он установил, что истинным виновником преступления, в котором обвинялся Альфред Дрейфус, был венгерский авантюрист Фердинанд Эстергази, состоявший на французской службе и передавший немецкой разведке секретные сведения. Начальство Пикара было недовольно его разоблачениями, сняло его с должности и отправило на унизительный пост в Тунис. После окончательного оправдания

Дрейфуса, в 1906 г., Пикар был повышен в чине, стал генералом, а затем — военным министром.

[252] Примечания: 252

Лабори Фернан (1860-1917) — французский адвокат, защищавший Дрейфуса и Золя.

[253] Примечания: 253

Цурлинден Эмиль-Тома (1837-1929) — французский генерал, военный министр в период пересмотра дела Дрейфуса.

[254] Примечания: 254

Лубе Эмиль (1838-1929) — французский государственный деятель, президент Республики в 1899-1906 гг., то есть в период пересмотра дела Дрейфуса.

от полковника Жуо[255], точно так же теперь зрители, которым не хотелось идти спать после бури восторгов, которую поднимала «Шахерезада»[256] или пляски на представлении «Князя Игоря»[257], отправлялись к г-же Вердюрен, где, под председательством княгини Юрбелетьевой и Покровительницы, каждый вечер устраивались дивные ужины для танцовщиков, перед спектаклем не ужинавших, чтобы не утратить легкости, для директора их труппы,[258] для великих композиторов Игоря Стравинского[259] и Рихарда Штрауса[260], для неизменного «ядрышка», вокруг которого, как на ужинах у Гельвеция и его супруги,[261] считали за честь разместиться самые знатные дамы Парижа и иностранные высочества. Даже светские люди, создавшие себе

---

[255] Примечания: 255

Жуо — участник пересмотра дела Дрейфуса.

[256] Примечания: 256

…после бури восторгов, которую поднимала «Шахерезада»… — На музыку Н. А. Римского-Корсакова был поставлен М. М. Фокиным в Париже летом 1910 г. балет «Шехерезада» (с участием В. Нежинского, Карсавиной и др.). Пруст видел эту постановку 4 июня 1910 г.

[257] Примечания: 257

…пляски на представлении «Князя Игоря»… — Речь идет о «Половецких плясках» А. П. Бородина, которые были поставлены как самостоятельный одноактный балет М. М. Фокиным весной 1909 г. в Париже.

[258] Примечания: 258

…для директора их труппы… — то есть для Дягилева (см. примеч. к с. 24).

[259] Примечания: 259

Стравинский Игорь Федорович (1882-1971) — русский композитор, сотрудничавший с Дягилевым. Пруст хорошо знал его музыку.

[260] Примечания: 260

Штраус Рихард (1864-1949) — немецкий композитор и дирижер. Его балет «Легенда об Иосифе» был поставлен в 1914 г. в Париже труппой Дягилева (Прусту нравилась эта постановка). На музыку симфонической поэмы Штрауса «Тиль Уленшпигель» той же труппой был поставлен балет в 1916 г.

[261] Примечания: 261

Гельвеций Клод-Адриен (1715-1771) — французский философ-просветитель. В его доме в Париже был салон, где часто собирались передовые деятели эпохи; хозяйкой салона была жена Гельвеция г-жа де Линьивиль д'Отрикур.

особую профессию — людей со вкусом, делавшие вид, что не все русские балеты одинаково хороши, что в постановке «Сильфид»[262] есть нечто более «тонкое», чем в постановке «Шахерезады», близкие к тому, чтобы возродить негритянское искусство, были очарованы близким знакомством с этими великими законодателями вкусов, великими новаторами, совершившими в области театрального искусства, искусства, быть может, менее естественного, чем живопись, такие же коренные преобразования, как импрессионизм.

Но вернемся к де Шарлю: г-жа Вердюрен не была бы очень огорчена, если бы он наложил запрет на имя г-жи Бонтан: г-жа Бонтан привлекла ее внимание у Одетты своей любовью к искусству, во время дела Дрейфуса она несколько раз ужинала у г-жи Вердюрен вместе с мужем, которого г-жа Вердюрен называла «ни два ни полтора», потому что он не стоял за пересмотр дела, потому что он, будучи очень умен, спешил создать себе единомышленников во всех лагерях и был счастлив проявить независимость суждений на обеде с Лабори, которого он выслушивал, ничем себя не

[262] Примечания: 262

«Сильфиды». — Под таким названием ставился в Париже М. М. Фокиным балет «Шопениана» (на музыку Ф. Шопена) в оркестровке А. К. Глазунова, С. И. Танеева, А. К. Лядова и др. (1909 г.).

компрометируя и лишь очень кстати вставляя похвалу признаваемой всеми партиями лояльности Жореса[263]. Но де Шарлю изгонял и тех аристократок, с которыми г-жа Вердюрен на почве музыкальных торжеств, коллекционерства, благотворительности недавно завязала отношения и которых — что бы о них ни думал де Шарлю — ей было гораздо важнее, чем его, ввести в новый состав «ядрышка», на сей раз — аристократический. Г-жа Вердюрен очень рассчитывала именно на этот концерт, куда де Шарлю должен был привести дам из прежнего состава «ядрышка»: ей хотелось представить их новым приятельницам, она предвкушала изумление своих постоянных посетительниц от встречи на набережной Конти с их приятельницами или родственницами, приглашенными бароном. Его запрет разочаровал и обозлил ее. Теперь ей нужно было сообразить, выгадает она что-нибудь на этом вечере или прогадает. Проигрыш не должен быть особенно велик, если приглашенные бароном придут заранее расположенные к г-же Вердюрен настолько, что впоследствии станут ее приятельницами. В

[263] Примечания: 263

Жорес Жан (1859-1914) — прогрессивный французский политический деятель; Пруст встречался с ним в эпоху дела Дрейфуса в дрейфусарском салоне г-жи де Кайаве (один из прототипов г-жи Вердюрен).

таком случае, это еще полбеды; в будущем эти две части высшего общества, которые барону хотелось разъединить, соединятся, хотя бы он на этом вечере и не присутствовал. Итак, г-жа Вердюрен в ожидании приглашенных барона слегка волновалась. Ей не терпелось выяснить их образ мыслей и что ей сулят отношения с ними. Г-жа Вердюрен советовалась с «верными», но при виде Шарлю, Бришо и меня оборвала разговор. К нашему великому изумлению, в ответ на сочувствие, которое выразил Бришо в связи с известием о ее большой приятельнице, она заявила: «Я должна сказать, что никакого грустного чувства не испытываю. К чему играть в скорбь, которой ты не чувствуешь?..» Конечно, она это говорила, потому что ей не хватало твердости; потому что ей была тягостна самая мысль делать печальное лицо при каждом выражении сочувствия; из самолюбия — чтобы не подумали: вдруг она не знает, чем оправдаться в том, что прием не отменен, чтобы показать, что для нее все люди равны и что это ее право, хотя выказанная ею безучастность выглядела бы приличнее, если бы она была вызвана внезапно вспыхнувшей антипатией к принцессе, а не бесчувственностью вообще, и еще потому, что никому не возбраняется выставить в каче-

стве самозащиты несомненную искренность; если бы г-жа Вердюрен не была действительно равнодушна к кончине княгини, могла ли бы она — чтобы объяснить, почему она не отменила приема, — признаться в куда более тяжком грехе? Все забыли, что г-жа Вердюрен призналась не только в том, что она не скорбит, но и в том, что у нее не хватило духу отказать себе в удовольствии, а ведь жесткость по отношению к приятельнице еще более неприлична, более аморальна, но и менее унизительна, следовательно, в ней легче признаться, чем в легкомыслии хозяйки дома. В области преступлений там, где виновному грозит опасность, его признания зависят от того, насколько они для него выгодны. В основе проступков необоснованных заложено самолюбие. В общем, то ли решив, что люди с целью не прерывать веселую жизнь скорбями, уверяющие, что они считают излишним носить траур, коль скоро траур у них в сердце, пользуются, вне всякого сомнения, устаревшим аргументом, г-жа Вердюрен предпочла подражать тем провинившимся интеллигентам, которым надоели общие фразы, доказывающие их невиновность, и которые прибегают к единственному средству самозащиты — к полупризнанию, хотя они этого не подозре-

вают: заявить, что они не видят ничего дурного в том, в чем их упрекают, но что, кстати сказать, до сих пор случай им для этого не представился; то ли, прибегнув — для того, чтобы объяснить свое поведение, — к тезису о безучастности, вступив на этот скользкий путь, она нашла, что в ее дурном чувстве есть что-то оригинальное, в чем мало кто способен разобраться, что надо быть не робкого десятка, чтобы так прямо и бабахнуть, — как бы то ни было, г-жа Вердюрен продолжала настаивать, что она не горюет, и говорила она об этом не без чувства самодовольного удовлетворения, знакомого психологу-парадоксалисту и смелому драматургу. «Да, это очень забавно, — разглагольствовала она, — на меня это не произвело почти никакого впечатления. Боже мой, я не хочу сказать, что мне бы не хотелось, чтобы она жила на свете, — она совсем не плохой человек». — «Ну еще бы!» — вставил Вердюрен. «Ах, он не любил ее за то, что, как ему казалось, мне неприятны ее приезды, но он ошибался». — «Будь ко мне справедлива, — возразил Вердюрен, — подтверди, что я был против ее посещений. Я всегда тебе говорил, что у нее скверная репутация». — «В первый раз слышу», — вмешался Саньет. «Как? — воскликнула г-жа Вердюрен. — Это всему свету известно.

Не просто скверная, а постыдная, позорная. Нет, но я не из-за этого. Я бы не могла объяснить это чувство; я не питала к ней ненависти, но я относилась к ней до такой степени безразлично, что, когда мы узнали, что она очень плоха, даже мой муж удивился и сказал: „Можно подумать, что тебе все равно“. Но послушайте: он предложил мне отменить вечернюю репетицию, а я настояла на том, чтобы не отменять: по-моему, это комедия — изображать скорбь, которой ты не испытываешь». Ей нравилось играть ту роль, какая ей по душе, она находила, что это очень удобно: признание в бесчувственности или в аморальности упрощает жизнь так же, как и общедоступная мораль, — она совершает предосудительные поступки, за которые уже не нужно просить прощения, она исполняет долг искренности. И «верные» слушали г-жу Вердюрен с тем смешанным чувством восхищения и неловкости, с каким когда-то смотрели грубо реалистические пьесы с утомительным нагромождением деталей. Восторгаясь своей дорогой Покровительницей, придавшей новую форму своей прямоте и независимости поведения, многие из «верных», хотя и понимали, что все-таки тут есть большая разница, думали о своей смерти и задавали себе

вопрос: в день их кончины на набережной Конти будут плакать или устроят вечеринку? «Я очень доволен, что ради моих приглашенных вечер не отменен», — сказал де Шарлю, не сознавая, что его слова задевают г-жу Вердюрен.

Меня, как и всех пришедших в этот вечер к г-же Вердюрен, поразил довольно неприятный запах риногомеголя[264]. Вот в чем было дело. Все знали, что г-жа Вердюрен выражала свои впечатления от искусства не душевно, а физически — для того, чтобы они казались непреоборимыми и более глубокими. Так, если с ней говорили о ее любимой музыке Вентейля, у нее был равнодушный вид, как будто эта музыка не волновала ее. Но, выдержав несколько минут молчания, в течение которых взгляд у нее был неподвижный, почти рассеянный, она все-таки отвечала вам не допускающим возражений, деловым, даже не очень учтивым тоном, как будто хотела предостеречь вас: «Мне все равно, что вы курите, но я боюсь за ковер: он очень красивый, — впрочем, мне и это безразлично, но он легко воспламеняется, а я очень боюсь огня, и мне бы не хотелось, чтобы вы нас всех сожгли из-за непотушенного окур-

[264] Примечания: 264

Стр. 235. Риногомеголь — средство от насморка и, возможно, от астмы.

ка, который вы уроните». Та же история была с Вентейлем: если разговор заходил о нем, она не изъявляла ни малейшего восхищения, а немного спустя с холодным видом выражала неудовольствие, что его сегодня играли: «Я ничего не имею против Вентейля; на мой взгляд, это крупнейший композитор нашего века. Но, слушая его творения, я не могу не плакать. (Когда она говорила „плакать“, в ее голосе нельзя было уловить ни одной патетической ноты; так же просто она сказала бы „спать“, злые языки даже уверяли, что глагол „спать“ больше сюда подходит, так как никто не мог бы решить, плачет она или смеется: она слушала эту музыку, закрыв лицо руками, а какие-то хриплые звуки могли в конце концов сойти за рыдания.) Самого плача я не боюсь, могу плакать сколько угодно, но потом ко мне привязывается надсадный кашель, слизистая оболочка воспаляется, через двое суток я становлюсь похожа на старую пьянчужку, и, чтобы наладить голосовые связки, я должна несколько дней делать ингаляцию. Наконец, ученик Котара… Да, кстати, я не выразила вам сочувствия, бедный

профессор так быстро убрался![265] Ну да ничего не поделаешь, он умер, как умирают все люди; он на своем веку отправил на тот свет многих, а теперь пришла очередь отправиться туда же ему самому. Так вот, я хотела сказать, что меня лечил один из его учеников, очаровательное создание. Он придерживается довольно оригинальной аксиомы: «Лучше предупреждать болезнь, чем лечить ее». И еще до концерта он намазывает мне нос. Это радикальное средство. Плакать я могу, как бог знает сколько матерей, потерявших своих детей, — насморка ни малейшего. Иной раз — легкий конъюктивит, только и всего. Эффективность необычайная. Без этого я бы не слушала Вентейля. Я бы не вылезала из бронхитов». Я не мог удержаться, чтобы не заговорить о мадмуазель Вентейль. «А что, дочь композитора и ее подруга не здесь?» — спросил я г-жу Вердюрен. «Нет, я как раз получила от них телеграмму — они никак не могут уехать из деревни», — уклончиво ответила г-жа Вердюрен. У меня мелькнула надежда, что, пожалуй, их и не должно было тут быть и что г-жа

---

[265] Примечания: 265

Стр. 236. …бедный профессор так быстро убрался! — Это замечание о смерти профессора Котара противоречит его упоминанию ниже, среди гостей Вердюренов. Пруст сделал это упоминание о кончине профессора на вставке в машинопись и не согласовал ее с дальнейшим текстом.

Вердюрен возвестила о прибытии этих представительниц композитора, только чтобы возбудить интерес у исполнителей и слушателей. «А что, разве они даже на репетицию не приехали?» — с напускным любопытством спросил барон; ему хотелось дать понять, что он не видел Чарли. Чарли подошел ко мне поздороваться. Я спросил его шепотом об отказе мадмуазель Вентейль. Мне показалось, что он плохо осведомлен. Я сделал ему знак говорить тише и предупредил, что мы еще к этому вернемся. Чарли поклонился и сказал, что он всецело к моим услугам. Я заметил, что он гораздо учтивее, гораздо почтительнее, чем прежде. Я отозвался о нем с похвалой в разговоре с де Шарлю — Чарли, пожалуй, мог рассеять мои подозрения; барон мне ответил: «Он ведет себя как должно, только и всего; для того, чтобы иметь дурные манеры, нет смысла жить среди порядочных людей». Под хорошими манерами де Шарлю разумел старинные французские манеры, без примеси английской чопорности. И когда Чарли, вернувшись с гастролей в провинции или за границей, являлся к барону в дорожном платье, барон, если у него не было многолюдного сборища, без стеснения целовал его в обе щеки — быть может, отчасти для того, чтобы этой под-

черкнутой ласковостью убедить посторонних, что в ней ничего греховного нет, быть может, чтобы не лишать себя удовольствия, но, без сомнения, еще больше тут было от литературы: он считал своим долгом придерживаться старинных французских манер и показывать, каковы они, на примерах; он возмущался мюнхенским стилем,[266] стилем «модерн», не расставался со старинными креслами своей прабабки, и так же он противопоставлял британской флегматичности ласковость чувствительного отца XVIII века, который не скрывает своей радости при встрече с сыном. Не было ли в этой отеческой нежности доли кровосмешения? Вернее будет предположить, что то, как де Шарлю обычно предавался своему пороку, о котором в дальнейшем мы еще кое-что узнаем, не удовлетворяло его вполне, что после смерти жены какие-то его эмоции не находили себе применения; отвергнув мысль о втором браке, он с упорством маньяка будил в себе желание усыновить кого-нибудь, и кое-кто из его окружения побаивался, как бы его выбор не пал на Чарли. И в этом не было бы

[266] Примечания: 266

Стр. 237. …он возмущался мюнхенским стилем… — Речь идет о мюнхенском выставочном объединении «Сецессион», возникшем в конце XIX в. и пропагандировавшем стиль «модерн» в прикладном искусстве.

ничего удивительного. Извращенный, утоляющий страсть только чтением книг, написанных для женолюбов, думающий о мужчинах, когда читает «Ночи» Мюссе[267], ощущает потребность исполнять все социальные функции мужчины неизвращенного, содержать любовника, как содержит танцовщицу старый завсегдатай Оперы, быть как все, жениться или сожительствовать, стать отцом.

Де Шарлю удалился с Морелем под предлогом переговоров о том, что надо играть; он находил особую прелесть в том, чтобы, пока Чарли показывал ему ноты, выставить на погляденье их тайную близость. А я был очарован. Хотя в кланчик входило немного девушек, сегодня в виде возмещения наприглашали порядочно из числа тех, что бывали только на званых вечерах. Среди них я увидел красавиц, с которыми был знаком. Они издали приветствовали меня улыбкой. Зала поминутно расцвечивалась чудной улыбкой девушки. Эти рассеянные по всей зале разнообразные украшения вечеров ничем не отличались от дневных. Каждый из таких вечеров удержи-

[267] Примечания: 267

«Ночи» Мюссе — цикл из четырех поэм, тонко передающих переживания романтически влюбленного в романтически чувствующего поэта; написаны в 1835-1836 гг.

вается в памяти благодаря его особой атмосфере, благодаря тому, что там улыбались девушки.

Кто обратил внимание на то, что де Шарлю на вечере украдкой перемолвился несколькими словами с важными лицами, тех это привело бы в изумление. Это были два герцога, важный генерал, известный писатель, известный врач, известный адвокат. Обменивались они такими словами: «Кстати, вы знаете, что выездной лакей… да нет, я имею в виду малыша, карабкающегося на козлы… О вашей родственнице Германт вы ничего не знаете?» — «В настоящее время — нет». — «Я вот о ком: у ворот стоял белокурый молодой человек в коротких шароварах. Мне он показался очень симпатичным. Он в высшей степени вежливо вызвал мой экипаж. Мне хотелось с ним заговорить». — «Да, но, по-моему, — он очень злой, и с ним нужно разводить церемонии, а вы любите, чтобы вам все удавалось с первого раза, вам это надоест. Да и ничего у вас не выйдет, один из моих приятелей пробовал». — «Жаль! У него тонкий профиль и дивные волосы». — «Только-то? Если б вы видели побольше, вы были бы разочарованы. Нет, вот у буфета два месяца назад вы могли видеть настоящее чудо: здоровенный парень, ростом в два

метра, цвет кожи идеальный, и притом он это любит. Но он уехал в Польшу». — «Далековато!» — «Почем мы знаем? Может, еще и вернется. В жизни всегда находят друг друга». Каждый многолюдный вечер в светском обществе, если только сделать разрез на достаточной глубине, похож на те вечера, когда врачи принимают больных и те ведут рассудительные речи, прекрасно себя держат и обнаруживают свое помешательство не прежде, чем шепнут вам на ухо, показывая на проходящего старика: «Вот Жанна д'Арк».

«Я считаю, что нам нужно открыть на него глаза, — заговорила г-жа Вердюрен с Бришо. — Я действую не против Шарлю, наоборот. Он человек приятный, а что касается его репутации, то я должна вам сказать следующее: его репутация такого рода, что мне-то уж она никак не может повредить! Я не выношу, когда в нашем кланчике с его застольными беседами занимаются флиртом, когда мужчина где-нибудь в углу говорит женщине всякую чушь вместо того, чтобы принимать участие в разговорах на интересные темы, и мне бояться нечего, что у меня с Шарлю выйдет то же, что со Сваном, с Эльстиром и с многими другими. Насчет него я спокойна, он бывает на моих обедах и пусть себе встречается со всеми

женщинами на свете — можно быть уверенным, что общий разговор не будет прерван флиртом или шушуканьем. Сам Шарлю — это дело особое, я за него спокойна, это все равно что священник. Но только нельзя ему позволять командовать молодыми людьми, которые сюда приходят, и вносить смятение в наше „ядрышко“ — это было бы хуже, чем если бы он принялся ударять за женщинами». Г-жа Вердюрен была искренна в своем снисходительном отношении к чарлизму. Как всякая церковная власть, она лишь опасалась, как бы мелкие людские страсти ни ослабили принципа авторитета, не повредили ортодоксии, не внесли изменений в вероисповедание, давным-давно принятое в ее церковке. «А если он будет волочиться за женщинами, вот тогда я его отделаю. Этот господин не пустил Чарли на репетицию только потому, что сам не был приглашен. По этому случаю он получит серьезное предупреждение; надеюсь, что этого будет достаточно, иначе я укажу ему на дверь. Он держит его на привязи, честное слово». Г-жа Вердюрен пользовалась именно теми выражениями, к каким прибегали почти все, потому что они метки, хотя и редко употребляемы, и в особых случаях, в особых обстоятельствах почти неизбежно всплы-

вают в памяти собеседника, который думает, что выражает свою мысль оригинально, а на самом деле машинально повторяет готовые фразы. «Эта здоровенная дылда, этот жандарм от него не отходит», — добавила она. Вердюрен предложил под предлогом что-то спросить у Чарли увести его на минутку и поговорить с ним. Г-жа Вердюрен побоялась, что Чарли смутится и будет плохо играть: «Лучше исполнить эту операцию после того, как Чарли исполнит свой номер». Г-жа Вердюрен живо представляла себе, как она будет торжествовать, зная, что ее муж просвещает Чарли в соседней комнате, но она опасалась, что если он даст осечку, то Чарли обозлится и удерет.

Подвела барона на этом вечере столь часто встречающаяся в свете невоспитанность тех, которых он сюда назвал и которые уже начали собираться. Приехали они сюда из дружеских чувств к де Шарлю и из любопытства, какое вызывало у них такое место сборищ, и герцогини направлялись прямо к барону, как будто он пригласил их к себе, и, находясь в двух шагах от Вердюренов, которые всё слышали, говорили: «Покажите мне мамашу Вердюрен. Как вы думаете: мне непременно нужно ей представиться? Надеюсь, по крайней мере, что она не велит на-

печатать мое имя в завтрашней газете, а то ведь все мои друзья со мной раззнакомятся. Как! Вот эта седая женщина? Но она довольно прилично себя держит». Услыхав имя отсутствовавшей мадмуазель Вентейль, дамы говорили: «А, дочь Сонаты! Покажите мне ее» — и, встретив здесь многих своих подруг, составляли отдельные кружки, рассматривали, сгорая от насмешливого любопытства, входивших «верных», указывали пальцем на несколько странную прическу одной из них, прическу, которая несколько лет спустя станет модной в самом высшем обществе, и огорчались тем, что этот салон не так уж резко отличается от им известных, как это они себе представляли, и теперь испытывали разочарование светских людей, поехавших в кабаре Брюана[268], приготовившихся к тому, что куплетист окатит их помоями, и вдруг, при входе, услышавших, что с ними вежливо здороваются вместо ожидавшегося: «Поглядите вы на эту рожу, эту рожу. Ах, что за рожа у нее!»

Де Шарлю в Бальбеке делал при мне остроумные замечания по адресу маркизы де Вогубер, женщины большого ума, которой сперва счастье

[268] Примечания: 268

Стр. 240. Брюан Аристид (1851-1925) — популярный парижский шансонье; его кабаре находилось на Монмартре.

улыбнулось, но которая потом навлекла непоправимую беду на своего мужа. Король Феодосий и королева Евдокия,[269] при которых маркиз де Вогубер был аккредитован, приехали в Париж, но на сей раз — ненадолго, на устраивавшиеся в их честь ежегодные празднества, и королева, дружившая с маркизой де Вогубер, с которой они виделись десять лет в своей столице, но не была знакома ни с женой президента республики, ни с женами министров, отвернулась от них и проводила время только с женой посла. Жена посла, уверенная в прочности своего положения, так как маркизу де Вогуберу Франция была обязана союзом с королем Феодосием, пользуясь особым расположением королевы, так зазналась, что не думала о надвинувшейся на нее грозе, которая несколько месяцев спустя, однако, разразилась и которую до тех пор слишком доверчивая чета ошибочно считала чем-то совершенно невероятным: маркизу де Вогуберу в грубой форме было предложено выйти в отставку. Де Шарлю, ком-

[269] Примечания: 269

Король Феодосий — персонаж книг Пруста. В этом образе находят черты болгарских князей Александра Баттенбергского (1857-1893), ставшего болгарским монархом в 1879 г. и отрекшегося от престола (из-за конфликта с Россией) в 1886 г., и Фердинанда Саксен-Кобургского (1861-1948), внука Луи-Филиппа, избранного князем в 1887 г. и провозглашенного болгарским царем в 1908 г. Королева Евдокия — также вымышленный персонаж, жена короля Феодосия.

ментируя в пригородном поезде падение своего друга детства, выражал удивление по поводу того, что такая умная женщина в этих обстоятельствах не сумела употребить все свое влияние, каким никто, кроме нее, по-видимому, не пользовался, и упросить их величества распространить благоволение на жену президента республики и на жен министров, а те были бы крайне польщены, и, хотя им должна бы напрашиваться мысль о благодарности Вогуберам, они твердо держались бы того мнения, что благоволение возникло стихийно, а не по указке Вогуберов. Но кто замечает промахи других, тот, попав в затруднительное положение, допускает их сам. Так де Шарлю, когда приглашенные пробивались к нему, чтобы приветствовать, чтобы поблагодарить его, как будто хозяином дома был он, не пришло в голову попросить их сказать несколько слов г-же Вердюрен. Только королева Неаполитанская[270], в жилах которой текла та же благородная кровь, что и в жилах ее сестер — императрицы Ели-

[270] Примечания: 270

Стр. 241. Королева Неаполитанская — Мария-Софья-Амелия (1841-1925), дочь герцога Баварского Максимилиана, жена последнего короля Обеих Сицилий Франциска II, покинувшего трон в 1860 г. Упоминается в романе Пруста «У Германтов» (см. указ. изд., с. 517 и сл.).

заветы[271] и герцогини Алансонской[272], так заговорила с г-жой Вердюрен, словно она приехала не столько ради того, чтобы послушать музыку, или ради де Шарлю, сколько для того, чтобы иметь удовольствие увидеться с г-жой Вердюрен, рассыпалась в изъявлениях симпатии, несколько раз возвращалась к тому, как давно ей хотелось завязать с г-жой Вердюрен знакомство, выразила восхищение убранством комнат, коснулась самых разных вещей, точно приехала с визитом. Ей очень хотелось привезти с собой свою племянницу Елизавету[273], — говорила она (ту, которая вскоре вышла замуж за наследного принца Альберта Бельгийского[274]), — и она так жалеет, что не взяла ее с собой! Умолкла она, только когда на эстраду вышли музыканты и когда ей показали Мореля. Она не строила себе иллюзий относительно того, какие причины по-

[271] Примечания: 271

Императрица Елизавета (1837-1898) — жена австрийского императора Франца-Иосифа; была убита в Женеве анархистом.

[272] Примечания: 272

Герцогиня Алансонская — Софья (1847-1897), жена герцога Алансонского, внука Луи-Филиппа.

[273] Примечания: 273

Елизавета — герцогиня Баварская.

[274] Примечания: 274

Альберт Бельгийский (1875-1934) — король Бельгии с 1909 г.

буждают де Шарлю возводить юного виртуоза на вершину славы, но благодаря своей многолетней мудрости — мудрости государыни, чей род был одним из самых доблестных, какие только знала история, одним из наиболее опытных, скептичных и горделивых, она смотрела на неизбежные пороки людей, которых она особенно любила, вроде своего двоюродного брата Шарлю (сына герцогини Баварской, а она была дочерью ее сестры), как на несчастья, и которые особенно ценили ее нравственную поддержку, вследствие чего и ей было особенно приятно эту поддержку им оказывать. Она знала, что де Шарлю был бы страшно огорчен, если б она растерялась в этой обстановке. И вот она, отличавшаяся не меньшей душевной добротой, чем некогда храбростью, эта женщина-героиня, королева-воин, стрелявшая на крепостной стене Гаэты,[275] всегда, как рыцарь, становившаяся на сторону слабых, увидев, что г-жу Вердюрен все бросили и около нее никого нет, она, королева, которой не следовало забывать о своем достоинстве, подошла к г-же Вердюрен

[275] Примечания: 275

…на крепостной стене Гаэты… — Речь идет об осаде Гаэты, порта и крепости Королевства Обеих Сицилий, в период объединения Италии; королева Неаполитанская действительно участвовала в обороне Гаэты в 1861 г.; крепость капитулировала 13 февраля.

и сделала вид, что для нее, королевы Неаполитанской, центром этого вечера, притягательной силой является г-жа Вердюрен. Она принесла ей тысячу извинений в том, что не может остаться до конца, так как — хотя на самом деле она никуда не выезжала — ей будто бы нужно побывать еще на одном вечере, умоляла, когда она станет собираться, из-за нее не беспокоиться, — словом, она была с г-жой Вердюрен так светски учтива, что та не знала, что ей ответить.

Надо, однако, отдать справедливость де Шарлю: он совершенно забыл о г-же Вердюрен и позволил своим приглашенным, людям «его круга», не подойти к ней поздороваться, что было уже просто безобразием, зато он понял, что нельзя допускать, чтобы они были так же неучтивы, как с Покровительницей, по отношению к «откровениям музыки». Морель уже взошел на эстраду, музыканты заняли свои места, а разговоры, фразочки вроде: «Пусть сначала растолкуют — тогда поймем» — все еще не затихали. Тогда де Шарлю, выпрямившись, как бы войдя в другое тело из того, которое на моих глазах притащилось к г-же Вердюрен, обвел собравшихся мрачным взглядом пророка, взглядом, который означал, что сейчас не время хихикать, и от которого внезапно

покраснели лица многих из приглашенных им аристократок, как будто это были ученицы, которым при всем классе преподаватель ставит на вид за шалости. Для меня в благородном поведении де Шарлю было что-то комическое; испепеляя приглашенных горящим взглядом, как бы указывая, как указывается в учебнике закона божьего, что во время богослужения необходимо соблюдать благоговейное молчание, что необходимо отвлечься от помышлений о мирской суете, он, подняв руки в белых перчатках на высоту своего красивого лба, являл собою образец (по которому следовало равняться) человека серьезного, почти уже дошедшего до экстаза, не отвечающего на поклоны запоздавших, не чутких, не понимавших, что сейчас здесь царит великое Искусство. Все были загипнотизированы, никто не смел сказать ни единого слова, подвинуть стул; благодаря престижу Паламеда, уважение к музыке внезапно передалось публике, элегантной, но дурно воспитанной.

Увидев, что на маленькой эстраде появились не только Морель и пианист, но и другие музыканты, я решил, что начнут не с Вентейля. Я думал, что из его произведении у них есть только соната для рояля и скрипки.

Госпожа Вердюрен сидела в стороне, — были хорошо видны только ее белый с розовым оттенком, красивый выпуклый лоб и откинутые волосы — отчасти в подражание портрету XVIII века, отчасти из потребности в прохладе, которой требовало состояние здоровья этой лихорадочной больной, стыдившейся признаться в своем недомоганье, — сидела одинокая, восседало божество, возглавлявшее музыкальные торжества, богиня вагнеризма и мигрени, почти трагическая Норна[276], вызванная духом в общество этих скучных людей, чьи суждения, высказанные ими до начала концерта о музыке, которую она знала лучше их, она сейчас презирала больше, чем когда-нибудь. Концерт начался;[277] я не знал, что играют; я находился в незнакомой стране.

[276] Примечания: 276

Стр. 243. Норна — божество скандинавской мифологии, определяющая судьбу людей при рождении.

[277] Примечания: 277

Концерт начался… — Пруст признавался (в дарственной надписи молодому литератору Жаку де Лакретелю), что описание сонаты Вентейля связано с воспоминаниями об отдельных музыкальных произведениях Сен-Санса (которого Пруст не очень любил), а также Франка, увертюрой к «Лоэнгрину» Вагнера, некоторыми произведениями Шуберта. Описание концерта у Вердюренов навеяно вечером, организованным Робером де Монтескью у баронессы Ротшильд 5 июня 1897 г.; на этом вечере играл пианист Леон Делафос, в ходе вечера Монтескью и Делафос поссорились и оскорбили друг друга. Пруст был очевидцем скандала.

Кому приписать эту музыку? В мире какого композитора я нахожусь? Мне так хотелось это знать, но спросить было не у кого, и я рад был бы превратиться в действующее лицо из «Тысячи и одной ночи», которую я перечитывал постоянно и где, в моменты замешательства, внезапно возникал дух или отроковица дивной красоты, невидимая другим, но не растерявшемуся герою, открывавшая ему все тайны, возбуждавшие его любопытство. И как раз в этот момент мне, как по волшебству, все стало ясно. Так в словно бы незнакомой тебе местности, куда ты въезжаешь с до тех пор неизвестной тебе стороны, ты сворачиваешь с дороги и вдруг попадаешь на другую, где тебе знакомы все уголки, но только обычно ты ехал сюда по другой дороге, и ты говоришь: «Да ведь это же та дорожка, что ведет к калитке в сад моих друзей***; отсюда до них два шага»; и в самом деле: ты видишь их дочь — она вышла тебя встречать; вот так, в одно мгновенье, я понял, что новая для меня музыка — это самая подлинная соната Вентейля: еще более чудесная, чем отроковица, короткая фраза, оправленная в серебро, сверкающая звуками, легкими, ласкающими, как шарфы, она шла ко мне, и, несмотря на новое убранство, я ее узнал.

Радость встречи с ней росла во мне благодаря знакомому дружескому звучанию, какое у нее появлялось, когда она обращалась именно ко мне, уверенная в себе, простодушная, не скрывавшая, однако, своей переливчатой красоты. Ее роль сводилась на сей раз к тому, чтобы указывать мне дорогу, но не дорогу Сонаты, так как теперь это было неизданное произведение Вентейля, где он только забавлялся совпадением этого названия с названием, указанным в программе, которая должна была быть у каждого перед глазами, и кратковременным звучанием фразы. Напомнив о себе, короткая фраза исчезла, и я вновь очутился в незнакомом мире; но теперь я знал — и все мне подтверждали, — что это был один из тех миров, о которых я не догадывался, что их создал Вентейль, ибо, когда я, уставший от Сонаты — от той вселенной, которая была уже мною изучена до конца, пытался вообразить другие, столь же прекрасные, но совсем иные, я мог только, подобно поэтам, наполнять свой мнимый Рай лугами, цветами, реками, то есть повторять ландшафт Земли. То, что меня окружало, радовало бы меня так же, как радовала бы Соната, если бы я не знал ту; она была столь же прекрасна, но это была другая Соната. Окна той Сонаты были распах-

нуты на полевые лилии; она делилась со всеми своей хрупкой чистотой, но висела она в легкой и в то же время устойчивой деревенской зыбке, сплетенной из жимолости и белых гераней, тогда как окна нового для меня творения были распахнуты на ровную, плоскую поверхность, подобную морской глади, и начиналось оно предгрозовым утром, в звонкой тишине, в пустом бесконечном пространстве, в розовости зари и постепенно вытравливало передо мной незнакомую вселенную, возникшую из ночной тишины. Этот новый багрянец, столь чуждый нежной, чистой, полевой Сонате, окрашивал все небо, как утренняя заря, в цвета таинственной надежды. И уже сверлила воздух песня; в ней было всего лишь семь нот, но ничего более странного, ни на что не похожего я никогда себе не представлял: то было нечто бессловесное, яркое, не похожее на воркованье голубя, как в той Сонате, но оно раздирало воздух, оно было так же резко, как пунцоватость, в которую было погружено начало произведения, оно напоминало мистическое пенье петуха, бессловесный, но пронзительный зов вечного утра. Холодный воздух Сонаты, обмытый дождем, бодрящий, но совсем по-другому, с иным атмосферным давлением, в мире, та-

ком далеком от этого, девственном, обильном растениями, менялся каждую минуту, смывая пурпурное обещание Зари. В полдень, однако, в жгучем, преходящем солнечном свете, казалось, она была полна грузным блаженством, сельским, почти деревенским, когда раскачиванье гулких, разбушевавшихся колоколов (похожих на те, от звона которых пышала жаром церковная площадь в Комбре и которые Вентейль, наверно часто их слышавший, выпекал в ту минуту в своей памяти, как находят краску на палитре), казалось, способно было материализоваться в любой сгусток радости. Откровенно говоря, с точки зрения эстетической, этот мотив радости мне не нравился; мне он казался почти неприятным: ритм с таким трудом волочился по земле, что все наиболее важное можно было успеть воспроизвести при помощи стуков, ударяя особым образом палочками по столу. Мне казалось, что вдохновение здесь изменило Вентейлю, и, как следствие, у меня слегка ослабло внимание.

Я посмотрел на Покровительницу: ее суровую неподвижность, казалось, возмущало то, что дамы из предместья покачивали своими невежественными головами в такт музыке. Г-жа Вердюрен не говорила: «Вы отлично понимаете,

что я знаю эту музыку и другую музыку тоже немножко знаю! Если б мне захотелось выразить то, что я чувствую, у вас не хватило бы времени меня выслушать». Она этого не говорила. Но ее прямой и неподвижный стан, ее ничего не выражавшие глаза, ее вьющиеся пряди говорили за нее. Говорили они также о ее мужестве, говорили о том, что музыканты могут удалиться, не тратить нервов, что она выдержит анданте, не вскрикнет во время аллегро. Я перевел взгляд на музыкантов. Виолончелист зажал инструмент между колен и наклонил голову; когда он гримасничал, черты его вульгарного лица невольно вызывали отвращение; он наклонялся к виолончели и ощупывал ее с той терпеливостью, с какой домашняя хозяйка чистит капусту, между тем как около него арфистка, совсем еще девочка, в коротенькой юбочке, пронизанная со всех сторон горизонтальными лучами золотого четырехугольника, похожими на те, что в волшебной комнате сивиллы по установленной форме изображали бы эфирное пространство, казалось, искала спрятанный в определенном месте чудесный звук — так маленькое аллегорическое божество, поставленное перед золотой сеткой небосвода, могло бы срывать, одну за другою,

звезды. А у Мореля одна прядь, до сих пор невидимая, прятавшаяся в его шевелюре, выбилась и свисла на лоб…

Я незаметно обернулся, чтобы проверить, как на эту прядь смотрит де Шарлю. Но мой взгляд уперся в лицо, точнее — в руки г-жи Вердюрен, так как де Шарлю зарылся в них. Покровительница своим собранным видом давала понять, что она находится как бы в храме и не видит отличия этой музыки от самой возвышенной молитвы. Хотелось ли ей, как некоторым в церкви, уклониться от нескромных взглядов, хотелось ли ей противопоставить пылу иных молящихся застенчивость или отнестись снисходительно к их рассеянности, к их неодолимому сну? Сперва я предположил только, что слышавшиеся мне мерные звуки — не музыкального происхождения, и это предположение оказалось верным, а потом уж я сообразил, что это храп, но только не г-жи Вердюрен, а ее собаки…

Но вскоре опять зазвучал торжествующий звон, который временно изгнали, рассеяли другие звуки, и тут мною вновь овладела музыка; я понял, что в исполнении этого септета различные элементы возникают поочередно и лишь в конце концов образуют Сонату и, как я узнал

впоследствии, другие произведения Вентейля, однако все они в исполнении септета представляли собой робкие попытки, прелестные, но очень хрупкие по сравнению с не распыленным, ликующим шедевром, раскрывшимся передо мной сейчас. И я не мог не вспомнить, что когда-то я рисовал себе миры, которые сотворил Вентейль, похожими на обособленные вселенные, какие представляют собой все мои увлечения; но я должен был признать, что если теперь из глубины последней моей любви — любви к Альбертине, — начиная с первых ее приливов в Бальбеке, затем после игры в хорька, затем в ту ночь, которую она провела со мной в отеле, затем в Париже, в туманное воскресенье, затем во время вечернего торжества у Германтов, затем снова в Бальбеке и кончая Парижем, когда моя жизнь неразрывно сплелась с ее жизнью, окинуть взглядом не только эту любовь, но и всю мою жизнь, то другие мои увлечения показались бы мне подготовкой, первыми попытками, несерьезными, робкими, мольбой о всепоглощающем чувстве — о любви к Альбертине. И я перестал следить за музыкой, чтобы вновь и вновь спрашивать себя: виделась ли последнее время Альбертина с мадмуазель Вентейль — так опять и опять обращаемся мы

с вопросом к своему страданию, о котором нас пока что заставило позабыть развлечение. Ибо возможные поступки Альбертины совершались во мне. У нас есть двойник каждого нашего знакомого. Но, обычно расположенный на горизонте нашего воображения, нашей памяти, он пребывает вовне, и, что бы он ни делал или что бы он ни собирался сделать, он является для нас причиной не более тяжелых переживаний, чем предмет, находящийся от нас на некотором расстоянии. Все, что огорчает наших возлюбленных, мы воспринимаем зрительно, мы можем выразить им сочувствие в общепринятых выражениях, которые свидетельствуют о нашей доброте, хотя мы их не жалеем. Но, начиная с того мгновенья, когда я был ранен в Бальбеке, в моем сердце, на страшной глубине, так что вынуть его можно было с великим трудом, появился двойник Альбертины. Внешний ее облик был вреден мне, как больному, чувства которого до того обострены, что вид цвета причиняет его душе не менее сильную боль, чем порез на теле. К счастью, я не поддался соблазну порвать с Альбертиной; скука, которая охватит меня, когда я возвращусь домой и встречусь с ней как с любимой женщиной, ничто в сравнении с тоской, какая овладела бы мной, если бы разрыв

произошел в тот момент, когда у меня были бы насчет нее подозрения, до того времени, когда она станет мне безразлична. То мгновение, когда я представил себе ее ожидающей меня дома, изнывающей от того, как долго тянется время, быть может, прикорнувшей у себя в комнате, мой слух ласкала семейная, домашняя музыкальная фраза септета. Быть может, — так все переплетается и так все наслаивается в нашей внутренней жизни — эту фразу навевал Вентейлю сон его дочери, дочери — причины всех моих нынешних душевных бурь, когда он тихими вечерами окутывал безмятежностью труд композитора, эту фразу, успокоившую меня своим убаюкивающим вторым планом, как умиротворяет второй план фантазий Шумана: когда мы их слушаем, то даже если «Говорит поэт», мы догадываемся, что «Дитя спит».[278] Сегодня вечером, когда я приду домой, я непременно увижу спящую или пробудившуюся Альбертину, мое дитя. И все же, — говорил я себе, — нечто более таинственное, чем любовь Альбертины, как будто бы сулило мне начало этого произведения в его первых приветах заре.

---

[278] Примечания: 278

Стр. 247. ...если «Говорит поэт», мы догадываемся, что «Дитя спит». — Здесь упоминаются названия двух музыкальных произведений Шумана из его цикла «Детские сцены».

Я отогнал от себя мысль о своей подружке, чтобы думать только о композиторе. И показалось мне, что он здесь. Можно было подумать, что, перевоплотившись, автор навсегда останется жить в музыке; мне передавалась та радость, с какой он подбирал цвет определенного тембра, гармонирующий с другими. Наряду с более важными достоинствами у Вентейля проявлялось еще одно, которым обладал мало кто из композиторов и даже из художников: он умел пользоваться красками не только поблекнувшими, но и резко своеобразными, над которыми время властно не больше, чем ученики, по-прежнему пытающиеся ему подражать, и даже не больше, чем превзошедшие его мэтры, бессильные, однако, затмить его оригинальность. Переворот, который произвело их появление, не видит, как его результаты анонимно усваиваются в последующие эпохи. Революция вырывается на волю, она вновь вспыхивает, но только при условии, что произведения новатора исполняются постоянно. Каждый тембр подчеркивается краской, которую самые искусные композиторы, применив все принятые ими законы, не могут перенять; таким образом, Вентейль хотя и пришел в свой час и занимает отведенное ему место в музыкальной

эволюции, в любой момент покинет его и станет во главе, едва лишь заиграют одно из его творений, вновь расцветшее после стольких новых композиторов — расцветшее благодаря своей чисто внешней, обманчивой, вечно новой сложности. Уже отыгранная на рояле и зазвучавшая в септете страница Вентейля, точно солнечный луч летнего дня, который призма окна разлагает, прежде чем он проникнет в темную столовую, являла взору, будто нежданное многоцветное сокровище, все драгоценные камни «Тысячи и одной ночи». Можно ли, однако, уподобить этому неподвижному слепящему свету то, что есть жизнь, непрерывное, блаженное движение? Вентейль был застенчив и печален, но, когда нужно было найти тембр и объединить его с другим, он вдруг становился смелым и в полном смысле слова счастливым, и тогда он уже не сомневался в успехе прослушивания своих произведений. Радость, какую доставляли ему иные звучания, прибывавшие вместе с ней силы для открытия новых звучаний вели слушателя от находки к находке, или, вернее, его вел сам творец, черпавший в найденных им красках исступленную радость, которую дает способность отыскивать краски, устремляться к тем, которые, как ему кажется,

призывают его, приходившего в восторг, вздрагивавшего, как при шорохе искры, когда высокое начало рождалось в нем от встречи с духовыми инструментами, задыхавшегося, упоенного, обезумевшего, дорабатывавшегося до головокружения при отшлифовке большой музыкальной фрески, точно Микеланджело, привязанный к лестнице и, пригнувшись, наносивший мощные удары кистью по плафону Сикстинской капеллы. Вентейль умер много лет назад, но ему было дано продолжать жить до бесконечности — во всяком случае, частью своей жизни — среди любимых его инструментов. Только ли жизнью человека? Если бы искусство не являлось в самом доле продолжением жизни, стоило ли тогда хоть чем-нибудь жертвовать искусству? Не было ли бы оно тогда нереальным, как жизнь? Чтобы внимательнее слушать септет, я вынужден был не думать. Конечно, алевший септет сильно отличался от белой Сонаты; несмелая просьба, на которую отвечала короткая фраза, отличалась от прерывистой мольбы исполнить странное обещание, прозвучавшей резко, необычно, всколыхнувшей дремотную алость утреннего неба над морем. И все же эти две такие не похожие одна на другую фразы были созданы из однородных составных

частей. Подобно тому, как существует некая вселенная, которую мы различаем в разбросанных повсюду частицах — в жилищах, в музеях — и которая и есть вселенная Эльстира, та, какой он ее видел, та, где он жил, так и музыка Вентейля распространяла отдельными нотами, отдельными клавишами дотоле невидимые, бесценные сочетания красок вновь открытой вселенной, раздробленной промежутками времени между прослушиваниями его произведений. Эти две непохожие просьбы, управлявшие столь разным движением Сонаты и септета, одна — разрезавшая на краткие зовы длинную прямую линию, другая — объединявшая в одно нерасторжимое целое раскиданные там и сям фрагменты, одна — робкая и спокойная, почти безучастная и словно бы философичная, другая — настойчивая, встревоженная, молящая, представляли собой, однако, одну и ту же молитву, выливавшуюся лишь при разных восходах душевного солнца, преломлявшуюся в разной среде других мыслей, в среде многолетних поисков чего-то нового, что хотел создать в развивающемся искусстве Вентейль. Молитву, надежду, в существе своем одну и ту же, которую можно было узнать у Вентейля под любыми покровами и которую можно было най-

ти только в творениях Вентейля. Музыкальным критикам ничего не стоило найти обиталище этих фраз, их генеалогию в произведениях других крупных композиторов, но все это касалось частностей, внешнего сходства; это были аналогии, скорее хитроумно найденные аналитическим путем, чем под непосредственным впечатлением. Впечатление, производимое фразами Вентейля, отличалось от всех прочих — так в строго научных выводах индивидуальность ученого все же сохраняется. Индивидуальность Вентейля особенно сильно чувствовалась, когда он прилагал мощные усилия к тому, чтобы быть новым, а это новое в творчестве Вентейля угадывалось и в обманчивости отличий, и в глубине сродства, и в намеренности сходства. Если Вентейль повторял одну и ту же фразу, видоизменял ее, забавлялся сменой ритмов, приданием ей первоначальной формы, то сходство намеренное, по необходимости поверхностное — плод ума — никогда так не поражало, как сходство скрытое, невольное, расцветавшее разными цветами между двух разных шедевров, ибо тут Вентейль, прилагая мощные усилия к тому, чтобы быть новым, вопрошал сам себя и, употребив всю мощь творческих усилий, достигал своей истинной сущности на

такой глубине, где, с какой мольбой к нему бы ни обратились, он отвечал всегда одним и тем же, одному ему принадлежащим звуком, звуком Вентейля, отделенным от звука других композиторов гораздо более сильным отличием, чем то, какое нам слышится между голосами двух человек, даже между мычаньем и криком двух животных разной породы, подлинным отличием, какое существует между мыслью того или иного композитора и неустанными поисками Вентейля, мольбой, которую он выражает во множестве форм, его обычными умозрительными построениями, свободными, однако, от сухой рассудочности, так что, если бы его фраза была исполнена в мире ангелов, мы могли бы измерить ее глубину, но не перевести на человеческий язык, как не могут заговорить на человеческом языке вызванные медиумом бесплотные духи, когда медиум расспрашивает их о тайнах смерти. Да, все-таки звуком, даже приняв во внимание и оригинальность, поразившую меня сегодня, и сродство, которое музыкальные критики устанавливают между композиторами, ибо, едва заслышав этот единственный в мире звук, встают и, пересилив себя, к нему возвращаются великие песнотворцы, то есть оригинальные композито-

ры, и в этом — доказательство несокрушимого своеобразия душ. Все, чему Вентейль пытался придать наибольшую торжественность и величественность, все жизнерадостное, все прекрасное, что он подмечал, отразил и на что он стремился обратить внимание публики, все это он, сам того не желая, погружал в мертвую зыбь — вот почему его песнь бессмертна и вот почему ее всегда узнаешь. Где же Вентейль разыскал, где же он услыхал эту песнь, разнящуюся от других и похожую на все его песни? Каждый художник — гражданин неведомой страны, позабытой даже им, отличающейся от той, откуда, снявшись с якоря, явится другой художник. В своих последних произведениях Вентейль, пожалуй, ближе всего подходит к этой стране. Атмосфера здесь не та, что в Сонате, вопрошающие фразы становятся более настойчивыми, более тревожными, ответы — более загадочными, создается впечатление, что бледный утренний и вечерний свет воздействует на все, вплоть до струн инструментов. Морель играл чудесно, но звуки его скрипки показались мне какими-то особенно пронзительными, почти визгливыми. В этих колющих звуках было что-то обаятельное; как в некоторых голосах, в них ощущались какая-то высокая нравствен-

ность и своеобразное умственное превосходство. Но все это могло и коробить. Вполне естественно, что когда восприятие вселенной меняется, утончается, становится более адекватным воспоминанию о стране в нашем внутреннем мире, то у композитора это выражается в общем изменении созвучий, как у художника — в изменении красок. Тонкая публика на этот счет не обманывается, — впоследствии были найдены наиболее глубокие из последних произведений Вентейля. Никакая программа, никакое изложение сюжета не дает оснований для суждения. Слушатели могут только догадываться, что произведение обрело большую глубину благодаря переходам в различные строи.

После того, как страна утрачена, композиторы о ней не вспоминают, но до известной степени каждый из них бессознательно связан с ней навсегда; он с ума сходит от радости, когда ему удается запеть с ней в унисон, временами он изменяет ей в погоне за славой, но потом бежит от славы, и, лишь презрев ее, он ее находит, как только запевает эту необыкновенную песнь, монотонность которой — ибо, на какой бы сюжет она ни была написана, она остается верной себе — доказывает, что то, что составляет душу

музыканта, пребывает неизменным. Но в таком случае составные части нашей души, весь осадок реальности, который мы принуждены хранить только для самих себя, который беседа не может передать от друга другу, от учителя ученику, от возлюбленного возлюбленной, то неизреченное, что вносит качественное отличие в ощущаемое каждым и что он вынужден оставить на пороге фраз, где он сообщается с другими, ограничиваясь чисто внешними точками соприкосновения, общими для всех и не представляющими никакого интереса, — не искусство ли — искусство таких композиторов, как Вентейль, и таких художников, как Эльстир, — выявляет все это, выражая в цвете скрытую от наших глаз структуру миров, которые мы называем индивидуумами и которые без помощи искусства мы бы так никогда и не узнали? Крылья и респираторный аппарат, которые позволяют нам пересекать бесконечность, нам бы не пригодились, так как если б мы полетели на Марс или на Венеру с неизменившимися чувствами, то всему, что бы мы там ни увидели, они придали бы вид предметов, находящихся на Земле. Совершить настоящее путешествие, омыться в Источнике молодости — это не значит перелететь к неведомой природе, это значит

обрести иные глаза, посмотреть на вселенную глазами другого человека, глазами сотен других людей, увидеть сто вселенных, которые каждый из них видит, которые каждый из них представляет собой; и все это нам доступно благодаря Эльстиру, благодаря Вентейлю и им подобным, мы действительно летим от звезд к звездам.

Анданте заканчивалось фразой, исполненной нежности, поглотившей меня целиком. Перед следующей частью полагался перерыв; исполнители отложили инструменты, слушатели поделились впечатлениями. Один из герцогов, чтобы показать, что он разбирается в музыке, изрек: «Хорошо сыграть эту вещь очень трудно». Люди более симпатичные немного поговорили со мной. Но что значили их слова, если, как ко всякому человеческому слову, скользящему по поверхности близ небесной музыкальной фразы, с которой я только что беседовал, я оставался к ним глубоко равнодушен? Сам себе я напоминал падшего ангела, который с высоты райского блаженства опускается в ничем не примечательную действительность. И, подобно иным существам, являющимся последними свидетелями той жизни, которая в конце концов утратила смысл, я спрашивал себя: не могла ли бы Музы-

ка служить единственным средством — если б не были изобретены язык, словообразование, мышление — общения душ? Музыка есть как бы нереализованная возможность; человечество устремилось на другие пути — пути устного и письменного языка. Но возвращение к неподдающемуся анализу было столь упоительным, что по выходе из рая связь людей даже более или менее интеллигентных показалась мне до ужаса ничтожной. Когда звучала музыка, я мог вспоминать об этих людях, сливать их с пей; вернее, я сливал с музыкой образ только одного человека — образ Альбертины. Фраза, которой завершалось анданте, была столь возвышенна, что я невольно подумал: жаль, что Альбертина ее не знает, а если б даже и знала, то не поняла бы, какая честь для нее — быть слитой с чем-то великим, что нас объединяет, и откуда, казалось, исходил волнующий звук. Когда музыка затихла, стало ясно, что люди изнемогают от жары. Принесли прохладительного. Де Шарлю время от времени спрашивал кого-нибудь из слуг: «Как поживаете? Получили мое письмо? Придете?» В нем чувствовалась непринужденность вельможи, который уверен, что он осчастливливает такими обращениями, что он ближе к народу,

чем буржуа, но вместе с тем чувствовалось и плутовство подсудимого, который уверен, что раз он что-то выставляет напоказ, то, значит, ничего преступного в этом нет. И он добавлял на мотив Германтов в аранжировке маркизы де Вильпаризи: «Это славный малый, он человек хороший, он часто у меня прислуживает». Но эти приемы обращались против барона, так как его интимный тон с лакеями, его письма к ним всех изумляли. Да и сами лакеи были не столько рады за своих товарищей, сколько смущены.

А между тем септет заиграл снова и приближался к концу произведения. Опять и опять звучала какая-нибудь фраза из Сонаты, всякий раз измененная, в ином ритме, с другим аккомпанементом, та и не та, — вот так повторяются события в жизни. И это одна из фраз — хотя вам все-таки остается неясным, какая родственная близость определила для них в качестве единственного и неизбежного жилища прошлое того или иного композитора, — что встречаются только в его творчестве и часто в нем возникают, ибо они — его феи, дриады, домашние божества. Вначале я различил две-три фразы, напомнившие мне Сонату. Затем я различил окутанную голубоватым туманом, поднимавшимся осо-

бенно часто в последний период творчества Вентейля, так что, если даже он вводил танец, то и танцевальная музыка обретала опаловый отлив, еще одну фразу Сонаты, находившуюся пока так далеко от меня, что я с трудом узнал ее; она несмело приблизилась, потом, чего-то словно испугавшись, исчезла, потом появилась снова, устремилась к другим — как я после узнал, из других творений, — позвала еще и еще, и эти вновь появившиеся, привыкнув, в свою очередь уговаривали, завлекали и вступали в круг, в божественный круг, остававшийся невидимым для большинства слушателей, а те ничего не могли рассмотреть сквозь пелену тумана — они только по произволу рассеивали восторженными восклицаниями бесконечную скуку, от которой готовы были умереть. Затем фразы удалились, кроме одной, несколько раз еще промелькнувшей так быстро, что я не успел разглядеть ее лик, но она была такая ласковая, такая не похожая — какой, без сомнения, была короткая фраза из Сонаты для Свана — ни на одну женщину, от которой я ничего подобного не мог ожидать, между тем как эта фраза своим нежным голосом сулила мне счастье, за которое действительно стоило побороться; быть может, это невидимое создание

— хотя я и не знал его языка, зато понимал его отлично — и являлось той единственной Неведомой, которую мне суждено было встретить. Затем эта фраза распалась, изменилась, наподобие короткой фразы из Сонаты, и превратилась в начальный таинственный призыв. Полной ей противоположностью являла собой фраза мучительная, глубокая, неясная, исходившая из нутра, органическая, висцеральная[279], так что при каждом ее повторении я не мог понять, порождена ли она темой или моей невралгией. Вскоре столкнулись два мотива, и порой один из них исчезал, а затем появлялся обрывок другого. По правде говоря, это была всего-навсего рукопашная; сходясь, они освобождались от своей физической оболочки, от наружности, от имени и находили во мне слушателя такого же нутряного, как и они, безучастного к именам и к своеобразию, заинтересованного в исходе их нематериальной, динамичной битвы и с разгоревшимися глазами следящего за звуковыми перипетиями. Наконец радостный мотив победил: то был не почти тревожный призыв за пустым небом — то была несказанная радость, исходившая, казалось, из

[279] Примечания: 279

Стр. 254. Висцеральная — то есть имеющая отношение к внутренним органам.

рая, радость, так же отличающаяся от радости Сонаты, как отличается приветливый, степенный, играющий на теорбе[280] ангел Беллини[281] от одетого в огненного цвета одежду архангела Мантеньи, играющего на трубе.[282] Я знал, что мне уже не забыть этот новый оттенок радости, этот призыв к радости неземной. Но прозвучит ли он когда-нибудь в моей жизни? Этот вопрос представлялся мне крайне важным, ибо ничто не могло лучше характеризовать и как бы отделить от оставшихся мне дней вместе со всем видимым миром те впечатления, какие через большие промежутки времени служили мне чем-то вроде вех, приманок для истинной жизни: например, впечатления от колоколен Мартенвиля, от вытянувшихся в ряд деревьев около

---

[280] Примечания: 280

Теорб — разновидность лютни, получившая распространение в Италии в XVI и XVII вв.

[281] Примечания: 281

Беллини Джованни (1426-1516) — итальянский художник венецианской школы, автор станковых и монументальных композиций на исторические и мифологические темы. Играющие на музыкальных инструментах ангелы на картинах Беллини упоминаются Прустом в романе «Под сенью девушек в цвету» (см. указ. изд., с. 482).

[282] Примечания: 282

...архангела Мантеньи, играющего на трубе. — Речь идет об одной из фресок капеллы Оветари в Падуе, изображающей вознесение Богоматери.

Бальбека. Как бы то ни было — если вернуться к особому звучанию этой фразы, — не странно ли, что предчувствие, прямо противоположное тому, что предназначено для жизни будничной, приближение самой бурной радости потустороннего мира материализовалось в благовоспитанном, печальном горожанине, которого мы встретили в Богородичный месяц[283]? Нет, правда, как могло случиться, что самым необыкновенным открытием, какое мне когда-либо приходилось делать, — открытием особого вида радости — я был обязан ему, тогда как, по слухам, он оставил после себя только Сонату, а все остальное было записано им на клочках и не поддавалось прочтению? Нет, все-таки поддалось благодаря усидчивости, уму и благоговению перед покойным композитором единственного человека, который довольно долго общался с Вентейлем, изучил его приемы и мог догадаться, чего он добивается от оркестра: я имею в виду подругу мадмуазель Вентейль. Еще при жизни великого композитора она восприняла от дочери его культ. В связи с этим культом, именно в такие мгно-

[283] Примечания: 283

Богородичный месяц. — Имеется в виду май, когда в католических странах совершают службы в честь Богородицы (см. «По направлению к Свану», с. 138).

вения, когда обеих девушек тянуло прочь от их истинных наклонностей, они находили безрассудное наслаждение в кощунстве, о котором мы рассказывали.[284] (Обожание отца было непременным условием святотатства дочери; конечно, они должны были бы отрешиться от сладострастного чувства, заключенного в святотатстве, но сладострастие не выражало их сущности.) К тому же с течением времени сладострастие в них разрежалось, а потом и вовсе исчезло, по мере того как их плотские ненормальные отношения, бурные, страстные объятия сменились пламенем высокой и чистой дружбы. Подругу мадмуазель Вентейль порой мучила мысль, что, может быть, она ускорила кончину музыканта. Но, в течение нескольких лет разбирая закорючки Вентейля, устанавливая единственно верное прочтение его загадочных иероглифов, она, омрачившая последние годы жизни композитора, могла утешить себя тем, что зато он обязан ей неувядаемой своею славой. Отношения, непризнаваемые законом, проистекают из родственных уз, и они столь же многообразны, сложны и в то же время

[284] Примечания: 284

Стр. 255. ...кощунстве, о котором мы рассказывали. — Пруст имеет в виду сцену из романа «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 184-187).

отличаются большей крепостью, чем узы, рожденные браком. Не останавливаясь на особенных отношениях, зададим себе вопрос: разве мы не наблюдаем ежедневно, что адюльтер, основанный на искренней любви, не потрясает семейных основ, не нарушает родственных обязанностей, но, напротив, оживляет их? Дуновение адюльтера проникает в букву, которая очень часто засыхает в браке. У хорошей девушки, носящей из простого приличия траур по втором муже своей матери, нет слез, чтобы оплакивать человека, которого ее мать предпочла сделать своим любовником. Мадмуазель Вентейль действовала как садистка, и это ее не оправдывает, но потом мне ее стало отчасти жалко. Она должна была отчетливо сознавать, — говорил я себе, — что когда она со своей подругой надругалась над портретом отца, то это была болезнь, припадок умоисступления, а не настоящая, ликующая злоба, в которой она испытывала потребность. Мысль, что это только игра, портила ей удовольствие. Но если бы мысль о том, что удовольствие было испорчено, пришла к ней потом еще раз, она бы не так страдала. «Это была не я, — решила бы она, — я была тогда не в себе. Теперь я могу молиться за отца и надеяться на его милосердие». Но только мысль эта, воз-

никавшая у нее в минуту наслаждения, по всей вероятности, не являлась ей в минуту страдания. Мне хотелось добиться того, чтобы она всегда жила с этой мыслью. Я был уверен, что сделал бы доброе дело и установил бы между ней и воспоминанием об отце отрадную связь.

Как в не поддающихся прочтению записных книжках гениального химика, не знающего, что смерть его близка, и внесшего туда записи об открытиях, которые, быть может, так и останутся неизвестными, подруга мадмуазель Вентейль из бумаг, еще менее поддающихся прочтению, чем папирусы, исписанные клинописью, извлекла формулу, верную для всех времен, неиссякаемо плодотворную, формулу неведомой радости, мистическую надежду огненного Ангела Утра. А мне — хотя, быть может, в меньшей степени, чем Вентейлю, — она причиняла боль, и не далее как сегодня вечером, когда она всколыхнула мою ревность к Альбертине, но особенно много я выстрадал из-за нее потом, зато благодаря ей до меня долетал странный призыв, который я воспринимал не иначе как обещание, что существует нечто иное, осуществляемое, разумеется, в искусстве, что-то помимо небытия, которое виделось мне во всех наслаждениях и даже в любви,

и что если моя жизнь и кажется мне пустой, то прожита она, однако, не вся.

Произведения Вентейля, которые благодаря проделанной ею работе стали известны, — это и было, в сущности, все творчество Вентейля. Не считая того, что исполнял септет, фразы Сонаты, которые знала публика, казались до того банальными, что было непонятно, как они могут вызывать такой восторг. Точно так же мы изумлялись, когда в течение нескольких лет такие слабые вещи, как «Романс звезде», «Молитва Елизаветы»,[285] на концертах приводили в неистовство фанатиков, и они бешено аплодировали и кричали «бис», тогда как для нас, знавших «Тристана», «Золото Рейна», «Мейстерзингеров», это было приторное убожество. Возможно, что эти бесцветные мелодии все-таки заключали в себе бесконечно малые доли — и, может быть, именно благодаря этому легче усваивались — оригинальности шедевров, которые в дальнейшем только и будут представлять для нас ценность, но самое совершенство которых, быть может, затрудняет на первых порах понимание; эти мелодии могли проторить дорогу шедеврам к сердцам слуша-

[285] Примечания: 285

Стр. 256. «Романс звезде», «Молитва Елизаветы» — фрагменты оперы Вагнера «Тангейзер».

телей. То же самое произошло и с Вентейлем: если бы после смерти — за исключением некоторых частей Сонаты — он оставил то, что успел закончить, то, что стало известным, рядом с величиной, какую он представлял собой на самом деле, он показался бы таким же маленьким, как, например, Виктор Гюго[286], если бы он умер, оставив «Переход войск короля Иоанна», «Невесту литаврщика» и «Сарру-купальщицу» и ничего не написав из «Легенды веков» и «Созерцаний»: то, что мы считаем его настоящим творчеством, осталось неосуществленной возможностью, таким же непознанным, как миры, до которых наше восприятие не достигает, о которых у нас навсегда остается только представление.

Разительный контраст, глубокая связь между гением (и между талантом тоже, даже между способностями) и греховной оболочкой, в которой так часто находился, был заключен Вентейль, различались, как в дешевой аллегории, на собрании даже приглашенных, среди которых я оказался, когда музыка кончилась. Это собрание, хотя на этот раз оно было сужено до пределов салона г-жи Вердюрен, было похоже на многие другие, где

[286] Примечания: 286

Стр. 257. ...Виктор Гюго... — Далее Пруст называет два стихотворения из сборника Гюго «Оды и баллады» и одно из его «Восточных мотивов».

важная публика не знакома с теми, кто сюда вхож постоянно и кого журналисты-философы, если только они хоть немного осведомлены, именуют парижанками, панамистками[287], дрейфусарками, не подозревая, что они с таким же успехом могут встретиться с ними и в Петербурге, и в Берлине, и в Мадриде, и притом во всякое время; если товарищ министра изящных искусств, человек действительно любящий искусство, хорошо воспитанный и притом сноб, несколько герцогинь и три посла с супругами были на этом вечере у г-жи Вердюрен, то ближайший, непосредственный повод для этого коренился в отношениях между де Шарлю и Морелем, отношениях, которые вызывали у барона желание, чтобы его юный кумир имел возможно более шумный успех и чтобы он получил орден Почетного легиона; более отдаленная причина заключалась в том, чтобы девушка, находившаяся с мадмуазель Вентейль в отношениях параллельных отношениям де Шарлю и Мореля, вытащила на свет божий целый ряд гениальных произведений Вентейля и сделала такое важное открытие, что за этим не замедлила бы последовать под покровительством министра

[287] Примечания: 287

…панамистками… — то есть связанными с известной аферой — строительством Панамского канала (1888-1892).

народного просвещения закладка памятника Вентейлю. Кроме того, произведения Вентейля в такой же мере, как отношениям мадмуазель Вентейль и ее подруги, могли быть полезны отношениям барона и Чарли, служить им чем-то вроде проселочной дороги, кратчайшего пути, благодаря которому свет мог бы пробиться к этим произведениям, не пользуясь путем обходным, и это избавило бы произведения Вентейля от долгого, упорного непонимания, а то и вовсе от полного их незнания, которое может длиться годами. Каждый раз, когда происходит событие, доступное пошлому уму журналиста-философа, то есть в большинстве случаев событие политическое, журналисты-философы проникаются уверенностью, что во Франции что-то случилось, что больше таких вечеров уже не будет, что французы уже не будут восхищаться Ибсеном, Ренаном[288], Достоевским, Аннунцио[289], Толстым, Вагнером, Штраусом. Ибо журналисты-философы черпают свои аргументы в двусмысленном под-

[288] Примечания: 288

Стр. 258. Ренан Жозеф-Эрнест (1823-1892) — французский писатель и историк, автор в свое время очень популярных книг по истории христианства.

[289] Примечания: 289

Аннунцио Габриэле (1863-1938) — итальянский поэт, романист и драматург, очень популярный в Европе на рубеже XIX и XX вв.

тексте официозных заявлений для того, чтобы найти нечто декадентское в том искусстве, которое эти заявления прославляют и которое чаще всего отличается наибольшей строгостью. Ибо из числа наиболее уважаемых журналистов-философов не найдется ни одного, кто без малейших колебаний не согласился бы поставить свое имя среди приглашенных на такие необычные вечера, хотя необычность от этого не так бросается в глаза и легче прячется. На этом вечере нравственно нечистоплотные люди поразили меня с другой точки зрения. Конечно, я, как и всякий другой, мог бы мысленно их не соединять, поскольку я видел их не вместе, но некоторые из них, связанные с мадмуазель Вентейль и ее подругой, напоминали мне о Комбре, напоминали и об Альбертине, то есть о Бальбеке, потому что я видел когда-то мадмуазель Вентейль в Монжувене и узнал об интимных отношениях ее подруги с Альбертиной, которую я сейчас, вернувшись к себе, найду в укромном уголочке, с Альбертиной, которая меня ждет. А те, что имели касательство к Моролю и де Шарлю, напоминали мне Бальбек, Донсьерскую набережную, где завязывались их отношения, напоминали два Комбре, так как де Шарлю был одним из Германтов, графов Комб-

рейских, жившим в Комбре, не имея своего угла, между небом и землей, как Жильберт Дурной[290] на своем витраже, а Морель был сыном лакея, который познакомил меня с дамой в розовом[291] и дал возможность, несколько лет спустя, узнать в ней г-жу Сван[292].

Де Шарлю повторил, когда музыка кончилась и его приглашенные стали подходить к нему прощаться, ту же ошибку, что и перед концертом. Он не предложил им подойти попрощаться к Покровительнице и ее супругу. Образовалась длинная вереница, но вереница эта тянулась только к барону, и он обратил на это внимание, что явствовало из его слов, немного спустя обращенных ко мне: «Даже проявление эстетических чувств в наши дни напоминает обряд исповеди

---

[290] Примечания: 290

Жильберт Дурной. — Его изображение на витраже церкви в Комбре подробно описано в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 131). В рукописи Пруст написал сначала «Карл Дурной» (такой король действительно существовал: он был королем Наварры и жил в середине XIV в.), а потом исправил на вымышленного «Жильберта».

[291] Примечания: 291

…познакомил меня с дамой в розовом… — Речь идет о первой встрече героя у его двоюродного деда Адольфа с Одеттой, что было описано в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 102-106).

[292] Примечания: 292

…в ней г-жу Сван. — Далее в сноске дана вставка, сделанная Прустом на отдельном листочке, вложенном в беловую рукопись. Новейшие издатели включают эту вставку в основной текст. [«Здорово сыграли,

а?» — спросил Саньета Вердюрен. «Мне только кажется, что виртуозность Мореля несколько снижает чувство, каким проникнуто все произведение». — «Снижает? Что вы хотите этим сказать?» — проворчал Вердюрен, а в это время гости теснились, готовые, как львы, растерзать критика. «Да нет, я не имею в виду только его…» — «Теперь уж я совсем ничего по понимаю. Что же вы имеете в виду?» — «Мне… нужно… послушать… еще раз, судить по всей строгости». — «По всей строгости! Да он с ума сошел! — схватившись за голову, вскричал Вердюрен. — Его надо вывести». — «Я хочу сказать, составить верное суждение; надо… ббы… сказать… строго объективно… Я хотел сказать, что не могу судить объективно». — «А я хочу вам сказать: „Уходите!“ — упиваясь своим гневом, с горящими глазами, показывая пальцем на дверь, крикнул Вердюрен. Саньет пошел, выписывая круги, как пьяный. Некоторые решили, что он не был приглашен и потому-то его и выставили. А одна до сих пор очень с ним дружившая дама, которой он еще вчера принес почитать ценную книгу, на другой день без всякой записки отослала ее обратно, небрежно завернув в бумагу, на которой она попросила метрдотеля надписать его адрес: она не желала „ничем быть обязанной“ тому, кто явно не в ладах с „ядрышком“. А Саньет не придал значения той грубости, какая была проявлена по отношению к нему. Не прошло и пяти минут после выходки Вердюрена, как лакей прибежал сказать, что у Саньета сердечный припадок и он лежит во дворе. А вечер еще не кончился. „Отвезите его к нему, ничего!“ — распорядился Вердюрен, „частный отель“ которого, как выражался директор бальбекского отеля, усвоил себе правило больших отелей, где спешат спрятать внезапно умерших, чтобы не испугать проживающих, и где временно запирают покойника в кладовой, а потом, будь он при жизни самым блестящим и благородным человеком, тайком выносят через дверь, предназначенную для судомоек и приготовителей соусов. Но Саньет не был мертв. Он прожил еще некоторое время, хотя почти не приходил в сознание.

— это довольно забавно». Выражение благодарности превращалось в целую речь, что позволяло уходившим побыть еще немного с бароном, а те, кто еще не поздравил барона с успехом его праздника, в ожидании своей очереди переминались с ноги на ногу. (Многим мужьям не терпелось уехать, по их супруги, такие же снобки, как герцогиня, возражали: «Нет, нет, если бы даже нам пришлось ждать битый час, все равно мы должны были бы поблагодарить Паламеда за его хлопоты. Только он способен в теперешнее время устраивать такие праздники». Никому в голову не приходило подойти к г-же Вердюрен, как не приходит в голову знатной даме, собравшей вечером в театре всю аристократию, проститься с билетершей.) «Кузен! Вы были вчера у Элианы де Монморанси[293]?» — спросила г-жа де Мортемар — ей хотелось поговорить с бароном. «Нет уж! Я люблю Элиану, но отказываюсь понимать, в чем смысл ее приглашений. Впрочем, я человек замкнутый, — добавил он с широкой сияющей улыбкой, а г-жа де Мортемар в это время поду-

[293] Примечания: 293

Стр. 259. Элиана де Монморанси — персонаж, видимо, вымышленный, но ему, как это очень часто бывает у Пруста, дано имя одного из старинных французских аристократических родов. Представители этого рода упоминаются в книгах Пруста многократно.

мала о том, что ей придется принимать „одну из Паламед“, как прежде она часто принимала Ориану. — Недели две назад я имел удовольствие получить карточку от милейшей Элианы. Под небесспорным именем Монморанси было любезное приглашение: „Кузен! Доставьте мне удовольствие — подумайте обо мне в следующую пятницу, в половине десятого“. Под этим стояли два менее изящных слова: „Чешский квартет“. Сначала мне показалось, будто слова неразборчиво написаны, во всяком случае, что они не имеют отношения к предыдущей фразе, на месте которой, только на обороте, любитель эпистолярного жанра начал другое письмо, начинавшееся словами: „Дорогой друг“, но продолжения не последовало, а другого листочка не взяли — то ли по рассеянности, то ли из экономии. Я очень любил Элиану, и я на нее не сержусь, я ограничился тем, что не придал значения странным, не на месте поставленным словам: „Чешский квартет“, а так как я люблю порядок у себя в комнате, то просьбу подумать о г-же де Монморанси в пятницу, в половине десятого, положил сверху на каминную полочку. Хотя я слыву за человека послушного,

исполнительного и мягкого, — так Бюффон[294] определяет верблюда, — тут вокруг де Шарлю смех усилился: барону было известно, что он считается человеком с тяжелым характером, — я опоздал на несколько минут (мне нужно было время, чтобы переменить дневной костюм на вечерний) без особых угрызений совести — я подумал, что половина десятого указана по ошибке вместо десяти. А как только пробило десять, я, в прекрасном халате, в домашних туфлях, сел у камина и начал думать об Элиане, как она меня об этом просила, с настойчивостью, которая уменьшилась лишь в половине одиннадцатого. Теперь скажите, пожалуйста, в точности ли я исполнил ее смелую просьбу. Я полагаю, что она останется довольна».

Госпожа де Мортемар закатилась хохотом; вместе со всеми смеялся и де Шарлю. «Ну, а завтра, — спросила г-жа де Мортемар, — простив Элиане де Монморанси, что она отняла у вас гораздо больше времени, чем вы должны были ей уделить, вы

[294] Примечания: 294

Стр.260. Бюффон Жорж-Луи Леклерк (1707-1788) — французский ученый-просветитель, автор знаменитой «Естественной истории».

будете у наших родственников Ларошфуко[295]?» — «О нет, это невозможно, они меня зовут, как и вы, насколько я понимаю, на нечто непостижимое и неосуществимое, которое называется, если верить приглашению: „Танцевальный чай“. В молодости я считался очень ловким, и все-таки я сомневаюсь, что, не нарушал приличий, мог бы пить чай танцуя. Я вообще люблю есть и пить опрятно. Вы мне возразите, что я уже не танцую. Да, но я боюсь, что если я со всеми удобствами сяду пить чай, качество которого, кстати сказать, внушает мне подозрения, поскольку он именуется танцевальным, то приглашенные помоложе меня и, пожалуй, не такие ловкие, каким я был в их возрасте, прольют свои чашки на мой фрак и это отравит мне удовольствие выпить свою чашку». Де Шарлю не ограничился тем, что не втянул г-жу Вердюрен в общий разговор (а ему нравилось продолжать разговор на разные темы — ему всегда доставляло жестокое удовольствие вынуждать бесконечно долго выстаивать, образуя «хвост», своих друзей, у которых иссякало

[295] Примечания: 295

Ларошфуко. — Представители этого старинного аристократического рода жили и во времена Пруста, например граф Эмери де Ларошфуко, один из прототипов принца Германтского, или друг писателя граф Габриэль де Ларошфуко, один из прототипов Сен-Лу.

терпение в ожидании, когда же наконец дойдет очередь и до них). Он подверг критике всю ту часть вечера, за которую несла ответственность г-жа Вердюрен: «Да, кстати о чашках: что это за странные бокальчики, похожие на те, в которых, когда я еще был молод, подавали шербет в „Белой груше“? Кто-то мне сказал, что это для „кофе с мороженым“. Но я не видел ни кофе, ни мороженого. Такие любопытные вещицы совсем не для этого предназначены!» Сделав вид, что прикрывает себе рот руками в белых перчатках, он посмотрел вокруг себя пытливым взглядом, словно боялся, что его услышат и даже увидят хозяева дома. Но это было чистое притворство, так как несколько минут спустя он сделал те же замечания самой Покровительнице, а потом самым нахальным образом приказал: «А главное, никаких чашек с кофе! Подайте их той из ваших приятельниц, которую вы приглашаете, чтобы обезобразить ваш дом. Главное — чтобы она не внесла их в гостиную, а то еще, чего доброго, забудешься и подумаешь, что ошибся, — ведь это же самые настоящие ночные горшки».

«Но, кузен, — заговорила приглашенная, тоже понижая голос и вопросительно глядя на де Шарлю — не из боязни рассердить г-жу Вердюрен, а

из боязни рассердить его, — может быть, она еще не все так хорошо знает…» — «Научат!» — «Лучшего учителя ей не найти! — со смехом сказала приглашенная. — Ей везет! Можно ручаться, что с вами фальшивой ноты она не возьмет». — «Во всяком случае, в музыке фальшивых нот я не уловил». — «Да, это было дивно! В жизни есть радости, которые не забываются. Кстати об этом гениальном скрипаче, — продолжала она, наивно полагая, что де Шарлю интересуется скрипкой „как таковой“, — я недавно слышала, как другой скрипач чудесно исполнял сонату Форе[296], его зовут Франк…» — «Да, это ужасно, — сказал де Шарлю, не думая о том, что грубость его возражения показывает, что у его родственницы нет никакого вкуса. — Я вам советую не изменять моему скрипачу».

Де Шарлю и его родственница снова обменялись, хотя и из-под полуопущенных век, пронизывающими взглядами; покраснев от стыда, стараясь рвением загладить свой промах, г-жа де Мортемар предложила де Шарлю устроить у нее вечер Мореля. Она не ставила себе целью показать талант во всем его блеске, хотя и

[296] Примечания: 296

Стр. 262. Форе Габриэль (1845-1924) — французский композитор неоакадемического направления; Пруст писал о нем в ряде своих статей.

утверждала, что у нее именно такая цель, тогда как на самом деле это была цель де Шарлю. Для нее представлялся случай устроить изящный вечер, и она уже намечала, кого позовет, а кому даст отставку. Этот отбор — главная забота людей, устраивающих у себя вечера (тех, которых светские газеты имеют наглость или глупость называть «элитой»), — мгновенно до неузнаваемости меняет взгляд и почерк, как не удалось бы их изменить по внушению гипнотизера. Прежде чем обдумать, что Морель будет играть (эта забота считалась второстепенной, и не без оснований: все ради де Шарлю будут хранить молчание во время музыки, но зато никто не станет ее слушать), г-жа де Мортемар, решив, что г-жа де Валькур[297] не будет причислена к «избранным», именно поэтому приняла таинственный вид заговорщицы, расстраивающей заговоры даже дам из общества, которым так просто издеваться над светскими толками. «Мне можно будет устроить у себя вечер вашего друга?» — тихо спросила г-жа де Мортемар; она обращалась только к де Шарлю, но не могла удержаться и, словно привороженная, бросила взгляд на г-жу

[297] Примечания: 297
Г-жа де Валькур — персонаж только этого романа Пруста.

де Валькур (не допущенную), чтобы окончательно увериться, что та далеко и ей не слышно. «Нет, она не поняла», — мысленно заключила г-жа де Мортемар — ее уверил брошенный ею взгляд на г-жу де Валькур. Он произвел совсем иное впечатление. «Ах, так! — подумала г-жа де Валькур, поймав на себе этот взгляд. — Мария-Тереза замышляет с Паламедом что-то, в чем я не должна принимать участие». «Вы хотите сказать: моего протеже, — поправил барон г-жу де Мортемар: он не мог снисходительно относиться к лингвистическим познаниям своей родственницы так же, как и к ее музыкальным способностям. Он не обратил внимания на ее безмолвную мольбу и извиняющуюся улыбку. — Но ведь… — начал он громко, на весь салон, — всегда есть опасность для завороженного попасть в другое окружение — это повлечет для него утрату трансцендентальной власти и заставит приспособиться к новому окружению». Г-жа де Мортемар решила, что mezzo voce[298] и pianissimo ее вопроса потонули в том «галдеже», который де Шарлю прорезал своим ответом. Она ошибалась. Г-жа де Валькур не слышала, потому что не поняла ни единого сло-

[298] Примечания: 298
Вполголоса (ит.).

ва. Ее беспокойство уменьшилось и скоро вовсе сошло бы на нет, если бы г-жа де Мортемар, боясь, что у нее ничего не выйдет, и боясь пригласить г-жу де Валькур, которую ей было бы неудобно оставить за бортом, так как она была с ней очень дружна, вновь не метнула бы взгляда в сторону Эдит, словно для того, чтобы не упускать из вида грозящую опасность, и быстро отвела его из страха переусердствовать. Она надеялась на другой день после концерта, в дополнение к изучающему взгляду, написать ей одно из таких писем, которые считаются хитроумными и которые представляют собой признания, без недомолвок и за своей подписью. Например: «Дорогая Эдит! Я без Вас соскучилась. Я особенно не ждала Вас вчера вечером („Как она могла меня ждать, раз она меня не звала?“ — подумает Эдит), — я же знаю, что Вы не большая охотница до такого рода сборищ, Вам на них, в общем, скучно. Тем не менее Вы бы оказали нам большую честь своим посещением (никогда раньше г-жа де Мортемар не употребляла выражение „оказать честь“, за исключением писем, в которых старалась придать лжи видимость правды). Вы знаете, что Вы у нас всегда как дома. На сей раз Вы оказались правы, потому что вечер провалился, как все, к чему

готовятся не более двух часов» — и т. д. Но уже новый, брошенный украдкой, взгляд прояснил Эдит все, что утаивал витиеватый язык де Шарлю. То был взгляд такой силы, что после того, как он ударил г-жу де Валькур, содержавшиеся в нем очевидный секрет и попытка утайки пришлись заодно и по юному перуанцу, которого г-жа де Мортемар как раз собиралась пригласить. Человек подозрительный, ясно видя, что тут кругом тайны, и не понимая, что таятся не от него, он вдруг почувствовал к г-же де Мортемар прилив дикой злобы и поклялся сыграть с ней множество мстительных шуток — например, послать ей пятьдесят порций кофе с мороженым в тот день, когда она никого не принимала, попросить поместить того, кто был приглашен, заметку в газетах о том, что концерт отменен, и напечатать ложные отчеты о будущих концертах, где были бы названы имена известных людей, которых по разным причинам не звали и с которыми не были даже знакомы. Г-жа де Мортемар напрасно так боялась г-жу де Валькур. Де Шарлю постарался в гораздо большей степени, чем это могло сделать присутствие г-жи де Валькур, испортить концерт. «Но, кузен, — в ответ на слова де Шарлю об „окружении“ сказала г-жа де Мортемар

— состояние гиперостезии[299], в которое она на мгновение впала, помогло ей понять их смысл, — мы избавим вас от всяких хлопот. Мне ничего не стоит попросить Жильбера». — «Ни в коем случае, тем более, что он не приглашен. Я все беру на себя. Сперва нужно исключить людей, у которых есть уши для того, чтобы не слышать». Г-жа де Мортемар, возлагавшая надежды на очарование Мореля, чтобы устроить вечер, на котором она осмелилась бы заявить, что, в отличие от стольких родственниц, «у нее будет Паламед», вдруг подумала о влиянии де Шарлю на многих, с которыми он ее непременно поссорит, дай только ему право не допускать и приглашать. Мысль, что принц Германтский (из-за которого отчасти она собиралась исключить г-жу де Валькур, которую он у себя не принимал) может не быть позван, пугала ее. Ее лицо приняло беспокойное выражение. «Вас раздражает слишком яркий свет?» — спросил де Шарлю вполне серьезным тоном, подспудную иронию которого г-жа де Мортемар не уловила. «Нет, нисколько. Я подумала, как бы не вышло затруднения — не из-за меня, конечно, а из-за моей родни, — если Жильбер узнает, что

[299] Примечания: 299
Стр. 264. Гиперостезия — повышенная кожная чувствительность.

у меня был вечер, а я его не пригласила — это его-то, ко всякой бочке гвоздя...» — «Ну, вот мы и начнем с того, что вытащим гвоздь. Тут так шумно, что вы, должно быть, меня не поняли: устройство вечера — не простой знак внимания, это обычный ритуал всякого настоящего чествования». Затем, подумав не о том, что стоявшая за г-жой де Мортемар заждалась, а о том, что ему не к лицу быть столь любезным с особой, заботящейся не столько о славе Мореля, сколько о своих пригласительных «листочках», де Шарлю, подобно врачу, прекращающему визит, как только он убеждается, что достаточно посидел у больного, дал понять своей родственнице, что им пора расстаться, но не попрощался, а просто повернулся к даме, стоявшей непосредственно за ней: «Добрый вечер, госпожа Монтескью[300]! Ведь правда чудесно? Среди слушателей не было видно Элен; передайте ей, что всякое уклонение от жизни общества, даже по причинам высшего порядка, как, например, ее уклонение, предполагает исключения, если речь идет о событиях из ряда вон выходящих, вроде сегодняшнего вечера. Появляться в свете изредка — это хорошо, но еще

[300] Примечания: 300

Госпожа Монтескью — Видимо, речь идет о графине Одон де Монтескью, урожденной Марии Бибеско, родственнице Робера до Монтескью.

лучше пройти мимо вычурного, редкостного в отрицательном значении этого слова. Что касается вашей сестры, то к ее систематическому *отсутствию* там, где ее ожидает нечто недостойное ее внимания, я отношусь с большим уважением, чем к чьему-либо еще, ее линия поведения навсегда врезалась мне в память, но присутствовать здесь означало бы для нее не просто присутствовать, а первенствовать, и ее влияние на умы возросло бы, хотя она и без того влиятельна». Затем он перешел к третьей даме. Меня крайне удивили любезность и угодливость по отношению к де Шарлю, который прежде был с ним сух, а сейчас обещал познакомить с ним Чарли и выразил желание прийти к нему повидаться, графа д'Аржанкура[301], грозы для той породы мужчин, к которой принадлежал де Шарлю. Теперь д'Аржанкур был ими окружен. Это не означало, что он сам стал таким же. Но с некоторых пор он почти бросил жену ради молодой светской дамы — ее он боготворил. Женщина умная, она сумела привить ему вкус к умным людям и выразила большое желание принимать

[301] Примечания: 301

Стр. 205. Граф д'Аржанкур — персонаж книг Пруста, поверенный в делах Бельгии в Париже; подробно описан в романе «У Германтов» (см. указ. изд., с 217. и сл.).

у себя де Шарлю. Но граф д'Аржанкур, очень ревнивый и маломощный, боявшийся, что он не удовлетворит ту, которую он покорил, желавший и оградить ее и развлечь, шел на это с опаской, окружая ее безвредными людьми, которым он поручил роль стражей сераля. Стражи отмечали, что он стал очень любезен, и говорили, что это человек большого ума; на самом деле они были другого мнения, но этим они приводили в восторг его возлюбленную и его самого.

Гости де Шарлю быстро расходились. Многие говорили: «Мне не хочется идти в тот „придел“ (в маленькую гостиную, где барон, стоя рядом с Чарли, принимал поздравления), надо только показаться Паламеду, чтобы он убедился, что я досидел до конца». На г-жу Вердюрен никто не обращал внимания. Кое-кто притворялся, что не узнал ее, и прощался с г-жой Котар, а потом спрашивал меня: «Это и есть госпожа Вердюрен?» Виконтесса д'Арпажон[302] задала мне вопрос достаточно громко, чтобы ее могла услышать хозяйка дома: «Разве существует на свете господин Вердюрен?» Замешкавшиеся герцогини, не обнаружив ничего любопытного в доме, от которого

[302] Примечания: 302

Виконтесса д'Арпажон — персонаж книг Пруста, одна из возлюбленных герцога Германтского, о ней много говорится в романе «У Германтов».

они ожидали большего, вознаграждали себя тем, что давились хохотом перед картинами Эльстира; за остальное, которое, сверх их ожидания, оказалось для них знакомым, они превозносили де Шарлю. «Как Паламед умеет все обставить! — говорили они. — Если ему вздумается устроить феерию в сарае или в умывальной, то она от этого ничуть не проиграет». Наиболее знатные особенно горячо поздравляли де Шарлю с успехом вечера, причем от некоторых из них не укрылась тайная его пружина, но это их нисколько не смущало — может быть, по традиции, идущей от той эпохи, когда их семьи одновременно дошли до совершенно сознательного бесстыдства, когда понятие совести для них почти так же устарело, как этикет. Иные тут же приглашали Чарли на вечера сыграть септет Вентейля, но никому из них в голову не пришло пригласить г-жу Вердюрен. Г-жа Вердюрен была вне себя, но де Шарлю, носясь в облаках, этого не замечал; из приличия ему хотелось, чтобы Покровительница разделила его восторги. В словах, с которыми обратился к г-же Вердюрен этот теоретик устройства музыкальных вечеров, быть может, сказывалась не столько самоупоенность, сколько любовь к литературе: «Ну как, вы довольны? По-моему,

остались довольны более или менее все; когда в устройстве концерта участвую я, то, как видите, среднего успеха быть не может. Не знаю, позволят ли вам ваши геральдические познания точно измерить важность этого собрания, груз, какой я поднял, кубатуру воздуха, какую я вытеснил ради вас. У вас были королева Неаполитанская, брат короля Баварского, три самых древних пэра. Если Вентейль был бы Магометом, мы могли бы сказать, что для него мы сдвинули с места наименее подвижные горы. Вы только подумайте: для того, чтобы присутствовать на вашем вечере, королева Неаполитанская прибыла из Нейи, а для нее выезд гораздо труднее, чем было в свое время расставание с Обеими Сицилиями, — заметил он с язвительным оттенком в голосе, несмотря на то что он обожал королеву. — Это историческое событие. Вы только подумайте: после взятия Гаэты она, может быть, ни разу не выезжала. Возможно, в словарях укажут как два самых важных события в ее жизни взятие Гаэты и вечер у Вердюренов. Веер, который она отложила, чтобы ей легче было аплодировать Вентейлю, имеет больше прав на то, чтобы остаться в памяти потомков, чем веер,

который г-жа Меттерних[303] сломала, потому что Вагнера освистали». — «Королева даже забыла свой веер», — сказала г-жа Вердюрен; ее на время смягчило воспоминание о том, как с ней была мила королева, и она показала де Шарлю на веер, лежавший на кресле. «Какое волнующее зрелище! — с благоговением подходя к реликвии, воскликнул де Шарлю. — Трогательное и вместе с тем ужасное. Разно это фиалочка? Это бог знает что такое! — Лицо де Шарлю выражало то умиление, то насмешку. — Не знаю, какое впечатление это производит на вас. Если бы это увидел Сван, он бы просто умер. Сколько бы этот веер ни стоил, я его куплю. А королева продаст его непременно — у нее нет ни гроша», — добавил барон — злопыхательство уживалось в нем вместе с самым искренним преклонением; казалось бы, это проявления двух разных натур, но в нем они совмещались.

Это сказывалось даже на его отношении к одному и тому же факту. Де Шарлю, благоденствовавший, как всякий состоятельный человек, потешался над бедностью королевы, но в то же

[303] Примечания: 303

Стр. 266. Г-жа Меттерних. — Возможно, имеется в виду принцесса Полина Меттерних (1838-1921), жена австрийского посла в Париже, страстная любительница музыки.

время эта бедность его умиляла, и, когда кто-нибудь заговаривал о принцессе Мюрат, королеве Обеих Сицилий, он прерывал его: «Я не понимаю, о ком вы говорите. Есть только одна королева Неаполитанская, дивная женщина, и у нее нет экипажа. Но, сидя в омнибусе, она уничтожает все экипажи; когда она проезжает, все прямо на улице готовы пасть перед ней на колени».

«Я завещаю веер какому-нибудь музею. А пока что надо его доставить ей, чтобы она не наняла фиакр и не бросилась искать его. Любой интеллигентный человек, считающий, что этот предмет представляет интерес с точки зрения исторической, способен украсть веер. Но ей это будет досадно, потому что, по всей вероятности, другого у нее нет! — добавил он с хохотом. — Словом, вам ясно, что она приехала ради меня. И это не единственное совершенное мною чудо. Не думаю, чтобы в наше время кто-нибудь еще обладал властью так оттеснять людей, чтобы освободить место для тех, кого я пригласил. Впрочем, надо всем воздать по заслугам: Чарли и другие музыканты играли как боги. И у вас, дорогая моя Покровительница, — снисходительно добавил он, — была своя роль на этом вечере. Ваше имя не забудется. Сохранила же история имя пажа,

вооружавшего перед походом Жанну д'Арк;[304] короче говоря, вы были соединительной чертой, вы способствовали слиянию музыки Вентейля с ее гениальным исполнителем, вы с вашим умом постигли огромную важность любого сцепления обстоятельств, позволяющего исполнителю воспользоваться весом, который имеет в обществе значительная личность, — если бы речь шла не обо мне, я бы сказал: чудотворящая, — и, преисполнившись благих намерений, обратились к ней с просьбой поднять престиж собрания и привлечь к скрипке Мореля внимание людей, непосредственно связанных с теми, к кому особенно прислушиваются. Нет, нет, это все мелочи. Впрочем, при таком полном осуществлении задуманного предприятия мелочей не бывает. Все пригодится. Ла Дюра[305] была обворожительна. Словом, удалось все. Вот почему, — заключил

---

[304] Примечания: 304

Стр. 267. ...имя пажа, вооружавшего перед походом. Жанну д'Арк... — Речь идет, вероятно, о Жане д'Олоне, оруженосце Жанны, или о ее пажах Луи де Куте и неком Раймоне.

[305] Примечания: 305

Стр. 268. Дюра — персонаж книг Пруста; ее муж, герцог де Дюра, овдовев, женится на овдовевшей г-же Вердюрен. Пруст нашел это имя в «Замогильных записках» Шатобриана: так звали возлюбленную их автора герцогиню Клер де Дюра (1778-1828). Шарлю называет ее «ла Дюра» (как несколько ниже говорит «ла Моле») — так обычно называли женщин из простонародья.

де Шарлю, любивший поучать, — я был против того, чтобы вы пригласили создающих разнобой господ, — в присутствии высоких лиц, которых я к вам привел, они играли бы роль запятых в цифрах, а другие оказались бы на положении десятых доль. У меня на этот счет очень верное чутье. Понимаете, когда мы затеваем концерт, который должен быть достоин Вентейля, его гениального интерпретатора, достоин вас и, смею сказать, меня, то необходимо избегать оплошностей. Если б вы пригласили ла Моле, все было бы испорчено. Это была бы капля чего-то иного, нейтрализующего, лишающая лекарство его целебных свойств. Погасло бы электричество, печенье было бы подано не вовремя, от оранжада у всех заболел бы желудок. Такую особу нельзя приглашать. При одном ее имени, как в феерии, разом смолкли бы трубы, флейты и гобой внезапно потеряли бы голос. Даже Морель, если б ему удалось издать несколько звуков, сбился бы с такта, и вместо септета Вентейля получилась бы пародия Бекмессера[306], ошиканная слушателями. Я верю в силу влияния людей, и я почувствовал в ларго, распускавшемся, как

[306] Примечания: 306

Бекмессер — персонаж оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры», певец-педант, лишенный всякого таланта.

цветок, в истинно ликующем ликовании финала отсутствие ла Моле, вдохновлявшее музыкантов и полнившее радостью даже инструменты. В тот день, когда приглашают государей, не зовут их привратницу». Называя графиню Моле ла Моле (так же, как он с чувством большой симпатии говорил: «ла Дюра»), де Шарлю имел на это право. Эти женщины были актрисами света, и, если посмотреть с этой точки зрения, графиня Моле не заслуживала репутации женщины необыкновенно развитой, дававшей пищу для ума лицедеям или посредственным романистам, которые в определенные эпохи считаются гениями — то ли по причине посредственности их собратьев, среди коих даже лучшие были лишены настоящего таланта, то ли по причине посредственности публики, которая, даже если бы появилась действительно выдающаяся личность, не способна была бы ее понять. Что касается графини Моле, то тут не только возможно, но единственно правильно первое объяснение. Свет есть царство ничтожества; достоинства светских женщин незначительны, им могут давать бешеные цены или злопамятство, или воображение де Шарлю. Язык де Шарлю, каким он говорил только что, представлял собой вычурную смесь суждений об

искусстве со светскими сплетнями оттого, что его старушечья злость и культура светского человека не давали серьезных тем для того подлинного дара красноречия, каким он обладал. Многообразие не существует на земной поверхности в странах, которые представляются нам одинаковыми, и уж, конечно, оно не существует в том малом мире, который именуется «светом». Да и существует ли оно вообще? Септет Вентейля как будто бы ответил мне, что существует. Но где? Так как де Шарлю любил наговаривать одному на другого, ссорить, разделять, чтобы властвовать, то он не мог не добавить: «Не пригласив госпожу Моле, вы тем самым не дали ей повода сказать: „Не знаю, зачем эта самая госпожа Вердюрен меня пригласила. Мне эти люди чужды, я их не знаю“. Она еще в прошлом году говорила, что ваши зазывания ей надоели. Она глупа, не зовите ее. Ничего особенного она собой не представляет. Она может быть у вас не учиняя скандалов только потому, что я всегда начеку. В общем, — заключил де Шарлю, — по-моему, вам есть за что меня благодарить: все прошло великолепно. Не приехала герцогиня Германтская — что ж, может, это и к лучшему. Не будем на нее сердиться, а в следующий раз все-таки не забудем о ней; да

о ней и нельзя не вспомнить: ее глаза словно говорят: „Не забудьте обо мне“. Это не глаза, а незабудки. (Тут я подумал, до чего же силен дух Германтов, сказывающийся в решениях герцогини быть здесь и не присутствовать там, если он побеждает страх встретиться с Паламедом.) После такого полного успеха начнешь, как Бернарден де Сен-Пьер[307], во всем видеть руку Провидения. Герцогиня де Дюра была в восторге. Она просила вам это передать, — делая упор на словах, проговорил де Шарлю, как будто для г-жи Вердюрен это была высшая честь. Высшая и маловероятная, потому что де Шарлю счел необходимым для придания своим словам большей веры воскликнуть: «Чудесно!» — как воскликнул бы на его месте только человек, которого Бог хотел наказать и у которого Он прежде всего отнял бы разум. — Она обратилась к Морелю с просьбой повторить у нее программу сегодняшнего концерта; я хочу, чтобы она пригласила господина Вердюрена». Эта любезность только по отношению к мужу явилась для супруги — о чем де Шарлю даже и не подумал — кровной обидой; считая себя вправе

[307] Примечания: 307

Стр. 269. Бернарден де Сен-Пьер Жан-Анри (1737-1814) — французский писатель-сентименталист; герои его романов переживают всяческие невзгоды судьбы, которым стойко противостоят.

ввести в силу, наподобие московского указа[308], закон, воспрещающий исполнителю без ее особого распоряжения играть где-либо еще, кроме кланчика, она твердо решила воспретить ему участвовать в концерте у герцогини де Дюра.

До сих пор барон раздражал г-жу Вердюрен своими словоизвержениями. Она была против того, чтобы ее кланчик разбивался на группы. Сколько раз, уже в Ла-Распельер, слушая, как барон, вместо того чтобы петь только свою партию в ансамбле клана, без конца говорил о Чарли, она восклицала, указывая на барона: «Какой болтун! Какой болтун! Другого такого не сыщешь!» Но на сей раз дело обстояло хуже. Упоенный своим красноречием, де Шарлю не понимал, что, признавая положительную роль г-жи Вердюрен и держа ее в узких рамках, он развязывает в ней злобное чувство, приобретающее особую форму — форму социальной зависти. Г-жа Вердюрен действительно любила своих завсегдатаев, «верных» из кланчика, она хотела быть Покровительницей для них всех. Идя на уступки, она уподоблялась ревнивцам, которые позволяют,

[308] Примечания: 308

Стр. 270. Московский указ. — Имеется в виду подписанный в Москве 15 октября 1812 г. указ Наполеона, определяющий структуру театра Комеди Франсез.

чтобы их обманывали, но под их кровлей и даже у них на глазах, иначе говоря, они не хотят, чтобы их обманывали, она разрешала мужчинам заводить любовницу, любовника — при условии, что все это не будет иметь последствий общественного характера за пределами ее дома, что все это будет завязываться и продолжаться под покровом сред. В былое время ее тревожил придушенный смех Одетты, заигрывавшей со Сваном, с некоторых пор — таинственные беседы Мореля с бароном; единственное утешение в горе она обычно находила в том, чтобы расстроить счастье других. Она уже давно не могла спокойно относиться к счастью барона. И вот теперь этот неосмотрительный человек ускоряет катастрофу, по-видимому намереваясь ограничить власть Покровительницы в ее собственном кланчике. Она уже видела Мореля в свете, без нее, под эгидой барона. Был только один путь — предоставить Морелю выбор между ней и бароном: воспользовавшись влиянием, какое она имела на Мореля, предъявляя ему неопровержимые доказательства своей необыкновенной прозорливости, благодаря своим связям, благодаря своим клеветническим измышлениям — это были бы для него укрепляющие средства в тех случаях,

когда он и без того должен был поверить, когда и так все было ясно, — благодаря сетям, которые она готовила и куда простачки должны были угодить, — словом, воспользовавшись своим влиянием, заставить Мореля отдать предпочтение ей перед бароном. Что касается светских дам, которые здесь присутствовали и которые даже не сочли нужным поздороваться, то, как только г-жа Вердюрен заметила их растерянность или невоспитанность, она сказала себе: «А, понимаю! Это старые шлюхи, нам таких не нужно, они видят наш салон в последний раз». Г-жа Вердюрен предпочла бы умереть, но только не признаться, что с ней были не так любезны, как она ожидала.

«А, мой дорогой генерал! — неожиданно воскликнул де Шарлю и сейчас же бросил г-жу Вердюрен: он увидел генерала Дельтура[309], секретаря президента республики, который при награждении Чарли орденом мог бы быть очень полезен, но генерал направился к выходу. — Добрый вечер, мой дорогой, очаровательный друг! Что ж вы уносите ноги, не попрощавшись со мной?» — спросил барон с добродушной и самодовольной улыбкой: он был уверен, что всем

[309] Примечания: 309

Стр. 271. Дельтур. — Этот генерал, секретарь президента республики, видимо, лицо вымышленное.

приятно обменяться с ним двумя-тремя словами. Находясь в приподнятом состоянии, барон, тонким голосом задавая вопросы, сам же на них и отвечал: «Ну как, вы довольны? Ведь правда же прекрасно? Анданте, например? Я не знаю более волнующей музыки. Я не могу слушать ее без слез. Как хорошо, что вы приехали! Да, утром я получил чудесную телеграмму от Фробервиля[310], в которой он извещает меня, что в главной канцелярии трудности, как говорится, устранены». Де Шарлю брал все выше и выше тоном, голос у него сделался пронзительный, не такой, как обычно, напоминающий голос адвоката, который защищает с жаром, речь которого отличается от его обычной речи; это явление — усиление голоса при перевозбуждении и нервной эйфории — наблюдалось у герцогини Германтской, у которой во время званых обедов, которые она устраивала, тон достигал крайней высоты, а взгляд — выразительности. «Я хотел было завтра утром послать вам с дежурным записку и выразить свое восхищение, прежде чем смогу это сделать на словах, — ведь к вам невозможно было

[310] Примечания: 310

Фробервиль — персонаж книг Пруста, родственник Германтов, эпизодически появляется в романах «По направлению к Свану» и «Содом и Гоморра».

пробраться! Поддержкой Фробервиля пренебрегать не следует, но я, со своей стороны, заручился обещанием министра», — сказал генерал. «Вот и великолепно! Теперь вы сами убедились, что такой талант этого заслуживает. Ойо[311] в восторге; я не видел его супругу. Ей понравилось? Для тех, кто не побывал на концерте, потому что уши у них существуют, чтобы не слушать, это беда невелика, зато у них есть языки, чтобы разносить молву». Воспользовавшись тем, что барон отошел к генералу, г-жа Вердюрен сделала знак Бришо подойти. Бришо, не зная, о чем г-жа Вердюрен хочет с ним поговорить, решил позабавить ее и, не подозревая, как больно он мне делает, сказал Покровительнице: «Барон в восторге от того, что мадмуазель Вентейль и ее подруга не явились. Они его возмущают. Он сказал, что их безнравственность приводит в ужас. Вы не можете себе представить, как барон целомудрен и какой он строгой нравственности человек». Обманув ожидания Бришо, г-жа Вердюрен не развеселилась. «Он отвратительный человек, — сказала она. — Предложите ему покурить с вами, в это время мой муж незаметно для него выведет его

[311] Примечания: 311
Ойо — австрийский посол в Париже.

Дульсинею, а затем осветит ему бездну, в которую он катится». Бришо заколебался. «Я вам скажу откровенно, — чтобы рассеять последние сомнения Бришо, продолжала г-жа Вердюрен, — когда они тут вдвоем, я в своем доме не могу чувствовать себя спокойно. Я слышала, что с ним связаны какие-то грязные истории и полиция за ним следит». Г-же Вердюрен был до некоторой степени свойствен дар импровизации, и, вдохновляемая недобрым чувством, она на этом не остановилась: «Кажется, он сидел в тюрьме. Да, да, я об этом слышала от людей осведомленных. Кроме того, мне говорил один человек, который живет с ним на одной улице, что, по-видимому, он пускает к себе бандитов». Бришо, часто бывавший у барона, попытался возразить, но г-жа Вердюрен, распаляясь, воскликнула: «Я вам ручаюсь! Это вам не кто-нибудь говорит, а я! — этими выражениями она обычно подкрепляла свои бездоказательные утверждения. — Когда-нибудь его убьют — этим кончают все такие, как он. Пожалуй, он все-таки до этого не дойдет — он попал в лапы некоего Жюпьена; он имел нахальство прислать его ко мне, это старый каторжник, я его знаю, да, знаю — и, представьте, с лучшей стороны. Шарлю у него в руках, потому что у Жюпьена хранятся

какие-то письма и в них есть что-то, должно быть, страшное. Я это слышала от того, кто их читал; он мне сказал: „Если вы их прочтете, вам станет дурно“. Этот самый Жюпьен заставляет Шарлю плясать под свою дудку и тянет из него любые куши. Я бы предпочла умереть, чем жить в таком страхе, в каком живет Шарлю. Во всяком случае, если семья Мореля решится подать на него жалобу, то я не допущу, чтобы меня обвинили в соучастии. Если он намерен продолжать в том же духе, то — пожалуйста, на свой страх и риск, а я исполню свой долг. Как хотите, это не шуточки». Приятно взволнованная ожиданием разговора ее мужа со скрипачом, г-жа Вердюрен обратилась ко мне: «Спросите Бришо, хватит ли у меня смелости выступить на защиту друзей и способна ли я пойти на жертву, чтобы их спасти». (Она намекала на обстоятельства, в каких она вовремя рассорила его, во-первых, с прачкой, а во-вторых, с маркизой де Говожо — из-за этих двух ссор Бришо почти совсем ослеп и, как про него говорили, стал наркоманом.) — «Вы незаменимый, дальновидный и храбрый друг, — с простодушным воодушевлением отозвался профессор. — Благодаря госпоже Вердюрен я не сделал величайшей глупости, — сказал он мне,

когда г-жа Вердюрен отошла. — Она действует решительно. Она интервенционистка, как сказал бы наш друг Котар. И все-таки я должен сознаться, что мне не дает покою мысль о бедном бароне, еще не знающем, какой удар его ожидает. Он помешан на этом юноше. Если госпожа Вердюрен победит, он будет очень несчастен. Впрочем, не исключено, что она потерпит поражение. Думаю, что ей удастся только внести разлад в отношения между ними, и в конце концов они друг с другом не разойдутся, а вот с ней рассорятся». У г-жи Вердюрен так часто случалось с «верными». Впрочем, над потребностью оставаться с ними в дружбе в ней всегда брало верх стремление сохранить их дружбу между собой. Она ничего не имела против гомосексуализма, пока он держался в рамках приличия, но она, как церковь, предпочитала соблюдению всех таинств верность духу. Я начинал бояться, что ее неприязненное отношение ко мне объясняется тем, что я не пускаю Альбертину к ней и что она, может быть, задумала — если уж не начала — против меня такие же действия, какие должен был начать ее муж, отозвав скрипача для тайного разговора о де Шарлю. «Ну так найдите Шарлю, подыщите предлог, пора, — сказала г-жа Вердюрен, — главное, не отпускайте его, пока я

вас не позову. Ну и вечерок! — продолжала г-жа Вердюрен, открывая истинную причину своего негодования. — Играть шедевры таким олухам! Я не говорю о королеве Неаполитанской — она женщина тонкого ума, приятная (читайте: она была со мной любезна). Но все остальные! С ними взбеситься можно. Помилуйте, мне уже не двадцать лет. Когда я была молода, мне говорили, что надо научиться скучать, и я себя принуждала, но теперь — нет уж, увольте, это мне не под силу, в мои годы я могу себе позволить делать то, что мне хочется, жизнь коротка; скучать, посещать дураков, притворяться, делать вид, будто считаешь их умными, — нет, нет, довольно! Идите же, Бришо, мы теряем время». — «Иду, иду, сударыня», — сказал наконец Бришо, видя, что генерал Дельтур уходит. Но сначала профессор отвел меня в сторону. «Нравственный долг, — сказал он, — не столь императивен, как это нам внушают наши моралисты. Что бы ни говорили завсегдатаи теософических кафе и кантианских пивных, наше познание природы Добра остается плачевным. Скажу вам не хвастаясь, что я по своей наивности комментировал моим ученикам философию вышеупомянутого Иммануила Канта, но я не вижу у него точного указания на-

счет светской казуистики, с которой мне сейчас приходится иметь дело, в „Критике чистого разума“[312], где великий мыслитель, порвавший с протестантством, платонизировал на древненемецкий манер для Германии доисторически сентиментальной, придворной, предусматривая все случаи, которые могут возникнуть у померанского мистицизма. Это все тот же «Пир»[313], но только устроенный в Кенигсберге[314], по тамошнему распорядку, несъедобный, постный, с кислой капустой и без молодых людей. С одной стороны, ясно, что я не могу не оказать нашей милейшей хозяйке небольшую услугу, о которой она меня просит, — в полном согласии с традиционной Моралью. И все-таки, по возможности надо уклониться: ведь не многих заставишь побольше нести чепухи, чтобы задурить человеку голову. Одним словом, сомнений быть не может, что если матери семейств приняли бы участие в выборах профессора морали, то барон рисковал бы самым

---

[312] Примечания: 312

Стр. 274. «Критика чистого разума» — одно из основных философских сочинений Иммануила Канта; создано в 1770-1781 гг.

[313] Примечания: 313

«Пир» — один из самых значительных философских диалогов Платона.

[314] Примечания: 314

...но только устроенный в Кенигсберге... — В Кенигсберге жил Кант.

постыдным образом провалиться. К несчастью, он с темпераментом развратника исполняет долг педагога; заметьте, что я о бароне хорошего мнения: в этом милом человеке, который, как никто, умеет обделывать дела, не только дух демонизма, но и сокровища доброты[315]. Но я боюсь, что на Мореля он тратит больше здоровой морали, чем ему требуется. Раз мы не знаем, насколько юный кающийся грешник покорен или строптив, когда ему приходится исполнять особые правила, которые его преподаватель катехизиса предписывает ему как бы для умерщвления плоти, то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы проникнуться уверенностью, что мы совершаем грех — как бы это сказать? — снисходительности по отношению к этому розенкрейцеру[316] — который как будто

[315] Примечания: 315

…но и сокровища доброты. — Далее в рукописи вставка, приводимая нами в подстрочном примечании. В современных изданиях она вводится в основной текст. [Он может быть забавен, как клоун высшей марки, а между тем мой коллега — с вашего позволения, академик — уморит меня от скуки, взяв сто драхм за час, как сказал бы Ксенофонт[466].]

[316] Примечания: 316

Стр. 275. Розенкрейцер — член религиозно-мистического тайного общества, близкого к масонам, получившего распространение в Голландии и Германии в XVII-XVIII вв.

[466] Примечания: 466

Ксенофонт (ок. 445 — ок. 355 до н. э.) — древнегреческий писатель, автор исторических сочинений и романов.

явился к нам от Петрония, а затем прошел через Сен-Симона, — если, закрыв глаза, даем ему в надлежащей, вежливой форме позволение сатанизировать. И все же, когда я займу разговором этого человека, в то время как госпожа Вердюрен для блага грешника, увлеченная ролью его спасительницы, заговорит с юным заблудшим без обиняков и отберет у этого человека все, что ему дорого, нанесет ему, быть может, роковой удар, я не решусь сказать, что мне на это наплевать, у меня будет такое чувство, что я его заманиваю, как говорится, в западню, и мне придется праздновать труса. — Бришо предпочел быть трусом и, взяв меня под руку, сказал: — Барон! Пойдемте покурим, а? Юноша не знает всех чудес этого дома». Я извинился и сказал, что мне пора. «Подождите минутку, — сказал Бришо. — Вы знаете, что вы должны меня отвезти, я помню ваше обещание». — «Разве вы не хотите, чтобы я показал вам серебро? Это же очень просто, — обратился ко мне де Шарлю. — Но только, как вы мне обещали, об ордене Морелю ни слова. Я хочу сделать ему сюрприз: сообщить, когда мы немного отъедем, хотя он и говорит, что для артиста это не важно, но что это желание его дяди. (Я невольно краснею — мой дед сказал Вердюренам, кто такой дядя

Мореля.) Так вы не хотите посмотреть самые красивые вещи? — спросил меня де Шарлю. — Положим, вы их знаете, вы их столько раз видели в Ла-Распельер!» Я не посмел сказать, что меня могли бы заинтересовать не среднего качества буржуазные серебряные приборы, а самое дорогое серебро, какие-нибудь образцы его — ну хотя бы на хорошей гравюре серебро г-жи Дю Барри[317]. Я был очень озабочен — и не только мыслью о том, что здесь бывает мадмуазель Вентейль, — нет, в обществе я всегда был очень рассеян, взволнован и не мог задержать внимание на более или менее красивых вещах. Оно могло на чем-то остановиться лишь по зову какой-нибудь реальности, взывающей к моему воображению, как оно могло остановиться сегодня вечером при виде Венеры, о которой я столько думал днем, или на чем-нибудь общем, присущем разным явлениям и более подлинном, чем они, неизменно будившем во мне нечто, обычно дремавшее в подсознании, но при поднятии на поверхность сознания радовавшее меня бесконечно. Итак, я вышел из залы, именовавшейся театральной, и, проходя с Бришо и с де Шарлю по другим за-

[317] Примечания: 317
Дю Барри Жанна (1743-1793) — фаворитка Людовика XV.

лам, узнавая некоторые вещи, привезенные из Ла-Распельер и расставленные среди других вещей, узнавая, но не обращая на них никакого внимания, уловил в убранстве дома и в убранстве замка общность, нерушимое тождество семейного духа, и тут я понял Бришо, сказавшего мне с улыбкой: «Загляните-ка в глубину залы — это может вам дать некоторое представление об улице Монталиве[318] двадцать пять лет тому назад, grande mortali aevi spatium[319].[320] Его улыбка при воспоминании о покойной зале объяснила мне, что Бришо, быть может не отдававший в этом себе отчета, в старой зале любит больше высоких окон, больше веселой юности Покровителей и «верных» ее ирреальную часть (которую я тоже выключал из некоего единства Ла-Распельер с набережной Конти), внешняя же часть, как во всех залах, нынешняя, доступная каждому взору, есть лишь ее продолжение; он любит часть, отделившуюся от внешнего мира,

---

[318] Примечания: 318

Стр. 276. Улица Монталиве — небольшая узкая парижская улица, недалеко от бульвара Мальзерб, где прошли детские годы Пруста.

[319] Примечания: 319

Большой срок смертного века (лат.).

[320] Примечания: 320

...grande mortalis aeve spatium — цитата из сочинения Тацита «Жизнь Агриколы» (гл. III).

чтобы укрыться в нашей душе, которая получает от нее прибавочную стоимость, часть, где она приспосабливается к постоянной ее сущности, меняясь, — разрушенные дома, люди прежнего времени, компотницы, все, что приходит нам на память, — в этом полупрозрачном алебастре наших воспоминаний, цвет которого мы не можем назвать, хотя мы, и только мы, его видим, что позволяет нам сказать по чистой совести другим о минувшем, что у них не создастся о нем никакого представления, что оно не похоже на то, что они видят и о чем мы не можем вспоминать, не испытывая легкого волнения при мысли, что жизнь протекших лет, некоторое время длящаяся после смерти, зависит от нашего воображения, — так вспоминают свет погасших ламп или запах граба, которому уже не расцвести. Вот почему, конечно, Бришо отдавал предпочтение зале на улице Монталиве перед нынешним обиталищем Вердюренов. Но в то же время его глаза — глаза знатока — видели в нем красоту, которая была скрыта от вновь пришедшего. Кое-что из старых вещей, которые были расставлены здесь, кое-где сохраненное прежнее размещение, которое я видел еще в Ла-Распельер, включали в нынешнюю залу какую-то часть былого, и временами

воскрешение былого доходило до галлюцинаций, а затем былое представлялось почти ирреальным среди окружающей действительности, обломками разрушенного мира, который, как нам казалось, мы видели когда-то. Канапе, возникшее из сновидения, стоявшее среди новых и вполне реальных кресел, стульчики, обитые розовым шелком, вышитое сукно на ломберном столе, такое же одушевленное, как человек, ибо и у него есть прошлое, есть память, хранящая в прохладной тени залы на набережной Конти блеск солнца, бившего в окна на улице Монталиве (знавшего свой час не хуже г-жи Вердюрен) и в стеклянные двери Довиля, куда его завлекли и куда он смотрел весь день, из-за цветущего сада, из-за глубокой долины, дожидаясь часа, когда Котар и скрипач начнут играть партию; букет фиалок и анютиных глазок, нарисованных пастелью, — подарок ныне покойного большого художника — друга хозяев дома, единственный фрагмент, переживший бесследно исчезнувшую жизнь художника, вобравший в себя крупное дарование и долгую дружбу, возобновлявший в памяти его внимательный и мягкий взгляд, его красивую, пухлую руку, становившуюся печальной, когда он рисовал; веселое беспорядочное

нагромождение подарков от «верных», которое всюду следовало за хозяйкой дома и в конце концов принимало отпечаток и неизменность черт ее характера, линий ее судьбы; множество букетов цветов, коробок шоколада, которые и здесь и там подбирались в зависимости от того, какие цветы стояли в вазах; любопытное вкрапление редких безделушек, у которых такой вид, что они хоть сейчас выпрыгнут из тех коробочек, в каких они были подарены и где они проводят всю жизнь так, как они проводили ее прежде, подарки к Новому году — словом, все предметы, каким не сумели найти особое место, но какие для Бришо, давнего посетителя празднеств у Вердюренов, сохраняли тот налет времени, ту бархатистость, которые придают старым вещам особую значительность, свидетельствуют о том, что вещи живут двойной жизнью, и эта их вторая жизнь — жизнь духовная; все это было раскидано вокруг него, все как бы заставляло звучать незримые клавиши, побуждавшие его улавливать сходство с чем-то ему дорогим, рождавшие в нем смутные воспоминания и, будучи врезаны в эту вполне современную залу, испещрявшие ее, разграничивавшие мебель и ковры, как ясным днем рама солнечного света делит на части воздух, в

зале, где диванная подушка догоняла вазочку для цветов или табурет с затхлым запахом старины, где разноцветность преобладала над вечерним освещением, где вещи ваяли, приводили на память, одухотворяли, оживляли форму, и форма превращалась в идеальную фигуру, неотъемлемую от всех помещений, какие бы ни занимала в определенной последовательности зала Вердюренов. «Попробуем навести барона на его излюбленную тему, — шепнул мне Бришо. — Тут он незаменим». С одной стороны, мне хотелось получить сведения у де Шарлю относительно приезда мадмуазель Вентейль и ее приятельницы — сведения, которые дали бы мне основание расстаться с Альбертиной. С другой — я боялся оставить ее надолго одну — не потому, чтобы (ведь она не знала, когда именно я возвращусь, а приход кого-нибудь к ней в такой поздний час или ее уход были бы тут же замечены) она могла в мое отсутствие совершить дурной поступок, но чтобы оно не показалось ей чересчур продолжительным. Вот почему я сказал Бришо и де Шарлю, что побуду еще немного. «Ну, все-таки пойдемте», — сказал мне барон; его возбуждение, возбуждение светского человека, уже утратило свою силу, но уходить ему не хотелось, он все

еще нуждался в общении — свойство, которое я подметил еще у герцогини Германтской, а также и у него; в полной мере присущее этой семье, оно наблюдается у всех, кто, не находя для своих умственных способностей иного применения, как разговор, то есть применения неполноценного, не получает удовлетворения даже по прошествии нескольких часов, проведенных вместе, и все с большей жадностью набрасывается на изнемогшего собеседника, которому они ошибочно приписывают пресыщенность светскими удовольствиями. «Послушайте, — продолжал барон, — ведь правда это самый приятный момент званых вечеров, момент, когда все приглашенные ушли, час доньи Соль?[321] Будем надеяться, что этот час окончится не так печально. К сожалению, вы торопитесь, торопитесь, вероятно, заниматься тем, чем вам лучше бы не заниматься. Все всегда торопятся — и отбывают в тот момент, когда нужно приехать. Мы здесь как

[321] Примечания: 321

Стр. 278. …час доньи Соль? — Речь идет о развязке драмы Гюго «Эрнани»: после свадебных торжеств, когда герои остаются одни, Эрнани слышит звук рога, что является для него сигналом для сведения последних счетов с жизнью.

философы Кутюра[322]. Настало время подвести итог вечеру, время того, что на языке военных называется разбором военных действий. Мы попросим госпожу Вердюрен велеть принести нам скромный ужин, на который нас предусмотрительно не позвали, а Чарли попросим — и тут «Эрнани»![323] — еще раз сыграть только для нас несравненное адажио. Как оно прекрасно! А где же юный скрипач? Мне бы хотелось его поздравить — это момент растроганных объятий. Признайтесь, Бришо: они играли как боги, особенно Морель. Вы обратили внимание, как у него вдруг свесилась прядь? А, ну тогда, дорогой мой, вы ничего не видели. Там есть такое *фа-диез*, от которого умерли бы от зависти Энеско[324], Капе[325] и Тибо[326]; я вам скажу откровенно: как

[322] Примечания: 322

Кутюр Тома (1815-1879) — французский живописец. Пруст имеет в виду его картину «Римляне в эпоху упадка» (1847; ныне в Лувре), на которой на заднем плане изображены два беседующих философа.

[323] Примечания: 323

…и тут «Эрнани»!.. — Шарлю намекает на то, что имя Мореля — Шарль — перекликается с именем одного из персонажей драмы Гюго — доном Карлосом.

[324] Примечания: 324

Энеско (правильнее — Энеску) Джорджи (1881-1955) — румынский композитор и скрипач, много выступавший в европейских странах, в том числе в Париже.

[325] Примечания: 325

Стр. 279. Капе Люсьен (1873-1929) — известный французский скрипач;

в 1914 г. Пруст слушал в его исполнении произведения Бетховена.

[326] Примечания: 326

Тибо Жак (1880-1953) — знаменитый французский скрипач.

я ни старался сохранять полнейшее спокойствие, при этих звуках сердце у меня сжалось и я чуть было не разрыдался. Слушатели тяжело дышали. Бришо, дорогой мой! — воскликнул барон, тряся руку профессора. — Это было восхитительно. Только юный Чарли сохранял каменную неподвижность, даже не было заметно, что он дышит, у него был вид одного из тех неодушевленных предметов, о которых говорит Теодор Руссо[327], что они наводят на размышления, но сами не думают. И тут вдруг… — с пафосом воскликнул де Шарлю, жестикулируя, как на сцене. — Прядь! И в это время маленький изящный контрданс allegro vivace. Вы знаете, эта прядь была открытием даже для самых тупоголовых. Принцесса де Таормина[328] уж на что тугоуха, ибо нет хуже глухих, у которых есть уши, чтобы не слушать, и та, увидав чудодейственную прядь, поняла, что это музыка, а не игра в покер. О, это был незабываемый миг!» — «Простите, я вас перебью, — обратился я к де

[327] Примечания: 327

Теодор Руссо (1812-1867) — французский художник-пейзажист барбизонской школы. Он не оставил теоретических сочинений, но письма, а также записи своих бесед с художником опубликовал в 1872 г. Альфред Сансье (1815-1877), друг Руссо.

[328] Примечания: 328

Принцесса де Таормина — вымышленный персонаж; лишь один раз упомянута Прустом.

Шарлю, чтобы навести его на интересовавшую меня тему, — вы мне говорили, что здесь должна была присутствовать дочь автора. Это меня очень заинтересовало. Вы уверены, что ее ждали?» — «Вот этого я не знаю». Де Шарлю подчинялся, быть может, сам того не желая, общему правилу не осведомлять ревнивцев — то ли неверно представляя себе, что такое «хороший товарищ», то ли из чувства чести — как бы он это чувство ни презирал, — которое он хранил к той, что его возбуждала, то ли по злобе к ней, из тех соображений, что ревность усиливает любовь, то ли из потребности причинять людям боль, то есть большинству говорить правду, от ревнивцев же ее утаивать, ибо неосведомленность растравляет их рану — по крайней мере, так им представляется; стараясь делать зло, люди обычно применяют то, что им самим — быть может, ошибочно — кажется наиболее мучительным.

«Понимаете, — продолжал барон, — в этом доме любят все несколько приукрашивать; это милейшие люди, но они обожают заманивать к себе разного рода знаменитостей. Но вы что-то плохо выглядите, можете простудиться в этой сырой комнате, — сказал барон и отодвинул стул. — Вам нездоровится, надо быть осторожнее,

я сейчас принесу ваше пальто. Нет, вам за ним ходить не надо, вы заблудитесь, простудитесь. Вот что значит быть неблагоразумным; вы уже не маленький, а ведь вам все еще нужна старая няня, вроде меня, чтобы за вами смотреть». — «Не беспокойтесь, барон, я схожу принесу», — сказал Бришо и сейчас же ушел; быть может, не имея правильного представления об истинно дружеских чувствах, которые де Шарлю питал ко мне, об очаровательной простоте и преданности, которые уживались в нем с манией величия и преследования, Бришо, опасаясь, что де Шарлю, которого г-жа Вердюрен, как пленника, доверила его надзору, просто-напросто, под предлогом взять мое пальто, решил соединиться с Морелем и таким образом сорвать план Покровительни-

цы[329]. Я сказал де Шарлю, что мне жаль беспокоить Бришо. «Да нет, для него это удовольствие, он вас горячо любит, вас все горячо любят. На днях я слышал: „Его совсем не видно, он уединяется!“ Да, славный человек Бришо, — продолжал де Шарлю — разумеется, он не подозревал, видя, как тепло к нему относится, как с ним откровенен профессор этики, что за спиной профессор над ним смеется. — Это замечательный человек, чего только он не знает, и при этом он отнюдь не лишен восприимчивости, он не превратился в книжного червя, как многие другие, пропахшие чернилами. Он сохранил широту взгляда, терпимость, а в ученом мире это редкость. Слушая, как он излагает свое миропонимание, как он умеет каждому с благодарностью воздать по заслугам,

[329] Примечания: 329

Стр. 280. …сорвать план Покровительницы. — Далее в сноске приводится текст, отсутствующий в рукописи, но имеющийся в машинописи, которую Пруст не правил. Современные издатели вводят эту вставку в основной текст, причем не в этом месте романа, а значительно раньше, в том месте, где начинается болтовня Шарлю, после окончания исполнения сонаты Вентейля. [Между тем Ский сел за рояль, хотя никто его об этом не просил, и, сморщив лицо в улыбку, устремив взгляд куда-то вдаль и слегка приподняв углы губ (он был уверен, что так делают все музыканты), начал приставать к Морелю, чтобы тот сыграл что-нибудь из Бизе. «Как, вам это не нравится, не нравится задорная музыка Бизе? Но, дорогой мой, — сказал он, как всегда, раскатываясь на букве *р,* — это же чудесно!» Морель, не любивший Бизе, выразил свое отношение к нему с излишней резкостью, а Ский, проводивший время в кланчике ради умных разговоров, — хотя это могло показаться неправдоподобным, — сделав вид, что воспринимает

нападки скрипача как парадоксы, расхохотался. Его смех был не похож на смех Вердюрена — удушье курильщика. Ский сперва принимал хитрый вид, потом, как бы помимо него, из его рта излетал смешок, точно первый звонок, а затем наступало молчание, во время которого его хитрый взгляд, казалось, сознательно проверял, насколько смешно то, что сейчас было сказано, наконец раздавался второй удар смехового колокола, и вот это уже был скорей веселящийся ангелус[467].]

[467] Примечания: 467

Ангелус — утренняя или вечерняя молитва.

невольно спрашиваешь себя: где мог всему этому научиться простой, скромный профессор Сорбонны, бывший директор школы? Я был поражен». Меня Бришо еще больше поражал; наименее изысканный из гостей герцогини Германтской отозвался бы о нем, что он туп, неумен, а ведь сумел же он прийтись по вкусу самому разборчивому из всех — де Шарлю. Этому способствовали разные люди, между прочим те, благодаря кому со Сваном долго носились в кланчике, когда он был влюблен в Одетту, а потом, когда он женился, симпатии кланчика завоевала г-жа Бонтан, притворявшаяся, что обожает чету Сван, постоянно навещавшая Одетту, с упоением слушавшая об историях, случавшихся со Сваном, и говорившая о них с отвращением. Как писатель ставит на первое место по уму но самого умного человека, а прожигателя жизни, высказывающего смелую и снисходительную мысль о страсти мужчины к женщине, мысль, совпадающую с мыслью любовницы писателя, «синего чулка», считающей, что все, кто приходит к пей, все-таки не так глупы, как этот старый красавчик, опытный в сердечных делах, так де Шарлю находил, что самый умный его приятель — это Бришо, не только потому, что он любезен с Морелем, но и потому, что он кстати

ссылается на греческих философов, латинских поэтов, восточных сказочников, развивавших вкус барона, развертывая перед ним редкостную, прелестную антологию. Де Шарлю находился в том возрасте, когда Викторы Гюго любят окружать себя Вакри[330] и Морисами[331]. Он предпочитал общество таких людей, которые разделяли его взгляд на жизнь. «Я часто с ним вижусь, — с расстановкой говорил барон своим писклявым голосом, и ничто, кроме губ, по двигалось на его маскообразном, надменном, напудренном лицо, с намеренно опущенными, как у духовного лица, веками. — Я посещаю его лекции; я становлюсь другим в атмосфере Латинского квартала; там встречаешь образованную, мыслящую молодежь, юных буржуа, более интеллигентных, более знающих, чем были, в иной среде, мои товарищи. Это нечто совсем другое, вы, вероятно, знаете их лучше меня, это молодые *буржуа*», — сказал он, произнося последнее слово через несколько б,

[330] Примечания: 330

Стр. 281. Вакри Огюст (1819-1895) — литературный критик и второстепенный поэт, посредственный драматург; близкий друг Гюго, сопровождавший его в изгнание на остров Джерсей. Его брат Шарль был женат на дочери Гюго Леопольдине.

[331] Примечания: 331

Морис Поль (1820-1905) — журналист и посредственный писатель; он всю жизнь был близок к семье Гюго и явился основателем музея Гюго в Париже.

пользуясь этим выделением как особым ораторским приемом, соответствовавшим его любви к оттенкам в мысли, а может быть, еще и для того, чтобы в разговоре со мной не очень чувствовалось его высокомерие. Это высокомерие ничуть не уменьшило большой, искренней жалости, какую внушал мне де Шарлю (с того момента, когда г-жа Вердюрен поверила мне свой замысел), — оно могло только позабавить меня, и даже в таких обстоятельствах, когда бы он не вызывал к себе моего глубокого сочувствия, оно не задело бы меня. Я унаследовал от бабушки полное отсутствие самолюбия — на грани отсутствия чувства собственного достоинства. Конечно, это у меня было бессознательно, и когда я услышал от моих наиболее уважаемых товарищей, что они не стерпят непочтения, не простят дурного поступка, то в конце концов доказал на словах и на деле свою вторую натуру, достаточно гордую. Она была у меня даже слишком гордая; я совсем не был труслив, и мне ничего не стоило вызвать кого-нибудь на дуэль,[332] но я лишал поединки торжествен-

[332] Примечания: 332

Стр. 282. ...мне ничего не стоило вызвать кого-нибудь на дуэль... — Пруст однажды дрался на дуэли. Произошло это 6 февраля 1897 г.; его противником был журналист и писатель Жан Лоррен (1855-1906), позволивший себе в газетной заметке оскорбительный намек на некоторые обстоятельства жизни Пруста и его отношений с друзьями.

ности; посмеиваясь над ними, я превращал их в дурачество. Однако натура, которую мы отвергаем, продолжает жить в нас. Так, например, когда мы читаем новый шедевр гениального писателя, мы с радостью открываем в нем все те мысли, к которым прежде относились с пренебрежением, радость и грусть, весь мир чувств, который мы презирали и ценность которого неожиданно открывает нам книга. Меня в конце концов научил жизненный опыт, что когда кто-нибудь смеется надо мной, то приятно улыбаться в ответ и не возмутиться — это дурно. Но если бы даже я почти совсем забыл, что я самолюбив и обидчив, все равно эти чувства оставались бы моей основной питательной средой. Гнев и злоба выражались у меня по-другому — вспышками ярости. Чувство справедливости, так же как и нравственные начала, были мне совершенно не знакомы. А в глубине души я всегда держал сторону слабых и несчастных. У меня не было никакого представления о том, в какой мере могут сосуществовать в отношениях Мореля и де Шарлю добро и зло, но мысль, что де Шарлю причинят боль, была для меня нестерпима. Мне хотелось предостеречь его, но я не знал — как. «Жизнь всего этого малого трудолюбивого мирка чрезвычайно забавна для

такого старого зеркала, как я. Я с ними не знаком, — добавил де Шарлю, подняв руку как бы для защиты, чтобы не подумали, что он хвастается, чтобы подчеркнуть, что тут он чист, и не бросить тени на студентов, — но они очень вежливы, они даже занимают мне место, как очень пожилому господину. Да, да, мой дорогой, не спорьте, ведь мне за сорок, — сказал барон, хотя на самом деле ему было больше шестидесяти. — В том амфитеатре, где читает лекции Бришо, жарковато, но говорит он всегда интересно». Барон больше любил общество школьников, любил смотреть на их возню, но, чтобы барону не надо было долго ждать, Бришо брал его с собой. Как ни хорошо чувствовал себя в Сорбонне Бришо, все же когда впереди шел увешанный цепочками швейцар, а за ним — кумир молодежи — учитель, он не мог не ощущать некоторой робости, и, хотя ему были дороги эти минуты, когда он чувствовал себя столь значительным лицом, что мог оказать любезность де Шарлю, тем не менее он был слегка смущен; чтобы швейцар пропустил де Шарлю, он с деловым видом говорил де Шарлю неестественным тоном: «Пойдемте, барон, вас посадят», а затем, больше не обращая на него внимания, весело шагал один по коридору. С обеих сторон с

ним здоровался двойной ряд молодых преподавателей; чтобы у него не было такого вида, будто он рисуется перед молодыми людьми, в чьих глазах он был верховным жрецом, — и он это знал, — Бришо заговорщицки подмигивал им, кивал головой, и в этом его стремлении производить на всех впечатление вояки и доброго француза они чувствовали что-то ободряющее, укрепляющее, sursum corda[333] старого служаки, который говорит: «Мы им, черт их дери, покажем!» Затем раздавались аплодисменты учеников. Иногда Бришо пользовался присутствием де Шарлю на его курсах, чтобы доставить кому-нибудь удовольствие, даже оказать любезность. Он говорил своему родственнику или приятелю из буржуазной семьи: «Я хочу вас предупредить, что если только это может заинтересовать вашу жену или дочку, то на моем курсе будет присутствовать барон де Шарлю, принц Агригентский, потомок Конде. Для ребенка это воспоминание на всю жизнь: он видел одного из последних отпрысков нашей аристократии, типичного ее представителя. Если они придут, то сразу его увидят: сидеть он будет около моей кафедры. Это человек креп-

[333] Примечания: 333
Восторг (лат.).

кого телосложения, седой, черноусый, с военной медалью». — «Ах, благодарю вас!» — говорил отец семейства. Жена шла на лекцию, только чтобы не обидеть Бришо, подчиняясь мужу, зато девочка, несмотря на жару и тесноту, не спускала любопытных глаз с потомка Конде, дивясь тому, что он не носит брыжей и что он ничем не отличается от современных людей. На нее он не смотрел, но многие студенты, не знавшие, кто он такой, удивленные его любезностью, становились важными и сухими, а барон выходил из университета полный мечтательной меланхолии. «Позвольте вернуться к нашим баранам, — заслышав шаги Бришо, поспешил я сказать де Шарлю, — если вы узнаете, что мадмуазель Вентейль и ее приятельница должны приехать в Париж, то не могли бы вы сообщить мне об этом с письме, точно указав срок их пребывания в Париже, но никому не сказав о моей просьбе?» Я не думал, что она вот-вот должна приехать, — я имел в виду будущее. «Да, для вас я готов это сделать. Прежде всего, я вам очень обязан. Отвергнув в былое время мое предложение[334], вы, в ущерб себе, оказали мне

[334] Примечания: 334

Стр. 283. Отвергнув в былое время мое предложение… — В романе «У Германтов» рассказывается, как Шарлю предлагает герою свое покровительство, но получает вежливый отказ (см. указ. изд., с. 290-295).

огромную услугу: вы не лишили меня свободы. Правда, я все-таки ее лишился, — заговорил де Шарлю меланхолическим тоном, в котором угадывалось желание поговорить откровенно, — я смотрю на это как на поворот судьбы, как на сцепление обстоятельств, которым вы не пожелали воспользоваться — быть может, потому, что именно в это мгновенье судьба не позволила вам сбить меня с пути. Так всегда: «человек предполагает, а бог располагает». Как знать? Если бы в тот день, когда мы вместе вышли от маркизы де Вильпаризи, вы приняли мое предложение, может быть, позднейшие события так бы никогда и не произошли». Растерянный, я, воспользовавшись тем, что барон назвал маркизу де Вильпаризи, поспешил переменить разговор и сказал, как мне грустно, что ее нет на свете.[335] «О да!» — отрывисто и крайне пренебрежительно пробормотал барон: было заметно, что он ни одной секунды не верит в искренность моего соболезнования. Видя, что ему, во всяком случае, не тяжело говорить о маркизе де Вильпаризи, и принимая во внимание, что он обо всех все знает, я спросил, почему маркиза де Вильпаризи держалась в

[335] Примечания: 335

Стр. 284. …как мне грустно, что ее нет на свете. — В действительности г-жа де Вильпаризи появится в следующем романе Пруста.

отдалении от аристократии. Но он не разрешил этой простой задачи из жизни света — мало того, мне показалось, что он ничего об этом не знал. Я понял, что если положение маркизы де Вильпаризи должно было казаться блестящим после ее кончины, и даже при ее жизни, невежественным разночинцам, то оно не казалось таковым на другом краю великосветского общества — на том, с которым соприкасалась маркиза де Вильпаризи, а именно — Германтам. Это была их тетка; для них важны были прежде всего род, браки, значительность, которую приобретала в их семье благодаря родственнику по восходящей линии та или иная невестка. «Семейная сторона» им была важнее «стороны светской». Так вот, «семейная сторона» была у маркизы де Вильпаризи более блестящей, чем я мог думать. Я был поражен, когда узнал, что фамилия Вильпаризи — фамилия выдуманная.[336] Но были и другие примеры: у знатных дам бывали неравные браки, но перевес сохранялся на их стороне. Де Шарлю стал мне рассказывать, что маркиза де Вильпаризи — пле-

[336] Примечания: 336

…фамилия Вильпаризи — фамилия выдуманная. Этимология этой фамилии достаточно ясна — она составлена из слова «город» и названия кельтского племени, обитавшего в тех местах, где затем был построен Париж (первоначально город так и назывался — Civitas Parisiorum — то есть «город парижиев»).

мянница знаменитой герцогини***,[337] наиболее известной представительницы высшей аристократии во времена Июльской монархии[338], ни за что не хотевшей бывать у Короля-Гражданина и его семьи. Мне так хотелось побольше узнать об этой герцогине! А маркиза де Вильпаризи, добрая маркиза де Вильпаризи, со щеками буржуазки, маркиза де Вильпаризи, которая посылала мне столько подарков и с которой мне так просто было видеться каждый день, маркиза де Вильпаризи доводилась ей племянницей, воспитывалась у нее в доме***. «Герцогиня спросила герцога де Дудовиля[339], — рассказывал мне до Шарлю: — «Какая из трех сестер вам больше нравится?» Дудовиль ответил: «Маркиза де Вильпаризи», а герцогиня ему на это: «Свинья!» Герцогиня была очень остроумна», — заметил де Шарлю, придавая этому слову особую значительность

---

[337] Примечания: 337

…герцогини***… — На полях рукописи Пруст сделал заметку «подыскать», но звучную аристократическую фамилию для этой герцогини так и не придумал.

[338] Примечания: 338

Июльская монархия — то есть время правления короля Луи Филиппа (с 1830 по 1848 г.), взошедшего на трон в результате Июльской революции 1830 г.

[339] Примечания: 339

Стр. 285. Герцог де Дудовиль — персонаж книг Пруста, родственник маркизы де Вильпаризи.

и выговаривая его так же, как выговаривали у Германтов. Я не удивился тому, что де Шарлю находит само слово таким уж «остроумным»; у меня были — и не раз — случаи обнаруживать у людей центробежную, объективную тенденцию отказа, когда они оценивают других, от строгости суждений по отношению к себе наряду с тенденцией замечать, вести тщательные наблюдения за тем, чем они гнушались.

«Что это значит? Он несет мое пальто, — видя, что Бришо, так долго искавший мое пальто, явился с таким результатом, сказал де Шарлю. — Лучше бы я сам пошел. Что ж, накиньте его на плечи. Вы знаете, мой дорогой, что это очень опасно? Это все равно, как если бы мы пили из одного стакана, — я бы узнал ваши мысли. Да нет, это пустяки, дайте я вам накину. — Де Шарлю набросил мне на плечи свое пальто, укутал шею, поднял воротник, дотронулся до моего подбородка и извинился. — В его возрасте не умеют накрываться одеялом, за ним надо смотреть; я выбрал не ту профессию, Бришо, я родился, чтобы быть нянькой». Я хотел уйти, но де Шарлю выразил намерение искать Мореля, а Бришо удержал нас обоих. Благодаря уверенности, равной по силе той, что была у меня днем, после звонка

Франсуазы, — уверенности в том, что Альбертина вернется из Трокадеро, уверенности настолько прочной, что я даже сел за рояль, — я сейчас, как и тогда, не испытывал нетерпения увидеться с Альбертиной. И вот это спокойствие давало мне возможность во время нашего разговора, всякий раз как я порывался встать, слушаться Бришо, который боялся, что из-за моего отъезда Шарлю не задержится до того момента, когда г-жа Вердюрен нас позовет. «Пожалуйста, побудьте еще с нами, вы с ним скоро расцелуетесь», — сказал Бришо, уставив на меня свой почти мертвый глаз, которому многочисленные операции слегка приоткрыли жизнь, но который утратил подвижность, необходимую для уклончиво-хитрого взгляда. «Расцелуемся», какая ерунда! — в восторге воскликнул барон пронзительным голосом. — Дорогой мой, мысли его вечно заняты распределением наград, он мечтает о своих милых ученичках. Невольно думаешь: уж не спит ли он с ними?» — «Вы хотели видеть мадмуазель Вентейль, — сказал мне Бришо, слышавший конец нашего разговора. — Я вам обещаю известить вас, если она приедет; мне об этом сообщит госпожа Вердюрен», — добавил Бришо; он, конечно, предвидел, что барону не миновать выхода из

кланчика. «Вы что же, думаете, значит, что я не так хорош, как вы, с госпожой Вердюрен и что она мне не скажет о приезде этих особ с ужасной репутацией? — спросил де Шарлю. — Можете быть уверены, что про них все известно. Госпожа Вердюрен зря их к себе пускает, их присутствие уместно в темной среде. Они знаются со всякой сволочью, для них существуют грязные притоны». С каждым его словом моя душевная боль росла, меняла форму. Мгновенно вспомнив проявления нетерпения у Альбертины, которые она тут же подавляла, я испугался, что она задумала меня бросить. А мне наша совместная жизнь была необходима до тех пор, пока я не обрел бы душевного покоя. И, чтобы убить в Альбертине мысль — если только она у нее была — опередить меня с намерением разрыва, чтобы показать ей, что я могу сделать наш разрыв безболезненным, чтобы ей легче было снять с себя оковы (быть может, меня на это настраивало присутствие де Шарлю, бессознательное воспоминание о комедиях, которые он любил разыгрывать), я придумал такой ловкий ход, как убедить Альбертину, что я сам намерен с ней расстаться: вот я сейчас приеду домой и разыграю прощание, разрыв. «Конечно нет; я знаю, что вы в наилучших отно-

шениях с госпожой Вердюрен», — расстановисто произнес Бришо — он боялся возбудить в бароне подозрения. Видя, что я собираюсь уходить, он решил удержать меня соблазном обещанного дивертисмента: «Мне кажется, барон, говоря об этих двух дамах, упускает из виду, что репутация может быть ужасной, но незаслуженной. Так, например, установлено, что в более известной области, которую я бы назвал параллельной, судебные ошибки многочисленны; история зафиксировала приговоры, обвинявшие в содомии и клеймившие знаменитых людей, совершенно неповинных. В связи с недавним открытием сильного чувства у Микеланджело к одной женщине[340] надо бы в результате посмертного пересмотра дела восстановить доброе имя друга Льва Десятого[341]. По-моему, дело Микеланджело создано для того, чтобы всколыхивать снобов и воинственно настраивать хулиганов, когда какое-нибудь подобное дело, во время которого

---

[340] Примечания: 340

Стр. 286. В связи с недавним открытием сильного чувства у Микеланджело к одной женщине... — Пруст имеет в виду соответствующее место из книги Ромена Роллана «Жизнь Микеланджело», вышедшей в 1907 г. См.: Роллан Р. Собр. соч., т. 2. М., 1954, с. 121-123.

[341] Примечания: 341

Лев Десятый — папа римский с 1513 по 1521 г.; он покровительствовал писателям и художникам.

распущенность процветает и становится модным грехом наших милых дилетантов, но когда во избежание дрязг запрещено произносить вслух название греха, отойдет в прошлое». Как только Бришо заговорил о репутациях мужчин, каждая черта лица де Шарлю выдавала то особое нетерпение, какое охватывает врача или военного, когда светские неучи говорят глупости о терапии или стратегии. «Вы ровным счетом ничего в этом не смыслите, а беретесь судить, — наконец сказал он Бришо. — Приведите мне пример хоть одной незаслуженной репутации. Назовите имена. Да, мне известно все! — резко оборвал де Шарлю робкую попытку Бришо возразить ему, — да, были когда-то мужчины, занимавшиеся этим из любопытства, в память необыкновенной любви к покойному другу, а есть и такие, которые из боязни показаться чересчур передовыми ответят вам, если вы заговорите с ним о красивом мужчине, что для него это китайская грамота, что он утратил способность отличать красивого мужчину от уродливого, так же как он не видит разницы между двумя автомобилями, потому что ничего не понимает в технике. Это все чепуха. Господи боже мой, да поймите же вы: я не хочу сказать, что дурная репутация (или такая,

которую принято так называть) и несправедливая — вещь совершенно невозможная. Но это явление исключительное, до такой степени редкое, что практически оно не существует. И все-таки я благодаря своему любопытству, своей пронырливости узнал о таких репутациях: это не сказки. Да, за всю мою жизнь я констатировал (я сознательно употребляю слово из научного лексикона „констатировать“ — я не говорю наобум) две несправедливые репутации. Обычно репутации устанавливаются из-за сходства имен или каких-либо внешних признаков, например из-за множества колец: люди некомпетентные считают это в высшей степени характерным, так же как они уверены, что крестьянин не скажет двух слов, не прибавив: „Вот черт возьми!“ — или англичанин — „goddam“. Это приемчики театров на бульварах[342]. Вас поразит, что репутации несправедливые укоренились в общественном

[342] Примечания: 342

Стр. 287. …театров на бульварах. — Далее в рукописи вставка на отдельном листке, даваемая нами в виде сноски. [Де Шарлю очень меня удивил, назвав среди извращенных «друга актрисы», которого я встречал в Бальбеке и который возглавлял Общество четырех друзей. «А что же актриса?» — «Она служит ему прикрытием, но она с ним в интимных отношениях, быть может, более нежных, чем с мужчинами, с которыми у него ничего нет». — «Он со всеми тремя?» — «Да ничего подобного! Они только друзья! Двое — настоящие женщины. В одном это есть, но он не может поручиться за своего друга, — во всяком случае, они прикрывают один другого».]

мнении особенно прочно. Вы, Бришо, готовы сунуть в огонь руку в доказательство добродетельности кого-нибудь, кто здесь бывает и кого люди знают как свои пять пальцев, но почему же вы не желаете верить тому, что все в один голос говорят об этом известном человеке, который старается привить свои наклонности массе, хотя у него нет и двух су? Я говорю «два су», потому что если мы назначим двадцать пять луидоров, то увидим, что число святош дойдет до нуля. Число святых, если только вы усматриваете в этом святость, колеблется между тремя-четырьмя из десяти». Бришо перенес вопрос о плохих репутациях в сферу мужской однополой любви, я же — в сферу женской и применил слова де Шарлю к Альбертине. Его статистика меня напугала, хотя я и принимал в расчет, что он увеличивал цифры по своему желанию, а также на основании сообщений сплетников, быть может лгунов, во всяком случае, обманывавших себя, потому что им так хотелось, и когда их желание объединялось с желанием де Шарлю, то оно, конечно, путало его подсчеты. «Три на десять! — воскликнул Бришо. — Взяв обратную пропорцию, я тем самым увеличил число грешников в сто раз. Если оно таково, как вы это

утверждаете, барон, и если вы не ошибаетесь, то, в таком случае, мы вынуждены будем признать, что вы один из редких угадывателей истины, которой никто не замечает. Так Баррес[343] сделал открытия в области парламентской коррупции, верность которых потом подтвердилась, как существование планеты Леверье[344]. Госпоже Вердюрен хотелось бы знать поименно людей, которых я предпочитаю не называть и которые раскрыли через справочное бюро махинации в генеральном штабе, — их подвинуло на это, я думаю, патриотическое чувство, но я в этом не разбираюсь. Леон Доде[345] написал между делом чудесную волшебную сказку о франкмасонстве, о германском шпионаже, о наркомании, а вышла у него истинная правда. Три на десять!» — повторил потрясенный Бришо. Откровенно говоря, де

---

[343] Примечания: 343

Стр. 288. Баррес Морис (1862-1923) — французский писатель и публицист консервативного толка.

[344] Примечания: 344

Леверье Юрбен-Жан-Жозеф (1811-1877) — французский астроном; он предсказал, пользуясь математическими выкладками, существование планеты, что было подтверждено визуальными наблюдениями (1846); эта планета получила затем название Нептун.

[345] Примечания: 345

Леон Доде (1867-1942) — французский писатель, сын Альфонса Доде. Пруст поддерживал с ним на протяжении многих лет дружеские отношения и посвятил ему роман «У Германтов».

Шарлю обвинял в извращении множество своих современников, за исключением, однако, тех, с которыми у него были известные отношения, и тех, в которых он усматривал нечто романтическое, — эти случаи представлялись ему более сложными. Так прожигатель жизни, не верящий в честность женщин, делает небольшое снисхождение той, которая была его возлюбленной, о ней он говорит искренне и с таинственным видом: «Да нет, вы ошибаетесь, она не девка». Эта неожиданная дань уважения частично объясняется самолюбием: вот, мол, такая милость была оказана не кому другому, а ему, частично наивностью, благодаря которой он глотает, не разжевывая, все, что внушает ему любовница, частично благодаря чувству реальности, которое способствует тому, что когда мы приближаемся к людям, к их жизни, то оказывается, что заготовленные заранее надписи и клетки очень просты. «Три на десять! Но дело ваше будет скверно, барон, вы не такой удачливый, как те историки, выводы которых будущее подтвердит; если вы покажете потомкам картину, ту, что вы нам нарисовали, они признают ее плохой. Они судят только на основании официальных бумаг и пожелают ознакомиться с вашим досье. Но никакой доку-

мент не удостоверит массовое явление, которое только люди осведомленные заинтересованы не предавать гласности, в лагере возвышенных душ поднимется сильнейший ропот, и вас без дальних разговоров примут за клеветника или за сумасшедшего. После того как вы здесь, на земле, на конкурсе элегантности получили первое место, получили принципат, вы познаете горечь забаллотированного за гробом. Игра не стоит свеч, как говорит — да простит меня бог! — наш Боссюэ[346]». — «До истории мне дела нет, — возразил де Шарлю, — мне достаточно жизни, она более или менее интересна, как говаривал бедняга Сван». — «Как, барон? Вы были знакомы со Сваном? А я и не знал. Разве у него были эти наклонности?» — спросил обеспокоенный Бришо. «Грубиян! Что же, вы полагаете, я знаюсь только с такими?.. Нет, не думаю», — опустив глаза и как бы взвешивая «за» и «против», ответил де Шарлю. Барон рассудил, что поскольку речь идет о Сване, симпатии которого были всегда ясны, то неопределенность ответа безвредна для человека, на которого направлен его удар, и лестна для того,

[346] Примечания: 346

Стр. 289. Боссюэ Жак-Бенинь (1627-1704) — французский писатель-классицист, автор блестяще составленных проповедей и исторических работ.

кто как бы нечаянно проговорился. «Может быть, давно, в коллеже, как-нибудь случайно, — выдавил из себя барон, точно размышляя вслух. — Но ведь это же было двести лет назад, разве я могу помнить? Вы мне надоели», — со смехом заключил он. «Во всяком случае, он был некрасив!» — вскричал Бришо; похожий на чудище, он был высокого мнения о своей наружности, зато в оценке наружности других часто проявлял строгость. «Да будет вам! — сказал барон. — Что вы городите? Во времена его молодости у него были не щеки, а персики, и, — добавил он, выбирая для каждого слога особую ноту, — красив он был, как амур. Словом, он был очарователен. Женщины любили его безумно». — «Вы знали его жену?» — «А через кого же он с ней познакомился, как не через меня? Однажды вечером она показалась мне прелестной в своем полумаскарадном костюме — она играла роль мисс Сакрипант[347]; я был

[347] Примечания: 347

Стр. 290. Мисс Сакрипант — Речь идет о портрете Одетты Сван, написанном в 1872 г. Эльстиром. Герой впервые увидел эту работу художника у него в мастерской в Бальбеке, о чем рассказывается в романе «Под сенью девушек в цвету» (см. указ. изд., с. 423-425, 435-438). Одетта написана на этом портрете в полумужском костюме; она изображает персонажа популярной в свое время оперетты «Сакрипант» (1866), где герой появляется на сцене переодетым в женщину (эту роль исполнял не мужчина, а женщина, известная опереточная актриса Гоби-Фонтанель).

в театре со своими приятелями по клубу, каждый из нас увез к себе женщину, и, хотя мне страх как хотелось спать, сплетники уверяли — как ужасно, что люди так злы! — будто я спал с Одеттой. Но только она мне надоела, и я решил избавиться от нее, познакомив со Сваном. Она от меня не отстала, она ни одного слова не умела написать грамотно, письма за нее писал я. А потом я ее спровадил. Вот, дитя мое, что значит иметь хорошую репутацию, понимаете? Но эта репутация не вполне заслужена мной. Одетта заставляла меня подбирать для нее ужасную компанию, человек пять-шесть». И тут де Шарлю начал перечислять сменявшихся любовников Одетты (сначала она жила с таким-то, затем с таким-то), да так уверенно, как будто перечислял французских королей. Ревнивец подобен современнику; он находится слишком близко, он ничего не знает, только для иностранцев хроника адюльтеров приобретает точность истории и занимает целые страницы, для большинства читателей безразличные и причиняющие боль только другому ревнивцу — как, например, мне, — который не может не сравнить свой случай с тем, о котором он сейчас слышит, и задает себя вопрос: нет ли такого же списка славных имен у женщины, находящейся

у него на подозрении? Но он не может ни о чем дознаться: против него все словно сговорились, это травля, в которой все имеют жестокость принимать участие и которая заключается в том, что, пока его подружка ходит по рукам, ему надевают на глаза повязку: он все время пытается сорвать ее, но безуспешно, так как все хотят, чтобы он, несчастный, был слеп: добрые люди — по доброте, злые — по злобе, существа грубые — из любви к непристойным фарсам, люди благовоспитанные — из вежливости и из тактичности, и все — повинуясь условности, которая называется принципом. «А Сван знал, что она дарит вас своей благосклонностью?» — «Что вы! Какой ужас! Рассказать Шарлю! Да у него волосы встали бы дыбом! Нет, дорогой мой, он бы меня убил — и все; он был ревнив, как тигр. Более того: я ни в чем не признался Одетте, хотя ей это было в высшей степени безразлично… Да отстаньте вы от меня, а то я наговорю, чего не следует… Самое замечательное — это то, что она стреляла в меня из револьвера и чуть не попала. Да уж, с этой четой я не соскучился. И, конечно, мне пришлось быть секундантом Свана на его дуэли с д'Осмо-

ном[348], и тот мне этого не простил. Д'Осмон увез к себе Одетту, и Сван, чтобы утешиться, вступил в любовную связь (а может быть, только для вида) с сестрой Одетты. Словом, не заставляйте меня рассказывать историю Свана, мы узнаем ее через десять лет, понимаете? Никто не знает ее лучше меня. Я выгонял Одетту, когда она не хотела видеть Шарля. Все это было мне тем более неприятно, что у меня есть очень близкий родственник по фамилии де Креси; разумеется, у него никаких прав на это не было, и все-таки я был не в восторге. Она называла себя Одетта де Креси и имела для этого все основания, хотя и состояла в разводе с неким Креси, человеком действительно родовитым, весьма почтенным господином, которого она обчистила до последнего сантима. Послушайте, — это так, к слову пришлось, — я видел вас с ним в пригородном поезде, вы его угощали ужином в Бальбеке. Бедняга, по всей вероятности, нуждался: он жил на крошечное пособие, которое ему выделил Сван, но я очень сомневаюсь, что после кончины моего друга

---

[348] Примечания: 348

Стр. 291. Осмон Аманьен, маркиз д' — персонаж книг Пруста, родственник Германтов, упоминается в романе «У Германтов» (см, указ. изд., с. 584, 586 и др.). Но маркиз д'Осмон реально существовал, он был знакомым родителей писателя. Мотив его дуэли со Сваном из-за Одетты нигде больше в книгах Пруста не упоминается.

пособие полностью ему выплачивалось. Вот чего я не могу постичь, — обратился ко мне де Шарлю, — вы часто бывали у Свана, почему же вы не выразили желания, чтобы я вас представил королеве Неаполитанской? Короче говоря, я вижу, что вас интересуют не *особы,* а редкости; меня всякий раз удивляют люди, знавшие Свана, у которого этот интерес был развит до такой степени, что нельзя было сказать, кто из нас разжигает этот интерес: он или я. Они удивляют меня так же, как человек, который был знаком с Уистлером[349] и не знает, что такое вкус. Кому необходимо познакомиться с королевой, так это Морелю. Досадно, что она уехала. Но я им устрою встречу на днях. Им непременно нужно встретиться. Единственным препятствием может послужить, только если она завтра умрет. Надо надеяться, что этого не случится». Внезапно Бришо, ушибленный пропорцией «три на десять», которую ему открыл де Шарлю, и все еще над этим думавший, с резкостью, напоминавшей резкость судебного следователя, который хочет вырвать у обвиняе-

[349] Примечания: 349

Уистлер Джон (1834-1903) — англо-американский художник, близкий по своим творческим принципам к импрессионистам. Его живопись во многом вдохновляла Пруста на описание картин художника Эльстира.

мого признание, хотя на самом-то деле, с одной стороны, в профессоре говорило желание показать свою проницательность, а с другой — боязнь бросить такое тяжкое обвинение, с мрачным видом обратился к де Шарлю с вопросом: «А что, Ский не из таких?» Чтобы блеснуть мнимым даром интуиции, он выбрал Ского, убеждая себя, что поскольку на десять приходится всего лишь трое невинных, то риск небольшой — ошибиться, назвав Ского, который казался ему чудаковатым; кроме того, Ский страдал бессонницей, душился, вообще находился за пределами нормы. «Ни в малой мере! — с горькой насмешкой воскликнул де Шарлю поучающим и раздраженным тоном. — Это ложь, абсурд, вы попали пальцем в небо! Ский — такой для тех, кто его не знает. Если б он был таким, он имел бы совсем другой вид — в этом моем замечании нет ничего критического, он человек обаятельный, в нем даже есть, на мой взгляд, что-то очень привлекательное». — «Назовите же нам несколько имен», — настаивал Бришо. Де Шарлю посмотрел на него сверху вниз: «Ах, дорогой мой, я живу, знаете ли, в мире отвлеченностей, все это меня интересует только с точки зрения трансцендентальной, — ответил он с обидчивой недоверчивостью, свойственной

ему подобным, и с напыщенностью, характерной для его манеры говорить. — Меня, понимаете ли, интересуют лишь общие категории, я говорю с вами об этом как о законе всемирного тяготения». Но это у барона бывало минутное раздражение, когда он старался скрыть свою настоящую жизнь, после того как часами предоставлял догадываться о ней, с назойливой любезностью выставлял ее напоказ, ибо потребность в откровенности брала в нем верх над страхом разглашения. «Я только хотел сказать, — продолжал он, — что на одну плохую незаслуженную репутацию приходится сотня хороших, и тоже незаслуженных. Очевидно, число тех, кто их не заслуживает, колеблется в зависимости от того, что вы о них наскажете с чужих слов — со слов им подобных и других. Правда, если недоброжелательность этих других ограничена слишком большими усилиями, которые требуются от них, чтобы поверить в порок, такой же для них ужасный, как воровство или убийство, свойственный людям, чьи щепетильность и великодушие им хорошо известны, то недоброжелательность первых разжигается желанием верить — как бы это выразиться? — в доступность мужчин, которые им нравятся, верить по сведениям, полученным от людей, об-

манутых подобным желанием, наконец, тем, что они всегда держатся на отшибе. Я знал мужчину, на которого косились из-за его пристрастия, так вот, он предполагал, что один светский человек — тоже из таких. И верил он в это единственно потому, что светский человек был с ним любезен! Причин для *оптимизма* столько же, сколько при подсчете, — наивно сказал барон. — Но истинная причина огромной разницы между подсчетами профанов и подсчетами посвященных проистекает из тайны, которой посвященные облекают свои действия, чтобы скрыть их от других, а те, будучи лишены другого средства информации, были бы буквально потрясены, узнай они хотя бы четверть истины». — «Значит, в наше время — это как у греков», — заметил Бришо. «То есть почему же это как у греков? Вы воображаете, что это не продолжалось потом? Считайте: при Людовике Четырнадцатом — Мсье,[350] граф де Вермандуа[351], Мольер, принц Людовик Баден-

[350] Примечания: 350

Стр. 293. Мсье — так в феодальной Франции называли обычно брата короля; в данном случае имеется в виду брат Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский (1640-1701).

[351] Примечания: 351

Граф де Вермандуа (1667-1683) — сын Людовика XIV и мадмуазель де Лавальер (1644-1710).

ский[352], Брунсвик, Шароле, Буфлер, Великий Конде, герцог де Бриссак...» — «Позвольте вас прервать. Я знал Мсье, я знал Бриссака — по Сен-Симону, конечно, — Вандома и многих других. Но эта старая язва Сен-Симон часто упоминает Великого Конде и принца Людовика Баденского, а ничего такого про них не говорит». — «Конечно, это с моей стороны нахальство — обучать истории профессора Сорбоннского университета. Но, дорогой учитель, вы невежественны, как новорожденный младенец». — «Вы резки, барон, но справедливы. Послушайте, я хочу доставить вам удовольствие. Я вспомнил старинную песенку, сочиненную на макаронической латыни по поводу грозы, заставшей Великого Конде, когда он переезжал Рону вместе со своим другом марки-

[352] Примечания: 352

Принц Людовик Баденский (1655-1707) — военачальник в период царствования Людовика XIV.

зом де Ла Мусеем.[353] Конде говорит:

Мы пропали, друг мой милый,
Хлещет дождь с такою силой,
Что того и жди беды:
Нет спасенья от воды.

А Ла Мусей успокаивает его:

Пред водою страх уйми ты:
Мы с тобою содомиты,
Суждено тебе и мне
Сгибнуть разве что в огне.[354]

«Беру свои слова обратно, — пронзительным голосом, жеманничая, сказал де Шарлю, — вы кладезь учености; вы мне все это запишите,

---

[353] Примечания: 353

Брунсвик (1624-1705) — немецкий военачальник и государственный деятель, герцог. Шароле Шарль де Бурбон (1700-1760) — внук «великого Конде», французский политический деятель. Буфлер Луи-Франсуа (1644-1711) — французский военачальник. Великий Конде. — Речь идет о знаменитом французском полководце Луи II де Бурбоне, принце де Конде (1621-1686). Бриссак Анри-Альбер де Коссе (1645-1699) — французский военачальник. Вандом Луи-Жозеф, герцог (1654-1710) — правнук короля Генриха IV и его возлюбленной Габриэль д'Эстре, французский политический: деятель. Ла Мусей Анри-Гуайон де Матиньон (ум. в 1650 г.) — французский аристократ.

[354] Примечания: 354

…сгибнуть разве что в огне. — Эти макаронические стихи взяты из издания писем Елизаветы-Шарлотты Баварской, герцогини Орлеанской (1652-1722), жены Мсье (см. выше). Они были опубликованы в 1863 г.

хорошо? Я буду это хранить в моем семейном архиве, поскольку моя прабабка была сестра принца». — «Это все так, барон, но вот насчет принца Людовика Баденского я ничего не могу сказать. Впрочем, среди военных…» — «Какая чепуха! В те времена — Вандом, Вилар[355], принц Евгений[356], принц де Конти[357], и, если я еще к ним присоединю всех наших героев Тонкина, Марокко,[358] — а я имею в виду только людей благочестивых, с возвышенной душой, — и «новое поколение», вы будете крайне удивлены. «Мне бы следовало поучить тех, кто исследует новое поколение, отбросившее усложнения, допускавшиеся их предками как ненужные», — сказал Бурже[359]. У меня есть там дружок, о нем много говорят: вы могли бы у него узнать прелюбопытные вещи…

---

[355] Примечания: 355

Вилар Клод-Луи-Эктор (1653-1734) — французский военачальник.

[356] Примечания: 356

Принц Евгений — Видимо, речь идет о Евгении Савойском (1663-1736), французском военачальнике и политическом деятеле.

[357] Примечания: 357

Принц де Конти. — Имеется в виду Франсуа-Луи де Бурбон, принц де Конти (1664-1709), французский политический деятель.

[358] Примечания: 358

…наших героев Тонкина, Марокко… — Речь идет о завоевании Францией Индокитая в 1883-1885 гг. и в 1907-1908 гг. — Марокко.

[359] Примечания: 359

Стр. 294. Бурже Поль (1852-1935) — французский писатель и лите-

ратурный критик. Возможно, Пруст ссылается на его «Психологию современной любви» (1890).

Но я не хочу быть злопыхателем, вернемся к семнадцатому веку. Вы знаете, что Сен-Симон говорит, между прочим, о маршале д'Юкселе[360]: «...не уступавший греческим развратникам, сластолюбец, не считавший нужным это скрывать, приставáвший к молодым офицерам и делавший их своими людьми у себя в доме, не считая отлично сложенных молодых слуг, и все это совершенно открыто — и в армии, и в Страсбурге». Вы, вероятно, читали письма Мадам[361] — мужчины называли ее не иначе как Бабища. Она говорит об этом достаточно ясно». — «У нее был такой достоверный источник, как ее муж». — «Он не менее любопытен, чем Мадам, — заметил де Шарлю. — С нее можно было бы писать портрет ne varietur[362], лирический синтез «жены гомосека». Во-первых, мужеподобна; обычно жена гомосека — мужчина, а для нее не было ничего проще, как наградить его детьми. Мадам ничего не говорит о пороках Мсье, но она пускается в

---

[360] Примечания: 360

Д'Юксель Никола дю Еле (1652-1730) — французский военачальник. О нем, как и о всех упомянутых выше деятелях эпохи Людовика XIV, Пруст читал в «Мемуарах» Сен-Симона.

[361] Примечания: 361

Мадам — герцогиня Орлеанская, жена Мсье.

[362] Примечания: 362

Запрет, не изменять (лат.).

бесконечные рассуждения о том же самом пороке у других как человек осведомленный, потому что все мы любим находить в других семьях пороки, от которых страдаем в своей семье, чтобы доказать самим себе, что здесь нет ничего из ряда вон выходящего и позорного. Я вам говорил, что это было обычным явлением. Помимо примеров, которые я приводил из семнадцатого века, если бы мой великий предок Франсуа де Ларошфуко жил в наше время, он мог бы с большим правом, чем о своем, сказать… подскажите мне, Бришо: «Пороки свойственны всем временам;[363] но если бы люди, известные всему миру, появились в первые века, то кто стал бы говорить теперь о проституции Гелиогабала[364]?» Известные всему миру — отлично сказано. Я вижу, что мой проницательный родственник знал все сплетни о своих знаменитых современниках, как я о своих. Но теперь таких людей стало больше. В них есть нечто им одним свойственное». Я понял, что де Шарлю собирается рассказать нам, каким образом

[363] Примечания: 363

«Пороки свойственны всем временам…» — афоризм Ларошфуко. (См. Ф. до Ларошфуко. Мемуары. Максимы. Л., 1971, с. 232.)

[364] Примечания: 364

Гелиогабал — римский император с 218 по 222 г.; прославился своим распутством.

эволюционировала эта область нравов. И когда говорил он, когда говорил Бришо, от меня ни на секунду не отходил более или менее четкий образ моего дома, где меня ждала Альбертина, вместе с ласкающим, задушевным мотивом Вентейля. Я все время мысленно возвращался к Альбертине, а мне и в самом деле давно пора было вернуться к ней, как к некоему шару, к которому я был тем или иным способом привязан, который не пускал меня из Парижа и который сейчас, в то время как в зале Вердюрена я воссоздавал в воображении свой дом, давал мне знать о себе не как о пустом пространстве, влекущем не своей оригинальностью и довольно унылом, а словно наполненным — похожим этим на дом в Бальбеке в один из вечеров, — наполненным неподвижным присутствием, длящимся ради меня и поддерживающим во мне уверенность, что в любой момент я его обрету. В настойчивости, с какой де Шарлю возвращался к одной и той же теме, в которой он, благодаря тому что его ум работал в одном направлении, хорошо разбирался, было что-то, в общем, тягостное. Он был скучен, как ученый, который ничего но видит за пределами своей специальности, надоедлив, как всезнайка, который хвастается тем, что ему известны тайны, и

горит желанием их выдать, антипатичен, как те, что, когда речь идет об их недостатках, веселятся, не замечая, что на них неприятно смотреть, нестерпим, как маньяк, и до ужаса неосторожен, как обвиняемый. Эта резкая характеристика, которую можно было бы дать сумасшедшему или преступнику, слегка успокоила меня. Внеся в нее необходимые изменения, чтобы получить возможность извлечь выводы, касавшиеся Альбертины и напомнившие мне ее поведение с Сен-Лу, со мной, я говорил себе — как бы ни было тяжело для меня одно из этих воспоминаний и печально другое, — я говорил себе, что они как будто бы исключают вид ярко выраженной деформации, вид влечения, должно полагать, в силу необходимости ни с чем другим не совместимый, который с такой силой проступал и в речах, и в самом облике де Шарлю. Но, к несчастью, де Шарлю поспешил разрушить мои надежды так же, как он их в меня вселил, то есть сам того не сознавая. «Да, — сказал он, — за последние двадцать пять лет как все изменилось вокруг меня! Я не узнаю общества; барьеры сломаны, и толпа, не имеющая понятия не только об элегантности, но и о простых приличиях, танцует танго в моем семейном кругу; изменились моды, политика,

искусство, религия — все. Но я могу ручаться, что еще больше изменилось то, что немцы называют гомосексуализмом. Боже мой! В мое время, не считая мужчин, ненавидевших женщин, и тех, что, любя их, занимались другим ради интереса, гомосексуалисты были почтенными отцами семейств и заводили любовниц для отвода глаз. Если бы мне надо было выдать свою дочь замуж, то ради ее счастья я стал бы среди них искать себе зятя. Увы! Все изменилось. Теперь ищут женихов и среди тех, кто без ума от женщин. Мне кажется, я не лишен чутья, и когда я, бывало, говорил себе: „Ни в коем случае“, то я не обманывался. А теперь я промажу. У одного моего друга, у которого в этих делах немалый опыт, был кучер — ему порекомендовала его моя невестка Ориана: это малый из Комбре, на все руки мастер, особенно — задирать подолы; насчет другого — ни-ни. Он был несчастьем для своей хозяйки: обманывал ее с двумя женщинами, которых обожал: с актрисой и с девушкой из пивной. Мой родственник принц Германтский, раздражающий своим свойством — верить всему, сказал мне как-то раз: „А почему Икс не спит со своим кучером? Может быть, это не доставило бы удовольствия Теодору (так зовут кучера), а может быть, кучера обижает то, что

хозяин не заигрывает с ним?“ Я попросил Жильбера насчет этого помалкивать; меня раздражала и эта мнимая проницательность, которая, если человек выказывает ее в связи с тем, что ему самому безразлично, свидетельствует о том, что он недостаточно проницателен, и шитое белыми нитками лукавство моего родственника, которому хотелось, чтобы наш друг Икс попробовал ухватиться за эту доску и, в случае, если она надежна, поплыл дальше». — «Разве у принца Германтского такие наклонности?» — спросил Бришо со смешанным чувством изумления и неприязни. «Господи ты боже мой! — в восторге воскликнул де Шарлю. — Это так хорошо всем известно, что я не считал нескромным сказать об этом вам. Ну вот, на другое лето я поехал в Бальбек и узнал от матроса, с которым я кое-когда отправлялся на рыбную ловлю, что мой Теодор — кстати сказать, брат горничной приятельницы госпожи Вердюрен, баронессы Пютбю, — является в гавань и с невероятным нахальством подцепляет то одного матроса, то другого, чтобы прокатиться вместе на лодочке и „все такое прочее“. Тут уж я не выдержал и спросил про хозяина, в котором узнал господина, целыми днями игравшего в карты со своей любовницей: не из таких ли он,

что и принц Германтский. „Да это всему свету известно, он этого и не скрывает“. — „Но ведь с ним любовница?“ — „Ну и что ж такого? До чего наивны эти дети! — отеческим тоном сказал мне барон, не подозревая, какую боль причиняют мне его слова в связи с мыслью об Альбертине. — Его любовница очаровательна“. — „Но, в таком случае, его три друга такие же, как он?“ — «Ничего похожего! — вскричал де Шарлю, затыкая себе уши, как будто я, играя на каком-нибудь инструменте, взял неверную ноту. — Он на другом краю. Тогда, значит, нельзя уже иметь друзей? Ах, молодость, у нее в голове такой сумбур! Вас надо перевоспитать, дитя мое. Впрочем, — продолжал он, — должен сознаться, что этот случай — а я знаю много других, — при том, что беззастенчивостью меня трудно смутить, — этот случаи привел меня в замешательство. Я старый воробей, но мне это непонятно, — сказал он тоном старого галликанца[365], рассуждающего об одном из направлений ультрамонтанства[366],

[365] Примечания: 365

Стр. 297. Галликанец — то есть сторонник французского варианта католицизма, предусматривающего определённую свободу церкви по отношению к власти папы.

[366] Примечания: 366

Ультрамонтанство — течение в католицизме, признающее безусловную верховную власть папы и его «непогрешимость».

роялиста-либерала, рассуждающего об Аксьон франсез[367], или ученика Клода Моне о кубистах. — Я не осуждаю этих новаторов, я им скорей уж завидую, стараюсь их понять, но не примыкаю к ним. Если они так любят женщину, то почему же они ищут себе главным образом среди рабочих, где на это смотрят неодобрительно, где они прячутся из самолюбия, они ищут себе, как это у них называется, «девку»? Потому, что это дает им возможность представить себе нечто иное. Что?» «Что другое может представлять собой женщина для Альбертины?» — подумал я, и в этом был источник моих страданий. «Право, барон, — заговорил Бришо, — если Совет факультетов предложит открыть кафедру гомосексуализма, то я выдвину вас. Или нет, нам больше подойдет Институт специальной психологии. И еще я непременно дал бы вам кафедру в Коллеж де Франс[368] с правом заниматься отдельно с каждым студентом, и результатами этих занятий вы будете делиться, по примеру преподавателей

[367] Примечания: 367

Аксьон франсез — одноименные политическая организация и журнал, основанные в 1908 г. Леоном Доде и Шарлем Моррасом (1868-1952) для пропаганды их националистических взглядов.

[368] Примечания: 368

Коллеж де Франс — высшее учебное заведение в Париже; было создано в XVI в. в противовес ретроградной Сорбонне.

тамильского языка или санскрита, с небольшим количеством тех, кого это интересует. У вас будет два слушателя и сторож — не подумайте, что я бросаю тень на коррупцию наших сторожей: по-моему, она неуязвима». — «Вы ничего не знаете, — оборвал его барон. — Помимо всего прочего, вы ошибаетесь насчет того, что это интересует только узкий круг. Как раз наоборот». Не подумав о противоречии между направлением разговора, оставшимся неизменным, и упреком, который он бросит, де Шарлю продолжал. «Напротив, это страшно, — заговорил он с Бришо сокрушенно и с возмущением, — все об этом только и говорят. Это позор, но я отвечаю за свои слова, дорогой мой! Кажется, позавчера у герцогини д'Эйен[369] в течение двух часов только и разговору было что об этом. Подумайте: если теперь об этом заговорили женщины, так ведь это форменный скандал! Самое гнусное — это что они получают сведения, — продолжал он необыкновенно горячо и энергично, — от подлецов, отпетых мерзавцев, как, например, этот коротышка Шательро[370]:

---

[369] Примечания: 369

Герцогиня д'Эйен — вымышленный персонаж.

[370] Примечания: 370

Шательро — персонаж книг Пруста, родственник Германтов; появляется в романах «У Германтов» и «Содом и Гоморра».

сам-то он больно хорош, а туда же, смеет чернить дамам других. Мне передавали, что про меня он говорил черт знает что, но мне наплевать. Я считаю, что комья грязи, бросаемые человеком, которого чуть не выгнали из Джокей-клоба за то, что он передернул в карты, летят обратно и падают на него. Я бы на месте Жаны д'Эйен из уважения к моему салону запретил бы рассуждать на эти темы и говорить глупости о моих родственниках. Но ведь у нас нет уже общества, нет правил, нет приличий, нет других тем для разговора, кроме туалетов. Ах, дорогой мой, пришел конец света! Все сделались такими жестокосердыми! Изощряются в злословии. Ужасно!»

Я был труслив еще в детстве; в Комбре я убежал, чтобы не видеть, как предлагают моему деду выпить коньяку, и не видеть тщетных усилий бабушки, умоляющей его не пить, и теперь у меня была только одна мысль: улизнуть от Вердюренов до исполнения приговора над де Шарлю. «Я непременно должен уйти», — сказал я Бришо. «Я уйду вместе с вами, — сказал он, — но мы не можем уйти не простившись. Пойдемте попрощаемся с госпожой Вердюрен», — заключил профессор и с видом человека, в шутку собирающегося спросить: «А вы нас еще когда-нибудь к

себе пустите?» — проследовал в залу.

Во время нашего разговора Вердюрен по знаку жены привел Мореля. Г-жа Вердюрен по зрелом размышлении нашла, что разумнее было бы подождать открывать Морелю глаза, но это было выше ее сил. Есть такие желания, которые находятся пока только в зародыше, но если не препятствовать их росту, то они начинают властно требовать удовлетворения, не считаясь с последствиями; невозможно удержаться и не обнять декольтированную спину, на которую слишком долго смотришь и на которую губы падают, как птица на змею, нельзя не проглотить пирожок, когда у тебя в животе пусто, нельзя удержать изумление, смятение, отчаяние или веселье, когда эти чувства внезапно разбушевались у тебя в душе. Так, исполненная мелодраматизма, г-жа Вердюрен приказала мужу увести Мореля и во что бы то ни стало поговорить с ним. Скрипач начал жаловаться, что королева Неаполитанская уехала, а он так и не был ей представлен. Де Шарлю столько раз твердил Морелю, что она сестра императрицы Елизаветы и герцогини Алансонской, что в его глазах государыня выросла до небес. Но Покровитель объяснил ему, что они здесь не для того, чтобы толковать о королеве

Неаполитанской, и прямо приступил к делу. «Вот что, — сказал он немного спустя, — если хотите, давайте посоветуемся с моей женой. Честное слово, я ей ничего не говорил. Послушаем, что она скажет. Я-то могу ошибаться, по вы знаете, как верно судит обо всем моя жена, и потом, она вас необыкновенно высоко ценит, изложите ей суть дела». Г-жа Вердюрен с нетерпением ждала, предвкушая наслаждение, которое она получит от разговора с виртуозом, а затем, когда он уйдет, от точного отчета о разговоре между ним и ее мужем, и в ожидании повторяла: «Что они там делают? Надеюсь, по крайней мере, что у Гюстава[371] хватило времени как следует его настрочить», — и вот наконец появился Вердюрен с Морелем, по-видимому крайне взволнованным. «Он хотел бы с тобой посоветоваться», — сказал жене Вердюрен с таким видом, как будто он не уверен, что его просьба будет исполнена. Не ответив Вердюрену, в пылу волнения г-жа Вердюрен обратилась непосредственно к Морелю. «Я совершенно согласна с моим мужем: я считаю, что вы не можете дольше это терпеть!» — в сильном возбуждении воскликнула она,

[371] Примечания: 371

Стр. 299. Гюстав — здесь впервые г-н Вердюрен назван по вмени. В рукописи Пруст дал ему сначала другое имя — Огюст.

забыв, как о ничего не значащей условности, что у них с мужем было уговорено, что она сделает вид, будто бы ничего не знает об его разговоре со скрипачом. «Как? Что терпеть?» — пробормотал Вердюрен; он попытался разыграть удивление и, с неловкостью, объясняющейся волнением, стоять на своем. «Я догадалась, о чем ты с ним говорил, — сказала г-жа Вердюрен, нимало не заботясь о правдоподобии своего объяснения и о том, что скрипач, припомнив потом эту сцену, усомнится в правдивости Покровительницы. — Нет, — продолжала г-жа Вердюрен, — я считаю, что вы не можете дольше выносить шокирующую близость с этим одряхлевшим господином, которого нигде не принимают, — добавила она, не думая о том, что это не соответствует действительности и что она принимала его у себя почти ежедневно. — Вы притча во языцех всей консерватории, — продолжала она, зная, что это наиболее веский аргумент, — еще один месяц такой жизни — и ваше артистическое будущее рухнет, тогда как без Шарлю вы будете зарабатывать более ста тысяч франков в год». — «Но мне никто ничего не говорил, я потрясен, я вам бесконечно благодарен», — со слезами на глазах пробормотал Морель. Вынужденный изображать

удивление и скрывать стыд, он побагровел, пот с него лился так, как будто он проиграл все сонаты Бетховена подряд, из глаз у него струились слезы, которые не извлек бы даже боннский гений[372]. Заинтригованный этими слезами скульптор усмехнулся и уголком глаза показал мне на Чарли. «Вы ничего не слыхали, потому что вы живете одиноко. У этого господина грязная репутация, у него были скверные истории. Мне известно, что он на примете у полиции; если он кончит не так, как все ему подобные, если его не пристукнет какая-нибудь банда, то считайте, что ему еще повезло, — добавила она; при мысли о де Шарлю ей вспомнилась герцогиня де Дюра, и, взбешенная, она старалась как можно больнее уколоть несчастного Чарли и отомстить за тех, кого пригласила на вечер она. — Он и в материальном отношении вам не опора: он разорился в пух с тех пор, как попал в лапы к людям, которые шантажируют его и не могут даже вытянуть у него деньги на расходы за их концерты; за ваши концерты ему уж совсем нечем платить; ведь все заложено: дом, замок и так далее». Морель тем легче поддался на эту удочку, что де Шарлю

[372] Примечания: 372

…боннский гений. — Речь идет о Бетховене, который родился в западногерманском городе Бонне.

охотно в его присутствии вступал в отношения со всяким сбродом — с породой людей, к которой сын лакея, хотя бы он был не менее развратен, чем де Шарлю, испытывает такое же чувство ужаса, как к приверженности де Шарлю бонапартистским идеям.

У хитреца Мореля уже созрел план комбинации, напоминавшей те, что в XVIII веке назывались перевертыванием союзов. Он решил, ничего не говоря де Шарлю, завтра вечером поехать к племяннице Жюпьена с целью все поправить. К несчастью для него, этот план не осуществился. Де Шарлю в тот же вечер назначил свидание Жюпьену, а котором жилетник не мог отказать де Шарлю, несмотря на происшедшие события. Другие события, о которых пойдет речь впереди, обрушились на Мореля в то время, когда Жюпьен со слезами рассказал о своих несчастьях барону, а не менее несчастный барон объявил, что он удочерил брошенную малышку, что она возьмет себе один из его титулов, вернее всего — мадмуазель д'Олорон, что он дает ей великолепное образование и выдает замуж за богатого человека. Обещания де Шарлю чрезвычайно обрадовали Жюпьена, но не произвели никакого впечатления на его племянницу, так как она

продолжала любить Мореля, а тот, по глупости или по свойственному ему цинизму, зашел, пошучивая, в мастерскую, когда Жюпьена там не было. «Ну, что у вас такое, девушка с кругами под глазками? — спросил он, смеясь. — Тоска по милом? Э, все проходит, год на год не похож. В конце концов, мужчина вправе выбрать себе удобную обувь, а уж тем более — женщину, и если она ему не по ноге…» Он успел рассердиться всего один раз, потому что она заплакала; он счел это малодушием, признаком отсутствия самолюбия. Слезы не всегда вызывают сочувствие.

Но мы ушли далеко вперед: ведь все это произошло после вечера у Вердюренов, который мы прервали и рассказ о котором необходимо продолжить с того самого места, где мы остановились. «Я ничего не подозревал…» — со вздохом сказал г-же Вердюрен Морель. «Конечно, никто вам так прямо в лицо не скажет, и все-таки вы притча во языцех консерватории, — злобно прервала Мореля г-жа Вердюрен, желая дать ему понять, что дело не только в де Шарлю, но и в нем тоже. — Я охотно верю вам, что вы ничего не знаете, и тем не менее люди говорят открыто. Спросите Ского,

что говорили недавно у Шевильяра[373], в двух шагах от нас, когда вы входили в мою ложу. На вас пальцем показывают. Я вам скажу, что я лично не обращаю на это внимания; я только нахожу, что он человек странный и что он всю свою жизнь был для всех посмешищем». — «Не знаю, как вас благодарить», — сказал Чарли таким тоном, каким говорят с дантистом, который только что причинил вам адскую боль и даже не позволяет заглянуть себе в рот, или с кровожадным свидетелем, подбивающим вас на дуэль из-за пустяков: «Вы не можете это так оставить». «Я считаю, что вы человек с характером, что вы настоящий мужчина, — сказала г-жа Вердюрен, — и вы скажете ясно и определенно, хотя он всем говорит, что вы не посмеете, что вы у него на привязи». Чарли, ища, у кого бы призанять достоинства, так как от его собственного достоинства остались одни лохмотья, порылся в памяти, не вычитал ли он чего-нибудь или не слышал, и тут же нашелся: «Я не так воспитан, чтобы быть нахлебником у такого человека. Нынче же вечером я порываю с де Шарлю всякие отношения… Королева Неаполитанская, наверно, уже уехала? Если б она была

[373] Примечания: 373

Стр. 301. Шевильяр Камилл (1859-1923) — дирижер, участвовавший в концертах, организовывавшихся Ламурё (см. примеч. к с. 160).

еще здесь, то, прежде чем порвать с ним, я бы его спросил…» — «Полного разрыва не надо, — сказала г-жа Вердюрен, не хотевшая дезорганизовать „ядрышко“. — У вас не выйдет никаких неудобств здесь, в этом тесном кругу, где вас ценят, где никто не скажет о вас дурного слова. Вы только добейтесь полной свободы и не тащитесь за ним ко всем этим скотам, которые льстят вам в глаза; я бы хотела, чтобы вы послушали, что они говорят у вас за спиной. Не жалейте о них; мало того, что на вас останется несмываемое пятно, но и с точки зрения артистической, даже если у вас больше не будет позорящих рекомендаций Шарлю, я вам ручаюсь, что эта среда поддельного света обесславит вас, на вас не будут смотреть как на серьезного музыканта, у вас сложится репутация любителя, салонного музыкантика, а в вашем возрасте это ужасно. Я понимаю, что всем этим прелестным дамам куда как выгодно любезничать со своими приятельницами, бесплатно пригласив вас, но ваше будущее артиста от этого пострадает. Я не говорю об исключениях. Вот вы упомянули королеву Неаполитанскую — она действительно уехала, у нее еще один вечер, — это прекрасная женщина, и я уверена, что к де Шарлю она особого уважения не питает.

Я уверена, что она приезжает к нам ради меня. Да, да, я знаю, что ей хотелось познакомиться с господином Вердюреном и со мной. Вот здесь вы можете играть. И вообще, я должна вам сказать, что если кого-нибудь пригласила я — а меня музыканты знают, со мной они всегда, понимаете ли, так милы, они смотрят на меня отчасти как на свою, как на Покровительницу, — то это совсем другое дело. Но бойтесь как огня герцогиню де Дюра! Не делайте этого промаха! Кое-кто из музыкантов рассказал мне про нее. Они мне доверяют, — сказала г-жа Вердюрен мягким, естественным тоном, на который она в иных случаях внезапно переходила, придавая своему лицу скромное выражение и глядя на вас заученно обворожительным взглядом. — Они запросто приходят ко мне рассказать кое-какие истории; некоторые из них считаются молчунами, но у меня они болтают иногда целыми часами; не могу вам передать, как это интересно. Бедный Шабрие[374] всегда говорил: «Только госпожа Вердюрен умеет заставить их говорить». Так вот, вы знаете, все без исключения плакали оттого,

[374] Примечания: 374

Стр. 302. Шабрие Эммануэль (1841-1894) — известный французский композитор, автор комических опер, произведений для фортепьяно, поверхностных, но полных жизнерадостности и юмора.

что им приходится играть у герцогини де Дюра. Дело тут не только в унижении, в том, что ей доставляет удовольствие обращаться с ними, как со слугами, но они потом нигде не могут найти ангажемента. Директора говорят: «Ах да, это тот, что играет у герцогини де Дюра!» И все кончено. Это лучший способ отрезать себе дорогу к будущему. Понимаете: концерты в светском обществе — это несерьезно; можно иметь какой угодно талант, но, как это ни печально, стоит вам сказать, что вы играли у герцогини де Дюра, — и у вас репутация любителя. А что касается музыкантов, то я же их знаю, понимаете, сорок лет я посещаю их концерты, я их выдвигаю, я за ними слежу, и вот, вы знаете, когда они говорят: «любитель», то этим все сказано. И, в сущности, они уже говорят это о вас. Сколько раз я была вынуждена вступаться за вас, уверять, что вы не станете играть в таком нелепом салоне! Знаете, что мне на это отвечали? «Да он будет играть насильно, Шарлю не станет спрашивать его согласия, он с его мнением не считается». Кто-то, желая доставить де Шарлю удовольствие, сказал: «Мы восхищаемся вашим другом Морелем». Знаете, что он ему ответил с хорошо вам знакомым заносчивым видом? «Почему вы думаете, что он мой друг?

Мы с ним не из одного класса, это всего лишь моя креатура, мой протеже». В это мгновение под выпуклым лбом «богини музыки» затрепетало единственное слово, которое иные женщины не в силах удержать в себе, слово не только оскорбительное, но и неосторожное. Однако потребность сказать его берет верх над порядочностью, над осторожностью. Именно этой потребности, после нескольких легких подергиваний шаровидного нахмуренного чела, уступила Покровительница: «Моему мужу даже повторили, что он сказал про вас: „мой слуга“, но я не поверила». Это была та же потребность, которая вынудила де Шарлю, вскоре после того, как он поклялся Морелю, что никто никогда не узнает его происхождения, сказать г-же Вердюрен: «Он сын лакея». Это такая же потребность — как только слово, уже выпущенное, побежало по кругу — передавать его за печатью тайны обещанной, но не хранимой, — вот так и бежала молва. А в конце концов слова возвращались, как в детской игре, к г-же Вердюрен и ссорили ее с заинтересованным лицом, и тогда-то этот человек раскусывал ее. Она об этом знала и все-таки не могла удержать в себе слово, которое жгло ей язык. Слово «слуга» не могло не задеть Мореля. Тем не менее она

выговорила: «слуга», но добавила, что не ручается, было ли оно произнесено, — добавила для пущей достоверности, которую придавал «слуге» этот оттенок, и для того, чтобы показать свою беспристрастность. Эта беспристрастность так растрогала ее самое, что она ласково заговорила с Чарли. «Видите ли, — начала она, — я его не осуждаю, он увлекает вас в свою бездну, это не его вина, потому что он сам катится туда же, потому что он катится, — повторила она настойчиво, изумленная верностью образа, который вырвался у нее внезапно, не в итоге наблюдений, который она только сейчас поймала на лету и постаралась им воспользоваться. — Нет, я осуждаю его, — по-прежнему ласково заговорила она тоном женщины, упоенной своим успехом, — за неделикатность по отношению к вам. Есть вещи, о которых не говорят всем и каждому. За примером ходить недалеко: только что он держал пари, что вы покраснеете от удовольствия, когда он вам сообщит (в шутку, разумеется, — его ходатайство может вам только помешать), что вы получите орден Почетного легиона. Это бы еще ничего, хотя я всегда не любила, — продолжала она с видом утонченной натуры, исполненной чувства собственного достоинства, — когда дурачат

друзей, но, вы знаете, пустяки иной раз делают нам больно. К примеру, он с хохотом говорит, что вам дадут орден, чтобы сделать приятное вашему дяде, а что ваш дядя — услужающий». — «Он вам так сказал!» — воскликнул Чарли, и с этой минуты, благодаря ловко преподнесенным словам, он стал верить всему, что говорила г-жа Вердюрен. Г-жа Вердюрен была наверху блаженства — так блаженствует старуха, которой в то время, когда юный ее любовник уже готов ее бросить, удается расстроить его брак. И, быть может, у ее лжи не было определенного расчета, быть может, она лгала неумышленно. Быть может, некая сентиментальная логика, самая элементарная, нечто вроде нервного рефлекса, заставляла ее — чтобы чем-то наполнить свою жизнь, чтобы оградить свое душевное равновесие — «смешивать карты» в своем кланчике, и тогда у нее непроизвольно, так что она не успевала проверить, вырывались чертовски для нее выгодные, во всяком случае — предельно точные утверждения. «Он нам скажет, нам двоим, что тут ничего такого нет, — продолжала Покровительница, — мы знаем, что нужно его выслушать и забыть, и потом, дурных профессий не существует, цена вам определена, вас ценят по достоинству, но он пойдет хихикать

с госпожой де Портфен[375] (г-жа Вердюрен нарочно назвала ее — она знала, что Чарли влюблен в г-жу де Портфен), — вот что неприятно. Мой муж сказал мне: «Я бы предпочел получить пощечину». Вы же знаете, что Гюстав любит вас не меньше, чем я. (Тут только выяснилось, что Вердюрена звали Гюстав.) Ведь он, в сущности, человек добрый». — «Да я никогда тебе не говорил, что я его люблю, — пробормотал Вердюрен, разыгрывая добродушного ворчуна. — Его любит Шарлю». — «О нет, теперь я вижу разницу. Из меня строил дурачка подлец, а вы — вы добрый!» — непосредственно вырвалось у Чарли. «Нет, нет, — пробормотала г-жа Вердюрен: она стремилась закрепить за собой свою победу (она чувствовала, что ее среды спасены), не злоупотребляя ею. — Подлец — это слишком сильно сказано; он делает зло, он делает много зла, но — бессознательно. Знаете, эта история с Почетным легионом длилась недолго. Мне неприятно повторять все, что он говорил о вашей семье», — г-же Вердюрен было нелегко выйти из положения, в которое она сама себя поставила. «Да для этого достаточно одной минуты; предатель он, вот

[375] Примечания: 375

Стр. 304. Госпожа де Портфен — персонаж книг Пруста, герцогиня; упоминается также в романе «У Германтов».

кто!» — вскричал Морель. Тут-то мы и вошли в салон. «А-а! — воскликнул де Шарлю при виде Мореля и направился к музыканту с веселым лицом мужчины, который умело устроил вечер ради свидания с женщиной и в упоении не подозревает, что сам себе приготовил ловушку, что его сейчас схватят и при всех взгреют спрятанные мужем в засаду люди, — Что ж, уже можно; ну как, вы довольны, наша юная гордость и в недалеком будущем юный кавалер ордена Почетного легиона? Скоро вы сможете показывать крест», — сказал Морелю де Шарлю с видом ласковым и торжествующим и известием о награждении подтверждая ложь г-жи Вердюрен, которую теперь Морель воспринимал как неоспоримую истину. «Оставьте меня, я вам запрещаю ко мне подходить! — крикнул барону Морель. — Это не первый ваш опыт, я не первый, кого вы пытались развратить!» Меня утешала мысль, что де Шарлю сотрет в порошок и Мореля и Вердюренов. По гораздо менее значительному поводу я испытал на себе его бешеный нрав, защиты от него не было, его бы и король не устрашил. И вдруг произошло что-то невероятное. Де Шарлю, онемевший, подавленный, обдумывавший свое несчастье, не понимая его причины, не находивший слов для

ответа, вопросительно смотревший то на одного, то на другого, возмущенный, умоляющий, казалось, еще не представлял себе размеров бедствия и за что ему придется держать ответ. Быть может, его лишило дара речи (он видел, что Вердюрен и его жена отворачиваются от него и что никто не протягивает ему руку помощи) не только то, как он мучился сейчас, но главным образом ужас перед ожидающими его страданиями; или же то, что он заранее мысленно не поднял гордо головы и не раздул в себе гнева, то, что он не запасся яростью (восприимчивый, нервный, истеричный, импульсивный, он был наигранно храбр; даже больше: я всегда о нем думал — и этим он был мне отчасти симпатичен, — что он наигранно зол, и действовал он не так, как действует нормальный порядочный человек, которого оскорбили), то, что его поймали и неожиданно нанесли ему удар, когда он был безоружен; или, наконец, то, что он был здесь не в своей среде и чувствовал себя не так свободно и смело, как в Сен-Жерменском предместье. Как бы то ни было, в салоне, возбуждавшем презрение у этого вельможи (которому, однако, не было в такой мере свойственно чувство превосходства над разночинцами, с каким держали себя его томимые предсмертной тоской

предки в революционном трибунале), он был способен лишь в том параличе, который сковал его движения и отнял язык, испуганно озираться, взглядом выражая возмущение тем, как жестоко с ним поступают, взглядом умоляющим и вопросительным. Между тем де Шарлю случалось применять не только дар красноречия, — он мог быть и дерзок, когда, охваченный яростью, накипавшей в нем исподволь, он применял отчаянное средство: осыпал кого-нибудь грубой бранью в присутствии негодовавших светских людей, которые никогда не думали, что можно так забыться. Де Шарлю рвал и метал, доходил до настоящих нервных припадков, от которых все трепетали. Но инициатива была у него в руках, атаковал он, он говорил, что ему вздумается. (Так Блок подшучивал над евреями и краснел, когда это слово произносили при нем.) Этих людей он ненавидел, так как чувствовал, что они презирают его. Если б они были с ним милы, он, вместо того чтобы дышать злобой, расцеловал бы их. В этих обстоятельствах, жестоких в своей непредвиденности, он мог только промямлить: «Что это значит? Что случилось?» Его даже не слушали. Вечная пантомима панического страха так мало изменилась: этот пожилой господин, с кото-

рым в одном из парижских салонов произошел неприятный случай, неумышленно повторял в общем виде некоторые позы, которые греческие скульпторы первых веков придавали пугливым нимфам, преследуемым богом Паном.[376]

Незадачливый посол, начальник канцелярии, которому предложили выйти в отставку, светский человек, с которым все холодны, влюбленный, которому натянули нос, иногда по нескольку месяцев изучают крушение своих надежд; они поворачивают его и так и сяк, словно ракету, пущенную неизвестно откуда и неизвестно кем, что-то вроде аэролита[377]. Они горят желанием изучить элементы, из коих состоит этот рухнувший на них, необыкновенный снаряд, жаждут узнать, чья это злая воля. В распоряжении химиков по крайней мере есть анализ; больные, не знающие, чем они больны, могут вызвать врача; в преступлениях как-нибудь да

[376] Примечания: 376

Стр. 306. ...преследуемым богом Паном. — Далее в рукописи сделана вставка, вычеркнутая Прустом в машинописи: «Удивление и замешательство, которые тут же пришли на смену оцепенению в душе де Шарлю и задержались там недолго, здесь не очень заметны, так как мы старались передать главным образом их причины, а не изображать их и ничего не говорить о том, чего де Шарлю не мог бы знать». Современные издатели вводят эту вставку в основной текст.

[377] Примечания: 377

Аэролит — небесное тело, вторгшееся в земную атмосферу.

разберется следователь. Но нам редко удается обнаружить побуждения наших ближних, совершающих загадочные поступки. Вот так и для де Шарлю после этого вечера, к которому мы еще вернемся, в поведении Чарли все было неясно. Чарли, который часто грозил барону, что он расскажет, какую страсть тот ему внушает, должен был теперь достаточно «набить мошну», чтобы получить возможность летать на собственных крыльях. И из чувства глубокой неблагодарности он должен был все рассказать г-же Вердюрен. Но как она-то могла даться в обман? (Ведь барон, решивший все отрицать, даже самого себя убедил, что наклонность, в которой его упрекают, вымышленна.) Уж не друзья ли г-жи Вердюрен, неравнодушные к Чарли, подготовили почву? В течение следующих дней де Шарлю написал ужасные письма некоторым ни в чем не повинным «верным» — те решили, что он сошел с ума; затем он отправился к г-же Вердюрен, но его длинный трогательный рассказ не произвел на нее желаемого впечатления. Г-жа Вердюрен твердила барону: «Не обращайте больше на него внимания, не носитесь с ним, это же дитя». После примирения барон облегченно вздохнул. Но, чтобы Чарли понял, что г-жа Вердюрен ему не по-

верила, барон потребовал, чтобы она больше не принимала у себя Чарли; г-жа Вердюрен ответила отказом, за этим последовал град возмущенных, саркастических писем от де Шарлю. Переходя от одного предположения к другому, де Шарлю так и не добился истины, то есть он так и не узнал, что удар был нанесен ему отнюдь не Морелем. Он мог бы это узнать, попросив у Мореля уделить ему несколько минут внимания. Но он считал, что это роняет его достоинство, наносит ущерб его любви. Он был оскорблен, он ждал объяснений. Его почти неотступно преследовала связанная с идеей свидания, в результате которого недоразумение могло бы выясниться, другая мысль, каковая по некоторым причинам не дает возможности содействовать этому свиданию. Кто унизился и показал свою слабость в двадцати случаях, докажет, что он горд, в случае двадцать первом, как раз в том единственном случае, когда для него было бы выгодней не упрямиться в своей заносчивости и за неимением улик рассеять заблуждение, укореняющееся в его противнике. В свете слух об инциденте распространился, когда барона только еще выставляли за дверь у Вердюренов, когда он пытался нанести юному музыканту ответный удар. Поэтому люди уже

не удивлялись, что де Шарлю перестал бывать у Вердюренов, и тому, что, когда он где-нибудь случайно встречался с «верным», которого он заподозрил и оскорбил, «верный», затаив злобу против барона, с ним не здоровался, — не удивлялись, так как полагали, что весь кланчик перестал здороваться с бароном.

В то время как де Шарлю, сраженный тем, что сказал Морель, и видом Покровительницы, принял позу нимфы, охваченной паническим ужасом, г-н и г-жа Вердюрен в знак разрыва дипломатических отношений удалились в первую залу, оставив де Шарлю одного, а Морель на эстраде закутывал свою скрипку. «Ты мне потом расскажешь, как у вас произошел разговор», — сгорая от любопытства, сказала мужу г-жа Вердюрен. «Не знаю, что вы ему сказали, но только у него был крайне взволнованный вид, — вмешался Ский, — на глазах у него были слезы». Г-жа Вердюрен сделала вид, что не поняла. «По-моему, он отнесся к моим словам совершенно безразлично», — сказала она таким тоном, который, однако, никого не обманывает, — просто чтобы заставить скульптора повторить, что Чарли плакал, а между тем слезами Чарли Покровительница гордилась и не могла допустить, чтобы до кого-нибудь из

«верных» это как-нибудь случайно не дошло. «Да нет, что вы, я видел крупные слезы, блестевшие у него в глазах», — прошептал скульптор, улыбаясь улыбкой доверительной неблагожелательности и косясь на эстраду, чтобы убедиться, там ли еще Морель и не может ли он подслушать разговор. Но его слышала женщина, присутствие которой, как только оно было обнаружено, вернуло Морелю утраченную надежду. Это была королева Неаполитанская: она забыла здесь веер и нашла, что будет учтивее, если не поедет на другой вечер, куда она была приглашена, и вернется за веером. Вошла она бесшумно, как бы в смущении, собираясь извиниться и немного посидеть, раз тут больше никого уже не было. Но в разгар инцидента никто не слышал, как она вошла, и она все сразу поняла, и это ее привело в негодование. «Ский говорит, что видел у него на глазах слезы, ты заметил? Я не видела слез. Ах да, вспомнила, — боясь, что ее отрицание примут за чистую монету, поправилась г-жа Вердюрен. — А вот Шарлю чувствует себя плохо, ему нужно сесть, он едва держится на ногах, он сейчас шлепнется», — издевалась она над бароном. Тут к ней подбежал Морель. «Эта дама — не королева Неаполитанская? — спросил он (хотя прекрасно знал, что это

она), показывая на государыню, направлявшуюся к де Шарлю. — Увы! После того, что произошло, я не могу попросить барона представить меня ей». — «Подождите, я это устрою», — сказала г-жа Вердюрен и в сопровождении нескольких «верных», за исключением меня и Бришо, спешивших взять свои вещи и уйти, двинулась по направлению к королеве, разговаривавшей с де Шарлю. Тот был убежден, что исполнению его заветного желания — представить Мореля королеве Неаполитанской — может помешать разве что скоропостижная кончина государыни. Но мы представляем себе будущее как отражение настоящего в пустом пространстве, тогда как оно есть результат, часто очень скорый, обстоятельств, большинство которых ускользает от нашего внимания. Через час де Шарлю отдал бы все за то, чтобы Морель не был представлен королеве. Г-жа Вердюрен сделала королеве реверанс. Видя, что та как будто не узнает ее, она проговорила: «Я — госпожа Вердюрен. Ваше величество, вы не узнали меня?» — «Прекрасно», — сказала королева, продолжая в высшей степени естественным тоном разговаривать с де Шарлю и с такой искусно изображаемой рассеянностью, что г-жа Вердюрен усомнилась, к ней ли обращено это

«прекрасно», произнесенное очаровательным в своей рассеянности тоном и вызвавшее у де Шарлю, несмотря на его горе — горе влюбленного, улыбку признательности, улыбку человека, опытного в искусстве дерзости и смакующего его. Морель, издали увидев, что готовится представление, подошел поближе. Королева протянула де Шарлю руку. Она была сердита и на него, но только за то, что он давал недостаточно резкий отпор подлым клеветникам. Ей было стыдно за него: какие-то Вердюрены смеют так с ним разговаривать! Единственным источником простодушной симпатии, которую она выказала им несколько часов назад, и вызывающей надменности, с какой она держалась сейчас, было ее сердце. Королева была женщина на редкость добрая, но выражала она доброту прежде всего в форме нерушимой привязанности к людям, которых она любила, к своим, ко всем принцам ее рода, в частности — к де Шарлю, наконец, ко всем разночинцам и людям самого низкого звания, уважавшим тех, кого она любила, относившимся к ним хорошо. Именно как женщина, наделенная этими положительными качествами, изъявляла она симпатию г-же Вердюрен. Конечно, это было узкое, устаревавшее понятие доброты, немного

в духе тори. Но это не значило, что ее доброта была неискренней и холодной. Люди старшего поколения не любили сообщества, в деятельности которого они принимали большое участие только потому, что это сообщество не переходило за черту города, а нынешние люди не любят свою отчизну, так же как те, что на всей земле будут потом любить только Соединенные Штаты. Передо мной был пример моей матери: маркиза де Говожо и герцогиня Германтская никакими силами не могли уговорить ее принять участие в каком-нибудь богоугодном деле, помочь какой-нибудь мастерской, открывающейся с филантропическими целями, быть продавщицей или патронессой. Я далек от мысли, что она была права, уклоняясь от общественной деятельности, так как сердце подсказывало ей хранить запасы любви и великодушия для своей семьи, для слуг, для несчастных, которые случайно попадались ей на дороге, и в то же время я отлично знаю, что эти запасы, как и запасы моей бабушки, были неистощимы и намного превосходили все, что могли и делали герцогиня Германтская или Говожо. Королева Неаполитанская — это был совершенно особый случай, однако нужно заметить, что симпатичные существа, как она их себе рисовала, были

отнюдь не похожи на симпатичные существа из романов Достоевского[378], которые Альбертина взяла из моей библиотеки и присвоила, то есть на подхалимствующих приживалов, воров, пьяниц, пошляков, нахалов, скандалистов, а то и, в случае чего, убийц. Да и потом, крайности сходятся: обиженный родственник, за которого королева намеревалась вступиться, был де Шарлю, то есть, несмотря на свое происхождение и все родственные связи с королевой, человек, страдавший множеством пороков. «Вам нездоровится, мой дорогой, — сказала она барону. — Обопритесь на мое плечо. Можете быть уверены, что оно вас не подведет. Для этого оно достаточно крепко. — И, гордым взглядом посмотрев вокруг себя (Мне рассказывал Ский, что прямо напротив нее находились в эту минуту г-жа Вердюрен и Морель), добавила: — Знаете, как-то раз в Гаэте моя рука дала почувствовать свою силу всякому сброду. Сейчас она вам послужит опорой». С этими словами, ведя под руку барона и не дав ему представить ей Мореля, прославленная сестра императрицы

[378] Примечания: 378

Стр. 310. ...из романов Достоевского... — Пруст очень высоко ценил творчество Достоевского, что видно из переписки с друзьями, а также из небольшого наброска в одной из его последних рабочих тетрадей (датируется концом 1921 — началом 1922г.).

Елизаветы вышла из помещения.

Зная ужасный характер де Шарлю, зная, как он умеет преследовать всех, вплоть до своих родственников, можно было предполагать, что после этого вечера он даст волю своему гневу и отомстит Вердюренам. Но вышло не так, и объяснялось это главным образом тем, что, несколько дней спустя простудившись, он заболел инфекционной пневмонией, эпидемия которой как раз в то время свирепствовала; врачи, да он и сам, долгое время считали, что он не выживет, затем несколько месяцев он провисел между жизнью и смертью. Было ли то всего-навсего осложнение или же особое проявление невроза, о котором он последнее время забывал даже в порыве ярости? Слишком уж просто было бы объяснить его кротость тем, что, не принимая всерьез Вердюренов с точки зрения их социального положения, он не мог на них рассердиться, как на равных ему; слишком уж просто было бы объяснить ее особенностью нервных людей, которые по каждому поводу возмущаются врагами воображаемыми и беззащитными и, наоборот, сами становятся беззащитными, как только кто-нибудь вздумает на них напасть, которых легче успокоить, брызнув им в лицо холодной водой, чем пытаясь доказать

им неосновательность их претензий. Причину отсутствия злобы в де Шарлю надо искать не столько в осложнении, сколько в самой болезни. Она так мучила барона, что ему было не до Вердюренов. Он был при смерти. Мы говорили о наступательных действиях; даже такие действия, последствия которых сказываются после смерти человека, требуют от него, если только он хочет должным образом их «обставить», затраты сил. У де Шарлю оставалось слишком мало сил, чтобы вести подготовку. Часто приходится слышать, будто один ярый враг бросает взгляд на другого, только чтобы проверить, скончался ли он, а затем со счастливым выражением закрывает глаза. Но это случай редкий, если только смерть не приходит за человеком, когда жизнь бьет еще в нем ключом. Напротив, в момент, когда человеку терять уже нечего, когда он ничем не жертвует, как в избытке жизненных сил, он идет на жертвы легко. Месть — это часть жизни; чаще всего — за рядом исключений, которые, как мы увидим, объясняются противоречивостью человеческого характера, — она покидает нас на пороге смерти. Вспомнив на мгновение о Вердюренах, де Шарлю, в полном изнеможении, поворачивался лицом к стене и больше уже ни о чем не думал.

Он не утратил дара красноречия, но теперь этот дар требовал от него меньше усилий. Источник красноречия не иссяк в нем, но он изменился. Свободная от вспышек, которыми он так часто расцвечивал свою речь, теперь это была речь почти мистическая, украшенная ласковыми словами, евангельскими изречениями, явной покорностью смерти. Он говорил главным образом в те дни, когда ему казалось, что он выздоравливает. При малейшем ухудшении он умолкал. Это христианское смирение, в которое транспонировалось его восхитительное неистовство (как в «Есфирь» транспонировался столь отличный от нее гений «Андромахи»[379]), изумляло окружающих. Оно изумило бы даже Вердюренов, которым недостатки этого человека, вызывавшие их ненависть, не могли бы помешать преклониться перед ним. Конечно, мысли, христианские только по видимости, выдавали его. Он молил архангела Гавриила возвестить ему, как пророку, когда придет Мессия. И, улыбаясь страдальческой улыбкой, добавлял: «Но только пусть архангел не требует

[379] Примечания: 379
Стр. 311. «Есфирь», «Андромаха» — трагедии Расина.

от меня, как от Даниила[380], потерпеть «семь недель и еще шестьдесят две недели», — до тех пор я умру». Так он ждал Мореля. Еще он просил архангела Рафаила привести Мореля к нему, как юного Товию. И, прибегая к средствам земным (так занемогшие папы, веля служить мессы, не отказываются и от помощи своего врача), он намекал посетителям, что, если Бришо в скором времени приведет к нему юного Товию, быть может, архангел Рафаил вернет ему зрение, как отцу Товии, или позволит ему окунуться в очистительную купель Вифсаиды[381]. Но, несмотря на помышления о земном, нравственная чистота речи де Шарлю была все так же прекрасна. Честолюбие, злословие, бешеная злоба, гордыня — все это исчезло. В нравственном отношении де Шарлю был теперь совсем другой человек. Но это нравственное самоусовершенствование, реальность которого благодаря его ораторскому

[380] Примечания: 380

Стр. 312. ...как от Даниила... — Далее идет упоминание библейских эпизодов из Книги Пророка Даниила (IX, 24: «Семьдесят седмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, а чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святым святых») и из Книги Товита (X-XI).

[381] Примечания: 381

Вифсаида — родной город апостолов Андрея, Петра и Филиппа; здесь Христос творил чудеса (Ев. от Марка, VIII, 22-25; Ев. от Луки, IX, 10-11).

искусству могла до известной степени ввести в заблуждение растроганных слушателей, исчезло вместе с болезнью, которая пошла было ему на пользу. Дальше мы увидим, что де Шарлю покатился вниз со все усиливавшейся быстротой. Но отношение к нему Вердюренов было для него теперь воспоминанием более смутным, чем гнев близкого ему человека, затягивавший его выздоровление.

Но вернемся назад, к вечеру у Вердюренов. В этот вечер, когда хозяева остались одни, Вердюрен спросил жену: «Ты знаешь, почему не пришел Котар? Он у Саньета, который неудачно играл на бирже. Когда Саньет узнал, что у него не осталось больше ни единого франка, а долгу — около миллиона, его хватил удар». — «Да зачем же он играл? Вот идиот! Игра на бирже — это занятие для кого угодно, только не для него. Людей поумнее Саньета обдирают там как липку, а его облапошат все, кому не лень». — «Ну да, конечно, мы давно знали, что он идиот, — сказал Вердюрен. — Но, как бы то ни было, результат налицо. Завтра этого человека домовладелец выбросит на улицу, ему грозит крайняя нищета; родные

его не любят, Форшвиль[382] не ударит для него палец о палец. Вот что я надумал: я никогда не решусь ни на что, если это тебе будет неприятно, но, пожалуй, мы все-таки могли бы выплачивать ему небольшое пособие, чтобы разорение было для него не так заметно, чтобы он лечился у себя дома». — «Я совершенно с тобой согласна, ты очень хорошо придумал. Но ты сказал: „у себя дома“; этот болван снял очень дорогую квартиру, теперь это ему не по средствам, ему нужно снять двухкомнатную квартирку. Я думаю, что теперь можно снять квартиру за шесть — за семь тысяч франков». — «За шесть тысяч пятьсот. Но он очень привык к своей квартире. У него был первый удар, дольше двух-трех лет он не протянет. Положим, это нам обойдется за три года в десять тысяч франков. По-моему, мы в состоянии себе это позволить. Мы можем, например, вместо того чтобы опять снимать Ла-Распельер, остановиться на чем-нибудь более скромном. Мне думается, что при наших доходах истратить в течение трех лет десять тысяч франков — это нам

[382] Примечания: 382

Форшвиль — персонаж книг Пруста, граф, затем барон, завсегдатай салона Вердюренов, возлюбленный Одетты до ее брака со Сваном. После смерти Свана он женится на его вдове (об этом рассказывается в романе «Беглянка»).

по силам». — «Хорошо, но в этом есть одна неприятная сторона: придется оказывать помощь и другим». — «Будь спокойна: я и об этом подумал. Я все улажу с условием, что никто про это не будет знать. Взять на себя обязательство стать благодетелями рода человеческого — покорно благодарю! Никакой филантропии! А ему можно будет сказать, что это от княгини Щербатовой». — «Да поверит ли он? Насчет своего завещания она советовалась с Котаром». — «В крайнем случае, можно будет вовлечь в заговор Котара, у него профессиональная привычка хранить тайны, он зарабатывает огромные деньги, он не нуждается в том, чтобы ему совали в руку за каждый чох. Может быть, он изъявит желание объявить, что княгиня сделала его своим посредником. В таком случае, мы останемся за кулисами. Это нас избавит от глупейших изъявлений благодарности, от уверений, от громких фраз». Вердюрен прибавил слово, которое, по всей видимости, означало трогательные сцены и громкие фразы, которых они оба намеревались избежать. Но мне его передали неточно: это слово не французское, это одно из тех выражений, которые бытуют в отдельных семьях и которые служат для обозначения чего-либо, главным образом для вещей

досадных, — служат, вернее всего, с той целью, чтобы люди заинтересованные не поняли их смысла. Эти выражения обычно представляют собой пережитки прошлого той или иной семьи. В еврейской семье, например, это ритуальный термин, употребляемый совсем в другом значении, и, быть может, единственное древнееврейское слово, которое офранцузившаяся семья еще знает. В семье глубоко провинциальной это было бы слово местного наречия, хотя семья уже не только не говорит на таком наречии, но и не понимает его. В семье, приехавшей из Южной Америки и говорящей только по-французски, это было бы испанское слово. А для следующего поколения это слово было бы всего лишь воспоминанием детства. Запомнилось, что за столом родители, имея в виду слуг, произносили его, чтобы слуги их не поняли, но дети не знают точного значения этого слова, не знают, испанское ли оно, древнееврейское, немецкое, местное, принадлежало ли оно вообще к какому-нибудь языку, имя ли это собственное или слово придуманное. Сомнение может быть разъяснено только в том случае, если в семье еще жив старый двоюродный дед, некогда пользовавшийся таким выражением. Я никого из родственников четы Вердюрен не

знал, а потому не мог восстановить в точности это слово. Тем не менее оно неизменно вызывало улыбку на лице г-жи Вердюрен: употребление такого языка, не распространенного, семейного, но всем доступного, зашифрованного, не общепринятого, порождает в тех, кто к нему прибегает, чувство превосходства, непременно связанное с чувством некоторого удовлетворения. Когда минута веселости прошла, г-жа Вердюрен задала мужу вопрос: «А если Котар все-таки проговорится?» — «Он не проговорится». Котар говорил — по крайней мере со мной, ведь это я от него же и узнал несколько лет спустя, — о том, как хоронили Саньета. Я пожалел, что не знал об этом раньше. Это скорейшим путем привело бы меня к мысли, что ни при каких обстоятельствах не следует осуждать людей, никогда не следует судить о них по одной вспышке гнева, ибо мы не знаем, что в иные мгновенья их душа может искренне возжаждать добра и что они сделают доброе дело. Но и здесь простейшие выводы нас подведут. Проявление недоброжелательности, которое мы сочли единичным, без сомнения, повторится. Но душа богаче, чем мы думаем, у нее есть множество других форм проявления, и эти формы тоже выявит человек, которому мы

отказали в доброте из-за одного некрасивого поступка. Но если говорить о себе, то сообщение Котара, сделай он мне его раньше, рассеяло бы сомнения, которые у меня возникали по поводу роли, какую могли играть Вердюрены в моих отношениях с Альбертиной. Впрочем, быть может, я бы рассеял их зря, так как если у Вердюрена были положительные душевные свойства, то жил в нем и задира, и в своей яростной борьбе за господство в кланчике он не брезговал самой низкой клеветой, не гнушался разжиганием ни на чем не основанной ненависти, чтобы посеять рознь между «верными», основная цель которых заключалась как раз в сплочении тесного кружка. Этот человек мог быть бескорыстным, великодушным не напоказ, но он был отнюдь не чувствителен, не обаятелен, не щепетилен, не правдив, не всегда отзывчив. Выборочная доброта — быть может, отчасти доставшаяся ему в наследство от семьи друзей моей двоюродной бабушки — жила в нем, по всей вероятности, еще до того, как я узнал про случай с Саньетом: так Америка и Северный полюс существовали еще до

Колумба.[383] Как бы то ни было, в момент моего открытия Вердюрен показал себя с новой, до тех пор неизвестной мне стороны, и тут я понял, что создать себе верное представление о характере так же трудно, как и о целом обществе и о человеческих страстях. Характер изменяется точно так же, и если вы хотите стереотипировать то, что в нем относительно неизменно, то он последовательно показывает различные аспекты своего «я» (прикрываясь тем, что он не в силах находиться в состоянии неподвижности, что он должен шевелиться) перед озадаченным объективом.

Посмотрев на часы, боясь, что Альбертина соскучится, я, выходя с вечера у Вердюренов, попросил Бришо сначала проводить меня домой. Потом мой автомобиль доставит его. Не зная, что дома меня ждет девушка, он похвалил меня за то, что я возвращаюсь прямо домой и что я рано и благоразумно ушел с вечера, хотя на самом деле, как раз наоборот, я задержал его настоящее начало. Потом он заговорил со мной о де Шарлю. Тот, конечно, удивился, напрасно прождав

[383] Примечания: 383

Стр. 315. ...Америка и Северный полюс существовали еще до Колумба. — За именем Колумба в рукописи и машинописи оставлено пустое место, но Пруст его не заполнил, так и не вспомнив имени Роберта Пери (1856-1920), который первым достиг Северного полюса в 1909 г.

профессора, который всегда был с ним любезен, предупреждал: «Я никому ничего не передаю», с которым он говорил о себе и о своем образе жизни без недомолвок. Возмущенное изумление Бришо было бы, пожалуй, не менее искренним, если бы де Шарлю сказал ему: «Меня уверяли, что вы дурно отзывались обо мне». Бришо действительно симпатизировал де Шарлю, и, если ему приходилось участвовать в разговоре о нем, в Бришо, говорившем о бароне то же, что и другие, теплое чувство, которое он питал к барону, брало вверх над всем, даже над самыми этими темами. Он был убежден в своей искренности, когда уверял барона: «Я везде и всюду говорю, что я ваш друг», — когда речь заходила о де Шарлю, в нем действительно шевелилось что-то похожее на дружеское расположение. С точки зрения Бришо, де Шарлю отличался тем обаянием, какого тот и ждал, главным образом, от светских людей, он показывал профессору образцы того, что профессор долгое время считал плодами поэтической фантазии. Бришо, часто толковавший двенадцатую эклогу Вергилия, точно не зная, что в ней выдумка, а что — правда, в беседах с де Шарлю с запозданием получал долю того удовольствия, какое получали его любимцы Мериме и Ренан,

его коллега Масперо, путешествуя в Испании,[384] в Палестине,[385] в Египте[386] и узнавая в пейзажах и в современных народностях Испании, Палестины и Египта сцену и неизменяющихся актеров античных трагедий, которых они изучали по книгам. «Во мне нет ни малейшего желания оскорбить этого героя высшей расы, — заговорил со мной в автомобиле Бришо, — но он просто изумителен, когда комментирует свой сатанический катехизис со слегка шарантоническим пылом[387] и с упрямством, то есть, я хотел сказать, с убежденностью испанского миссионера или эмигранта. Я вас уверяю, что, если бы я осмелился изъясняться, как монсеньор д'Юльст[388], я бы не соскучился в те дни, когда бы меня посещал этот феодал, который, стремясь защитить

---

[384] Примечания: 384

…Мериме… путешествуя в Испании… — Проспер Мериме много раз путешествовал по Испании; первую поездку туда он совершил летом 1830 г.

[385] Примечания: 385

…Ренан… в Палестине… — Эрнест Ренан путешествовал по Ближнему Востоку в первой половине 1865 г.; он собирал там материалы для своей книги «Апостолы» (1866).

[386] Примечания: 386

…Масперо, путешествуя… в Египет… — Известный египтолог Гастон Масперо (1846-1916) много раз бывал в Египте, где сделал немало археологических находок.

[387] Примечания: 387

Стр. 316. …со слегка шарантоническим пылом… — то есть с чрезмерным

пылом умалишенного (по названию парижского пригорода Шарантона, где находился известный сумасшедший дом).

[388] Примечания: 388

Монсеньор д'Юльст (1841-1896) — видный деятель католической церкви, основатель Католического института в Париже (1880).

Адониса[389] от нашего века — века безверия, повиновался бы инстинктам своей расы и, побуждаемый всей своей содомитской наивностью, скрестился». Я слушал Бришо, но мы не были с ним вдвоем. Стоило мне выехать из дому, как я смутно почувствовал себя связанным с девушкой, хотя в это время она была у себя в комнате. Даже когда я говорил с кем-нибудь из Вердюренов, я неясно ощущал, что она где-то здесь, у меня оставалось о ней неизъяснимое представление, как о своем теле, и если я о ней думал, то это было равносильно тому, как если бы я думал с тоской, что я всецело у нее в рабстве, словно у частей своего тела. «И каким же надо быть мелким сплетником, — продолжал Бришо, — чтобы заполнить все комментарии к „Беседам по понедельникам“[390] проповедями этого апостола! Вы только подумайте: я сам слышал от него, что трактат об этике, который внушал мне неизменное уважение своей яркой картиной нравственно-

[389] Примечания: 389

Адонис — божество природы, олицетворяющее умирающую и воскресающую растительность.

[390] Примечания: 390

«Беседы по понедельникам» — многотомный цикл статей Шарля-Огюстена Сент-Бева (1804-1869), который этот маститый литературный критик печатал в 1851-1862 гг. Метод Сент-Бева, уделявшего большое внимание биографии изучаемого писателя, вызывал резкую критику Пруста, работавшего в 1908-1909 гг. над книгой «Против Сент-Бева».

сти нашего времени, наш почтенный коллега Х. написал, вдохновленный молодым разносчиком телеграмм. Считаю своим долгом обратить ваше внимание на то, что мой знаменитый друг, доказывая это, не счел нужным открыть нам имя этого эфеба[391]. Тут он проявил больше уважения к человеку или, если хотите, меньше благодарности, чем Фидий, который начертал имя атлета, которого он любил, на кольце своего Юпитера Олимпийского[392]. Барон не слыхал об этой последней истории. Вообразите, в какой восторг она привела потом правоверного де Шарлю! Надеюсь, вы мне поверите, что каждый раз, как я вместе с моим коллегой выступаю в качестве оппонента на защите докторской диссертации, я обнаруживаю в его диалектике, кстати сказать — очень тонкой, излишек сочности, который пикантные разоблачения Сент-Бева придали недостаточно откровенному произведению Шатобриана.[393]

---

[391] Примечания: 391

Эфеб — в Древней Греции — юноша, достигший 18 лет.

[392] Примечания: 392

Юпитер Олимпийский. — Речь идет о храме Зевса в Олимпии (ныне почти не сохранился), внутри которого в древности помещалась выполненная из золота и слоновой кости статуя Зевса работы Фидия.

[393] Примечания: 393

...недостаточно откровенному произведению Шатобриана. — Речь идет о его «Замогильных записках».

От нашего коллеги, у которого голова золотая, а денег немного, телеграфист все перенес барону — «как оно есть» (надо было слышать тон, каким это было сказано). И так как этот Сатана — самый услужливый из людей, то он получил для своего протеже место в колониях, откуда протеже в знак благодарности посылает ему время от времени дивные фрукты. Барон угощает ими своих высоких гостей; ананасы молодого человека совсем недавно украшали стол на набережной Конти, и, глядя на них, г-жа Вердюрен сказала без малейшего ехидства: «Значит, барон, у вас в Америке дядя или племянник, раз вы получаете оттуда такие ананасы!» Признаюсь, я ел их с улыбкой, читая in petto[394] начало оды Горация, которую любил вспоминать Дидро.[395] В общем, как мой коллега

---

[394] Примечания: 394

Про себя (лат.).

[395] Примечания: 395

Стр. 317. ...начало оды Горация, которую любил вспоминать Дидро. — Чаще всего Дидро цитирует «Науку поэзии» (Послание к Пизонам) Горация; в данном случае, видимо, речь идет о начале оды Горация «К пирующим» (II, 37):

Теперь – пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! Время пришло, друзья,
Салийским угощеньем щедро
Ложе кумиров почтить во храме!

(Перевод С. Шервинского)

Буасье[396], прохаживаясь от Палатина[397] до Тибура[398], я ухватываю из беседы с бароном самую живую и самую усладительную из идей писателей Августова века[399]. Не будем говорить о писателях времен упадка и не будем касаться греков; достаточно того, что я однажды сказал этому очаровательному де Шарлю: в его обществе я чувствую себя, как Платон у Аспазии[400]. По правде сказать, я очень польстил этим двум персонажам; по выражению Лафонтена[401], это «животные помельче». Как бы то ни было, надеюсь, вы не подумаете, что барон был обижен. Я еще никогда не видел, чтобы он был так искренне рад. Его аристократическую флегматичность нарушила детская веселость. «Какие льстецы все эти сорбоннары! — воскликнул он в упоении. —

---

[396] Примечания: 396

Буасье Гастон (1823-1908) — французский ученый-археолог, автор популярной книги «Археологические прогулки» (1880).

[397] Примечания: 397

Палатин — один из холмов, на которых построен Рим.

[398] Примечания: 398

Тибур — пригород Рима, где среди живописной растительности сохранились остатки древнеримских построек.

[399] Примечания: 399

Августов век — то есть время правления императора Октавиана Августа (44 до н. э. — 14 н. э.), отмеченное расцветом литературы и искусства.

[400] Примечания: 400

Аспазия — прославившаяся своей красотой и умом гречанка, покро-

вительствовавшая писателям и философам, в том числе Сократу и Платону (V в. до н. э.).

[401] Примечания: 401

…по выражению Лафонтена… — Пруст имеет в виду начало его басни «Голубь и муравей» (кн. II, 12).

Если б мне сказали, что меня в мои годы уподобят Аспазии, я бы ни за что не поверил! Такую старую развалину, как я! Ох уж эта мне молодежь!» Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на него в эту минуту, по привычке густо напудренного, надушенного, как вертопрах. А в сущности, — если откинуть все его генеалогические притязания — лучше человека не сыщешь на всем свете. Вот почему я пришел бы в отчаяние, если бы вечерний разрыв был бы разрывом окончательным. Меня удивило, что молодой человек так распетушился. За последнее время он держался с бароном как сеид, как вассал, — ничто не предвещало бунта. Надеюсь, что в любом случае (Dei amen avertant[402]) барон не вернется на набережную Конти и раскол на меня не распространится. Мы оба заинтересованы в таком обмене: я с ним делюсь моими скромными познаниями, а он — своим опытом. (Из дальнейшего будет ясно, что хотя Бришо не вызывал у де Шарлю лютой злобы, но его симпатия к профессору настолько ослабела, что судил он теперь о нем без всякого снисхождения.) И, клянусь вам, обмен у нас о ним настолько неравный, что когда барон открывает мне то, чему его научила жизнь,

[402] Примечания: 402
Да отвратят боги (лат.).

я убеждаюсь в неправоте Сильвестра Бонара[403], что только еще в книгохранилище можно разгадать сон, именуемый жизнью».

Мы подъехали к моему дому. Я вышел из автомобиля и дал шоферу адрес Бришо. С тротуара мне было видно окно Альбертины, прежде по вечерам всегда темное, когда она не жила в этом доме, который электрический свет изнутри, разделенный на сегменты толщей ставен, сверху донизу избороздил параллельными золотыми полосами. Эти колдовские письмена, понятные для меня и рисовавшие моему воображению списанные с натуры, находившиеся совсем близко картины, обладателем которых я стану сейчас, были не видны Бришо, оставшемуся в автомобиле, полуслепому, да к тому же и непонятны, потому что, как и мои друзья, приходившие ко мне до обеда, когда Альбертина еще не возвращалась с прогулки, профессор не знал, что девушка, всецело принадлежавшая мне, ждет меня в соседней комнате. Автомобиль отъехал. Некоторое время я простоял один на тротуаре. И этим светящимся полосам, которые были мне видны снизу и которые кому-нибудь другому показались бы

[403] Примечания: 403

Стр. 318. Сильвестр Бонар — герой романа Анатоля Франса «Преступление Сильвестра Бонара» (1881), далекий от жизни ученый-книголюб.

чем-то призрачным, я придавал необыкновенную плотность, объемность, прочность, потому что для меня они имели особое значение, я видел за ними незримое для других сокровище, мною там схороненное и испускавшее горизонтальные лучи, но только сокровище, на которое я променял свою свободу, одиночество, мысль. Если бы Альбертины наверху не было и если бы мне хотелось только получить удовольствие, я мог бы обратиться с просьбой к неизвестным женщинам, в чью жизнь я попытался бы проникнуть, быть может — в Венеции, на худой конец, я получил бы его в каком-нибудь уголке ночного Парижа. Но теперь, когда для меня настал час ласк, мне нельзя было отправляться в путешествие, мне никуда нельзя было уйти, мне надо было вернуться домой. Вернуться не для того, чтобы остаться одному, остаться, покинув других, которые извне поставляли бы мне пищу для ума, хотя бы для того, чтобы постараться найти пищу в самом себе, — нет, как раз наоборот: оказавшись в меньшем одиночестве, чем когда я был у Вердюренов, чем когда я ожидал встречи с девушкой, от которой я отказался, но с которой теперь примирился вполне, так что у меня не было ни секунды времени подумать о себе и даже,

раз она будет сейчас со мной, подумать и о ней. В последний раз подняв глаза к окну комнаты, куда я сейчас войду, я словно бы увидел, как светящаяся решетка закрывается передо мной и что это я, вечный раб, своими руками выковал негнущиеся золотые прутья.

Наша помолвка затянулась, как бракоразводный процесс, и у Альбертины появилась робость преступницы. Если речь шла о нестарых мужчинах и женщинах, она переводила разговор на другую тему. Так было, когда она еще не подозревала, что я ее ревную, что мне нужно ее кое о чем расспросить. Надо пользоваться этим временем. Это было то время, когда наши подружки рассказывают нам о своих развлечениях и даже о том, как им удается скрыть их от других. Теперь Альбертина уже не признавалась мне, как в Бальбеке (отчасти потому, что это была правда, отчасти — чтобы больше не проявлять ко мне нежности, — я и так ее уже утомлял, — а еще потому, что по моей ласковости с ней она могла судить, что быть со мной нежнее, чем с другими, чтобы получить от меня больше, чем от них, незачем), теперь я не услышал бы от нее былых признаний: «По-моему, нежничать глупо; если человек мне нравится, я, напротив, делаю

вид, что не обращаю на него внимания. Так никто ничего не узнает». Неужели это та самая, нынешняя Альбертина, с ее притворной открытостью и притворным равнодушием ко всем, говорила мне такие вещи? Теперь она уже не устанавливала таких правил. Она ограничивалась тем, что говорила мне: «Не знаю, я не обратила внимания, она ничего собой не представляет». И лишь время от времени, с целью опередить меня, она все же делала признания с такой интонацией, с какой их делают тому, кто еще не знает всей правды, чтобы извратить факты, чтобы вывернуться, но уже самая интонация их выдает.

Альбертина никогда не говорила мне, что раз я влезаю во все ее дела, значит, я ее ревную. Относившийся, сказать по правде, к более или менее далеким временам, единственный наш разговор о ревности как будто бы доказывал обратное. Помню, прекрасным лунным вечером, в начале нашего романа, когда я только начал провожать ее и когда я так любил ее, что не мог себе в этом отказать и бросить ее ради других, я сказал ей: «Знаете, я предложил довести вас до дому не из ревности; если у вас есть какое-нибудь дело, я скромно удалюсь». А она мне ответила: «О, я хорошо знаю, что вы не ревнивы и что вам все равно,

но мне хочется быть только с вами!» В другой раз, в Ла-Распельер, де Шарлю, искоса поглядев на Мореля, стал подчеркнуто любезен с Альбертиной; я ему сказал: «Как видно, он вас держит в ежовых рукавицах». И когда я полушутя добавил: «Я прошел через все муки ревности», Альбертина, говоря то ли языком, какой был ей свойствен, то ли языком грубой среды, из которой она вышла, то ли языком еще более грубой среды, где она вращалась, воскликнула: «Экий притворяла! Да ведь я-то знаю, что вы не ревнивы. Во-первых, вы мне сами сказали, а потом, послушайте, это же и так видно!» С тех пор она ни разу не сказала, что изменила мнение; и все же в ней должно было появиться много новых идей, которые она от меня таила, но которые, помимо ее воли, случайно могли обнаружиться: так, например, в тот вечер, когда я, вернувшись, пройдя к ней в комнату и приведя ее к себе, сказал ей (с некоторым чувством неловкости, хотя сам не мог понять, откуда оно у меня, — ведь я же объявил Альбертине, что выезжаю в свет, но только, мол, не знаю, куда именно: может, к маркизе де Вильпаризи, может, к маркизе де Говожо; правда, я умышленно не назвал Вердюренов): «Угадайте, откуда я? От Вердюренов», то, стоило мне произнести эти слова,

как Альбертина с перекошенным лицом ответила мне так, что, казалось, ее слова вот сейчас самопроизвольно взорвутся: «Я и не сомневалась». — «Я не знал, что вы будете скучать, если я поеду к Вердюренам». (По правде сказать, она не говорила мне, что будет скучать, но это было видно. По правде сказать, и я не говорил, что ей будет скучно. И все-таки перед ее вспышкой, как перед событиями, когда нечто вроде двойной ретроспекции доказывает нам, что мы это уже видели, я подумал, что ничего иного и не ожидал.) «Скучно? Почему вы вообразили, что мне не наплевать? Мне это совершенно безразлично. „Мадмуазель Вентейль там не было?“ Я вышел из себя. „Вы мне ничего не сказали, что на днях с ней встречались“, — чтобы показать, что я лучше осведомлен, чем она думает, заметил я. Она решила, что я упрекаю ее за умолчание о встрече с г-жой Вердюрен, а не с мадмуазель Вентейль, которую имел в виду я. „А разве я с ней встречалась?“ — спросила она, как бы допытываясь у самой себя, как бы роясь в воспоминаниях и одновременно спрашивая меня, как будто я мог ей напомнить; и, конечно, главным образом с целью выспросить у меня, что мне известно, а быть может, чтобы выиграть время, прежде чем

ответить на трудный вопрос. Но меня гораздо меньше волновала мадмуазель Вентейль, чем страх, который меня уже коснулся, но который впоследствии овладеет мной гораздо сильнее. Я даже склонялся к мысли, что г-жа Вердюрен, с ее мелким тщеславием, просто-напросто выдумала приезд мадмуазель Вентейль с ее подружкой, чтобы, вернувшись, я был спокоен. Но Альбертина, спросив меня: „Мадмуазель Вентейль там не было?“ — доказала мне, что я не обманулся в первом моем подозрении, однако за будущее я был в этом отношении спокоен, потому что, отказавшись ехать к Вердюренам, Альбертина пожертвовала ради меня мадмуазель Вентейль.

«Впрочем, — со злобой сказал я ей, — вы многое от меня скрываете, даже сущие пустяки… как, например, ваша трехдневная поездка в Бальбек… но это так, между прочим». Я добавил эти слова: «но это так, между прочим» как дополнение к «сущим пустякам», с тем чтобы, если Альбертина спросила бы меня: «А что же неприличного в моей поездке в Бальбек?» — я мог бы ей ответить: «Да я про нее и забыл. Все, о чем мне рассказывают, перепутывается у меня в голове, я придаю этому так мало значения!» В самом деле, я заговорил об этой ее трехдневной поездке с шофером в Баль-

бек, откуда ее открытки приходили ко мне так поздно, без всякого умысла, я жалел, что выбрал такой неубедительный пример: раз в ее распоряжении было время только для того, чтобы успеть доехать и сейчас же вернуться, значит, у нее не оставалось времени для более или менее продолжительной встречи с кем бы то ни было. Но Альбертина сделала из сказанного мной вывод, что я знаю истинную правду и только скрываю от нее, что знаю. С некоторых пор она прониклась убеждением, что, следя за ней, применяя тот или иной способ, любые средства, я, как она на прошлой неделе сказала Андре, «более осведомлен, чем она сама», о ее жизни. Вот почему она прервала меня признанием совершенно излишним: ведь я, конечно, не сомневался в правде того, о чем она мне рассказывала, а ее слова повергли меня в отчаяние — таким значительным может быть расстояние между правдой, которую извратила лгунья, и тем, во что любящий лгунью превратил правду, поверив в измышления. Когда я сказал: «…ваша трехдневная поездка в Бальбек… но это я так, между прочим…» — Альбертина, не дав мне договорить, сказала мне как о чем-то вполне естественном: «Вы намекаете на то, что никакой поездки в Бальбек не было? Ну конечно!

А я спрашивала себя: почему вы так легко этому поверили? Между тем все это очень просто. У шофера там были дела, и для того, чтобы их закончить, ему требовалось три дня. Он не осмеливался вам об этом сказать. Тогда я его пожалела (и всегда я! А потом все эти истории сыплются на мою голову) и придумала поездку в Бальбек. Он меня просто-напросто высадил в Отейле, около дома моей подружки на Успенской улице, и там я трое суток подыхала от скуки. Теперь вы видите, что это ерунда, что это яйца выеденного не стоит. Я уж начала подозревать, что, может, вам известно все, когда увидела, что вас привело в веселое настроение недельное опоздание открыток. Я понимаю, что это смешно, — лучше было бы совсем не посылать открыток. Но я не виновата. Я купила их заранее, дала их шоферу до того, как он высадил меня в Отейле, а потом эта дубина, вместо того чтобы послать их в конверте своему приятелю, который живет недалеко от Бальбека и который должен был переслать их вам, протаскал их у себя в карманах. Я была уверена, что открытки вам посланы. А простофиля вспомнил про них через пять дней и, вместо того чтобы поставить меня в известность, сейчас же отослал их в Бальбек. Когда он мне в этом сознал-

ся, я чуть было не плюнула ему в морду, честное слово! Дуралей! В благодарность за то, что я три дня просидела взаперти, чтобы дать ему время уладить домашние делишки, он заставил вас зря волноваться! Я боялась высунуть нос в Отейле, чтобы меня не увидели. Я вышла из дому всего один раз, да и то переодевшись мужчиной, — история, по правде сказать, смешная. Волею судьбы, которая меня всюду преследует, первым живым существом, на которого я налетела, оказался ваш друг, жидочек Блок. Но я не думаю, что вы узнали от него, что поездка в Бальбек состоялась только в моем воображении, — по-видимому, он меня не узнал».

Не желая казаться удивленным, подавленный таким количеством лжи, я не знал, что на это ответить. Я был в ужасе, но у меня не возникало желания выгнать Альбертину — напротив, мне только очень хотелось плакать. Это желание вызывала не ложь сама по себе и не крушение всего, во что я твердо верил, так что мне мерещилось, будто я в снесенном городе, где нет ни одного дома, где на голой земле одни лишь кучи мусора, — нет, мне хотелось плакать оттого, что в течение трех дней, которые Альбертина проскучала у подружки в Отейле, у нее ни разу

не возникло желания, может быть даже мысли, приехать ко мне украдкой на денек или хотя бы вызвать меня открыткой в Отейль. Но у меня не было времени предаваться размышлениям. Главное, мне не хотелось казаться удивленным. Я улыбался с видом человека, знающего больше, что он говорит. «Поразительный случай! Послушайте: как раз сегодня вечером у Вердюренов толковали о том же самом, что вы мне рассказывали о мадмуазель Вентейль...» Альбертина пристально, тревожным взглядом смотрела на меня, силясь прочитать у меня в глазах, что я знаю. А знал я и собирался ей сказать, что это была мадмуазель Вентейль. Но только я узнал об этом не у Вердюренов, а раньше, в Монжувене. Так как я нарочно в свое время ничего об этом не сказал Альбертине, то мог сделать вид, что узнал только сегодня. И мне было почти отрадно — после всего пережитого мною в трамвайчике,[404] — что у меня сохранилось воспоминание о Монжувене, которое я передатировал, но которое от этого не перестало быть бесспорной уликой, убийственным доводом против показаний Аль-

[404] Примечания: 404

Стр. 323. ...после всего пережитого в трамвайчике... — Имеется в виду разговор героя с Альбертиной в пригородном поезде, описанный в романе «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 520-522).

бертины. По крайней мере, сейчас мне не надо было «притворяться, что я знаю», и «вырывать признание» у Альбертины: я знал, я *видел* освещенное окно в Монжувене. Как у Альбертины хватило совести без конца убеждать меня, что в отношениях между мадмуазель Вентейль и ее подругой нет решительно ничего грязного, когда я мог бы ей поклясться (ни на йоту не прилгнув), что мне известно поведение этих женщин, как у нее хватило совести на этом стоять, раз она, постоянно встречаясь с ними запросто, называя их «мои старшие сестры», не получала от них предложений, из-за которых могла бы с ними порвать, если бы, наоборот, она их отвергла? Но у меня не было времени говорить правду. Альбертина, уверенная в том, что, как в случае с выдуманной поездкой в Бальбек, я знаю все то ли от мадмуазель Вентейль, если она была у Вердюронов, то ли прямо от г-жи Вердюрен, которая могла говорить о ней с мадмуазель Вентейль, — Альбертина не дала мне вымолвить слово и, сделав признание, которое оказалось не тем, какого я от нее ожидал, но из которого явствовало, что она лгала мне всегда, причинила мне, пожалуй, не менее острую боль (главным образом потому, что, как я уже сказал, я перестал ревновать ее к мадмуазель Вен-

тейль). Итак, Альбертина забежала вперед: «Вы хотите сказать, что сегодня вечером узнали, что я вам солгала, уверяя, что меня отчасти воспитала подруга мадмуазель Вентейль? Действительно, я вам чуточку приврала. Но мне казалось, что вы смотрите на меня сверху вниз, я видела, как сильно действует на вас музыка Вентейля, и по своей глупости я решила, что вырасту в ваших глазах, когда вы узнаете, что одна из моих приятельниц — вот это правда, клянусь! — подруга подруги мадмуазель Вентейль, и придумала, что близко знаю этих девушек. Мне казалось, что я вам наскучила, что вы считаете меня дурочкой; я думала: если сказать, что они у меня бывают, то мне ничего не будет стоить сообщить вам подробности о творчестве Вентейля, и вы будете относиться ко мне с большим уважением, что это нас сблизит. Я лгу только из дружеских чувств к вам. И нужно же было состояться этому роковому вечеру у Вердюренов, чтобы вы узнали правду, но только, возможно, с прибавлениями! Держу пари, что подруга мадмуазель Вентейль сказала вам, что не знает меня. Она видела меня самое большее два раза у моей приятельницы. Разумеется, я недостаточно шикарна для людей известных. Они предпочитают говорить, что никогда в жиз-

ни меня не видели». Бедная Альбертина! Она думала, что, сказав мне, будто ее водой нельзя было разлить с подругой мадмуазель Вептейль, она оттянет момент «припертости к стенке» и приблизит меня к себе, но, как это часто случается, она пришла к правде другой дорогой, а не той, какую она избрала. То, что она лучше знает музыку, чем я предполагал, ничуть не помешало бы мне порвать с ней тогда, вечером, в трамвайчике; и все же эти слова она сказала с определенной целью, и они в одно мгновение привязали меня к ней сильнее, чем психологическая невозможность разрыва. Только она допустила просчет, но не во впечатлении, какое должна была произвести на меня ее фраза, а в причине впечатления, причина же заключалась не в том, что я получил сведения о музыкальной культуре Альбертины, а в том, что я получил сведения об ее грязных похождениях. Меня внезапно сблизило с ней, более того: сковало — не ожидание наслаждения («наслаждение» — это слишком громко сказано), не ожидание легкого увлечения, но окольцевание страданием.

В тот раз я не имел возможности хранить слишком долгое молчание — она могла предположить, что я удивлен. Тронутый ее скромностью

и боязнью испытать чувство униженности у Вердюренов, я ласково сказал ей: «Дорогая моя! Да я с удовольствием дал бы вам несколько сот франков, чтобы вы могли пойти куда угодно изображать из себя шикарную даму и чтобы вы пригласили на роскошный обед господина и госпожу Вердюрен». Увы! В Альбертине жило несколько девушек. Самая таинственная, самая простая, самая противная проявилась в ее ответе, который она произнесла с выражением отвращения и слова которого я, по правде сказать, различил не явственно (даже слова начала — она свою фразу не договорила). Я восстановил их немного позднее, когда понял ее мысль. Слушают после, поняв, что хотел сказать собеседник. «Покорно благодарю! Да я бы ни одного су не истратила на это старье. Лучше бы вы меня хоть раз отпустили, чтобы меня через…» Тут она покраснела, вид у нее был взволнованный, рот она прикрыла рукой, как бы стараясь втолкнуть слова обратно, чтобы я ничего не понял. «Что вы сказали, Альбертина?» — «Ничего, я засыпала». — «Какое там засыпали! Вы очень оживлены». — «Я думала об обеде с Вердюренами — это очень мило с вашей стороны». — «Да нет, я имею в виду то, что вы мне сказали». Она привела мне мно-

жество вариантов, но ни один не вязался ни со словами, оборванными и так и оставшимися мне непонятными, ни с остановкой, с неожиданной краской стыда, залившей ее лицо. «Полноте, моя радость, вы не то хотели сказать, а иначе зачем бы вам прерывать себя?» — «Я сочла мою просьбу нескромной». — «Какую просьбу?» — «Позвать на обед». — «Да нет, это не то, какая между нами может быть нескромность?» — «Как раз наоборот: нельзя злоупотреблять добротой любимого человека. Клянусь, что дело только в этом». С одной стороны, как бы я посмел усомниться в верности ее клятв? С другой — ее объяснения меня не удовлетворяли. Я стоял на своем: «Да имейте же, наконец, мужество закончить фразу! Вы остановились на через…» — «Да нет же, отстаньте!» — «Но почему же?» — «Потому что это ужасно неприличное выражение, мне стыдно произносить его при вас. Не понимаю, что это мне взбрело в голову; я и смысла-то его не понимаю, а слышала я его на улице от какой-то мрази, и вот сейчас ни с того ни с сего оно сорвалось у меня с языка. Это не относилось ни ко мне, ни к кому-нибудь еще — мои мысли витали далеко-далеко отсюда!» Я понял, что больше ничего мне из Альбертины не вытянуть. Она лгала, только что поклявшись,

что ее остановил чисто светский страх показаться нескромной, потом — стыд употребить при мне крайне непристойное выражение. Это была, несомненно, вторая ложь. Когда мы оставались с Альбертиной вдвоем, то не было такого неприличного выражения, не было таких грубых слов, каких мы, ласкаясь, не произносили бы. Во всяком случае, сейчас настаивать было бесполезно. Но в мою память запало «через». Альбертина часто говорила: «через палача», «через край» или: «Вечно тянет через час по столовой ложке!» Но это она говорила при мне нисколько не стесняясь, и если она подразумевала что-нибудь вроде этого, то почему же она внезапно умолкла? Почему она так густо покраснела, прикрыла себе рот, переделала всю фразу, а когда увидела, что я расслышал слово «через», то сочинила целую историю? Но коль скоро я прекратил допрос, от которого я все равно толку бы не добился, то благоразумнее было притвориться, что ты выкинул это из головы, и, вспомнив об упреках Альбертины, которыми она меня осыпала за то, что я поехал к Покровительнице, я ответил ей очень нескладно — весьма неудачным извинением: «А я как раз хотел вас пригласить на сегодняшний вечер у Вердюренов». Это вышло у меня чрез-

вычайно неуклюже: ведь она все время была со мной, и если бы я этого хотел, то почему же так-таки и не предложил? «Вы могли бы мне это предлагать тысячу лет — я бы все равно не согласилась! — взбешенная моей ложью и ободренная моей робостью, сказала Альбертина. — Эти люди всегда были моими недоброжелателями, они делали мне всякие пакости. В Бальбеке я оказывала госпоже Вердюрен всевозможные услуги, а она потом так хорошо меня отблагодарила! Если она когда-нибудь меня позовет с одра смерти, я и тогда к ней не приду. Есть вещи, которые нельзя простить. А с вашей стороны это первая бестактность по отношению ко мне. Когда Франсуаза мне сказала, что вы ушли (можете себе представить, с какой радостью она мне это сообщила!), я бы предпочла, чтобы мне раскроили череп. Я постаралась не показать виду, но я никогда в жизни не чувствовала себя такой оскорбленной».

Пока Альбертина мне это говорила, во мне продолжались в очень оживленном, творческом сне подсознательного (во сне, где окончательно запечатлеваются вещи, которые наяву только едва-едва прикоснулись к нам, где спящие руки берутся за ключ, который мы до сих пор тщетно искали, и ключ отмыкает замок) поиски того,

что содержала в себе прерванная фраза, конец которой я пытался узнать. И вдруг я наткнулся на противное слово, о котором до этого я и не думал: «ж…». Я нашел его не сразу, как это бывает после долгой прикованности к незавершенному воспоминанию, когда, стараясь потихоньку, полегоньку продлить его, приноравливаешься, приклеиваешься к нему. Нет, в противоположность моему обычному способу вспоминать, у меня, как я себе представляю, тут было два параллельных пути поисков: один исходил не только от фразы Альбертины, но и от ее ненавидящего взгляда, когда я предложил дать ей денег на устройство роскошного обеда, — взгляда, и котором читалось: «Благодарю вас! Тратить деньги на развлечения, от которых меня тошнит, в то время как я бесплатно могу доставить себе такие, которые меня повеселят!» Быть может, именно воспоминание о взгляде вынудило меня изменить способ нахождения конца фразы. До сих пор меня гипнотизировало последнее слово «через». Что через? Через палача? Нет. Через повешение? Нет. Через, через, через… И вдруг возвращение к ее взгляду и вздернутым плечам в тот момент, когда я предлагал устроить обед, заставило меня отступить и к ее словам. И тут я вспомнил, что она

сказала не просто «через», а «меня через». Какой ужас! Она это предпочитала. Двойной позор! Последняя из потаскушек, согласная на это или этого желающая, не употребляет при мужчине такое отвратительное выражение. Она почувствовала бы, что это ее унижает. Только в разговоре с женщиной, если она ее любит, она произносит это слово, чтобы извиниться за то, что она только что отдалась мужчине. Альбертина не лгала, уверяя меня, что ее клонило ко сну. По рассеянности уйдя в себя, забыв о моем присутствии, вскинув плечами, она начала говорить так, как говорила с женщинами, быть может, с одной из девушек в цвету. Внезапно опомнившись, багровая от стыда, силясь удержать слова, срывавшиеся у нее с языка, в полном отчаянии, она наконец умолкла. Раз я не хотел, чтобы она заметила мое отчаяние, то мне нельзя было терять ни секунды. Но вслед за порывом ярости к глазам моим прихлынули слезы. Как в Бальбеке, ночью, после того как я узнал о ее дружбе с Вентейль, мне сейчас надо было немедленно придумать правдоподобную причину моего горя, способную вместе с тем произвести сильное впечатление на Альбертину, и тогда я смог бы воспользоваться передышкой на несколько дней для принятия решения. Ко-

гда Альбертина мне говорила, что никогда не чувствовала себя такой оскорбленной, чем в тот момент, когда ей сообщили о моем отъезде, что ей лучше было бы умереть, чем услышать это известие от Франсуазы, и когда я, подавленный ее смехотворной подозрительностью, собирался успокоить ее, что все это пустяки, что для нее нет ничего обидного в том, что я уехал, в то же самое время, параллельно, мои подсознательные поиски того, что она хотела сказать после слова «через», закончились, и отчаяние, в которое меня повергло мое открытие, все-таки вырывалось наружу, но вместо того, чтобы защищаться, я взял вину на себя. «Милая Альбертина! — заговорил я с ней ласково, сквозь слезы. — Я мог бы сказать вам, что вы не правы, что мой поступок никакого значения не имеет, но я бы солгал; правда на вашей стороне, вы проникли в истинное положение вещей, мой милый птенчик: полгода назад, три месяца назад, когда я был так к вам привязан, я ни за что бы так не поступил. Это пустяк, и вместе с тем это очень много значит, если поставить это в связь с полным переворотом в моей душе, а это — показатель такого переворота. И раз вы догадались о происшедшем перевороте, который я надеялся от вас скрыть, то я могу вам сказать

следующее: „Милая Альбертина! — произнес я с глубокой нежностью и грустью. — Образ жизни, который вы ведете здесь, вам скучен, нам лучше расстаться, а так как лучшая разлука — самая скорая, то я вас прошу — чтобы прервать мою острую боль — попрощаться со мной нынче же вечером и уехать завтра утром, когда я буду еще спать, так, чтобы больше мы с вами никогда не увиделись“. Казалось, сначала она была ошеломлена, потом отнеслась к моим словам с недоверием и, наконец, пришла в отчаяние: „То есть как завтра? Это ваше окончательное решение?“ И тут — хотя мне было мучительно тяжело говорить о нашей разлуке как о чем-то уже совершившемся, быть может, отчасти именно из-за того, что я так страдал, — я принялся давать Альбертине, в самых точных выражениях, советы насчет дел, которыми ей надлежало заняться после отъезда из моего дома. Идя от наставления к наставлению, я в конце концов скоро дошел до мельчайших подробностей. „Будьте добры, — говорил я с невыразимой скорбью в голосе, — пришлите мне книгу Бергота — она у вашей тетушки. Это не срочно: дня через три, через неделю, когда угодно, только не забудьте, — напоминать мне было бы слишком тяжело. Мы с вами были счастливы, теперь мы чувству-

ем, что в дальнейшем были бы несчастливы…“ — „Не говорите: „Мы чувствуем, что в дальнейшем были бы несчастливы“, — перебила меня Альбертина, — не говорите: „мы“, это только вы так считаете!“ — „Вы ли, я ли, как хотите, — не все ли равно?.. Но сейчас безумно поздно, идите ложитесь… мы же решили расстаться нынче вечером“. — „Простите, это вы так решили, а я вам подчиняюсь, чтобы не делать вам больно“. — „Да, так решил я, но от этого мне не становится легче. Я не говорю, что буду долго страдать; вы знаете, что я не способен долго вспоминать, но первые дни я буду так тосковать без вас! Вот почему я считаю, что не нужно бередить рану перепиской, надо все покончить разом“. — „Да, вы правы, — сказала она с сокрушенным видом, который усиливали морщинки, проведенные по ее лицу усталостью и поздним часом, — я предпочитаю, чтобы мне не отрубали по одному пальцу, а сразу отрубили голову“. — „Ах, боже мой, я в ужасе оттого, что из-за меня вам так поздно приходится ложиться спать! А ну, ради последнего вечера! Можете потом проспать весь остаток жизни“. Сказав, что пора нам прощаться, я старался отдалить момент, когда она со мной согласится. „Хотите — чтобы вам было с кем первое время развлечься — я

скажу Блоку: пусть он пришлет свою родственницу Эстер туда, где вы будете жить? Для меня он это сделает“. — „Не понимаю, для чего вы это говорите (я об этом заговорил, чтобы попытаться вырвать у Альбертины признание), мне нужен только один человек: вы“, — сказала Альбертина, вызвав во мне прилив нежности. Но вслед за тем она сделала мне так больно! „Я прекрасно помню, что дала этой самой Эстер свою карточку, — она очень просила, и потом, я видела, что это действительно доставит ей удовольствие, но чтобы я с ней дружила или хотела с ней повидаться — да ни за что на свете!“ Но Альбертина была до того легкомысленна, что не могла не добавить: „Если она захочет со мной повидаться, то я ничего не имею против, она очень мила, но она не интересует меня ни с какой стороны“. Когда я сказал Альбертине, что Блок прислал мне карточку Альбертины (а тогда я еще не успел ее получить), моя подружка решила, что Блок показал мне ее карточку, которую она подарила Эстер. Даже строя самые худшие предположения, я не мог себе представить, чтобы между Альбертиной и Эстер существовали интимные отношения. Когда я заговорил о фотографии, Альбертина не нашлась, что ответить. А сейчас, ошибочно решив, что мне

известно все, она пришла к выводу, что самое благоразумное — сознаться. Я был удручен. „И еще, Альбертина, я прошу вас как о великой милости: никогда больше не ищите со мной встреч. Если через год — через два мы с вами случайно окажемся в одном городе — избегайте меня“. Она не ответила утвердительно на мою просьбу. „Альбертина, милая, не предпринимайте никаких шагов, не пытайтесь увидеться со мной в этой жизни. Это было бы мне слишком тяжело. Ведь для вас же не тайна, как вы мне дороги. Я знаю: когда я вам на днях говорил о своем желании увидеться с подружкой, о которой мы с вами толковали в Бальбеке, вы подумали, что свидание состоялось. Да нет же! Уверяю вас: она мне глубоко безразлична. Вы убеждены, что я давно задумал с вами расстаться, что моя любовь была комедией“. — „Да вы с ума сошли! Ничего я не подумала“, — сказала она с грустью. „Вы правы: и не надо было ничего думать; я действительно любил вас — может быть, не как мужчина, но я к вам был до того привязан, что вы даже не в силах поверить в такую привязанность“. — „Да нет же, верю! А вы вообразили, что я вас не люблю!“ — „Мне очень тяжело с вами расставаться“. — „А мне в тысячу раз тяжелей“, — подхватила

Альбертина. Я чувствовал, что больше не могу сдерживать слезы. Но то были слезы, вызванные не такими страданиями, какие я испытывал, когда внушал Жильберте: „Нам лучше не видеться — сама жизнь против нас“.[405] Когда я писал об этом Жильберте, я говорил себе, что если я полюблю другую, то сила моего чувства, быть может, уже не вызовет столь же сильного ответного чувства, как будто у двух человек непременно должен быть запас чувства, и если один перетратил его с одной, то другой он не достанется, и я, как с Жильбертой, буду обречен с ней на разлуку. Но положение резко изменилось по многим причинам, из которых первая, в свою очередь породившая другие, состояла в том, что моя бесхарактерность, которая внушала опасения в Комбре бабушке и маме и с которой ни та, ни другая не могли справиться, — столько энергии появляется у больного, чтобы заставить бережно относиться к его слабости, — эта моя бесхарактерность развивалась во мне все быстрей и быстрей. Почувствовав, что становлюсь в тягость Жильберте, я еще нашел в себе достаточно сил,

[405] Примечания: 405

Стр. 330. ...какие я испытывал, когда внушал Жильберте... — Эти переживания героя описаны в романе «Под сенью девушек в цвету» (см. указ. изд., с. 190-196).

чтобы отказаться от нее, а когда я стал замечать, что то же самое происходит с Альбертиной, то у меня на уме было одно: как бы удержать ее силой. Когда я писал Жильберте, что мы больше не увидимся, я в самом деле намеревался порвать с ней, с Альбертиной же я искал примирения, и все, что я ей говорил, была сплошная ложь. Словом, мы оба старались казаться совсем не такими, какими были в действительности. Так всегда бывает с людьми, стоящими лицом к лицу, ибо каждый из них не знает всего, что творится в другом, а если и знает, то не может всего осмыслить, и оба выявляют самое для них не характерное — то ли из-за того, что не умеют в себе разобраться и считают это неважным, то ли из-за того, что незначительные преимущества, которые от них не зависят, представляются им существенными, рисующими их в наиболее выгодном свете, а с другой стороны, они делают вид, что не дорожат тем, что им дорого — дорого потому, что они боятся, как бы их не стали презирать за отсутствие у них этих качеств, а это такие качества, к которым они якобы относятся с особым пренебрежением, более того: с отвращением. В любви это противоречие возведено на высшую ступень — быть может, исключая детский возраст, — ибо

тут человек заботится больше о личине, которую он надевает, чем об уяснении намерений другого лица, может быть потому, что считает эти намерения прямо ведущими к исполнению наших желаний, мои же намерения, с тех пор как я вернулся домой, заключались в том, чтобы добиться от Альбертины прежнего послушания, чтобы она в пылу раздражения не требовала от меня большей свободы, чтобы отпускать ее из дому на один день, но только не теперь, когда она обнаруживала поползновения к независимости, а это вызывало у меня бешеную ревность. В известном возрасте люди, побуждаемые самолюбием и дальновидностью, желают именно того, к чему как будто бы их не тянет. А в любви обыкновенная проницательность, которая, по всей вероятности, не имеет ничего общего с истинной мудростью, особенно упорно толкает нас во власть духа двойственности. Самым сладостным, что было для меня, мальчика, в любви и что мне представлялось ее сущностью, — это выразить, не стесняясь, любимой девушке свои чувства, мою благодарность за ее доброту, мое желание всегда жить с ней вместе. Но я отдавал себе ясный отчет — благодаря моему собственному опыту и опыту моих друзей, — что изъявление

подобных чувств отнюдь не заразительно. Старая жеманница барон де Шарлю, рисовавшая в своем воображении красивого молодого человека, верила в то, что она сама стала красивым молодым человеком, и все чаще и чаще обнаруживала свою женонодобность в смешных проявлениях мужественности, но этот случай подходит под закон, применяющийся далеко не только к баронам де Шарлю, под такой широкий закон, который даже любовь не исчерпывает целиком; мы не видим нашего тела, а другие его видят, мы «следуем» за предметом наших мыслей, за предметом, находящимся перед нами, незримым для других (иной раз становящимся видимым благодаря художнику, поклонники которого нередко бывают, однако, разочарованы, когда у них появляется возможность ознакомиться с творчествсм в целом этого художника, в лице которого внутренняя красота выражена столь несовершенно). Как только мы что-то замечаем — «стоп, машина». Днем я воздержался от изъявления Альбертине моей глубокой благодарности за то, что она не осталась в Трокадеро. А вечером, боясь, что она от меня уйдет, я притворился, что настаиваю на ее уходе, причем это притворство было подсказано не только — мы сейчас это

увидим — уроками, которые, как мне казалось, я извлек из моих прежних увлечений и которыми я попытался воспользоваться и в данном случае.

Мысль, что Альбертина может мне заявить: «Я хочу несколько часов быть одной, я хочу быть в отсутствии двадцать четыре часа», наконец, может обратиться ко мне еще с какой-нибудь просьбой о свободе, которую мне трудно было бы предугадать, но которая меня пугала, — эта мысль промелькнула у меня в голове на вечере у Вердюренов. Но она тут же исчезла: ей противоречило все, что Альбертина постоянно твердила мне о том, как хорошо живется ей у меня. Если у Альбертины и было намерение меня покинуть, то проявлялось оно не прямо: оно угадывалось в печальных взглядах, в признаках нетерпения, в словах, которые его никак не выражали, но, если вдуматься (да и думать-то было нечего — язык страсти понимаешь мгновенно, даже простонародье понимает слова, порожденные тщеславием, злопамятностью, ревностью, туманные, однако пробуждающие у собеседника некую интуитивную способность, которая подобна «здравому смыслу», «самому распространенному, — по

словам Декарта[406], — свойству на свете»), объяснялись только жившим в ней чувством, которое она скрывала и которое могло довести ее до составления планов жизни без меня. В выражении этого намерения не было никакой логики; равным образом, предчувствие этого намерения, появившееся у меня в тот вечер, оставалось столь же неясным. Я продолжал жить, строя гипотезу, согласно которой я должен был все, что мне говорила Альбертина, принимать на веру. Но возможно, что все это время меня не оставляла другая гипотеза, на которой мне не хотелось задерживаться; это тем более вероятно, что, если бы не вторая гипотеза, я бы не постеснялся объявить Альбертине о моем отъезде к Вердюренам, а некоторое удивление, которое вызвал во мне ее гнев, было бы непонятно. По всей вероятности, во мне жило представление совсем о другой Альбертине — не о той, которую я создал в своем воображении, не о той, чей образ искажали ее слова, но и не абсолютно выдуманной, потому что она представляла собой зеркало некоторых прежних ее душевных движений, как, например,

[406] Примечания: 406

Стр. 332. ...по словам Декарта... — Об этом французский философ-рационалист Рене Декарт (1596-1650) пишет в первой части своего «Рассуждения о методе» (1637).

ее неудовольствие из-за того, что я поехал к Вердюренам. Частые тревоги, охватывавшие меня уже давно, боязнь сказать Альбертине, что я ее люблю, — все это соответствовало моей второй гипотезе, объяснявшей также многое другое и отличавшейся еще тем свойством, что если я принимал первую, то вторая становилась от этого еще правдоподобнее, так как, объясняясь Альбертине в любви, я этим только ее раздражал (впрочем, она приводила другую причину своего раздражения).

Должен сознаться, что мне показались особенно важными и поразили меня, как симптом обвинения, которое будет ей мною предъявлено, ее слова: «Наверно, у них на вечере будет мадмуазель Вентейль», на что я ответил с наивозможной жестокостью: «Вы мне не говорили, что встретили госпожу Вердюрен». Если Альбертина была со мной суха, то, вместо того чтобы признаться, что мне грустно, я становился злым.

Проанализировав все это, приняв во внимание неизменную систему возражений, в корне противоречивших тому, что я навоображал, я мог быть уверен, что если вечером я ей скажу, что расстаюсь с ней, то это будет означать — еще не успев дойти до моего сознания — вот что: я боюсь,

что она захочет свободы (правда, я не сумел бы точно определить, что это за свобода, от которой меня бросало в дрожь; во всяком случае, это была такая свобода, которая предоставляла ей возможность обманывать меня, или, по крайней мере, такая, при которой я не мог быть спокоен, что Альбертина меня не обманет), а мне захочется из самолюбия, из хитрости показать ей, что я этого нисколько не боюсь, как уже случилось в Бальбеке, когда я загорелся желанием, чтобы она была более высокого мнения обо мне, и впоследствии, когда я стремился к тому, чтобы у нее не оставалось времени скучать наедине со мной.

На возражениях против второй гипотезы, несформулированной, заключавшейся в том, что Альбертина всегда говорит не то, что думает, — якобы нигде ей не было бы так хорошо, как у меня: отдых, чтение, уединение, ненависть к сафической любви, на этих возражениях останавливаться не стоит. Альбертина, принимавшая мои слова за чистую монету, получала ложное представление о моих переживаниях: ведь я же никогда не выражал желания расстаться с ней, я не мог без нее жить, а вместе с тем в Бальбеке дважды признавался ей в любви к другой девушке: первый раз — к Андре, второй — к некоей

таинственной особе, оба раза — из ревности к Альбертине. Мои слова никак не отражали моих чувств. Если у читателя не остается сильного впечатления, это значит, что я, повествователь, рассказываю о моих чувствах моими словами. Если же я скрываю чувства и если читателю хорошо известны только мои поступки, как бы они ни расходились со словами, у него часто создается впечатление от этой фантастической крутоверти, что у меня голова не в порядке. А между тем другой способ был бы ненамного правильнее того, которого я решил придерживаться, так как наглядные представления, заставлявшие меня так или иначе действовать, совершенно не похожие на те, что сталкивались в моих словах, были еще очень неясны; я плохо знал свой душевный склад, определявший мои поступки. Сегодня я хорошо знал субъективную истину. Что же касается истины объективной, то точнее ли, чем разум, интуиция, которой обладает душевный склад, улавливает истинные намерения Альбертины, есть ли у меня основания доверяться душевному складу или же, наоборот, он запутывает намерения Альбертины вместо того, чтобы расцепить их, то об этом мне судить трудно.

Безотчетный страх, что Альбертина от меня

уйдет, охвативший меня у Вердюренов, сначала рассеялся. Домой я вернулся с таким чувством, что я сам пленник, а вовсе не с таким, что сейчас я свижусь с моей пленницей. Но рассеявшийся было страх с еще большей силой вновь овладел мною, когда, объявив Альбертине, что я был у Вердюренов, я увидел, как на ее лицо наслаивается загадочное раздражение, которое, впрочем, проступило у нее не в первый раз. Я хорошо знал, что это лишь кристаллизация в плоти обоснованных претензий, мыслей, понятных тому, кто их развивает и кто об них умалчивает, синтез видимый, но пока еще иррациональный и что тот, кто подбирает драгоценный осадок на лице любимой, пытается, в свою очередь, чтобы постичь, что в ней происходит, аналитическим путем разложить его на разумные элементы. Уравнение этой неизвестной, каковою являлась для меня мысль Альбертины, было мне приблизительно дано: «Я знаю его подозрения, я уверена, что он попытается проверить их, и, чтобы я ему не мешала, он проделал всю свою кропотливую работу тайком». Но если Альбертина жила с такими мыслями, которыми она никогда со мной не делилась, то не приводило ли ее в ужас, что силы у нее иссякают, не могла ли она не сегодня

завтра решиться прекратить такую жизнь? Если она грешила по доброй воле, если она чувствовала, что ее разгадали, если она попалась, если ей всегда будут мешать отдаваться ее пристрастиям и моя ревность не сдастся или если она не согрешила ни словом, ни делом, то разве нет у нее оснований быть измученной, раз она, начиная с Бальбека, когда она была так стойка, что не осталась с Андре, и вплоть до сегодняшнего дня, когда она отказалась ехать к Вердюренам и не осталась в Трокадеро, так и не заслужила моего доверия? Тем более, что мне буквально не в чем было ее упрекнуть. Если в Бальбеке разговор заходил о девицах дурного пошиба и она часто слышала смешки, видела выставление грудей — в подражание этим девицам, а подражание это меня мучило, так как я предполагал, что изображают ее подружек, то, узнав, какого я о них мнения, — стоило кому-нибудь напомнить об их ужимках, — она переставала участвовать в общем разговоре не только при посредстве слов, но и при посредстве выражения лица. То ли чтобы не разжигать против таких девиц злобу, по другой ли какой-нибудь причине, по только единственно, что тогда удивляло в обычно столь подвижных чертах ее лица, это что — с той мину-

ты, когда кто-нибудь затрагивал эту тему, — она с нарочитой рассеянностью сохраняла точно такое же выражение, какое было у нее за минуту до этого. И эта неподвижность выражения, даже не мрачного, давила, как молчание. По ее виду нельзя было сказать, что она осуждает или одобряет подобного рода явления, что она знает их или не знает. Каждая из ее черт была связана только с какой-нибудь другой. Нос, рот, глаза образовывали безукоризненную гармонию, отделившуюся от всего остального; это был пастельный портрет, не слышавший, о чем говорят вокруг, как не слышит портрет Латура[407], о чем говорит публика.

Рабство, еще тяготевшее надо мной, когда я, давая шоферу адрес Бришо, видел в окне свет, перестало давить на меня потом, когда я увидел, что Альбертина так тяжело переносит свое рабство. И, чтобы оно не было для нее таким невыносимым, чтобы у нее не создалось представления, будто это она разрывает его цепи, я решил, что тактичнее всего — внушить ей, что рабство это не вечное и что я сам мечтаю положить ему конец. Если эта хитрость удастся, то я буду счастлив: во-первых, то, чего я так боялся, — желание

[407] Примечания: 407

Стр. 335. Латур Морис (1704-1788) — французский художник, мастер портрета.

Альбертины уйти — отпадет, во-вторых, даже если не принимать во внимании ожидаемого результата, сам по себе успех моего притворства, доказывающий, что я для Альбертины — не совсем отвергнутый возлюбленный, осмеянный ревнивец, все хитрости которого известны наперед, придал бы нашей любви что-то от молодой доверчивости, воскресил бы для нее времена Бальбека, когда она еще так слепо верила, что я люблю другую. Теперь она бы этому, конечно, уже не поверила, но разыгранное мною желание в тот же вечер расстаться навсегда показалось ей вполне правдоподобным.

Ей не верилось, что толчок был дан у Вердюренов. Я сказал, что встретился у них с драматургом Блоком, близким другом Леа, которая сообщила ему странные вещи (я хотел дать ей понять, что о родственницах Блока мне известно больше, чем то, что я про них говорю). Но, стремясь утишить волнение, которое в ней вызвала моя игра в разрыв, я спросил: «Альбертина! Вы могли бы поклясться, что никогда мне не лгали?» Посмотрев напряженным взглядом в пространство, она ответила: «Да, то есть нет. Я сказала вам, что Андре очень увлечена Блоком, но это не соответствовало истине». — «А тогда зачем же вы это

говорили?» — «Я боялась, как бы вы не подумали о ней чего-нибудь другого; вот и все». Она опять посмотрела прямо перед собой, а потом сказала: «Мне не надо было скрывать от вас, что я три недели путешествовала с Леа. Но ведь я вас тогда так мало знала!» — «Это было до Бальбека?» — «До второго». А еще утром она мне говорила, что не знакома с Леа! Я смотрел на то, как пламя в один миг уничтожило роман, на писание которого я потратил миллионы минут. Зачем? Зачем? Я отлично понимал, что Альбертина сделала мне два признания, так как полагала, что это до меня все равно дошло от Леа и что нельзя поручиться за то, что впредь не будет ста подобных случаев. Я понимал также, что в ответах Альбертины никогда не было ни одной крупицы правды, что правда просачивалась вопреки ей, что в ней вдруг закипала смесь фактов, которые она до того времени старалась утаить, с убеждением, что эти факты известны. «Два случая — это пустяки, — сказал я, — давайте дойдем до четырех, чтобы у меня хоть что-то осталось в памяти. Что еще могли бы вы мне сообщить?» Она опять посмотрела в пространство. Как у нее уживалась вера в будущую жизнь с ложью, с какими менее покладистыми, чем она думала, богами пыталась

она сговориться? Создалось неловкое положение: ее молчание и пристальность ее взгляда длились довольно долго. «Нет, больше ничего», — наконец сказала она. Несмотря на мою настойчивость, она уперлась, теперь уже с легкостью, на «больше ничего». Какая то была ложь! С той поры, когда у нее появилось это пристрастие, вплоть до дня, когда она поселилась у меня, сколько раз, во скольких домах, на скольких прогулках она, наверное, предавалась своему пристрастию! Гоморритянки довольно редки и вместе с тем довольно многочисленны, так что в любой толпе все они углядят друг дружку. Вот почему так легко происходит у них сближение.

Я с ужасом вспоминаю один вечер, который тогда показался мне всего-навсего смешным. Один мой приятель пригласил меня пообедать в ресторан вместе с его любовницей и еще с одним его приятелем, который тоже должен был привести туда свою любовницу. Женщины быстро поняли друг друга, но они были до того нетерпеливы, что уже после супа ноги одной начали искать под столом ноги другой и часто натыкались на мои. Вскоре их ноги переплелись. Но два моих приятеля ничего не замечали; для меня это была пытка. Одна из двух женщин, которой стало невмочь,

юркнула под стол, сказав, что она что-то уронила. Потом у одной началась мигрень, и она сказала, что ей нужно выйти. Другая заявила, что она уговорилась с подругой пойти сегодня в театр и теперь ей пора. В конце концов я остался в обществе двух моих приятелей, которые решительно ничего не заподозрили. Та, у кого разболелась голова, появилась снова, но попросила разрешения вернуться к себе без провожатого и сказала, что примет антипирин и будет ждать возлюбленного. Потом эти две женщины очень подружились, вместе гуляли. Одна из них одевалась по-мужски, воспитывала девочек, приводила их к другой и посвящала в свои тайны. У другой был мальчик; она делала вид, что недовольна им, и просила подругу оказать на него влияние, а та ему спуску не давала. Можно сказать, что не было такого многолюдного места, где бы они не делали того, что обычно не принято делать на виду.

«Но Леа, пока мы с ней путешествовали, держалась со мной безукоризненно, — сказала Альбертина. — Она даже была сдержанней многих дам из общества». — «А разве есть такие дамы из общества, которые были с вами разнузданны?» — «Нет». — «Так что же вы хотите этим сказать?» — «Она не допускала слишком вольных выра-

жений». — «Например?» — «Она не употребляла, как многие дамы, принятые в свете, таких выражений, как „опостылеть“, „наплевать“. Мне показалось, что еще не сгоревшая часть романа наконец сгорела дотла. Мое угнетенное состояние могло бы еще длиться. Когда я задумывался над словами Альбертины, во мне поднималась бешеная злоба. Альбертина не устояла перед моей размягченностью. Я же, вернувшись домой и объявив о разрыве, солгал. Поминутно возвращаясь мыслью, похожей на дергающую боль, как говорят о страданиях физических, к безнравственному образу жизни, какой вела Альбертина до встречи со мной, я еще больше изумлялся послушности моей пленницы и переставал возмущаться ею.

Но только это мое притворство влекло за собой и некоторое чувство горечи, какое было бы в истинном моем намерении и какое мне приходилось изображать для большей убедительности. В течение всей нашей совместной жизни я внушал Альбертине, что это жизнь временная, и Альбертина находила в этом известную прелесть. Но в тот вечер я зашел слишком далеко: я боялся, что неясные угрозы расставания уже недостаточны, что они противоречат создавшемуся у Альбер-

тины представлению о моем сильном, ревнивом чувстве к ней, которое, как ей, быть может, казалось, погнало меня к Вердюренам на разведку. В тот вечер я рассуждал так: среди других причин, которые могли привести меня к решению внезапному, меж тем как продлевать комедию разрыва у меня не было ни малейшего желания, наиважнейшей была та, что, повинуясь импульсу, как это случалось с моим отцом, но только, в отличие от него, не имея духу привести угрозу в исполнение, я грозил существу, находившемуся в безопасности, но, чтобы оно не вообразило, будто я бросаю слова на ветер, я зашел слишком далеко, изображая истинность своих намерений, и отступил, только когда противник, поверив моей искренности, испугался не на шутку.

Мы отлично знаем, что в такой *лжи* всегда есть правда; что, если жизнь не вносит изменений в нашу любовь, это значит, что мы сами хотим их внести или, притворяясь, заговорить о расставании — так остро мы чувствуем, что всякая любовь и вообще все на свете быстро движется к прощанию. Нам заранее хочется плакать. Конечно, на сей раз та сцена, какую я разыграл, была выгодна для меня. Мне вдруг захотелось сохранить Альбертину, так как я чувствовал, что она оторвана

от других существ, общению с которыми я не мог бы ей воспрепятствовать. Откажись она навсегда от всех ради меня, я бы, пожалуй, еще тверже решил не расставаться с ней никогда, ибо разлука мучительна из-за ревности, а из-за чувства благодарности — невозможна. Как бы то ни было, я предощущал, что начинаю великую битву, в которой или окажусь победителем, или паду. Я готов был отдать Альбертине все, чем я владею, ибо я говорил себе: «От этой битвы зависит все». Но в этих битвах мало сходства с прежними, длившимися несколько часов, меж тем как у современного боя нет ни конца, ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня, ни следующей недели. Человек отдает все свои силы, так как ему кажется, что от него требуются именно последние его силы. «Перевеса» может не быть больше года.

Пожалуй, сюда применилась безотчетная реминисценция фальшивых сцен, устраивавшихся бароном де Шарлю, к которому я был близок, когда мною овладевал страх, что Альбертина меня покинет. Но затем, услышав рассказ моей матери о том, чего я прежде не знал, я пришел к убеждению, что все подробности этой сцены — во мне, в одном из темных, потайных, доставшихся мне по наследству хранилищ, где иные

чувства, сберегающие наши силы, как сберегают их лекарства, понижающие действие алкоголя или кофе, предоставляют нам свободу: когда тетя Октав[408] узнала от Евлалии, что Франсуаза, уверенная, что госпожа никуда не выходит, задумала тайком улизнуть, о чем моя тетя не должна была знать, накануне тетя будто бы решила, что завтра она выедет на прогулку. Франсуазе, сначала отнесшейся к этому недоверчиво, она велела заранее приготовить ее вещи, проверить те, что долго находились в шкафах, заказать экипаж, рассчитать весь день по минутам. И только когда Франсуаза, убежденная или, во всяком случае, поколебавшаяся, вынуждена была открыть тете свои карты, тетя при всех отказалась от своего замысла, чтобы отпустить Франсуазу. И вот так же, чтобы Альбертина не вообразила, что я ее только пугаю, и чтобы она как можно глубже прониклась мыслью, что мы в самом деле расстаемся, я, высказывая мнения и сам же делая из них выводы, предвосхищал время, когда начнется послезавтра, время, которое должно длиться вечно, время, когда мы будем жить врозь, и де-

[408] Примечания: 408

Стр. 339. Тетя Октав — персонаж книг Пруста, тетка героя Леония (жена его дяди Октава); подробно описана в романе «По направлению к Свану».

лал Альбертине наставления, как если бы мы не помирились сейчас же. Подобно полководцам, которые считают, что для того, чтобы военная хитрость удалась, нужно довести ее до конца, так и я вложил в мою хитрость такую силу чувства, чтобы хитрость сошла за правду. Сцена мнимой разлуки в конце концов так меня расстроила, словно это была подлинная разлука, — быть может, потому, что один из актеров, Альбертина, поверив мне, внесла в эту сцену свое легковерие. Жизнь у нас текла день за днем, и, как бы ни была тягостна такая жизнь, все же терпеть ее было можно, если удерживать будничное ее равновесие при помощи балласта привычки и уверенности, что и завтра, как бы ни было оно мучительно, любимое существо будет со мной. И вдруг я и безумном порыве разрушил эту тяжелую жизнь. Правда, я разрушил ее только на словах, но этого было достаточно, чтобы привести меня в отчаяние. Быть может, потому, что грустные слова, хотя бы и произносимые неискренне, все-таки содержат в себе грусть и глубоко впиваются в нас; быть может, потому, что, играя в прощанье, мы рисуем себе час, который неизбежно настанет позднее; кроме того, мы не уверены, что сумеем остановить механизм, который пробьет этот час.

Во всяком обмане, как бы ни был он невинен, есть доля неуверенности насчет того, как будет вести себя тот, кого обманывают. Если бы эта комедия разлуки кончилась разлукой! Без сжимания сердца мы не можем думать о ее возможности, даже нереальной. Мы встревожены вдвойне, ибо разлука происходит в момент, когда она невыносима; когда мы страдаем из-за женщины, которая нас покидает, прежде чем вылечить, во всяком случае — успокоить нас. Наконец, у нас уже нет такой опоры, как привычка, которая дает нам возможность передохнуть, даже когда мы мечемся в тоске. Мы добровольно отказываемся от нее, мы придали нынешнему дню исключительно важное значение, мы выдвинули его из ряда смежных дней; он вырван с корнем, как день отъезда; наше воображение, парализованное привычкой, пробудилось; мы присоединяем к нашей повседневной любви сентиментальные мечтания, от которых она достигает чудовищных размеров, мы не представляем себе, как мы теперь будем жить без той, с которой у нас уже не связано никаких надежд. Конечно, мы затеваем игру в то, что мы можем без нее обойтись, только проникшись уверенностью, что в дальнейшем она будет с нами. Но эту игру мы затеяли сами,

мы снова начали страдать, потому что сами совершили нечто новое, непривычное, похожее на снадобье, которое должно излечить больного позднее, но которое поначалу обостряет его болезненное состояние.

На глазах у меня выступили слезы, как у человека, который, находясь один у себя в комнате, создавая по прихоти своей фантазии образ смерти любимого существа, так ясно, до мельчайшей подробности, представляет себе свою скорбь, что в конце концов действительно начинает испытывать душевную боль. Так, умножая наставления Альбертине по поводу того, как она должна будет вести себя по отношению ко мне, когда мы расстанемся, у меня создалось впечатление, будто мне так грустно, как если бы нам с минуты на минуту не предстояло примирение. И потом, был ли я уверен в своих силах, был ли я уверен, что уговорю Альбертину снова жить вместе, а если мне даже это и удалось бы в этот вечер, не вернулось ли бы к ней прежнее душевное состояние, которое у нее прошло после сегодняшней сцены? Я чувствовал себя — хотя и не верил этому — хозяином будущего: я понимал, что это ощущение появилось у меня только потому, что будущего еще не существовало и я не

был удручен его неизбежностью. Наконец, говоря неправду, я, быть может, вкладывал в мои слова больше истины, чем мне это казалось. Например, я сказал Альбертине, что скоро ее забуду; так у меня действительно произошло с Жильбертой, с которой я старался теперь не встречаться, чтобы избежать не страдания, а скуки. Конечно, я страдал, когда писал Жильберте, что мы больше не увидимся. Однако изредка я у нее бывал. Все время Альбертины принадлежало мне. В любви легче побороть чувство, чем утратить привычку. У меня хватало силы произносить горькие слова; я знал, что это ложь, но в устах Альбертины они были искренни: «Да, я вам обещаю — я вас больше не увижу. Только не видеть, как вы плачете, мой родной! Я не хочу вас огорчать. Если так надо, мы больше не увидимся!» Слова Альбертины были искренни, а мои — нет, потому что Альбертина питала ко мне только дружеские чувства и разрыв, который ее слова мне сулили, был для нее не так мучителен; с другой стороны, мои слезы, которые так мало значат при большом чувстве, казались ей чем-то необыкновенным и, перемещенные в область дружбы, за черту которой она не переходила, перемещенные в область дружбы более крепкой, о чем она сама только что сказала,

переворачивали ей душу; при расставании тот, кто не любит, расточает нежные слова, любовь прямо не выражается, и, может быть, он не так уж неточен, ибо многие радости любви в конце концов рождают в человеке, которым увлекаются, хотя сам он не увлечен, привязанность, благодарность — чувства менее эгоистичные, чем то, какое их вызвало и какое, быть может, по прошествии нескольких лет, когда они не виделись и когда от прежнего возлюбленного уже ничего не осталось, не заглохнет у нее.[409]

«Милая Альбертина! Спасибо вам за ваше обещание. Во всяком случае, в течение первых лет я не буду появляться там, где бываете вы. Вы не знаете, вы поедете летом в Бальбек? Если да, то я туда не поеду». Продолжая и том же духе,

---

[409] Примечания: 409

Стр. 341. …не заглохнет у нее — Далее в рукописи вставка на отдельном листке, приводимая нами в сноске. Новейшие издатели включают эту вставку в основной текст. [Был такой момент, когда во мне пробудилось что-то вроде ненависти к Альбертине, но эта ненависть только оживила мою потребность удержать ее. В тот вечер, ревнуя ее к одной лишь мадмуазель Вентейль, я испытывал полнейшее равнодушие к Трокадеро — не только потому, что я направил ее туда, чтобы отвлечь от Вердюренов, но и потому, что, представляя себе в Трокадеро Леа, из-за которой я отозвал Альбертину, чтобы она не свела с ней знакомства, без всякой задней мысли назвал имя Леа, после чего Альбертина из чувства недоверия, боясь, что мне, пожалуй что, наговорили, чего и не было, опередила меня и выпалила, чуть-чуть отведя глаза: «Я очень хорошо ее знаю; в прошлом году мы с подругами ходили ее смотреть; после спектакля мы прошли к ней в уборную; она одевалась при нас. Это очень забавно». Тут моя мысль была принуж-

дена оставить мадмуазель Вентейль и в порыве отчаяния, подбежав к бездне тщетных попыток что-то восстановить в памяти, прицепилась к актрисе, к тому вечеру, когда Альбертина прошла к ней в ложу. После всех ее клятв, которые она произносила так убедительно, после того, как я, пожертвовав собой, предоставил ей полную свободу, можно ли, казалось бы, прийти к выводу, что в основе всего этого лежит зло? И все же не являлись ли мои подозрения антеннами для уловления правды? Если она пожертвовала Вердюренами ради Трокадеро, где она вполне могла встретиться с мадмуазель Вентейль, то ведь в Трокадеро, которым она пожертвовала ради прогулки со мной, находилась, как причина ее отозвания, Леа, из-за которой, как мне казалось, я волновался попусту и с которой, однако, согласно ее признанию, коего я от нее не добивался, она встретилась на самой высокой лестнице, на такой, какую не выстраивали мои опасения, встретилась в обстоятельствах весьма подозрительных; так кто же мог провести ее в ложу? Я переставал страдать из-за мадмуазель Вентейль, когда страдал из-за Леа, двух повседневных моих палачей, — переставал то ли из-за того, что мое сознание не могло вообразить столько сцен сразу, то ли из-за столкновения моих нервных явлений, всего лишь отголоском которых была моя ревность. Я приходил к заключению, что моя ревность к Леа столь же сильна, как и к мадмуазель Вентейль, и в то же время я не верил в отношения между Альбертиной и Леа, так как все еще страдал из-за мадмуазель Вентейль. Но хотя мои ревнивые чувства гасли одно за другим — чтобы вспыхнуть порою вновь, — это отнюдь не означает, что они не соответствовали какой-либо предощущаемой правде, что об этих женщинах мне следовало говорить: «ни одна», тогда как я должен был говорить: «все». Я сказал: «предощущаемой», так как не мог занять все точки пространства и времени. И потом, существует ли такой инстинкт согласования, который помог бы мне там-то, в такой-то час застать Альбертину с Леа, или с девушками из Бальбека, или с приятельницей г-жи Бонтан, которую она задела, или с теннисисткой, которая толкнула ее локтем, или с мадмуазель Вентейль?]

предупреждая события в лживом моем воображении, я не столько пытался запугать Альбертину, сколько причинить боль себе самому. Подобно человеку, который сначала сердится по пустякам, а потом наслаждается раскатами своего голоса и приходит в настоящую ярость, возникшую не из неудовольствия, но из своего все растущего гнева, так и я катился все быстрее и быстрее по склону моей тоски ко все более глубокому отчаянию с безучастностью человека, чувствующего, что ему холодно, но не борющегося с холодом и даже находящего некоторое удовольствие в дрожи. И если бы наконец — на что я рассчитывал — я с собой справился теперь же, взял себя в руки, оказал противодействие, дал задний ход, то на меня подействовала бы успокаивающе не столько боль оттого, что Альбертина неласково меня встретила, сколько боль, которую я испытывал, представляя себе одни формальности воображаемого расставания, соблюдение коих предстоит изобразить, предусматривая другие, сколько прощальный поцелуй Альбертины. Во всяком случае, не она первая должна была проститься со мной, — это затруднило бы мне поворот к предложению не расставаться. Я все время твердил ей, что час нашей разлуки пробил давно, благодаря

чему я не выпускал инициативу из своих рук и с минуты на минуту отдалял прощание. Вопросы, которые я задавал Альбертине, я пересыпал намеками на поздний час, на то, что мы устали. «Я сама не знаю, куда я поеду, — с озабоченным видом сказала она в последнюю минуту. — Может быть, в Турен, к тете». Этот ее первоначальный план оледенил меня, как будто наш окончательный разрыв уже начал осуществляться. Она окинула взглядом комнату, пианино, обитые голубым шелком кресла. «Я не могу привыкнуть к мысли, что я всего этого но увижу ни завтра, ни послезавтра, никогда. Милая комнатка! Нет, это немыслимо; у меня это в голове не укладывается». — «Так надо, здесь вы несчастны». — «Да нет, я не была здесь несчастной, я буду несчастной теперь». — «Да нет, поверьте: так будет лучше для вас». — «Может быть, для вас!» Я вперил взгляд в пространство, как будто, колеблясь, гнал от себя какую-то новую мысль. Наконец я собрался с духом: «Послушайте, Альбертина: вы сказали, что здесь вы были счастливы и что вы будете несчастной». — «Конечно». — «Вы мне надрываете душу. Хотите, попробуем пожить вместе еще некоторое время? Кто знает? Неделя за неделей — пожалуй, так можно и обжиться. Есть переходные состо-

яния, которые могут длиться вечно». — «Какой вы милый!» — «Но это же безумие — несколько часов кряду, как мы с вами терзаем друг друга из-за ничего; это что-то вроде путешествия, к которому долго готовились и которое так и не состоялось. Я совершенно разбит». Я посадил ее к себе на колени, взял рукопись Бергота, о которой она мечтала, и написал на обложке: «Моей милой Альбертине — на память о возобновлении договора». «Ну, а теперь, моя дорогая, — сказал я, — идите спать до завтрашнего вечера, — вы налитесь с ног от усталости». — «А как я рада!» — «Вы меня хоть немножко любите?» — «В сто раз больше, чем прежде».

Я напрасно радовался этой маленькой комедии. Раз я придал ей форму настоящей драмы, раз мы так просто говорили о разлуке, значит, это уже было серьезно. Люди думают, что они ведут эти разговоры неискренне, — хотя на деле это обстоит не так, — но и без церемоний. Однако обычно подобные разговоры неведомо для нас, помимо нашего желания, представляют собой глухое погромыхиванье грозы, которую мы пока еще не ожидаем. В действительности все, что мы говорим тогда, противоречит нашему желанию (а желаем мы жить вместе с той, которую мы

любим), но совместная жизнь для нас непосильна, это для нас неизбывное горе, горе, которое нам легче сносить, чем горе разлуки, но которое все-таки кончится тем, что, помимо нашей воли, разведет нас в разные стороны. Обычно — не сразу. Чаще всего — у нас с Альбертиной, как мы это увидим, сложилось иначе — после того, как были сказаны неискренние слова, осуществляется не до конца продуманный план желанной, безболезненной, временной разлуки. Женщине предлагают — чтобы потом она могла оценить то, как ей хорошо с нами, чтобы избавиться на время от одолевающих нас тяжелых переживаний, от душевной усталости — отправиться без нас в путешествие на несколько дней, которые мы в первый раз за долгий срок проведем без нее, чего мы не можем себе представить, либо отпустить на несколько дней нас. Очень скоро она возвращается к нам. Но только эта разлука, короткая, однако совершившаяся, не должна быть следствием нашей случайной прихоти, и, конечно, это должна быть единственная задуманная нами разлука. Возобновляются прежние горести, усиливается трудность совместной жизни, в разлуке жить легче; начинаешь о ней заговаривать, потом разрыв совершается в форме, не тяжелой

для обеих сторон. Но это лишь вступление, чего мы не предугадали. Вскоре разлуку временную и веселую сменит разлука ужасная, окончательная, которую мы бессознательно подготавливали.

«Зайдите ко мне в комнату на пять минут, мне хочется еще на вас поглядеть, мой славный малыш. Будьте так добры! Но я сейчас же засну — я совсем как мертвая». Когда я вошел к ней в комнату, она была в самом деле как мертвая. Она легла и сейчас же уснула; простыни, саваном облекшие ее тело, падавшие красивыми складками, казались твердыми как камень. Это напоминало некоторые средневековые изображения Страшного суда, где из могилы выступает только голова, ожидающая во сне трубы архангела. Спящая голова почти запрокинута, волосы всклокочены. Глядя на это лежащее, ничего особенного собой не представляющее тело, я спрашивал себя: какую логарифмическую таблицу оно должно составлять, чтобы все так или иначе связанные с ней действия — движение локтя, шелест платья, — протянутые в бесконечность со всех точек, какие оно занимает во времени и в пространстве, и порой внезапно оживающие в моей памяти, могли причинять мне острую боль, хотя ни другая женщина, ни она пять лет назад или пять лет спустя

не пробудили бы во мне никаких сердечных движений или желаний. Это была ложь, но выход из нее по своему малодушию я видел только один: смерть. Так я и стоял, в меховом пальто, которое я так и не снял по возвращении от Вердюренов, перед этим распростертым телом, перед этой аллегорией — чего? Моей смерти? Моей любви? Вскоре я услышал ее ровное дыхание. Я присел на краешек ее кровати — долетавшее до меня дуновение и созерцание ее облика действовали на меня как успокоительное лекарство. Потом, боясь, как бы не разбудить ее, я на цыпочках вышел из комнаты.

Было так поздно, что я попросил Франсуазу мимо комнаты Альбертины утром ходить тихо. Франсуаза, уверенная в том, что ночью у нас была, как она выражалась; «оргия», насмешливым тоном велела другим служанкам «не будить принцессу». Помимо всего остального, я боялся, что Франсуаза как-нибудь не совладает с собой, нагрубит Альбертине и это усложнит нашу жизнь. Франсуаза была уже не в том возрасте, когда она страдала оттого, что моя тетя хорошо относилась к Евлалии, — теперь ей трудно было сдерживать свое ревнивое чувство. Ревность изменяла, искажала лицо нашей служанки до

такой степени, что иногда я задавал себе вопрос: а вдруг, незаметно для меня, после вспышки гнева ее хватит легкий удар? Попросив не будить Альбертину, сам я никак не мог заснуть. Я старался понять истинное душевное состояние Альбертины. Предотвратил ли я печальной комедией, какую я разыграл, реальную опасность? Хотя Альбертина делала вид, что ей так хорошо у меня в доме, не мелькала ли у нее по временам мысль о том, чтобы вырваться на свободу, или же все-таки следует верить ее словам? Какая из двух гипотез верна? Мне часто случалось, мне иногда оставалось лишь увеличить событие из моей жизни до размеров политического события, в котором я пытался разобраться; вот так и сегодня утром я беспрестанно отождествлял, несмотря на множество различий, только для того, чтобы постараться уяснить себе значение совершившегося, — отождествлял нашу вчерашнюю сцену с недавним дипломатическим инцидентом.

Пожалуй, у меня были основания рассуждать таким образом. Весьма вероятно, что я, сам того не ведая, следовал примеру де Шарлю, когда разыгрывал эту фальшивую сцену, — подобные сцены он на моих глазах с неподражаемой самоуверенностью разыгрывал постоянно. А быть

может, у него это было привнесение в область частной жизни глубоких наклонностей его германской расы, которые в нем пробудила хитрость или военная спесь, если угодно?

Некоторые государственные деятели, среди них — князь Монако[410], внушили французскому правительству мысль, что, если оно не отмежуется от Делькассе[411], грозная Германия начнет военные действия, и министр иностранных дел подал в отставку. Итак, французское правительство согласилось с предположением, что если мы не уступим, то нам объявят войну. А другие государственные деятели полагали, что это всего-навсего «блеф» и что если Франция проявит стойкость, то Германия на нее не нападет. Конечно, тут были не только два разных, но и почти противоположных сюжета, поскольку Альбертина никогда не грозила мне разрывом, но совокупность впечатлений привела меня к заключению, что она об этом думает, подобно тому как французское правительство ожидало,

---

[410] Примечания: 410

Стр. 346. Князь Монако — Речь идет об Альберте I (1848-1922), князе Монако с 1889 г.

[411] Примечания: 411

Делькассе Теофиль (1852-1923) — французский политический деятель, министр иностранных дел в 1898-1905 гг., сторонник франко-русского союза.

что против него выступит Германия. С другой стороны, если бы Германия стремилась к миру, то укреплять во французском правительстве мысль, будто ее желание — воевать, было бы опасной игрой с сомнительным успехом. Я заявлял прямо: у меня никогда не явится желания порвать с Альбертиной, и это неожиданно вызывало у нее порывы к независимости. А не вернее ли было бы предположить, что у нее таких порывов не было, не вернее ли было бы отказаться от мысли, будто в ней идет какая-то своя, тайная жизнь, целью которой является удовлетворение порока, что в ней говорила только злость, когда она, узнав, что я ездил к Вердюренам, крикнула: «Я так и знала!» — и, делая вид, что теперь ей все понятно, заключила: «У них должна была быть мадмуазель Вентейль»? Все это подтверждала встреча Альбертины с г-жой Вердюрен — встреча, о которой мне рассказала Андре. Но, может быть, все-таки эти неожиданные стремления к независимости, — говорил я себе, пытаясь рассуждать наперекор инстинкту, — возникали, если только предположить, что такие порывы имели место или прекратились бы в связи с противоположным соображением, а именно: что я и не помышляю о женитьбе, что я говорю

правду, когда как бы нечаянно намекаю на нашу будущую разлуку, что я рано или поздно, так или иначе расстанусь с ней, и тогда, значит, вечерняя сцена должна была укрепить в ней эту догадку и в конце концов привести к решению: «Если это рано или поздно должно непременно произойти, то лучше покончить с этим сейчас же». Приготовления к войне, которым даже самые лживые поговорки воздают хвалу,[412] чтобы восторжествовала воля к миру, сначала, наоборот, уверяют каждого из противников, что враг хочет разрыва, и эта уверенность приводит к разрыву; когда же происходит разрыв, каждый держится того мнения, что разрыва хотел не он. Даже если это угроза только для вида, то ее успех побуждает к возобновлению. Но точно определить черту, до которой блеф может идти с успехом, не так-то просто; если один заходит слишком далеко, другой, который до сих пор уступал, тоже начинает наступать; первый, не знающий, как нужно менять тактику, привыкший к мысли, что делать вид, будто он не боится разрыва, это лучший способ избежать его (чего я и придер-

[412] Примечания: 412

Стр. 347. Приготовления к войне, которым даже самые лживые поговорки воздают хвалу... — Имеется в виду старая латинская поговорка «Si vis pacem, para bellum» («Если хочешь мира, готовься к войне»).

живался вечером с Альбертиной), и к тому же из самолюбия предпочитающий изнемочь, по только не сдаться, упорно продолжает угрожать, вплоть до того момента, когда обоим отступать дальше некуда. Блеф может также примешиваться к искренности, чередоваться с ней: что вчера было игрой, то сегодня становится реальностью. Наконец, может случиться, что один из противников, действительно решившийся воевать, допустим Альбертина, возымеет намерение рано или поздно прекратить такой образ жизни, или же, напротив, подобная мысль никогда не приходит ей в голову, так что все это — плод моего воображения. Эти предположения я перебирал в уме утром, пока Альбертина спала. Должен заметить, что в дальнейшем я грозил покинуть ее только в ответ на ее требования нечистой свободы, и хотя она мне их не высказывала, но, как мне казалось, вкладывала их в выражение какого-то непонятного неудовольствия, в отдельные слова, в отдельные движения, которые только и могли что-то прояснить, так как она отказывалась открыть мне истинную причину. Очень часто я замечал, что она чем-то недовольна, но вне всякой связи с возможной разлукой, — я надеялся, что у нее просто плохое настроение и

что к вечеру оно пройдет. Но плохое настроение длилось у нее иной раз по целым неделям, и тогда казалось, что Альбертина хочет затеять ссору, как будто ее заточение у меня лишало ее в данный момент развлечений, до которых, как это ей было известно, довольно далеко отсюда и к которым она тянулась, пока они не прекращались, — так изменения в атмосфере действуют нам на нервы, хотя бы мы сидели у себя дома, а они происходили где-нибудь на Балеарских островах.

В то утро, пока Альбертина спала, а я пытался догадаться, что она таит в себе, я получил письмо от матери, в котором она выражала беспокойство, так как ничего обо мне не знала, и при этом цитировала г-жу де Севинье[413]: «Я убеждена, что он не женится, но тогда зачем же волновать девушку? Зачем заставлять ее отказываться от других предложений? Ведь потом она о всех женихах будет думать, что они ей не пара. Зачем волновать человека, когда этого так легко избежать?» Письмо от матери спустило меня с облаков. «Зачем я ищу в Альбертине какую-то таинственную душу, пытаюсь угадать, что означает то или иное

[413] Примечания: 413

Стр. 348. ...цитировала г-жу де Севинье... — Пруст цитирует письмо г-жи де Севинье к дочери от 25 октября 1679 г. по поводу Шарля де Севинье и мадмуазель де Ла Кост.

выражение ее лица, и живу предчувствиями, в которые мне страшно углубляться? — говорил я себе. — Все это бред, и только. Я нерешительный юнец, а здесь дело идет о том, чтобы в короткий срок решить вопрос: состоится наш брак или нет. Альбертина — такая же, как и все». Эта мысль принесла мне глубокое успокоение, но — не надолго. Немного погодя я сказал себе: «Действительно, все можно поправить, если взглянуть на вещи с социальной точки зрения, как на одно из самых обычных происшествий: со стороны, быть может, видней. Но я же отлично знаю, что не плод фантазии, — во всяком случае, тоже не плод фантазии — все, что я передумал, все, что я прочел в глазах Альбертины, терзающий меня страх, вопрос об Альбертине, который я задаю себе постоянно». История колеблющегося жениха и расстроившегося брака в такой же степени соответствует действительности, в какой рецензия театрального критика с хорошим вкусом может дать представление о пьесе Ибсена. Но есть и еще кое-что, помимо этих фактов. Правда, это «кое-что» существует, быть может, — если только уметь его видеть — у всех колеблющихся женихов и во всех не ладящихся браках, так как, быть может, в каждом дне заключена тайна. Я мог не

замечать ее в жизни других людей, но жизнь Альбертины и моя жизнь были во мне.

После того вечера Альбертина больше ни разу не сказала мне: «Я знаю, что вы мне не доверяете, — постараюсь рассеять ваши подозрения». Этим она могла бы оправдать каждый свой поступок. Но она не только старалась ни на секунду не оставаться дома одной, чтобы я, раз я не доверяю ее рассказам, был в курсе всего, что она делает, — даже когда она звонила по телефону Андре, в гараж, в манеж или куда-нибудь еще, она уверяла, что это так скучно — оставаться одной в комнате, чтобы поговорить по телефону, и ждать, пока-то барышни вас соединят, и заботилась о том, чтобы в этот момент я был с ней, а если я отсутствовал, то — Франсуаза, как будто она боялась, что я могу заподозрить, будто она ведет по телефону предосудительные разговоры или назначает таинственные свидания.

Увы! Все это меня не успокаивало. Эме прислал мне фотографию Эстер, но предупредил, что это не она. Тогда, значит, еще какие-нибудь другие? Но кто же? Я отослал фотографию Блоку. Мне хотелось посмотреть на фотографию, которую Альбертина подарила Эстер. Какая она на карточке? Может быть, в открытом платье. А не

снялись ли они вдвоем? Я не смел заговорить об этом ни с Альбертиной (иначе мне пришлось бы притворяться, будто я не видел фотографию), ни с Блоком — я не хотел, чтобы он знал, что меня интересует Альбертина.

Всякий имевший понятие о моих подозрениях и о рабстве Альбертины признал бы такую жизнь мучительной, Франсуазе же, со стороны, казалось, что жизнь для нас полна незаслуженных удовольствий, которые ловко умеет доставлять себе эта «обольстительница», эта, как выражалась Франсуаза, из зависти к женщинам гораздо чаще употреблявшая женский род, чем мужской, «шарлатанка». Даже когда Франсуаза, поживя со мной, обогатила свой словарь новыми словами, она переделывала их на свой лад: она говорила про Альбертину, что никогда еще не видела такой «коварницы», которая, разыгрывая комедию, ловким образом «вытягивает у меня денежку» (Франсуаза так же легко принимала частное за общее и общее за частное, и у нее было весьма смутное представление о драматических жанрах — вот почему она говорила: «Здорово сыграла пантомиму»). Быть может, в ошибочном представлении Франсуазы о нашей подлинной жизни, Альбертины и моей, я был отчасти сам

виноват: когда я разговаривал с Франсуазой, я ловким образом вставлял — или чтобы подразнить ее, или чтобы уверить — неясные намеки на то, что я если и не любим, то, во всяком случае, счастлив. И все-таки из-за моей ревности, из-за моей бдительности (я был ими так поглощен, что Франсуаза не могла чего-то не заподозрить) Франсуаза скоро догадалась о моем состоянии — так спирит, которого ведут с завязанными глазами, находит предмет — благодаря интуиции, выработавшейся у нее к неприятным для меня вещам и помогавшей ей не уклоняться от цели ни под воздействием *лжи*, при посредстве которой я пробовал сбивать ее с толку, ни под воздействием ненависти к Альбертине — ненависти, которая побуждала Франсуазу не столько выслушивать более удачливых неприятельниц Альбертины, притворявшихся опытными комедианткам, каковыми они, в сущности, не были, сколько пытаться понять самой, как легче их погубить и ускорить их падение. Франсуаза, конечно, ни-

когда не устраивала Альбертине сцен[414]. Но мне хорошо было известно искусство клеветы, которым она владела, ее уменье извлекать для себя пользу из какого-нибудь важного эпизода, и я не мог себе представить, чтобы она удержалась от ежедневных разговоров с Альбертиной об унизительной роли, какую та играет у нас в доме, от того, чтобы изображать, соблюдая чувство меры, в искусно преувеличенном виде заточение, какому подвергается моя подружка. Однажды я застал Франсуазу вооружившейся очками с толстыми стеклами, рывшейся в моих бумагах и перекладывавшей ту, на которой я написал рассказ о Сване и о том, что он не мог обойтись без Одетты. Разве она не могла ненароком затащить рассказ в комнату Альбертины? Вполне возможно, что над

[414] Примечания: 414

Стр. 350. …не устраивала Альбертине сцен. — В этом месте Пруст сделал, как это часто случалось, большое рукописное добавление, помещаемое под строкой. Его правильнее было бы присоединить к предыдущей фразе или же, как это делают современные издатели, включить в основной текст. [Я спрашивал себя: а вдруг Альбертина, чувствуя, что за ней идет слежка, решится на разлуку, которой я ей грозил? Жизнь изменчива: наши фантазии она превращает в реальность. Каждый раз, услыхав скрип двери, я вздрагивал, как вздрагивала во время агонии моя бабушка, когда я звонил. Я не мог допустить мысли, что Альбертина уйдет не простившись, — во мне говорило бессознательное чувство: так вздрагивала в беспамятстве моя бабушка. Как-то рано утром меня вдруг охватила тревога. Мне почудился скрип двери, и я вообразил, что это скрипнула ее дверь: значит, она не вышла, а ушла совсем. Я подкрался к ее комнате, вошел, остановился на пороге. В сумерках я различия полукругом вздувшиеся простыни: это Альбертина, свернув-

шись калачиком, спала лицом к стене. Только спустившиеся с кровати ее густые черные волосы убедили меня, что это она, что она и не думала отворять дверь, что она даже не шевельнулась, и тут я почувствовал, что этот неподвижный живой полукруг, содержавший в себе целую жизнь и представлявший для меня единственную ценность, что он здесь, в полном моем распоряжении.]

недомолвками Франсуазы, которые представляли собой всего лишь лукавый шепоток, высился более отчетливый, более упорный, укоряющий, клеветнический голос Вердюренов, возмущенных тем, что Альбертина меня невольно, а я ее сознательно, отдаляет от кланчика.

У меня не было почти никакой возможности утаить от Франсуазы деньги, которые я тратил на Альбертину, — я вообще не мог держать от нее в тайне свои расходы. У Франсуазы было мало недостатков, но эти недостатки оделяли ее, себе на подмогу, настоящими дарованиями, которых ей часто не хватало, когда она не пользовалась недостатками. Главным ее недостатком являлось любопытство к тому, сколько мы тратим на чужих людей. Если мне нужно было уплатить по счету, дать на чай, то, как бы я от нее ни прятался, она приходила и ставила на место тарелку, брала салфетку, в общем, всегда находила предлог. И хотя я в бешенстве сейчас же ее отсылал, эта женщина, плохо видевшая, почти не умевшая считать, руководимая лишь вкусом, который помогает портному при виде вас прикинуть на глазок, сколько должно пойти материи на ваш костюм, после чего он не может удержаться, чтобы не пощупать материю, или же чувством краски,

каким бывает наделен художник, Франсуаза украдкой подглядывала и мгновенно подсчитывала, сколько я дал. Чтобы она не могла сказать Альбертине, что я развращаю шофера, я опережал Франсуазу и в оправдание себе говорил: «Мне хотелось порадовать шофера — я дал ему десять франков», тогда безжалостная Франсуаза, которой достаточно было одного взгляда — взгляда старого, полуслепого орла, поправляла меня: «А вот и нет. Барин дал ему сорок три франка на чай. Шофер попросил у барина сорок пять франков. Барин дал ему сто франков, а тот дал сдачи всего двенадцать». Она успевала рассмотреть и высчитать, сколько взял себе шофер, а я не обращал на это внимания.

Если Альбертина поставила себе цель — вернуть мне покой, то она ее почти достигла; мой разум требовал только доказательств того, что я ошибался насчет коварных планов Альбертины, как я, быть может, ошибался насчет ее порочных наклонностей. Конечно, среди доводов, которые мне подсказывал разум, я принимал в расчет те, что мне хотелось считать убедительными. Но, чтобы быть беспристрастным и обладать преимуществом — видеть правду, а не смиряться с тем, что меня всегда выручит предчувствие, те-

лепатическая связь, не следовало бы мне сказать себе в назидание, что если мой разум, стремясь излечиться, идет на поводу у моего желания, то, когда дело касается мадмуазель Вентейль, пороков Альбертины, ее намерений зажить другой жизнью и ее мыслей о разлуке, являющихся прямым следствием ее пороков, мой инстинкт в отместку, чтобы я опять заболел, может дать волю моей ревности и вновь сбить меня с дороги? Между тем Альбертина, призывая на помощь всю свою изобретательность, сама добивалась для себя полной изоляции, чтобы я не мучился и постепенно излечивался от своих подозрений, и теперь, когда с наступлением вечера мной опять овладевала тревога, в присутствии Альбертины я вновь обретал первоначальный покой. Сидя на кровати рядом со мной, она говорила о своем туалете или о вещичках, которые я постоянно дарил ей, чтобы порадовать ее и скрасить ей жизнь в темнице: ведь я все-таки побаивался, что она могла бы сказать, как г-жа де Ларошфуко, ответившая на вопрос, хорошо ли ей в таком прекрасном месте, как Лианкур, что лучшей тюрьмы

она не знает.[415]

Как-то я заговорил с де Шарлю о старинном французском серебре — это было, когда мы подумывали о покупке яхты: этот план казался Альбертине неосуществимым, да и мне тоже всякий раз, как я снова начинал верить в ее добродетель, а моя затихавшая ревность уже не подавляла других желаний, которые ее вытеснили и требовали денег для того, чтобы их можно было удовлетворить, и, однако, мы купили по случаю яхту, хотя Альбертине до последней минуты не верилось, что мы когда-нибудь приобретем яхту по совету Эльстира. Вкус у художника был утончен и требователен как в области дамских туалетов, так и в области меблировки яхт. Он признавал только английскую мебель и старинное серебро. Прежде мысли Альбертины были заняты туалетами и меблировкой. Теперь ее заинтересовало серебро, и, когда мы вернулись из Бальбека, она погрузилась в чтение книг о серебряных дел мастерах, об искусстве старых чеканщиков. Но

[415] Примечания: 415

Стр. 352. ...что лучшей тюрьмы она не знает. — За этой фразой в рукописи следует: «Однажды я пришел в отчаяние. Эме вернул мне фотографию мадмуазель Эстер, сообщив, что это не она. Значит, у Альбертины были и другие подружки кроме той, что дала ей фотографию, о чем я догадался, когда заговорил о чем-то другом, а Альбертина именно так поняла мои слова».

старинное серебро, дважды расплавлявшееся, — во время заключения Утрехтского договора[416], когда сам король, подавший пример вельможам, отдал посуду, и в 1789 году — было величайшей редкостью. Современные серебряных дел мастера сочли за благо восстанавливать старинное искусство по рисункам «Капустного моста»[417]. Эльстир считал для себя оскорбительным войти в помещение дамы со вкусом, если его украшали новые вещи, сделанные под старину, хотя бы это было плавучее помещение. Я знал, что Альбертина читала описание чудес, которые сотворил Ротье[418] для г-жи дю Барри. Альбертина горела желанием — если только какие-нибудь вещи сохранились — на них посмотреть, а я — подарить их ей. Она даже начала собирать красивые кол-

[416] Примечания: 416

Утрехтский договор — мирный договор, заключенный между Францией и ее противниками в так называемой Войне за испанское наследство (1701-1714) — Испанией, Англией, Пруссией, Голландией и др. Договор распадался на несколько самостоятельных актов, подписанных в Утрехте в 1713-1715 гг. По ним Франция понесла значительные территориальные и политические потери.

[417] Примечания: 417

«Капустный мост» (Понт-о-Шу) — фабрика по производству фаянса, основанная в Париже в 1740 г.

[418] Примечания: 418

Стр. 353. Ротье Жозеф — известный французский ювелир середины XVIII века.

лекции и с необыкновенным вкусом расставляла их под стеклом, я же рассматривал их с умилением и со страхом, так как ее искусство слагалось из терпения, выдумки, тоски о прошлом, желания забыться; это было искусство, которым увлекаются пленные.

Теперь ей больше всего нравились туалеты Фортюни. В связи с платьями от Фортюни, одно из которых я видел на герцогине Германтской, Эльстир, говоривший с нами о великолепных одеждах современниц Карпаччо[419] и Тициана, предсказывал, что будущая жизнь возродится из их дивного праха, ибо все должно вернуться, о чем гласят надписи на сводах Святого Марка и о чем возвещают пьющие из мраморных и яшмовых урн на византийских капителях птицы — символ смерти и воскресения. Как только дамы начали носить платья от Фортюни, Альбертине, вспомнившей предсказания Эльстира, захотелось приобрести такое платье, и мы пошли покупать. В этих платьях, не настоящих старинных, в которых современные женщины выглядели бы чересчур разряженными и кото-

[419] Примечания: 419

Карпаччо Витторе (1450-1525) — итальянский художник венецианской школы, автор композиции на сюжеты церковных легенд, а также бытовых сцен и портретов своих современников.

рые лучше было бы сохранить для коллекции (я искал такие для Альбертины), не чувствовалось бесстрастного подражания, подделки под старину. Они скорей напоминали декорации Серта[420], Бакста[421] и Бенуа[422], которые в то время возрождали в русских балетах самые знаменитые эпохи в истории искусства с помощью художественных произведений, проникнутых духом эпохи и вместе с тем оригинальных; так платья Фортюни, в точности соответствовавшие античным образцам и притом в высшей степени оригинальные, образовывали как бы декорацию, но только с более мощными средствами воссоздания, потому что декорация оставляет место для воображения: вы видели декорацию заваленной Востоком Венеции, где такие платья могли бы носить, и благодаря им вы живее, чем глядя на

[420] Примечания: 420

Серт Хосе Мария (1876-1945) — испанский художник, участвовавший в постановках Дягилева; так, в 1914 г. он оформил постановку «Легенды об Иосифе» — балета Р. Штрауса.

[421] Примечания: 421

Бакст Лев Самойлович (1866-1924) — русский художник, член объединения «Мир искусства»; работал в антрепризе Дягилева в Париже, создавая декорации к спектаклям и эскизы-костюмов.

[422] Примечания: 422

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) — русский художник, художественный критик и историк искусства, один из основателей объединения «Мир искусства». Участник «русских сезонов» Дягилева.

святыню в раке Святого Марка, представляли себе солнце Востока, накрученные тюрбаны, у вас рождались дробящиеся, таинственные цветовые ощущения. Ничего не осталось от тех времен, но все возрождалось, все части были вновь связаны между собой красотой пейзажа и мельтешением жизни, частичным возвратом интереса к материям времен догаресс. Я несколько раз пытался поговорить об этом с герцогиней Германтской. Но герцогиня не любила костюмов. Ей больше всего шли черные бархатные платья с бриллиантами. Что касается платьев Фортюни, то здесь она в советчицы не годилась. Кроме того, я боялся, как бы у нее не создалось впечатления, что я хожу к ней только по какому-нибудь случайному делу, тогда как я давно уже уклонялся от ее постоянных приглашений. Правда, получал я приглашения только от нее, причем очень часто. Она и многие другие дамы были всегда очень любезны со мной. Мое уединение должно было усилить их любезность. В светской жизни, этом слабом отблеске того, что происходит в любви, лучший способ заставить добиваться близкого знакомства с вами — это отказываться от приглашений. Мужчина перебирает в уме все, чем он может понравиться женщине; он появляется каждый раз в новом

костюме, следит за выражением своего лица; она не обращает на него и сотой доли того внимания, каким дарит его другая, которую он обманывает, и, хотя он приходит к ней неопрятно одетый и не прилагает никаких усилий, чтобы ей понравиться, она привязывается к нему навсегда. Если человек страдает оттого, что с ним недостаточно любезны в свете, я бы не посоветовал ему чаще делать визиты, завести более роскошный экипаж; я бы ему посоветовал ни от кого не принимать приглашений, запереться у себя в комнате, никого к себе не пускать, и тогда он увидит, как у его дверей вырастает длинная очередь. Вернее всего, я бы ему ничего не сказал. Самый надежный способ добиться успеха в обществе — тот же, что и в любви: например, постоянно снимать комнату, хотя на самом деле она ни для каких целей не предназначается, снимать, потому что вы тяжело больны, или потому, что вы хотите, чтобы вам верили, что вы больны, или потому, что там якобы живет ваша любовница, с которой вы удалились туда от мира (даже хоть с тремя), — общество, не зная о существовании любящей вас женщины, сочтет это важным предлогом для снятия комнаты, — проще говоря, потому что вы не хотите, чтобы любящая вас женщина отвергла ради вас

своих поклонников и прилепилась к вам.

«Кстати о комнате, — сказал я Альбертине, — надо нам поскорей заняться вашим домашним платьем от Фортюни». Для нее, которая так долго об этих платьях мечтала, которая долго бы выбирала их вместе со мной, которая заранее приготовила для нового платья место, не только в шкафу, но и в своем воображении, которая, прежде чем решиться, долго любовалась бы каждой деталью, покупка нового платья представляла гораздо более важное событие, чем для богатой женщины, у которой платьев не сочтешь и которая на них даже не смотрит. Однако, хотя Альбертина, с улыбкой поблагодарив меня, добавила: «Вы так добры ко мне!» — я заметил, что у нее утомленный и даже грустный взгляд.

В ожидании, когда будут готовы платья, о которых она мечтала, я просил дать мне на время несколько платьев, хотя бы даже материи, и я надевал платья на Альбертину, драпировал ее в ткани; она прохаживалась по комнате с величественностью догарессы и манекенши. От вида этих платьев мое парижское рабство становилось для меня еще более тягостным, так как они напоминали мне Венецию. Конечно, Альбертина была в большей степени пленницей, чем я. Удивитель-

ное дело: судьба, проникающая и сквозь стены темницы и преображающая людей, проникла и сюда, изменила самую ее сущность и превратила бальбекскую девушку в скучную и покорную пленницу. Да, стены темницы не оградили ее от влияния судьбы; быть может, они-то и создали ее такой. Это была уже не прежняя Альбертина, потому что она не мчалась на велосипеде, как в Бальбеке, неуловимая, потому что там было много маленьких пляжей, где она лежала с подружками и где, кстати сказать, ее труднее было изобличить во лжи; запертая у меня, покорная и одинокая, она была не та, что в Бальбеке, даже когда я разыскивал это вечно ускользающее, осторожное и лукавое существо, чье присутствие на пляжах удлинялось от множества свиданий, которые она ловко умела скрывать, которые рождали в ее душе влюбленность, оттого что причиняли боль, у которой сквозь ее холодность с другими и сквозь ее шаблонные ответы веяло вчерашним и завтрашним свиданием, для меня же у нее не оставалось ничего, кроме пренебрежения и уловок. Ветер с моря уже не раздувал ее одежду; главное, я обрезал ей крылья, и теперь она была уже не Победой, это была обременительная рабыня, от которой мне хотелось избавиться.

Чтобы изменить направление мыслей, а главное — чтобы не играть с Альбертиной в карты или в шашки, я говорил, что соскучился по музыке. Я лежал на кровати, а она садилась в конце комнаты между книжными шкафами за пианино. Она выбирала совсем новые вещи или те, которые она мне играла раза два;[423] она еще в начале нашего знакомства поняла, что я люблю слушать то, что мне пока недоступно, и иметь возможность, в течение нескольких исполнений, соединять одни с другими, благодаря все усиливавшемуся, но — увы! — искажавшему свету, чуждому моему сознанию, проступавшие местами, незавершенные контуры здания, вначале почти не видные из-за тумана. Она знала и, наверное, чувствовала, какую радость доставляет моему сознанию, во время первых исполнений, придание формы туманному пятну. Когда Альбертина играла, из всей ее копны волос я видел только черный кок в форме сердца, свисавший ей на ухо наподобие

[423] Примечания: 423

Стр. 355. …играла раза два… — На полях рукописи Пруст сделал вставку, плохо согласующуюся с основным текстом а поэтому помещаемую под строкой в виде сноски.

банта инфанты Веласкеса.[424] Подобно тому, как душевный диапазон этого музыкального ангела прокладывал множество путей от разных мгновений в прошлом, которые память о нем сохранила во мне, к разным способам восприятия, начиная от зрения и кончая самыми глубокими ощущениями, помогавшими мне проникать в тайники ее существа, так же и у ее музыки был свой диапазон, сказывавшийся в неодинаково ясной видимости разных фраз, которая становилась все заметней по мере того, как мне удавалось с большим или меньшим успехом освещать их и соединять контуры здания, прежде тонувшего в тумане. Альбертина знала, что доставляет мне удовольствие, играя вещи, пока еще непонятные, какое удовольствие доставляет мне придание формы туманным пятнам. Она догадывалась, что при третьем или четвертом исполнении мое понимание охватит, то есть расположит на равном расстоянии все части, и они, утратив способность развиваться самостоятельно, протянутся в разных направлениях и замрут на неменяющейся

[424] Примечания: 424

Стр. 356. …банта инфанты Веласкеса. — Великий испанский художник Диего Веласкес (1599-1660) создал целую серию портретов инфанты Маргариты, дочери короля Филиппа IV. Эти портреты находятся в разных музеях мира; Пруст, скорее всего, имеет в виду портрет, находящийся в Лувре (написан ок. 1654 г.).

плоскости. И все-таки она не переходила к новой вещи: быть может, не представляя себе отчетливо производившуюся во мне работу, она знала, что в тот момент, когда мое понимание проникнет в тайну музыкального произведения, оно лишь в редких случаях не будет вознаграждено за свой нелегкий труд каким-либо полезным размышлением. В тот день, когда Альбертина говорила: «Дадим-ка Франсуазе бумажку покрупнее — пусть разменяет», музыки в мире становилось для меня меньше, зато жизненной правды — больше.

Я отдавал себе ясный отчет в том, до чего нелепо было бы теперь ревновать Альбертину к мадмуазель Вентейль и к ее подруге: она не пыталась их разыскивать, а когда мы начинали строить планы дачной жизни, она отвергала Комбре, расположенный неподалеку от Монжувена, — вот почему я часто просил Альбертину сыграть мне Вентейля: слушать его музыку было мне уже не больно. Один-единственный раз музыка Вентейля послужила косвенной причиной вспыхнувшей во мне ревности. Альбертина, знавшая, что я слышал, как исполнял ее у Вердюренов Морель, как-то вечером заговорила о нем и выразила большое желание послушать его, познакомиться с ним. Это было два дня спустя

после того, как я узнал о письме Леа к Морелю, которое нечаянно перехватил де Шарлю. Я задал себе вопрос: говорила ли Леа о нем с Альбертиной? Я с ужасом вспомнил слова: «большая зала», «большая развратница». Но именно в силу того, что музыка Вентейля была для меня мучительно связана с Леа — а не с мадмуазель Вентейль и ее подругой, — боль, причиненная мне Леа, утихла, я мог слушать музыку Вентейля спокойно; одна боль не дала пробудиться во мне другим. В музыке, которую я слушал у г-жи Вердюрен, фразы, прошедшие для меня незамеченными, — темные, тогда еще неразличимые призраки — превратились теперь в ослепительные построения. А некоторые становились друзьями — те, которые я с трудом различал, которые казались мне отталкивающими и относительно которых я бы никогда не поверил, как не верим мы антипатичным нам вначале людям, что они окажутся иными, когда их разглядишь, когда их получше узнаешь. Между двумя этапами произошла настоящая трансмутация. Кроме того, фразы, которые были мне ясны в первый раз, но которые я тогда не узнал, я отождествлял теперь с фразами из других произведений, как, например, с фразой из «Духовных вариаций для органа»: у г-жи Вер-

дюрен, в исполнении септета, я не обратил на нее внимание, хотя это то самое место, когда святая, выйдя из алтаря, смешивается с роем домашних волшебниц музыканта. Фразу, которая казалась мне не очень мелодичной, слишком механически ритмизованной, фразу, в которой звучит радостный перезвон полуденных колоколов, теперь я любил больше всех остальных — может быть, потому, что привью к ее некрасивости, а может быть, потому, что открыл в ней красоту. Разочарование, которое вначале у нас вызывают шедевры, можно объяснить ослаблением первого впечатления или же усилием, потребным для того, чтобы установить истину. Эти две гипотезы возникают при решении всех важных вопросов: вопросов реальности Искусства, вопросов Высшей реальности, вопросов бессмертия души; между ними нужно сделать выбор; что касается музыки Вентейля, то здесь выбор совершается поминутно, в самых различных формах. Например, эта музыка мне казалась правдивее всех прочитанных мною книг. Порою я склонен был думать, что это наше непосредственное восприятие жизни, не принимающее форму идей; литературное, то есть интеллектуальное, ее истолкование дает в ней отчет, объясняет,

анализирует, но не создает ее вновь, как музыка, где звуки как будто воспроизводят изменения, происходящие в человеке, воспроизводят необычайную силу живущих внутри нас ощущений, являющихся источником особого опьянения, которое мы время от времени испытываем, но когда мы говорим: «Какая прекрасная погода! Какое ясное солнце!» — мы имеем в виду только данный момент и ничего не знаем о будущем, когда то же самое солнце и та же самая погода вызовут у нас совсем другие ощущения. В музыке Вентейля есть такие прозрения, которые не поддаются описанию и которые лучше не созерцать, ибо в тот момент, когда нас согревает ласка их ирреального очарования, в тот момент, когда разум нас уже покинул, глаза у нас слипаются и, прежде чем познать не только неизреченное, но и незримое, мы засыпаем. Когда я отходил от гипотезы, что искусство может быть реальным, мне казалось, что музыка способна вернуть нам не просто бурную радость погожего дня или ночь после принятия опиума, но опьянение более реальное, более плодотворное, во всяком случае — такое, какое я предчувствовал. Однако нельзя себе представить, чтобы скульптура или музыка, рождающие чувство более возвышенное, чистое,

подлинное, не соответствовали некоей духовной реальности, иначе жизнь теряет всякий смысл. Я мог бы сравнить только с прекрасной фразой Вентейля то особое наслаждение, какое мне иной раз приходилось испытывать в жизни, например, при взгляде на мартенвильские колокольни, на деревья по дороге в Бальбек или, если взять для примера что-нибудь попроще, во время чаепития, о чем я писал в начале моей книги. Подобно чашке чаю, световые ощущения, прозрачные звуки, шумные краски, которые Вентейль посылал нам из мира, где он твердил, представляли моему воображению — представляли непрерывно, но так быстро, что я не в силах был его задержать, — нечто такое, что я мог бы уподобить лишь пахнущим геранью шелковым тканям. Но только если в памяти эта смутность может быть если не углублена, то, во всяком случае, уточнена благодаря стечению обстоятельств, которые объясняют, почему вкус того-то напоминает вам световые ощущения, смутные ощущения, порожденные музыкой Вентейля, проистекающие не из памяти, но из впечатления (как, например, из впечатления от мартенвильских колоколен), следовало бы также объяснить, почему от его музыки исходит запах герани, по объяснить не

с точки зрения материальной — следовало бы найти черты более глубокого сходства: например, яркость неведомого праздника (на отдельные эпизоды которого похожи его произведения с пунцовостью их огнистых изломов), объяснить способ, при помощи которого он воспринимает вселенную, а затем передает ее отражение вовне. «Никому прежде не свойственная способность — открывать целый мир, который ни один композитор нам никогда не показывал, — говорил я Альбертине, — не есть ли это непреложное доказательство гениальности, гораздо более веское, чем содержание произведения?» — «И в литературе?» — спросила Альбертина. «И в литературе». Вспоминая монотонию произведений Вентейля, я объяснял Альбертине, что великие писатели создавали всегда только одно произведение или, вернее, преломляли в различной среде одну и ту же красоту, которую они вносили в мир. «Сейчас уж поздно, малышка, — говорил я, — а то бы я доказал бы это на примере всех писателей, которых вы читаете, когда я сплю, я обратил бы ваше внимание на то же единство, что и у Вентейля. Однотипные фразы, которые вы, моя милая Альбертина, начинаете, как и я, узнавать в сонате, в септете, в других его произ-

ведениях, — это, к примеру, если угодно, то же, что у Барбе д'Оревильи[425] скрытая реальность, временами сбрасывающая с себя материальную оболочку: физиологическая краснота Околдованной, Эме де Спена, Ла Клот, рука в «Алом занавесе», старинные нравы, старинные обычаи, старые слова, прежние особенные ремесла, за которыми стоит Прошлое, история, рассказанная пастухами — местными уроженцами, благородные нормандские города, пахнущие Англией и красивые, как шотландские села, над которыми не властны проклятия, Веллини, Пастух, то же ощущение тревоги в каком-либо эпизоде, будь то жена, ищущая мужа, в «Старой любовнице» или муж, бегущий по песчаной равнине, в «Околдованной», будь то сама Околдованная, выходящая после службы из храма. А еще на однотипные фразы Вентейля похожа геометрия каменотеса в

[425] Примечания: 425

Стр. 359. Барбе д'Оревильи Жюль-Амеде (1808-1889) — французский писатель, близкий к романтикам; ниже Пруст упоминает персонажей из его произведений «Околдованная» (1854), «Алый занавес» (1874), «Шевалье де Туш» (1864) и «Старая любовница» (1851).

романах Томаса Гарди[426]».

Фразы Вентейля привели мне на память его короткую фразу, и я сказал Альбертине, что она была как всенародный гимн любви Свана и Одетты, «родителей Жильберты, которых вы, наверно, знаете. Вы мне говорили, что у нее дурной пошиб. Она не пыталась завязать с вами отношения? Она мне про вас говорила». — «Да, как будто; в ненастную погоду родители посылали за ней на курсы экипаж, и как-то раз она довезла меня до дому и поцеловала, — подумав, сказала Альбертина и засмеялась, точно это было забавное признание. — Она неожиданно спросила меня, люблю ли я женщин. (Но если Альбертина с трудом припоминала, довезла ли ее Жильберта, могла ли она дословно повторить ее странный вопрос?) Не знаю, что мне пришло в голову мистифицировать ее, но я ей сказала, что да. (Можно было подумать, что Альбертина боится, не рассказывала ли мне об этом Жильберта, и тогда она, Альбертина, будет уличена во лжи.) Но у нас с ней ничего не было. (Это было странно: если они только обме-

[426] Примечания: 426

Гарди Томас (1840-1928) — английский писатель-реалист; ниже Пруст упоминает его романы «Джуд Незаметный» (1895), «Любимая» (1892), «Голубые глаза» (1873). Эти книги Гарди были переведены на французский язык соответственно в 1901,1909 и 1913 г. и привлекли внимание Пруста.

нялись признаниями, но между ними ничего не было, по крайней мере раньше, то почему же они, по словам Альбертины, целовались в экипаже?) Она отвозила меня домой раза четыре не то пять, может быть, немного чаще, только и всего». Мне ужасно хотелось расспросить ее подробнее, но, сделав вид, что я не придаю всему этому ровно никакого значения, я вернулся к каменотесам Томаса Гарди: «Вы, конечно, хорошо помните в „Джуде Незаметном“ и видели в „Любимой“ каменные глыбы, которые отец привозит с острова на лодках, загружает ими мастерскую сына, и там эти глыбы превращаются в статуи. В „Голубых глазах“ — параллелизм могил, параллельная линия лодки, соседние вагоны, где находятся влюбленные и покойница; параллелизм между „Любимой“, где мужчина любит трех женщин, и „Голубыми глазами“, где женщина любит трех мужчин, и так далее, и, наконец, все эти романы, наслаивающиеся один на другой подобно домам, один на другой громоздящимся на песчаной почве острова. Минутный разговор о величайших писателях ничего вам не даст, но вы сами обнаружите у Стендаля ощущение высоты, связанное с духовной жизнью: возвышенность, где Жюльен Сорель находится в заключении; башня,

на верху которой заперт Фабриций; колокольня, где аббат Бланес занимается астрологией[427] и откуда Фабрицию открывается чудный вид. Вы мне говорили, что видели картины Вермеера; вы понимаете, что это фрагменты одного и того же мира, что это всегда, как бы гениально это ни было воссоздано, все тот же стол, все тот же ковер, все та же женщина, все та же новая и единственная красота, загадка для той эпохи, где ничто на нее не похоже и ничто в ней не объясняет, если только вы стараетесь пробиться к ней через сюжеты, а не стремитесь получить особое впечатление от краски. Эта новая красота одинакова во всех произведениях Достоевского[428]: женщина Достоевского (такая же особенная, как женщина Рембрандта) с ее таинственным выражением лица, обаятельная красота которого может вдруг, как будто до сих пор она играла комедию доб-

---

[427] Примечания: 427

Стр. 360. …возвышенность, где Жюльен Сорель находится в заключении; башня, на верху которой заперт Фабриций; колокольня, где аббат Бланес занимается астрологией… — Пруст упоминает персонажей произведений Стендаля «Красное и черное» (Жюпьен Сорель) и «Пармская обитель» (Фабриций и аббат Бланес).

[428] Примечания: 428

Стр. 361. …во всех произведениях Достоевского… — Мысли о Достоевском, высказанные здесь Прустом, перекликаются с мыслями, изложенными им в наброске статьи, которую он писал в 1921 г., видимо, к столетию со дня рождения русского писателя. Работа над этой статьей не была завершена.

роты, стать до ужаса дерзкой (хотя душа ее в глубине остается скорее доброй), — разве она не одна и та же у Настасьи Филипповны, пишущей нежные письма Аглае и признающейся, что она ее ненавидит, или в полном сходстве посещений: Настасья Филипповна, придя к родителям Гани, оскорбляет их, Грушенька, которую Катерина Ивановна считала извергом, необычайно ласкова с ней, а потом вдруг, срывая покров со своей злобы, оскорбляет Катерину Ивановну (хотя душа у Грушеньки добрая)? Грушенька, Настасья Филипповна — фигуры не менее оригинальные, не менее таинственные, чем куртизанки Карпаччо[429] и даже чем Вирсавия Рембрандта[430]. Заметьте, что Достоевский видел перед собой внешний облик Настасьи Филипповны, яркий, двойственный, с внезапными вспышками дерзости, а за ним — проступающие черты другой женщины, которой здесь сейчас нет. («Ты не такая», — говорит Мышкин Настасье Филипповне во время ее прихода к родителям Гани, и

[429] Примечания: 429

…куртизанки Карпаччо… — Пруст имеет в виду небольшую картину Карпаччо, изображающую двух венецианских куртизанок (написана,в 1490 г., находится в одном из музеев Венеции).

[430] Примечания: 430

Вирсавия Рембрандта. — Эта картина написана Рембрандтом в 1655 г., находится в Луаре.

то же самое мог бы сказать Алеша Грушеньке во время ее прихода к Катерине Ивановне.) Зато «идеи-образы» у Достоевского из рук вон плохи, в лучшем случае это картины, которые хотел бы создать Мункачи[431]: написать приговоренного к смертной казни в тот момент, когда… и так далее, написать Пресвятую Деву в тот момент, когда… и так далее. Но возвратимся к новой красоте, которую Достоевский принес в мир. Подобно тому, как Вермеер является творцом не только души человеческой, но и особого цвета тканей и местностей, так Достоевский сотворил не только людей, но и дома: в «Братьях Карамазовых» дом с его дворником, где произошло убийство, — разве это не такое же чудо, не такой же шедевр Достоевского, как мрачный, вытянувшийся в длину, высокий, поместительный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну? Новая, страшная красота дома, новая, сложная красота женского лица — вот то небывалое, что принес Достоевский в мир, и пусть литературные крити-

[431] Примечания: 431

Мункачи Михай (1844-1900) — венгерский художник; с 1872 по 1896 г. он работал в Париже и выставлялся на ежегодных выставках в Салоне. Пруст может иметь в виду в данном случае такие его картины, как «Камера смертника» (1872) или «Христос перед Пилатом» (1881).

ки сравнивают его с Гоголем, с Поль де Коком[432] — все это не представляет никакого интереса, ибо эта скрытая красота им чужда. Я могу согласиться с тем, что одна и та же сцена переходит у него из романа в роман, что в каждом романе одни и те же сцены, одни и те же действующие лица, что его романы растянуты. Но я с таким же успехом мог бы указать на соответствующие места в «Войне и мире», на сцену в экипаже...» — «Я бы не стала вас перебивать, но ведь вы все равно отошли от Достоевского, а я боюсь забыть. Малыш! Вы мне недавно сказали: „Это у Достоевского от госпожи де Севинье“. Что вы имели в виду? Даю вам честное слово, что я не поняла. По-моему, они такие разные!» — «Подойдите ко мне, девочка, дайте я вас поцелую за то, что вы напомнили мне мои слова, а потом вы опять сядете за пианино. Сознаюсь, что я сказал глупость. Но сказал я ее по двум причинам. Первая причина — это причина особая. Госпожа де Севинье, как и Эльстир, как и Достоевский, вместо того, чтобы в своем рассказе придерживаться законов логики, то есть начинать с повода, сначала показывает следствие, создает ошеломляющее нас неверное

[432] Примечания: 432

Поль де Кок (1794-1871) — французский писатель, автор остросюжетных романов, очень популярных в середине XIX в.

представление. Так Достоевский показывает своих персонажей. Их действия не менее обманчивы, чем эффекты Эльстира, у которого море как будто бы в небе. Впоследствии мы, к крайнему своему изумлению, узнаем, что этот неискренний человек — на самом деле человек очень хороший, или наоборот». — «Да, а теперь приведите пример из госпожи де Севинье». — «Я признаю, — со смехом ответил я, — что это притянуто за волосы, но примеры я все-таки мог бы найти».

«А сам Достоевский кого-нибудь убил? Те его романы, которые я знаю, могли бы называться „История одного преступления“. У него это навязчивая идея, он все время только о ней и говорит. Разве это естественно?» — «Не думаю, милая Альбертина, но его жизнь я знаю плохо. Одно можно сказать с уверенностью: он, как и все люди, в той или иной форме знал грех, и, вероятно, в такой именно форме, которая воспрещена законом. В этом смысле он отчасти преступен, как и его герои: ведь его герои — не совсем преступники, их осуждают, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства. И, быть может, не в этом дело — преступен он или нет. Я не романист; возможно, что творцов прельщают такие формы жизни, которые им самим не знакомы.

Если я поеду с вами в Версаль, как мы с вами уговорились, я вам покажу портрет, в сущности, честного человека, лучшего из мужей, Шодерло де Лакло[433], написавшего одну из самых чудовищных по своей извращенности книг, а как раз напротив висит портрет госпожи Жанлис[434]: она сочиняла высоконравственные рассказы и в то же время обманула герцогиню Орлеанскую и причинила ей большое горе, отдалив от нее детей. Но все-таки я не могу не признать, что интерес Достоевского к преступлению необычаен, для меня в этом есть что-то очень странное. Меня поражают вот эти строки Бодлера[435]:

Коль пожары, насилья, ножи и отравы
Не сумели узором своим разубрать
Наших судеб никчемных истертую гладь,

---

[433] Примечания: 433

Стр. 362. Шодерло де Лакло Пьер-Амбруаз-Франсуа (1741-1803) — французский писатель, автор знаменитого романа «Опасные связи» (1782).

[434] Примечания: 434

Стр. 363. Жанлис Мадлен-Фелисите (1746-1830) — французская писательница, эпигон сентиментализма, автор целого ряда нравоучительных романов; состояла в должности воспитательницы детей герцогов Орлеанских (родителей короля Луи-Филиппа).

[435] Примечания: 435

Вот эти строки Бодлера. — Пруст цитирует первую и четвертую строки «Вступления» к «Цветам зла» Бодлера.

Значит, души у нас – что поделать! – трухлявы.

Но тут я могу, по крайней мере, предполагать, что Бодлер неискренен… А Достоевский… Все это мне в высшей степени чуждо, хотя есть у меня такие стороны характера, о которых я не имею понятия, — они выявляются постепенно. У Достоевского я набредаю на удивительно глубокие колодцы, но они находятся в некотором отдалении от человеческой души. И все-таки это великий художник. Кажется, что мир, который он сотворил, был действительно создан для него. Все эти беспрестанно появляющиеся у него шуты, все эти Лебедевы, Карамазовы, Иволгины, это призрачное шествие представляет собою более фантастическую породу людей, чем та, какую мы видим в «Ночном дозоре» Рембрандта[436]. Герои Достоевского фантастичны именно так, как фантастичны герои Рембрандта, благодаря одинаковому освещению, сходству в одежде, и, по видимости, заурядны. Но эти образы полны глубокой жизненной правды, и создать их мог только Достоевский. Сначала кажется, что таких

[436] Примечания: 436

«Ночной дозор» — картина Рембрандта, написанная в 1642 г. (Амстердам, Рейксмузей).

шутов не существует, как не существует некоторых персонажей античной комедии, и вместе с тем сколько в них открывается подсмотренных в жизни душевных качеств! Меня раздражает торжественная манера, в какой говорят и пишут о Достоевском. Вы обращали внимание на то, какую роль играют у этих его персонажей самолюбие и гордость? Можно подумать, что для Достоевского, кроме любви и самой дикой ненависти, доброты и предательства, робости и заносчивости, других состояний духа у человека не существует. Именно гордыня препятствует Аглае, Настасье Филипповне, штабс-капитану, которого Митя таскает за бороду, Красоткину, другу-противнику Алеши, показаться такими, каковы они на самом деле. У Достоевского есть и другие великие произведения. Я очень плохо знаю его творчество. Но разве это не сюжет, достойный резца скульптора, характерный своей простотой для подлинно античного искусства, разве это не незавершенный и вновь начатый фриз, на котором действовали бы Мщение и Искупление? Я имею в виду преступление Карамазова-отца, изнасиловавшего несчастную дурочку, и таинственное, животное, необъяснимое влечение, повинуясь которому мать, являю-

щаяся неведомо для нее орудием мести судьбы, невольно подчиняясь также материнскому инстинкту, быть может, под влиянием смешанного чувства злопамятства и физической благодарности насильнику, идет рожать к Карамазову-отцу. Это первый эпизод, таинственный, великий, торжественный, как Женщина на скульптурах Орвието[437]. И — как антитеза — второй эпизод, двадцать с лишним лет спустя, убийство Карамазова-отца, позор для семьи Карамазовых — сын дурочки Смердяков, а вслед за этим эпизодом еще один, столь же таинственный в своей скульптурности и необъяснимый, исполненный такой же мрачной и естественной красоты, как роды в саду у Карамазова-отца: Смердяков вешается, его преступление завершено. Что касается Достоевского, то я не отошел от него, как вам показалось, когда я заговорил о Толстом, который во многом ему подражал. У Достоевского есть много такого — но только в сгущенном, сжатом, обличающем виде, — что разовьется потом у Толстого. У Достоевского есть эта предвосхищенная мастерами примитива угрюмость, которую объяснят последователи». — «Малыш! Как это досадно, что вы

[437] Примечания: 437

Стр. 364. ...на скульптурах Орвието. — Пруст, вероятно, имеет в виду скульптурное убранство собора в Орвието (Италия, XIII в.).

такой лентяй! Вы говорите о литературе интереснее, чем наши учителя. Помните письменные работы о „Есфири“: „Владыка!“?» — со смехом спросила Альбертина не столько для того, чтобы потешиться над учителями и над самой собой, сколько ради удовольствия обрести в своей памяти, в нашей общей памяти, воспоминание уже слегка устаревшее.

Когда Альбертина это говорила, мне вспомнился Вентейль, и тут настала очередь второй гипотезы, гипотезы материалистической, гипотезы небытия. Я опять начал раздумывать; я говорил себе, что если фразы Вентейля кажутся выражением душевных состояний, похожих на то, какое было у меня, когда я ел бисквит, который я обмакивал в чай,[438] то меня ничто не могло бы убедить, что неопределенность таких состояний есть признак их глубины, — я убедился бы лишь в том, что мы еще не научились их анализировать, что они так же реальны, как и другие. Между тем блаженство, уверенность в блаженном состоянии, какое наступало для меня, когда я пил чай, когда я вдыхал на Елисейских полях запах старо-

[438] Примечания: 438

…когда я ел бисквит, который я обмакивал в чай… — Об этом впечатлении героя Пруст подробно рассказывает в первой части романа «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 72-73).

го дерева, — все это не было иллюзией. Во всяком случае, — говорил мне дух сомнения, — даже если эти состояния глубже других и не поддаются анализу, потому что требуют от нас слишком много усилий, которые мы еще не представляем себе отчетливо, очарование иных фраз Вентейля заставляет о них думать, так как оно тоже не поддается анализу, но это не доказательство, что они так же глубоки; красоту ясной музыкальной фразы легко принять за образ или, во всяком случае, за нечто родственное нашему неинтеллектуальному впечатлению, но именно потому, что оно неинтеллектуально. Почему же тогда нам кажутся особенно глубокими таинственные фразы, которые так часто повторяются в иных квартетах и в концерте Вентейля?

Тут дело было не в его вещах, которые мне играла Альбертина; пианино было для нас временами как бы научным волшебным фонарем (историческим и географическим), и на стенах этой парижской комнаты, украшенной более современными инвенциями, чем комната в Комбре, я видел — когда Альбертина играла Рамо

или Бородина[439], — как расстилаются то ковры XVIII века с амурами на фоне роз, то восточная степь, где звук замирает в безграничности пространства и войлочного снега. В моей комнате недолговечные декорации были единственными декорациями, так как, когда я стал наследником тети Леонии, я хотя и дал себе слово собрать такие же коллекции, как у Свана, купить картины, статуи, но все мои деньги уходили на лошадей, на автомобили, на туалеты для Альбертины. Но разве в моей комнате не было художественного произведения более драгоценного, чем те, что я перечислил? Таким произведением была Альбертина. Я смотрел на нее. Мне казалась странной мысль, что это она, та самая, с которой я долго не решался даже познакомиться, этот дикий прирученный зверек, розовый куст, который я снабдил подпоркой, рамкой, шпалерой, каждый день сидит вот так у себя возле меня, за пианино, в моей библиотеке. Ее плечи, понурые, нелюдимые, когда она приходила из клуба для игры в гольф, теперь склонялись над моими книгами. Ее красивые ноги в парусиновых туфельках с

[439] Примечания: 439

Стр. 365. Бородин. — Этот русский композитор стал особенно популярен во Франции после постановки в Париже «Половецких плясок» из его оперы «Князь Игорь» (см. примеч. к с. 232).

золотой отделкой, ноги, которые я с полным правом воображал в течение всей юности вращающими педали велосипеда, то поднимались, то опускались на педали пианино, но только теперь, благодаря своей нынешней элегантности, она стала ближе мне, так как эта ее элегантность исходила от меня. Ее пальцы, некогда привыкшие к велосипедному рулю, теперь опускались на клавиши, как пальцы святой Цецилии[440]; ее шея, поворот которой, видный мне с моей кровати, полный, крепкий, на таком расстоянии и при свете лампы казался еще более розовым, чем на самом деле, однако менее розовым, чем ее профиль, которому мои взгляды, исходившие из самых глубоких тайников, нагруженные воспоминаниями, пылавшие страстью, придавали столько блеска, такую жизненную силу, что ее рельеф, казалось, восходил и описывал круг с почти волшебной силой, как день в бальбекской гостинице, где я обегал взглядом, туманившимся от слишком сильного желания поцеловать Альбертину, каждую плоскость дальше, чем

[440] Примечания: 440

Стр. 366. Святая Цецилия. — Эта католическая святая, согласно легендам, сочиняла песнопения в честь Господа и поэтому почиталась покровительницей музыкантов; обычно она изображалась за каким-либо музыкальным инструментом, например, на картине Рубенса.

мне позволял взгляд, и под той плоскостью, что скрывала ее от меня, благодаря чему я только еще острее чувствовал ее, — под плоскостью век, полузакрывавших ее глаза, и волос, закрывавших верхнюю часть ее щек, — обнаруживал рельеф накладывавшихся одна на другую поверхностей; глаза (как в опале, в котором отшлифованы еще только два кусочка) более твердые, чем металл, и более блестящие, чем свет, выглядывали, точно шелковистые сиреневые крылья бабочки под стеклом, из-за слепой материи, которая нависала над ними; ее черные взбитые волосы, образуя разные сочетания в зависимости от того, как она поворачивалась ко мне, чтобы спросить, что ей сыграть, образуя чудное крыло, заострявшееся к концу, широкое вначале, черноперое, треугольное, или — могучую, многоликую горную цепь с зубцами, ущельями, пропастями, с таким богатством и разнообразием взметов, какого, кажется, в природе не бывает и какое скорей может отвечать требованиям скульптора, нагромождающего трудности, чтобы зрители могли оценить по достоинству его гибкость, творческий подъем, богатство переходов, живость, — все резче оттеняли — заставляя Альбертину прерывать игру, чтобы поправлять их, — одушевленную, вращаю-

щуюся извилистую линию ее гладкого, розового, с притушенным глянцем, как у нарисованного дерева, лица. И, по контрасту с такой рельефностью, в силу гармонии, которая объединяла ее черты в единое целое, которая приспосабливалась к их форме и назначению, пианино, которое почти всю ее закрывало, как органный корпус, библиотека, каждый уголок комнаты, казалось, представляли собой всего лишь озаренное святая святых, ясли этого ангела-музыканта, произведение искусства, которое вот-вот по незримому волшебству отделится от своей пищи и подставит под мои поцелуи драгоценную свою розовость. Но нет: Альбертина отнюдь не была для меня произведением искусства. Я знал, что такое обожать женщину как художник: я был знаком со Сваном. Что касается меня, то, о какой бы женщине ни шла речь, я был не способен любить так, как он: я был лишен внешней наблюдательности, не умел разбираться в виденном и приходил в восторг, когда Сван, проводя параллель между женщиной, в которой, на мой взгляд, не было ничего выдающегося (приводя по памяти, как это он с особым изяществом и удовольствием делал в разговоре

с ней), и каким-нибудь портретом Луини[441], находил в ней отсутствовавшую на портрете красивую черту или же высказывал мнение, что ее платье и драгоценности напоминают ему какую-нибудь картину Джорджоне[442]. Со мной этого быть не могло. Откровенно говоря, когда я смотрел на Альбертину как на чудодейственной рукою покрытого патиной ангела-музыканта и радовался, что обладаю ею, то вдруг начинал испытывать к ней равнодушие; мне становилось с ней скучно, по такое состояние длилось недолго: любят недостижимое, любят то, чем не обладают, и я очень скоро приходил к убеждению, что не обладаю Альбертиной. В ее глазах мелькали то надежда, то воспоминание, быть может — сожаление, непонятные мне радости, от которых она скорей отказалась бы, чем поведала мне о них; я улавливал только блеск в ее зрачках, я видел в ее глазах не больше, чем зритель, которого не впустили в зрительную залу и который, прильнув

---

[441] Примечания: 441

Стр. 367. Луини Вернардино (ок. 1475 — ок. 1533) — итальянский художник, ученик и подражатель Леонардо да Винчи.

[442] Примечания: 442

Джорджоне (1477-1511) — итальянский художник венецианской школы; он был автором не очень большого числа работ; в Лувре, например, находится только одна его картина — «Сельский концерт». Пруст не раз упоминает Джорджоне в своих книгах.

к стеклянной двери, не может рассмотреть, что же происходит на сцене. (Не знаю, имеет ли это отношение к Альбертине, но вообще это очень странно, так же странно, как признание наиболее закоренелых в своем неверии в добро; странно то, с каким упорством лгут те, что нас обманывают. Сколько бы им ни внушали, что от их *лжи* мы сильнее страдаем, чем от их откровенности, и как бы они ни уверяли, что это им понятно, мгновение спустя они снова лгут — чтобы не вступать в противоречие с тем, что они только что нам говорили о себе или о том, что мы для них значим. Так атеист-жизнелюбец кончает с собой, чтобы его не обвинили в трусости.) В часы, посвященные музыке, я иногда улавливал в ее взглядах, в гримаске, в улыбке отсвет внутренних зрелищ, в эти вечера — непривычных, далеких для меня; и быть их зрителем мне запрещалось, «О чем вы сейчас думаете, моя славная?» — «Так, ни о чем». Иной раз, чтобы отвести от себя упрек в том, что она не хочет со мной разговаривать, она заводила речь о том, что мне было известно не хуже, чем кому-либо еще, а она этого не подозревала (это вроде тех государственных деятелей, что утаят от вас пустячную новость, но зато сообщат о том, о чем можно было прочитать во вчерашних газетах),

или рассказывала, не соблюдая элементарной точности, как обычно делаются ложные признания, о прогулках на велосипедах, в которых она участвовала за год до нашего знакомства. Я верно угадал когда-то, заключив, что эта девушка, совершающая такие длинные прогулки, ведет очень свободный образ жизни: при воспоминании об этих прогулках на губах Альбертины показывалась загадочная улыбка, пленившая меня в первые дни на бальбекском взморье. Рассказала она мне и о прогулках с подругами в полях Голландии, о вечерних возвращениях в Амстердам, о позднем часе, когда плотная веселая толпа людей, которых она знала почти всех, наводняла улицы, берега каналов, которые я словно видел отраженными в блестящих глазах Альбертины, как в изменчивых стеклах мчащейся кареты отражаются бесчисленные мелькающие огни. Так называемое эстетическое любопытство — это не что иное, как равнодушие в сравнении с мучительным, неутолимым любопытством, какое возбуждали во мне места, где жила Альбертина, то, чем она могла заниматься в такой-то вечер, ее улыбки, взгляды, слова, поцелуи. Нет, если бы я продолжал ревновать Альбертину к Сен-Лу, эта ревность не вызвала бы во мне такой безмерной

тревоги. Любовь женщины к женщинам — это было для меня что-то непонятное; связанные с ней наслаждения, ее особенности нельзя было себе представить точно и определенно. Сколько людей, сколько местностей (даже те, к которым Альбертина не имела прямого отношения, места неточно обозначенные, где она могла познать эти наслаждения, многолюдные, где она могла к ним только прикоснуться), словно проводя свою свиту, целое общество через контроль в театр, Альбертина ввела с порога моего воображения или воспоминания ко мне в душу! Теперь это было знание изнутри, знание непосредственное, спазматическое, мучительное. Любовь — это пространство и время, отзывающиеся болью в сердце.

Если бы я был безукоризненно верен Альбертине, я бы не страдал от ее неверностей, которые не в состоянии был бы себе представить. Меня терзало в Альбертине мое постоянное желание нравиться разным женщинам, рисовать в воображении новые романы; это ей надо было подозревать, что я, сидя рядом с ней, бросил на кого-то взгляд, не давать мне засматриваться на молодых велосипедисток, сидевших за столиками в Булонском лесу. Если бы у нас не было

опыта, мы могли бы с известным правом сказать, что ревновать можно только к самому себе. Наблюдения стоят дешево. Только наслаждение, испытанное нами самими, вооружает нас знаниями и заставляет страдать.

Порой по взгляду Альбертины, по внезапно выступившей на ее лице краске я догадывался, что в областях более недоступных для меня, чем небо, в областях, где действуют неизвестные мне воспоминания Альбертины, украдкой пробегает огнедышащая молния. В такие мгновенья мне казалось, что в красоте, которая занимала мои мысли в течение нескольких лет моего знакомства с Альбертиной и на бальбекском пляже и в Париже, красоте, мне еще очень мало известной, сущность которой состоит в том, что моя подружка развивается во множестве направлений и содержит в себе столько протекших дней, — в этой ее красоте есть для меня что-то душераздирающее. Я видел, как в этом розовеющем лице разверзается, подобно бездне, необозримое пространство таких вечеров, когда я еще не был знаком с Альбертиной. Мне ничего не стоило посадить Альбертину к себе на колени, охватить руками ее головку, ласкать ее, медленно проводить руками по ее телу, но это было бы все равно,

что держать в руках камень, таящий в себе соль древних океанов или луч звезды, я чувствовал, что дотрагиваюсь только до оболочки существа, внутренний мир которого уходит в бесконечность. Как я страдал от забывчивости природы, которая, разделив тела, не подумала о том, чтобы сделать возможным взаимопроникновение душ! Я сознавал, что Альбертина для меня (если ее тело в моей власти, то ее мысль не подчиняется моей мысли) даже не дивная пленница — украшение моего жилища; искусно скрывая ее даже от тех, кто приходил ко мне и не подозревал, что она — в соседней комнате, — я был вроде того человека, о котором никто не знал, что он держит в бутылке китайскую принцессу, — я настойчиво, безжалостно, не допуская возражений, требовал от себя, чтобы я отправился на поиски прошлого, так что скорее она была для меня великой богиней Времени. И если бы мне понадобилось убить для нее многие годы, истратить состояние, лишь бы в конце концов не сказать себе, что все это зря, — а у меня, увы, не было уверенности, что я так не скажу, — я бы ни о чем не жалел. Конечно, уединение стоит дороже, оно более плодотворно, менее мучительно. Но если стать коллекционером по совету Свана, который пенял мне за

то, что я не познакомился с де Шарлю («Как вам не стыдно!» — говорил Сван о де Шарлю, этом остроумном, развязном, наделенном хорошим вкусом человеке), то статуи, картины, за которыми долго гоняешься, которые наконец находишь или, если представить дело в более благоприятном для меня свете, которыми бескорыстно любуешься, — это как ранка, которая довольно быстро затягивалась, но из-за бессознательной неловкости Альбертины, из-за равнодушных людей или моих мыслей вскоре начинала кровоточить, — открыли бы мне доступ к выходу из самого себя, к этому запасному пути, который, однако, в конце концов выводит на большую дорогу, где протекает то, что нам становится известным, только когда оно причиняет нам боль: к жизни других людей.

Если выдавался прекрасный лунный вечер, то через час после того, как Альбертина ложилась, я шел к ней и предлагал посмотреть в окно. Могу сказать с уверенностью, что шел я только за этим, что я не следил за ней. Что она могла бы и хотела бы от меня сейчас утаить? Для этого она должна была бы войти в заговор с Франсуазой, а это исключалось. В темной комнате я видел только хрупкую диадему ее черных волос на

белой подушке. Но я слышал дыхание Альбертины. Она крепко спала, и я не решался подойти к изголовью — я садился на самом краешке; сон и шепот не прерывались. До чего же веселые были у нее сны! Я обнимал ее, встряхивал. Она просыпалась, сейчас же заливалась хохотом, обвивая мне шею руками, говорила: «Я как раз только что спрашивала себя, придешь ли ты» — и еще громче закатывалась ласковым смехом. Можно было подумать, что во сне ее прелестная головка полна веселья, нежности и смеха. И когда я будил ее, я только выпускал из надкушенного плода утоляющий жажду сок.

В воздухе пахло весной; наступала хорошая пора. Часто, когда Альбертина заходила пожелать мне спокойной ночи, моя комната, занавески, стена над ними были еще совсем черны, а в соседнем саду, принадлежавшем монахиням, в тишине раздавалось дивное, многозвучное, подобное игре на фисгармонии в храме, пение неизвестной птички, которая пела утреню лидийского напева[443] и озаряла мои сумерки звонкой, полнозвучной песнью во славу ей уже

[443] Примечания: 443

Стр. 370. Лидийский напев (или лидийский лад) — мажор с повышенной четвертой ступенью; восходит к музыкальной культуре Древней Греции.

видного солнца.

Вскоре ночи укоротились, и еще до того, как наступало утро, я видел сквозь занавески, что белизна с каждым днем все прибавляется. Если я свыкся с мыслью, что Альбертина будет жить по-прежнему, если у меня, несмотря на ее отнекиванье, создалось впечатление, что она хочет оставаться в плену, то это лишь потому, что каждый день я был уверен, что с завтрашнего дня я начну работать, буду вставать с постели, выходить из дому, готовиться к отъезду в имение, которое мы приобретем и где Альбертина будет чувствовать себя свободнее, не испытывая тревоги за меня, сможет по своему выбору жить в деревне или на море, ездить на пароходе или охотиться. Но на другой день, когда миновало время чередования моей любви к Альбертине с ненавистью к ней (если это для нас уже настоящий день, то мы оба из выгоды, из вежливости, из жалости ткем завесу лжи, которую принимаем за реальность), бывало и так, что один из часов, из которых этот день складывался, именно из тех, которые мне как будто запомнились, вдруг задним числом снимал с себя маску и представал передо мной совершенно иным. Если раньше он казался мне благожелательным, то теперь он

являл собой до сих пор затаенное и вдруг обозначившееся желание, отгораживавшее от меня еще одну область в душе Альбертины, меж тем как я был уверен, что эта область срослась с моей душой. Пример: когда Андре в июле уехала из Бальбека, Альбертина не сказала мне, что должна скоро с ней встретиться. Я же думал, что она увидится с ней еще раньше, чем предполагает, так как в Бальбеке мне было очень тоскливо, и вот Альбертина ночью 14 сентября решила пойти на жертву: дольше в Бальбеке не задерживаться и ехать в Париж. Когда настало 15 сентября, я заговорил с ней об Андре и спросил: «Она вам обрадовалась?» Г-жа Бонтан что-то привезла Альбертине; я видел ее мельком и сказал, что Альбертина отправилась к Андре: «Они хотели поехать в деревню». — «Да, Альбертина чувствует себя в деревне как дома, — ответила г-жа Бонтан. — Три года назад она ежедневно ездила в Бют-Шомон». Когда г-жа Бонтан назвала эту местность, где Альбертина, по ее словам, никогда не бывала, у меня захватило дыхание. Реальность — самый ловкий из наших врагов. Она атакует те стороны нашей души, где мы ее не ждали и где мы не приготовились к обороне. Значит, Альбертина или солгала тетке, сказав, что каждый день ездит

в Бют-Шомон, или мне — сказав, что не знает, где это. «Как хорошо, — добавила г-жа Бонтан, — что бедная Андре скоро уедет в оздоровляющую, настоящую деревню! Ей это необходимо, она так плохо выглядит! Этим летом ей не удалось подышать воздухом. Подумайте: она уехала из Бальбека в конце июля, надеясь вернуться туда в сентябре, но ее брат сломал себе ногу, и теперь она уже туда не вернется». Итак, Альбертина не дождалась Андре в Бальбеке и ничего мне об этом не сказала! Тем любезнее было с ее стороны предложить мне вернуться в Париж. Вот только… «Да, я припоминаю, что Альбертина говорила мне об этом… (Альбертина ничего мне об этом не говорила.) Когда же это случилось? У меня в голове все перепуталось». — «Уж раз это должно было случиться, то случилось вовремя, так как через день после этого была назначена сдача виллы внаймы и бабушка Андре должна была бы заплатить за меня неустойку. Брат Андре сломал себе ногу четырнадцатого сентября, она телеграфировала Альбертине пятнадцатого утром, и у Альбертины было время предупредить агентство. Еще один день — и пришлось бы уплатить за виллу по пятнадцатое октября». Таким образом, когда Альбертина, изменив решение, сказала мне: «Мы

уезжаем вечером», — она уже представляла себе неизвестное мне помещение бабушки Андре, где, как только мы вернемся в Париж, она встретится с подругой, которую она, не говоря мне ни слова, поджидала в Бальбеке. Ласковые слова, в которых она выражала желание вернуться со мной после упорного отказа ехать в Париж — отказа, который я слышал от нее еще так недавно, я объяснял ее мягкосердечием. На самом деле они отражали перемену обстоятельств, о которой мы обычно бываем не осведомлены и которая является тайной причиной изменения в поведении девушек, не любящих нас. Девушка решительно отказывается прийти к нам на свидание завтра, потому что она устала, потому что дед ждет ее завтра к обеду. «Приходите после обеда», — настаиваю я. «Он меня скоро не отпустит. Пожалуй, еще пойдет провожать». Просто-напросто у нее свидание с другим, с тем, кто ей нравится. Неожиданно у этого другого оказываются какие-то дела. И она приходит ко мне, выражает сожаление, что огорчила меня, и сообщает, что дедушка пошел погулять один, она свободна и пришла ко мне. Я должен был бы разглядеть эти фразы в том, что мне говорила Альбертина в день моего отъезда из Бальбека. Впрочем, пожалуй, чтобы понять

язык Альбертины, мне не стоило стараться узнавать в нем подобные фразы — достаточно было вспомнить две черты ее характера.

На память мне сейчас же пришли две черты характера Альбертины: одна черта меня утешала, другая расстраивала. Ведь в нашей памяти есть все: это что-то вроде аптеки или химической лаборатории, откуда достают то успокоительное средство, то смертельный яд. Первой ее чертой, утешительной, была привычка угождать сразу нескольким, одно и то же действие использовать для разных целей. Это было в ее характере[444]: возвращаясь в Париж (поскольку Андре не вернулась, ей уже нельзя было оставаться в Бальбеке: Андре должна была быть уверена, что та не может без нее жить), она могла растрогать этим двух человек, которых она искренне любила: меня — доказывая этим, что она уезжает, чтобы не оставлять меня одного, чтобы я не мучился, из чувства привязанности ко мне; Андре — давая ей понять, что раз она не приедет в Бальбек, то и она, Альбертина, не останется здесь ни секунды, что

[444] Примечания: 444

Стр. 373. Это было в ее характере… — К этому месту Пруст сделал на полях рукописи примечание: «Смотри „Под сенью девушек в цвету“. Он имел в виду рассуждения рассказчика о характере Альбертины и ее взаимоотношениях с Андре (см. указ. изд., с. 511-512).

она задержалась здесь, только чтобы увидеться с ней, и что она немедленно к ней примчится. Таким образом, не было ничего неестественного в том, что, благодаря столь поспешному отъезду со мной, которому предшествовали, с одной стороны, моя тоска, мое желание вернуться в Париж, а с другой — телеграмма от подруги, Андре, не имевшая понятия о моей тоске, и я, не имевший понятия об ее телеграмме, могли думать, что единственной причиной отъезда Альбертины — отъезда, последовавшего в результате внезапного, потребовавшего всего лишь несколько часов, перерешения, — является или та, которую знала только Андре, или та, которую знал только я. И еще я мог думать, что основной целью Альбертины было ехать со мной, но что она хотела также воспользоваться случаем доказать на деле свою благодарность Андре.

Но, к сожалению, я почти тотчас же вспомнил другую черту характера Альбертины: ту живость, с какой она поддавалась неодолимому искушению наслаждения. Я вспомнил, с каким нетерпением ждала она, решив уехать, часа отхода поезда, как она тормошила пытавшегося нас удержать директора гостиницы, из-за которого мы рисковали опоздать на омнибус,

как она в пригородном поезде, когда маркиз де Говожо убеждал нас отложить отъезд на недельку, заговорщицки встряхивала плечами, чтобы подбодрить меня, и как я был этим тронут. Да, то, что сейчас представлялось ее внутреннему зрению, то, из-за чего она так торопилась с отъездом, то, что ей не терпелось вновь обрести, — это была всего-навсего нежилая комната, где я был однажды, комната, принадлежавшая бабушке Андре, роскошное помещение, находившееся под присмотром старого лакея, в разгаре дня пустое, молчаливое, где солнце, казалось, набросило чехол на диван и на кресла и где Альбертина и Андре просили стража, почтительного, быть может, наивного, а быть может, их сообщника, чтобы он позволил им здесь отдохнуть. Эта комната была у меня теперь все время перед глазами пустая, с кроватью или с диваном, я видел милую жертву обмана, а быть может, сообщницу, которая каждый раз, когда было ясно, что Альбертина спешит и чем-то озабочена, шла в другую комнату звать подругу, которая, конечно, приходила раньше, потому что была свободнее. Прежде я никогда не думал об этой комнате, но теперь она приобрела для меня какую-то пугающую красоту. Неизвестное в жизни живых существ

— это то же, что неизвестное в природе: каждое научное открытие заставляет его отступать, но не уничтожает. Ревнивец приводит в отчаяние любимую женщину, лишая ее множества небольших удовольствий, но те удовольствия, которые составляют основу ее жизни в такие моменты, когда она проявляет особую проницательность и когда третье лицо дает ей наиболее разумные наставления, она прячет там, где ревнивцу никогда не придет в голову их отыскивать. Наконец Андре собралась уезжать. Но я опасался, что Альбертина станет меня презирать, потому что ей и Андре удалось меня одурачить. Не сегодня завтра я намеревался ей об этом сказать. Быть может, я насиловал себя, готовясь говорить с полной откровенностью, дать ей понять, что мне известно все то, что она от меня скрывает. Но я откладывал разговор, во-первых, потому, что после приезда ко мне тетки Альбертина могла догадаться, откуда у меня эти сведения, источник иссякнет, и ей некого будет бояться. А еще потому, что я не хотел рисковать до тех пор, пока у меня не будет полной уверенности, что Альбертина останется жить у меня, сколько я захочу, я боялся так разозлить Альбертину, что она уйдет от меня. Впрочем, когда я заводил об этом речь,

доискивался до истины, предугадывал будущее на основании ее слов, — а она неизменно одобряла мои планы, говорила о том, как ей нравится такая жизнь, как мало стесняет ее заточение, — я не сомневался, что она всегда будет со мной. Мне уединение наскучило. Я чувствовал, что жизнь, мир, которыми я так и не успел насладиться, ускользнули от меня, что я променял их на женщину, в которой для меня нет уже ничего нового. Я не мог даже поехать в Венецию, где я лежал бы, истерзанный мыслью, что за Альбертиной ухаживают гондольер, слуги в гостинице, венецианки. Если же я рассуждал, исходя из другой гипотезы, основывавшейся не на словах Альбертины, а на ее молчании, на ее взглядах, румянце, капризах, даже на вспышках гнева, насчет которых мне легко было ее убедить, что они беспричинны, и которые я старался не замечать, то приходил к выводу, что для нее такая жизнь невыносима, что она лишена всего, что ей мило, и что наша разлука неизбежна. Единственно, чего бы мне хотелось, — это самому выбрать момент, такой момент, когда мне это было бы не так тяжело, и в такое время года, когда она не могла бы поехать в места, где она, по моим представлениям, предавалась разврату: ни в Амстердам, ни к Андре, ни

к мадмуазель Вентейль, с которой она, впрочем, свела знакомство позднее. Но с этой стороны я пока был спокоен, мне это было безразлично. Чтобы это обдумать, надо было подождать, пока пройдет легкий рецидив болезни, вызванный открытием причин, по которым Альбертина то не хотела ехать, то, несколько часов спустя, решала ехать немедленно; надо было дать время симптомам, постепенно терявшим свою силу, исчезнуть, если только я не узнаю чего-нибудь нового, более жгучего, такого, из-за чего стала бы еще болезненней, еще тяжелее разлука, которую я теперь считал неминуемой, но отнюдь не срочной, «без надрыва». Я был мастером выбирать момент: если она захочет уйти до моего решения и объявит, что с нее довольно такой жизни, у меня еще будет время обдумать свои доводы, предоставить ей больше свободы, обещать ей в будущем какое-нибудь огромное удовольствие, которое ее прельстит, удостовериться, не сжалится ли она надо мной, если я ей скажу, как мне тяжело. Тут я был спокоен, хотя мои рассуждения не отличались строгой логичностью. Исходя из гипотезы, не принимавшей в расчет все, что она говорила и объявляла, я предполагал, что, когда речь зайдет об ее отъезде, она заранее выложит

все свои доводы, предоставив мне возможность их разбить и оказаться победителем.

Я не мог отрицать, что, когда я не ревновал, моя жизнь с Альбертиной была скучна, а когда ревновал — мучительна. Если даже предположить, что счастье есть на земле, то долго оно не продлится. Даже в Бальбеке, в тот вечер, когда мы были счастливы, после ухода маркизы де Говожо во мне возобладало благоразумие, и я решил расстаться с Альбертиной, так как понял, что от продолжения отношений с ней я ничего не выиграю. А теперь представлял себе, что воспоминание о ней будет похоже на продленную педалью вибрацию мгновения нашей разлуки. Вот почему я старался выбрать мирную минуту, чтобы вибрировала во мне она, а не грозовая минута. Для этого не надо было прилагать больших усилий, долго ждать — надо было быть рассудительным. Но, столько прождав, было бы безумием не подождать еще несколько дней, пока не представится удобная минута, лишь бы не видеть, что Альбертина уходит с таким же возмущением, с каким когда-то уходила из моей детской мама, не пожелав мне спокойной ночи, или с каким она прощалась со мной на вокзале. На всякий случай я был к Альбертине особенно предупредителен. Из платьев

Фортюни мы в конце концов выбрали голубое с золотом на розовой подкладке. Оно было готово, но я все-таки заказал еще пять — она не без сожаления отказывалась: ей больше нравилось то. И тем не менее весной, два месяца спустя после моего разговора с ее теткой, я однажды вечером вспылил. Это было в тот вечер, когда Альбертина впервые надела голубое с золотом платье от Фортюни. Оно напомнило мне Венецию, и я еще острее ощутил, чем я жертвую для Альбертины, не испытывавшей ко мне ни малейшего чувства благодарности. Я никогда не видел Венецию, но мечтал о ней беспрестанно, начиная с пасхальных каникул, которые я еще мальчиком собирался там провести, и позднее, когда меня поразили гравюры Тициана и снимки с картин Джотто, которые в Комбре давал мне Сван.[445] В тот вечер Альбертина надела платье от Фортюни, и оно показалось мне соблазнительной тенью незримой Венеции. Оно пестрело арабской орнаментацией, как Венеция, как венецианские дворцы, укрывающиеся, наподобие султанш, за

[445] Примечания: 445

Стр. 376. …в Комбре давал мне Сван. — О снимках с фресок Джотто ди Бондоне (1266-1336) в Капелле дель Арена в Падуе, которые дает герою Сван, рассказывается в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 107).

каменной резьбой, как переплеты книг Амброзианской библиотеки[446], как колонны, с которых птицы, символизирующие то смерть, то жизнь, отражающиеся в блеске густо-синей ткани, которая, чем глубже уходил в нее мой взгляд, тем явственнее она превращалась из густо-синей в расплавленное золото, — так при приближении гондолы превращается в пылающий металл лазурь Канале Гранде. Рукава платья были на подкладке розово-вишневого цвета, который так характерен для Венеции, что его называют розовым Тьеполо[447].

Днем Франсуаза проворчала при мне, что Альбертина всем недовольна: когда я прошу ей передать, что выйду с ней или что не выйду, что за ней заедет автомобиль или не заедет, она передергивает плечами и в ответ только что не грубит. Вечером я почувствовал, что Альбертина в плохом настроении, первый жаркий день подействовал мне на нервы, я не сдержался и

---

[446] Примечания: 446

Амброзианская библиотека — богатейшая библиотека и отчасти музей в Милане, основанные в 1602 г. кардиналом Борроисо.

[447] Примечания: 447

Тьеполо Джованни Батиста (1693-1770) — итальянский художник венецианской школы, автор многочисленных пейзажей Венеции; среди красок его палитры особенно хороши всевозможные оттенки голубого и синего цветов.

упрекнул ее в неблагодарности. «Спросите кого угодно, — кричал я вне себя, — спросите Франсуазу: вы разучились спокойно разговаривать!» Но я тут же вспомнил, что однажды Альбертина заметила, какой у меня бывает ужасный вид, когда я разозлен, и применила ко мне стихи из «Есфири»[448]:

С угрозою ко мне ты обратил чело,
Оно меня тотчас в смятенье привело…
Кто вынести бы мог без дрожи этот взгляд,
В котором молнии бессчетные горят?

Мне стало стыдно за мою резкость. С целью загладить свой проступок, но так, чтобы это нельзя было истолковать как поражение, чтобы это был мир на грани войны, мир грозный, чтобы она не подумала, что я боюсь разрыва, чтобы она выбросила из головы самую мысль о разрыве, я обратился к ней с такими словами: «Простите меня, милая Альбертина! Мне стыдно за мою резкость, я в отчаянии. Если нам не удастся помириться, если нам придется расстаться, то — не

[448] Примечания: 448

Стр. 377. …стихи из «Есфири». — Пруст по памяти цитирует трагедию Расина (действ. II, явл. 7), где сказано не «смятенье», а «содроганье».

так, это нас унижает. Мы разойдемся, если это нужно, но сперва я хочу от всей души, с полным сознанием своей вины попросить у вас прощения». Я решил, чтобы исправить положение и увериться в твердости ее плана на некоторое время остаться у меня, во всяком случае до тех пор, пока не уедет Андре, то есть — на три недели, с завтрашнего же дня начать подыскивать для Альбертины такое большое удовольствие, какого она еще не получала, и при этом — долговременное; чтобы ей не было скучно со мной, как прежде, быть может, следовало показать ей, что я знаю жизнь лучше, чем она думает. Ее плохое настроение пройдет завтра же — оно улетучится от моих ласк, — но предостережение она запомнит. «Да, милая Альбертина, простите меня, если я был резок. Я не так виноват, как вы думаете. Злые люди стараются нас поссорить; я было решил не говорить с вами об этом, чтобы не взволновать вас, но меня несколько раз приводили в бешенство некоторые сообщения». Я хотел показать ей, что я осведомлен о причинах нашего отъезда из Бальбека. «Ну вот, например: вы знали, что мадмуазель Вентейль вместе с госпожой Вердюрен собирались днем туда же, куда и вы, — в Трокадеро?» Она покраснела. «Да,

знала». — «Вы можете мне поклясться, что у вас не было намерения снова вступить с ней в известные отношения?» — «Ну конечно могу. И почему „снова вступить“? У меня с ней не было никаких отношений, клянусь вам». Меня удручала беззастенчивая ложь Альбертины, ее манера спорить против очевидности, которую выдавала краска, выступившая у нее на лице. Меня удручала ее фальшь. И все-таки, поскольку в этой ее фальши звучал протест невиновности, в которую я невольно готов был поверить, она была не так для меня мучительна, как ее откровенность. Когда же я ее спросил: «Могли бы вы по крайней мере дать мне клятву, что к вашему желанию поехать на утренник к Вердюренам не примешивалось вот на столько предвкушаемое удовольствие от встречи с мадмуазель Вентейль?» — она мне ответила: «Нет, такой клятвы я вам дать не могу. От встречи с мадмуазель Вентейль я получила бы большое удовольствие». За секунду до этого я возмущался тем, что Альбертина скрывает свои отношения с мадмуазель Вентейль, а сейчас, когда я выслушал признание в том, что встреча с ней доставила бы Альбертине удовольствие, у меня отнялись руки и ноги. Когда я вернулся от Вердюренов и Альбертина меня спросила: «А

мадмуазель Вентейль у них не было?» — то, показав, что знает об ее приезде, она всколыхнула всю мою сердечную муку. Но я взял себя в руки, рассудив: «Альбертина еще раньше знала, что мадмуазель Вентейль приедет, и мое сообщение нисколько ее не обрадовало. И раз она поняла — когда было уже поздно, — что разоблачила свое знакомство с особой, пользующейся такой скверной репутацией, как мадмуазель Вентейль, из-за которой я столько перенес в Бальбеке, что едва не покончил с собой, то сочла за благо со мной об этом больше не заговаривать». А теперь она вынуждена признаться, что приезд мадмуазель Вентейль доставил бы ей удовольствие. Впрочем, самая таинственность, какой Альбертина облекла свое желание побывать у Вердюренов, должна была послужить мне неопровержимым доказательством. Обо всем этом было уже думано и передумано. И хотя я спрашивал себя теперь: «Почему она не говорит всей правды? В этом есть что-то жалкое, злое, а главное — глупое», но я был так подавлен, что у меня не хватало душевных сил продолжать допрос, тем более что роль у меня была незавидная, я не мог предъявить уличающих документов, и, чтобы снова добиться превосходства, я поспешил перейти к теме Ан-

дре, так как она давала возможность привести Альбертину в замешательство ошеломляющим разоблачением, связанным с телеграммой от ее подруги. «Послушайте, — сказал я, — теперь не дает мне покою, меня преследует соблазн поговорить с вами о ваших отношениях — но уже с Андре». — «С Андре? — воскликнула Альбертина. Лицо у нее налилось злобой. Зрачки расширились то ли от изумления, то ли от желания казаться изумленной: — Вот тебе рраз! Нельзя ли узнать, кто снабдил вас такими сногсшибательными сведениями? А мне можно потолковать с этими людьми? Узнать, на чем основаны их гнусные сплетни?» — «Милая Альбертина! Я ничего не знаю, это анонимные письма, а от кого — это, пожалуй, вам не так уж трудно будет угадать (я нарочно ввернул эту фразу: я хотел показать ей, что мне не верится, чтобы она стала выяснять, кто авторы): эти лица, несомненно, принадлежат к числу ваших знакомых. Последнее известие, сознаюсь (я пересказываю вам его точно, потому что дело идет о пустяках, там нет ничего такого, что было бы трудно пересказать), меня, должен сознаться, очень огорчило. Мне сказали, что в тот день, когда мы с вами выехали из Бальбека, вы сначала хотели остаться, а потом в тот же день

решили уехать, так как в промежутке получили письмо от Андре, в котором она извещает, что не приедет в Бальбек». — «Андре действительно писала, что не приедет, даже телеграфировала, вот только я не могу показать вам телеграмму — я ее не сохранила, но это было в другой день. А если бы даже телеграмма пришла и в тот день, какое, по-вашему, мне дело до того, приехала бы Андре в Бальбек или нет?» Оборот речи: «какое мне дело до того…» свидетельствовал, во-первых, о том, что Альбертина рассердилась, а во-вторых, о том, что ей «было до этого дело», но не являлся прямым доказательством, что Альбертина вернулась в Париж только из-за Андре. Всякий раз, как Альбертина убеждалась, что кто-то открыл истинную причину ее поступка или услыхал о ней — кто-то, кому она объясняла свой поступок по-иному, — она приходила в ярость, хотя бы это был человек, ради которого она совершила этот поступок. Альбертина считала, что сведения об ее поступках я черпаю не из анонимок, которые мне посылают якобы без моего ведома и согласия, а что я сам их настойчиво добиваюсь, но этот вывод можно было сделать отнюдь не из ее дальнейших слов, — она как будто бы вполне принимала мою версию насчет анонимок, — об

этом свидетельствовал злобный взгляд, каким она смотрела на меня, злоба же ее — это был взрыв исподволь накапливавшегося в ней неприязненного чувства ко мне из-за того, что, как ей представлялось, я давно за ней слежу, и этот разговор о телеграмме она рассматривала как итог моей слежки за всеми ее действиями — слежки, в которой она давно уже не сомневалась. Ее гнев распространился и на Андре, и, уверив себя, что теперь я не буду спокоен, даже когда она поедет куда-нибудь с Андре, она заявила: «Помимо всего прочего, Андре мне опостылела. Уж очень она надоедлива. Она приедет в Париж завтра. Я больше не хочу проводить с ней время. Можете об этом объявить тем, кто нарассказал вам, что я вернулась в Париж ради нее. Хотите верьте, хотите нет, но вот сколько лет я знаю Андре, а какое у нее лицо — я бы вам описать не могла: я к ней никогда не присматривалась». А в Бальбеке, в первый же год, она мне сказала: «Андре восхитительна». Конечно, это не означало, что между ними существовали любовные отношения, и вообще о такого рода отношениях Альбертина всегда говорила с возмущением. Но разве она не могла измениться, измениться бессознательно, не отдавая себе отчета, что эти ее игры с подружкой

ничем не отличаются от безнравственных отношений, которые для нее лично так мало значили, что за такие отношения она осуждала других? Не могла ли она измениться и в этом, если такое изменение, столь же бессознательное, произошло у нее в отношениях со мной? В Бальбеке она с возмущением отталкивала меня, когда я хотел ее поцеловать, зато потом целовалась со мной каждый день, и я надеялся, что она еще долго будет меня целовать, что она поцелует меня сейчас. «Но, дорогая моя, как же я сумею их оповестить, раз я их не знаю?» Этот неоспоримый довод должен был бы разбить все возражения и развеять сомнения, скопившиеся в глазах Альбертины. Однако выражение ее лица осталось прежним. Я замолчал, а она продолжала на меня смотреть о тем упорным вниманием, с каким глядят на человека, который не кончил говорить. Я еще раз попросил у нее прощения. Она сказала, что ей не за что меня прощать. Она опять стала очень ласковой. Но мне казалось, будто ее печальное, сразу осунувшееся лицо что-то в себе затаило. Я был уверен, что она не уйдет от меня без предупреждения; она не могла к этому стремиться (через неделю она должна была примерить новые платья у Фортюни), не могла от меня уехать,

не нарушая приличий: в конце недели в Париж должны были вернуться моя мать и ее тетка. Почему же, раз ее бегство было невозможно, я все-таки несколько раз повторял, что завтра мы поедем вместе осматривать венецианское стекло (я собирался подарить ей кое-какие стеклянные безделушки), и в ответ слышал слова — от которых у меня на душе становилось легко, — что это решено? Когда же она нашла в себе силы пожелать мне спокойной ночи, я ее поцеловал, но тут она изменила своей прежней привычке — она отвернулась и — почти тотчас после того, как я перестал сосредоточиваться на том, что теперь она со мной ласкова по вечерам, а что в Бальбеке была неласкова, — не поцеловала меня. Можно было подумать, что после ссоры со мной ей не хотелось, чтобы я позднее расценил это проявление нежности как лицемерие, которым она воспользовалась в целях умиротворения. Можно было подумать, что она связывает свои дальнейшие действия с размолвкой, но сохраняя при этом чувство меры — то ли чтобы мне не бросилось это в глаза, то ли чтобы, отказавшись от физической близости со мной, остаться моим другом. Я поцеловал ее еще раз, прижав к своей груди сверкающую, позолоченную синеву Канале

Гранде и птиц, сидящих парочками, — символы смерти и воскресения. Но и во второй раз она отстранилась с инстинктивным зловещим упорством птицы, чувствующей приближение смерти. Это предчувствие, которое она, казалось, переводила на язык действий, охватило и меня и наполнило страшной тревогой, так что, когда Альбертина дошла до двери, у меня недостало мужества отпустить ее, и я заговорил с ней: «Альбертина! Мне совсем не хочется спать. Если вам тоже не хочется, то будьте добры, побудьте со мной, но я вас не удерживаю, я не хочу, чтобы вы из-за меня перебарывали сон». У меня мелькнула мысль, что если б я раздел ее и увидел в белой сорочке, в которой ее тело казалось еще розовее, еще теплее и этим еще сильнее возбуждало меня, то наше примирение было бы полным. Но я не решался: в платье с синей каймой она хорошела, лицо ее напоминало о небе, о заре, а без платья оно показалось бы мне грубее. Она медленно приблизилась ко мне и сказала с глубокой нежностью, но все с тем же печальным, страдальческим выражением лица: «Я пробуду у вас, сколько вы захотите, я не хочу спать». Ее ответ успокоил меня; пока она была со мной, я мог строить планы на будущее, а она была полна ко мне дружеских

чувств, выражала покорность, но особого рода, за которой мне мерещилась теперь, как некая грань, тайна, уловленная мной в ее грустном взгляде; а еще изменились ее манеры, отчасти — независимо от нее, отчасти, бесспорно, потому, что ей хотелось заранее привести их в соответствие с чем-то таким, чего я еще не знал. И все-таки мне казалось, что если я увижу ее в белом, с голой шеей, какой я видел ее в Бальбеке, в кровати, то у меня достанет твердости склонить ее на уступки. «Вы так милы, что решаетесь побыть со мной и успокоить меня, так снимите же платье: в нем жарко, оно так отглажено, что мне страшно к вам подойти, а то как бы не помять дорогую материю, и потом, нас разделяют эти вещие птицы. Ну, милая, ну, хорошая, снимите платье!» — «Нет, здесь раздеваться неудобно. Я разденусь у себя». — «Так вы даже не хотите сесть на мою кровать?» — «Нет, хочу!» Все-таки она постояла еще немного у изножия моей кровати. Мы поговорили. И вдруг мы услышали жалобный размеренный призыв. Это начали ворковать голуби. «Вот и утро настало, — сказала Альбертина; при этом она чуть-чуть нахмурилась, как будто жизнь у меня лишала ее весенних радостей. — Весна началась — значит, голуби могут вернуться». Сходство

между их воркованьем и пеньем петуха было так же глубоко и неясно, как в септете Вентейля сходство между темой адажио, построенного на ключевой теме первой части, и второй частью, но его так преображают оттенки в тональности, в такте и т. д., что, если непосвященная публика откроет работу о Вентейле, она будет поражена, узнав, что все три части построены на четырех нотах, которые можно проиграть одним пальцем на пианино, не находя различия между тремя частями. Меланхолическая часть, исполнявшаяся голубями, была чем-то вроде пенья петуха в миноре, — она не устремлялась к небу, не поднималась вертикально, но, повторявшаяся через одинаковые промежутки времени, как рев осла, проникнутая нежностью, перелетала от голубя к голубю по одной и той же горизонтальной линии, не выпрямляясь, не превращая побочную тему жалобы в ликующий зов, который так явственно слышится у Вентейля в аллегро вступления и в финале. Я употребляю слово «смерть», как будто Альбертине суждено было умереть. Нам всегда кажется, что события обширнее того времени, когда они происходят, и не могут вместиться в него целиком. Разумеется, память, которую мы о них храним, выплескивает их в будущее, но

они требуют себе места и во времени, которое им предшествует. Конечно, нам скажут, что мы их не видим такими, какими они будут, но разве они не изменятся в памяти?

Убедившись, что Альбертина упорно меня не целует, поняв, что мы с ней даром теряем время, что только после поцелуя могли бы начаться истинно успокоительные мгновенья, я сказал: «Спокойной ночи, уж поздно» — это должно было послужить призывом к тому, чтобы она меня поцеловала, и тогда мы бы продолжали быть вместе. Но так же, как и в первые два раза, сказав мне: «Спокойной ночи, постарайтесь заснуть», она ограничилась тем, что поцеловала меня в щеку. На этот раз я ее не позвал. Сердце билось у меня так сильно, что я не мог лечь. Как птица, беспрерывно перелетающая с одного конца клетки на другой, так я без остановки переходил от тревоги — как бы Альбертина не уехала — к относительному спокойствию. Спокойствия я достигал тем, что вновь и вновь начинал рассуждать: «Во всяком случае, она не уедет без предупреждения, а она ни слова не сказала, что собирается уехать», и на душе у меня становилось легче. Но потом все начиналось сызнова: «А все-таки, если завтра я увижу, что ее нет? Предчувствие меня не обма-

нывает. Почему она меня не поцеловала?» У меня мучительно ныло сердце. Потом рассуждение, которое я начинал сначала, слегка успокаивало меня, но зато у меня разбаливалась голова из-за беспрестанной работы мысли, двигавшейся в одном направлении. В душевных состояниях — например, в тревоге, — в таких, которые предлагают нам на выбор только два решения, есть что-то до отвращения сосредоточенное на себе самом, как обыкновенная физическая боль. Я все время переходил такое же крошечное расстояние от поводов для беспокойства к успокаивавшим меня возражениям, на каком человек, не двигаясь, дотрагивается внутренним движением до больного органа, затем на секунду отдаляется от болевой точки, а минуту спустя вновь к ней приближается. Внезапно, в ночной тишине, меня взволновал стук, как будто бы ничего грозного в себе не таивший и тем не менее ужаснувший меня, — стук распахнувшейся в комнате Альбертины оконной рамы. После этого воцарилась тишина, и я задал себе вопрос: почему этот стук так напугал меня? В нем самом не было ничего необычайного, по я придал ему два значения, которые в одинаковой степени страшили меня. Во-первых, так как я боялся сквозняков, то одно из

условий нашей совместной жизни состояло в том, чтобы не открывать на ночь окна. Когда Альбертина поселилась у нас в доме, она была убеждена, что это у меня вредная мания, но ей все объяснили, и она дала слово не нарушать запрета. Она проявляла в этом крайнюю щепетильность; как бы она ни осуждала мои привычки, но она знала, что для меня лучше, чтобы она спала в комнате, где топится камин, чем если она отворит окно, а из-за какого-нибудь крупного события она не разбудила бы меня утром. Сейчас дело касалось одного из неважных условий нашей жизни, но, поскольку она его нарушила, не предуведомив меня, то не значило ли это, что она не желает соблюдать их вообще, что она намерена нарушить их все до единого? Притом этот стук был резкий, можно сказать — невежливый; можно было себе представить, что она распахивает окно, вскипев, и восклицает при этом: «Не могу я жить в такой духоте, ну и наплевать, мне нужен свежий воздух!» Я говорил за нее не в этих выражениях, но стук распахнутой рамы в комнате у Альбертины все еще представлялся мне более таинственным и более зловещим, чем крик совы. В таком сильном волнении, какого я не испытывал с того

вечера в Комбре, когда Сван ужинал у нас,[449] я всю ночь прошагал по коридору в надежде, что мои шаги привлекут внимание Альбертины, в надежде на то, что она сжалится надо мной и позовет меня, но из ее комнаты не долетало ни звука. В Комбре я звал мать. Но я боялся только рассердить маму — я знал, что, когда она увидит, как я её люблю, это не уменьшит ее любви ко мне. Именно это опасение удерживало меня от того, чтобы позвать Альбертину. И притом было очень поздно. Она давно уже спала. Я вернулся к себе и лег. Так как ко мне, что бы ни случилось, никто не входил без зова, наутро, проснувшись, я позвонил Франсуазе. И тут же подумал: «Я заговорю с Альбертиной о яхте, которую я хочу ей подарить». Взяв мою почту, я, не глядя на Франсуазу, сказал: «Мне нужно переговорить с мадмуазель Альбертиной; она встала?» — «Да, спозаранку». В голове у меня закрутился вихрь сомнений, и оставить их неразрешенными — это было выше моих сил. От волнения мне нечем стало дышать, как перед грозой. «Ах вот что! Где же она сейчас?» — «Верно, у себя в комнате». — «А, ну хорошо, хорошо!

[449] Примечания: 449

Стр. 384. …какого я не испытывал с того вечера в Комбре, когда Сван ужинал у нас… — Об этом беспокойстве героя рассказано в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с 53-71).

Сейчас я к ней зайду». Я вздохнул полной грудью, волнение улеглось, Альбертина тут, и теперь мне это уже было почти безразлично. Да и что за вздор: куда она денется? Я заснул, но, несмотря на уверенность, что она от меня не уйдет, сном чутким, и чуткость эту всегда вызывала только она. Шум работ во дворе доносился до меня смутно, и я не терял спокойствия, но от легкого шороха, долетавшего из ее комнаты, или от шороха, который до меня долетал, когда она уходила или возвращалась бесшумно, я дрожал всем телом, и сердце билось у меня учащенно, хотя шорох доходил до меня сквозь густо обволакивавшую дремоту, — так, по рассказам, моя бабушка, в последние дни перед смертью[450] лежавшая неподвижно (это ее состояние полнейшей неподвижности врачи называли кома), заслышав три звонка, которыми я имел обыкновение звать Франсуазу, дрожала как лист, и, хотя на последней неделе, чтобы не нарушать тишину комнаты, где лежала умирающая, я старался звонить тише, никто не мог бы принять мои звонки за звонки кого-то другого, а я и не знал, что как-то особенно нажимаю кнопку.

---

[450] Примечания: 450

Стр. 385. ...моя бабушка, в последние дни перед смертью... — Смерть бабушки героя подробно описана в романе «У Германтов» (см. указ. изд., с. 323-350).

Так что же, теперь и у меня начинается агония? Это и есть приближение смерти?

В тот и на другой день мы выходили из дому вдвоем — с Андре Альбертина встречаться не хотела. О яхте я с ней не говорил. Прогулки меня совершенно успокаивали. Но по вечерам она целовала меня по-новому, и это приводило меня в бешенство. Я не мог предположить ничего иного, кроме того, что она на меня за что-то дуется, но я же все время старался ей чем-нибудь угодить, так что ее поведение я считал просто нелепым, моей страсти она уже не утоляла; когда она бывала не в духе, она дурнела в моих глазах, и тогда я особенно остро чувствовал, что лишен женского окружения, лишен первых чудесных дней путешествия, возбуждавших во мне желание. Благодаря разрозненным, вдруг воскресавшим воспоминаниям о забытых свиданиях, которые у меня, еще школьника, происходили под густым зеленым навесом ветвей, с наступлением весны наше жилище, пространствовав минувшие времена года, три дня назад сделало привал под благодатным небом, в том месте, откуда все дороги разбегались к завтракам на свежем воздухе, к катанью на лодке, к всевозможным увеселениям, которое рисовалось мне страною женщин, хотя с

таким же основанием его можно было бы назвать страной деревьев, и где на каждом шагу поджидавшие меня удовольствия были теперь дозволены моему окрепшему телу. Примиренность с бездельем, примиренность с целомудрием, с отказом от других женщин, кроме одной, которую я не любил, примиренность с заточением у себя в комнате, с отказом от путешествий — все это было возможно в старом мире, в котором мы жили еще вчера, в пустынном мире зимы, но не в новой густолиственной вселенной, где я проснулся, как новый Адам, перед которым впервые встают вопросы жизни, счастья и который сбросил с себя иго наложенных в прошлом запретов. Присутствие Альбертины меня тяготило; я смотрел на нее, суровую, хмурую, которую я не любил, и думал о том, что это несчастье, от которого мы не сумели избавиться. Меня тянуло в Венецию, мне хотелось съездить до Венеции в Лувр посмотреть картины венецианских художников, съездить в Люксембургский дворец[451] с двумя Эльстирами,

[451] Примечания: 451

Стр. 386. Люксембургский дворец — дворец в Париже в одноименном саду, недалеко от Сорбонны и Пантеона; является одновременно местом заседаний Сената и небольшим музеем.

Как полагают исследователи, Пруст вспоминает здесь о картинах Ренуара «Мулен де ла Галетт» (1876) и «Портрет г-жи Шарпантье с детьми» (1878).

которые принцесса Германтская, как я слышал, недавно продала этому музею и которыми я так восхищался у герцогини Германтской: «Утехами танца» и «Портретом семейства Х». Я только боялся, что когда Альбертина будет осматривать первую картину, то некоторые непристойные позы возбудят в ней желание, тоску по народным увеселениям и укрепят ее в мысли, что в той жизни, какую она не вела, в жизни, озаренной потешными огнями, жизни, где полно кабачков, пожалуй, и впрямь есть что-то заманчивое. Я заранее опасался, что 14 июля она попросит, чтобы я свозил ее на народное гулянье, и надеялся, что из-за какого-нибудь невероятного события гулянье отменится. Да и в южных пейзажах Эльстира, от которых рябит в глазах, нагие женские тела могли навести Альбертину на мысль о некоторых удовольствиях, хотя Эльстир — да дойдет ли до нее-то его замысел? — видел в этом лишь скульптурную красоту, красоту белых монументов, которую придает сидящим женщинам зелень. Я передумал и решил поехать в Версаль. Альбертина, не желавшая гулять с Андре, осталась дома и, надев пеньюар Фортюни, взялась за книгу. Я спросил, не хочет ли она прокатиться в Версаль. У Альбертины была прелестная черта:

она всегда была на все согласна; не лишено вероятия, что этой чертой она была обязана привычке проводить полжизни у чужих людей, и как на то, чтобы решиться уехать в Париж, ей и теперь потребовалось две минуты. «Если мы не будем выходить из авто, я поеду так». На секунду она призадумалась: какое из двух манто Фортюни ей надеть, чтобы прикрыть халат, — так выбирают, кого из друзей взять с собой, — и остановилась на чудном темно-синем, а затем воткнула в шляпку булавку. В одну минуту она была готова, прежде чем я успел надеть пальто, и мы отправились в Версаль. Эта ее быстрота, это ее беспрекословное повиновение действовали на меня успокаивающе, как будто я, не имея никаких причин для беспокойства, нуждался в успокоении. «Да чего я боюсь? Она исполняет все мои просьбы, хотя и открывала ночью окно. Стоило мне заговорить о прогулке — и она набросила на пеньюар синее манто и пришла ко мне. Бунтовщица, девушка, которая хочет порвать со мной отношения, так бы не поступила», — рассуждал я сам с собой по дороге в Версаль. Пробыли мы там долго. Небо было одноцветное, синее, лучезарное — таким его иногда видит у себя над головой гуляющий, прилегший в поле, — казалось, его бледноватая

синева свободна от каких бы то ни было переливов; казалось, чистота синевы неистощима, и, как бы глубоко ты ни проник в синеву небес, ничего иного, кроме нее, ты не увидишь. Я вспомнил бабушку: она любила и в искусстве и в природе величавость; ей доставляло удовольствие смотреть, как тянется к небесной синеве колокольня св. Илария.[452] Внезапно, услышав звук, который я сначала не узнал и который бабушка тоже очень любила, я вновь затосковал по моей утраченной свободе. Он напоминал жужжанье осы. «А ведь это аэроплан летит, но только очень-очень высоко!» — сказала Альбертина. Я посмотрел вокруг, но, как гуляющий, прилегший в поле, не увидел ничего, кроме беспримесной, незапятнанной синевы, без единого черного пятнышка. Однако я все время слышал гуденье крыльев, и вот наконец они вошли в поле моего зрения. В вышине одноцветную, нетронутую синь небес бороздили крохотные блестящие коричневые крылышки. Теперь я мог увязать гуденье с его причиной, с этим маленьким насекомым, чьи крылышки трепетали на двухтысячеметровой высоте, не ни-

[452] Примечания: 452

Стр. 387. ...колокольня св. Илария. — Эта церковь в Комбре подробно описана в романе «По направлению к Свану» (см. указ. изд., с. 86-90 и др.).

же; я видел, как оно гудит. Быть может, в давние времена, когда на земле расстояние так не укорачивала скорость, как укорачивает теперь, гудок паровоза, проходившего за два километра, был лишен той красоты, какой волнует нас, и будет еще некоторое время волновать и впредь, гуденье аэроплана, летящего на двухтысячеметровой высоте, — волнует при мысли, что расстояние, покрываемое этим вертикальным путешествием, такое же, какое покрывает паровоз на земле, и что в другом направлении, где меры нам кажутся иными, потому что прибытие представлялось недостижимым, аэроплан, летящий на двухтысячеметровой высоте, не дальше от нас, чем поезд, идущий в двух километрах, и даже еще ближе, но только совершает он одинаковый путь в более чистой воздушной среде, без разрыва между путешественником и посадкой, — так не чувствуешь этого разрыва на море или в полях, в тихую погоду, когда струя за кормой отбушевала, когда только легкий ветерок волнует океан или хлеба[453]. Вернулись мы поздно вечером. Обочь дороги мелькали красные панталоны и юбки —

[453] Примечания: 453

Стр. 388. ...океан или хлеба. — В третьей машинописи за этой фразой следует рукописный отрывок на отдельном листочке, текст которого издатели поместили несколько ниже (см. с. 290).

это шли влюбленные парочки. Наше авто въехало в ворота Майо. Четкий, стройный, не грузный, этот рисунок парижских монументов был точно выполнен для разрушенного города, чтобы восстановить его облик. Но ворота выделялись на фоне такой нежной синевы, что изумленные глаза всюду искали хоть лоскуток такого же дивного цвета, который был им слишком скупо отмерян: это светила луна. Альбертина залюбовалась ею. Я не посмел ей сказать, что мне было бы лучше в одиночестве, что мне было бы лучше отправиться на поиски незнакомки. Я читал Альбертине стихи и прозаические отрывки о луне, обращал ее внимание на то, что из серебристой, какой она была когда-то, Шатобриан[454] и Виктор Гюго в «Эвирадне» и в «Празднестве у Терезы»[455] пре-

[454] Примечания: 454

…Шатобриан… — Замечания Шатобриана о луне Пруст приводит в романе «Под сенью девушек в цвету» (см. указ. изд., с. 300).

[455] Примечания: 455

…Виктор Гюго в «Эвирадне» и «Празднестве у Терезы»… — Пруст упоминает поэму Гюго «Эвирадн» из цикла «Легенда веков» (написана в 1859 г. на средневековый сюжет) и стихотворение «Празднество у Терезы» из сборника «Созерцания» (1856). Ниже Пруст упоминает стихотворение Гюго «Спящий Вооз» из книги «Легенда веков»; на него Пруст ссылается и цитирует его неоднократно, в том числе в романе «Под сенью девушек в цвету».

вратили ее в голубую, а у Бодлера[456] и Леконта де Лиля[457] она стала металлической и желтой. Потом, напомнив Альбертине образ полумесяца в конце «Спящего Вооза», я прочитал ей стихотворение от начала до конца.

Когда я снова возвращаюсь мыслью к жизни Альбертины, то затрудняюсь ответить на вопрос, как много затаенных, мимолетных, часто противоречивых желаний чередовалось в ней. Конечно, тут еще все усложняла неправда. Когда я говорил Альбертине: «Какая хорошенькая девушка! Она отлично играет в гольф» — и спрашивал, как ее зовут, Альбертина отвечала мне с отрешенным, безучастным, рассеянным видом, с таким видом, как будто она выше этого, ибо все подобного рода лгуны принимают на минуту такой вид, если не хотят отвечать на вопрос, и

---

[456] Примечания: 456

…у Бодлера… — Пруст имеет в виду стихотворение Бодлера «Оскорбленная луна», включенное лишь в посмертное издание «Цветов зла».

[457] Примечания: 457

…и Леконта де Лиля… — поэт-парнасец Леконт де Лиль (1818-1894) упоминает луну в своих стихотворениях множество раз, поэтому трудно сказать, на что здесь ссылается автор «Пленницы», возможно, на стихотворение «Сердце Хиалмара» из книги «Варварские стихотворения» (1862):

Холодная луна льет призрачное пламя.

(Перевод Игоря Поступальского.)

этот вид никогда их не подводит: «Право, не могу вам сказать (в тоне слышится сожаление, что она не может дать мне необходимые сведения), я так и не удосужилась спросить, как ее зовут, я видела, как она играет в гольф, а как ее зовут — не поинтересовалась». Если же я спрашивал о ней месяц спустя: «Альбертина! Ты знаешь эту хорошенькую девушку, о которой ты мне говорила, — ту, что так хорошо играла в гольф?» — она, не задумываясь, отвечала: «Да, знала, ее зовут Эмили Дальтье, но потом я потеряла ее из виду». Сначала воздвигалась крепость для защиты имени, потом — для того, чтобы отрезать все пути к ее теперешнему местонахождению: «Понятия не имею, я и раньше не знала ее адреса. Нет, нет, Андре тоже его не знает. Она не принадлежала к нашей стайке, а теперь и стайка-то разлетелась». В иных случаях ложь звучала как неискреннее признание: «Ах, если б у меня было триста тысяч франков ренты…» Она кусала себе губы. «Что ж бы ты на них сделала?» — «Я бы попросила разрешения остаться у тебя, — целуясь, отвечала она. — Где бы еще я могла быть так счастлива?» Но, даже если принять во внимание ложь, все-таки остается непостижимым, до какой степени ее жизнь была изменчива и как мимолетны были ее

самые большие желания. Она бывала без ума от кого-нибудь, а через три дня отказывалась принимать этого человека. Ей было невмоготу ждать час, пока я куплю ей холст и краски, так как она хотела снова заняться живописью. В течение двух дней она из себя вон выходила, на глазах у нее навертывались слезы — но только скоро высыхали — из-за того, что у ребенка отняли кормилицу. Это непостоянство чувств в отношении к живым существам, вещам, занятиям, искусствам, странам распространялось и на все прочее; если она и любила деньги — чего я, впрочем, не думаю, — то не дольше всего остального. Когда она говорила: «Ах, если бы у меня было триста тысяч франков ренты!» — то хотя это было корыстолюбивое желание, но испытывала она его очень недолго, не дольше желания съездить в Роше, который она видела на картинке в бабушкином собрании сочинений г-жи де Севинье, встретиться с подругой по гольфу, полетать на аэроплане, провести Рождество у тетки или заняться живописью.

«В сущности, мы оба не голодны, можно было бы съездить к Вердюренам, это их день и их час». — «Но ведь вы против них что-то имеете?» — «На них много наговаривают, а, в сущности, они не так уж плохи. Госпожа Вердюрен всегда

очень мила со мной. Да и потом, нельзя же быть всегда со всеми в ссоре! У них есть отрицательные черты, а у кого их нет?» — «Вы недостаточно тепло одеты, надо вернуться домой и переодеться, сейчас ведь очень поздно». — «Да, вы правы, вернемся — и дело с концом», — сказала Альбертина с той очаровательной покорностью, которая всегда меня поражала.

Мы остановились почти на окраине, около большой кондитерской, которая в те времена была до известной степени в моде. Оттуда вышла дама, заходившая за своими вещами. Как только дама удалилась, Альбертина несколько раз заглянула в кондитерскую, словно ей не терпелось привлечь внимание женщины, расставлявшей, так как час был поздний, чашки, тарелки, убиравшей пирожные. Женщина подошла ко мне и спросила, не угодно ли мне чего-нибудь. Это была огромного роста кондитерша; в ожидании заказа она стояла напротив меня и Альбертины, сидевшей со мной рядом; стараясь привлечь к себе внимание кондитерши, Альбертина вскидывала на нее белки глаз, меж тем как зрачки она была вынуждена поднимать гораздо выше, потому что кондитерша стояла прямо против нас и у Альбертины не было возможности скосить

глаза, чтобы сделать подъем более пологим. Она была принуждена, не задирая головы, поднимать взгляд на безмерную высоту глаз кондитерши. Чтобы мне угодить, Альбертина быстро опустила глаза, а кондитерша, не обращая на нее никакого внимания, продолжала говорить. То были тщетные мольбы Альбертины, обращенные к недостижимому божеству. Затем кондитерша принялась убирать соседний большой стол. Взгляд Альбертины стал естественным. Но взгляд кондитерши ни разу не задержался на моей подружке. Меня это не удивляло; кондитершу я немного знал, у нее были любовники; замужняя женщина, она искусно скрывала свои интрижки, что меня крайне удивляло, оттого что она была на редкость глупа. Пока мы закусывали, я не отрывал от этой женщины взгляда. Занятая уборкой, она была почти невежлива по отношению к Альбертине: она ни одним взглядом не ответила на взгляды моей подружки, в которых, кстати сказать, не было ничего неприличного. Кондитерша убирала, убирала без конца, не отвлекаясь. Раскладывать ложечки, ножички для фруктов — это было занятие, не подходящее для такой красивой, статной женщины: ради экономии человеческого труда ее могла бы заменить простая

машина, которая но сосредоточивала бы на себе все внимание Альбертины. А между тем кондитерша не опускала блестевших глаз, все время помнила, что она неотразима, не углублялась всецело в свою работу. Если бы она была не так феноменально глупа (она пользовалась именно такой репутацией, да к тому же я это знал по опыту), ее равнодушие к Альбертине можно было принять за верх хитрости. Мне хорошо известно, что изрядный глупец, если только он чего-либо добивается, если затронуты его интересы, может в этом особом случае, преодолев свою тупость и пустопорожность, мгновенно приспособиться к переплетению сложнейших обстоятельств, но причислить к такому разряду людей дурищу кондитершу — это все-таки было бы для нее слишком много чести. По глупости ей ничего не стоило дойти до предела неучтивости. Она так ни разу и не взглянула на Альбертину, хотя не видеть ее не могла. Это было невежливо по отношению к моей подружке, но я был в восторге: Альбертина получила хороший урок и удостоверилась, что женщины далеко не всегда на нее заглядываются. Мы вышли из кондитерской, сели в авто и уже двинулись по дороге домой, но тут я вдруг пожалел, что не отвел кондитершу в сторонку

и на всякий случай не попросил ее не говорить даме, вышедшей из кондитерской нам навстречу, моей фамилии и адреса, которые кондитерша знала превосходно, так как я часто делал в кондитерской заказы. Вряд ли дама стала бы таким сложным путем узнавать адрес Альбертины. Да и не хотелось мне возвращаться из-за пустяков, а кроме того, кондитерша, лгунья и дурында, придала бы моей просьбе слишком большое значение. Я только подумал, что надо бы все-таки сюда приехать закусить через неделю и поговорить о даме с кондитершей; и еще я подумал, как скучно — вечно забывать половину того, что надо было сказать, и по нескольку раз переделывать самое простое дело.

В эту ночь хорошая погода сделала скачок вперед, как термометр подскакивает в жару. Лежа на кровати рано начинавшимися весенними утрами, я слышал, как, овеянные благоуханиями, бегут трамваи, и чувствовал, что воздух нагревается до тех пор, пока не достигнет густоты и плотности полдня. У меня в комнате, напротив, становилось прохладнее; когда маслянистый воздух заканчивал очищение и предельно четкое отделение запахов: запаха умывальника от запаха шкафа, запаха шкафа от запаха канапе,

и эти запахи, вертикальные, стояли стоймя, явственно различимые, наслоившиеся один на другой в перламутровой полутьме, наводившей нежный глянец на отсвет занавесей и кресел, обитых голубым атласом, мне казалось — и не просто по прихоти воображения, но потому, что это было возможно, — будто я в каком-то новом квартале пригорода, похожего на пригород Бальбека, иду по улицам, ослепшим от солнца, вижу не противные мясные и белый тесаный камень, а деревенскую закусочную, куда я сейчас зайду, а войдя, я обоняю запахи вишневого и абрикосового компота, сидра, швейцарского сыра, нерешительно и осторожно прорезывающие в прохладе искрящегося полумрака жилки, точно в агате, между тем как стеклянные подставки для ножей разукрашивают прохладу полумрака всеми цветами радуги или же — то здесь, то там — вонзаются в клеенку глазками павлиньих перьев.

Мне отраден был равномерно нараставший, как шум ветра, шум автомобиля под окном. Я втягивал в себя запах бензина. Этот запах может быть неприятен людям с утонченным вкусом (все они материалисты, запах бензина отравляет им деревенский воздух) и некоторым мысли-

телям (материалистам на свой лад), которые, веря в факт, воображают, что человек был бы счастливее, что он мог бы создавать образцы более высокой поэзии, если б его зрение способно было бы воспринимать, больше цветов, а его обоняние — больше благоуханий: так подводится философская база под наивную идею тех, которые утверждают, что жизнь была бы прекраснее, если б вместо черных фраков носили бы роскошные костюмы. Но (быть может, действительно неприятный запах нафталина и ветиверия[458] возбуждал меня, воскрешая в памяти чистую синеву моря в день моего приезда в Бальбек) запах бензина вместе с дымом, вырывавшимся из машины, так часто рассеивался в бледной лазури в те знойные дни, когда я ехал из церкви Иоанна Предтечи-на-Эзе в Гурвиль,[459] он сопровождал меня во время моих прогулок в летние дни, в то время как Альбертина писала красками, а теперь благодаря ему, хотя я находился в неосвещенной комнате, я видел цветущие васильки, мак, алый

[458] Примечания: 458

Стр. 392. Ветиверий — растущее в Индии растение; из его корней, отличающихся сильным запахом, изготавливают средства от моли и т. п.

[459] Примечания: 459

…от церкви Иоанна Предтечи-на-Эзе в Гурвиль… — В рукописи эти названия пропущены. Восстанавливаются по соответствующему месту романа «Содом и Гоморра» (см. указ. изд., с. 421).

клевер, он опьянял меня, как запах полей, ничем не ограниченный, вездесущий, как запах, исходящий от боярышника, удерживаемый своей маслянистостью и густотой и оттого медленно движущийся вдоль изгороди, но такой, к которому бегут дороги, от которого меняется облик солнца, к которому стремятся замки, от которого бледнеет небо, удесятеряются силы, который является как бы символом полета ввысь, символом мощи, который вновь будил во мне желание, появлявшееся у меня в Бальбеке: подняться в клетке из стали и стекла, но теперь не для того, чтобы наносить визиты знакомым с женщиной, слишком хорошо мною изученной, но для того, чтобы в новых местах полюбить незнакомку; запах, сопутствовавший ежеминутным гудкам пролетавших автомобилей, гудкам, в которых мне слышались слова военного сигнала: «Парижанин, вставай, вставай, иди завтракать в поле, кататься на лодке, иди с хорошенькой девушкой под сень деревьев, вставай, вставай!» Эти мечты были мне необыкновенно отрадны, и я поздравлял себя с тем, что ввел «строгий закон», согласно которому никто из «простых смертных», ни Франсуаза, ни Альбертина, без моего зова не осмеливались нарушать мой покой «во глубине

дворца, где

грозное величье

Таит от всех свое державное обличье...»[460]

И вдруг — перемена декорации: это были уже воспоминания не о прежних впечатлениях, не о былом желании, совсем недавно пробужденном во мне синим с золотой отделкой платьем Фортюни, расстелившим передо мной другую весну, которая была более других густолиственна, но которую оголило — оголило и цветы и деревья — название города: Венеция. Весна венецианская — это весна отцеженная, обнажающая самую свою сущность, выражающая удлинение дня, потепление, постепенный свой расцвет не через нарастающее разбухание грязной земли, а через бурление ничем не замутненной воды, весна ранняя и потому пока без венчиков, ничего не приносящая в дар маю, кроме солнечных бликов, разубранная только им, отвечающая ему в лад искристой и неподвижной наготой темного своего сапфира. Время так же изменяет ее цветущие проливы, как и готический город; я об этом знал,

[460] Примечания: 460

Стр. 393. ...свое державное обличье... — Пруст цитирует слова Есфири из одноименной трагедии Расина (действ. I, явл. 3).

но не мог себе представить, а если и представлял, то хотел того же, чего хотел в детстве, когда в самый разгар отъезда меня подкашивало желание: встретиться лицом к лицу с моими венецианскими мечтами; посмотреть на разделенное море, держащееся в берегах своих излучин, подобно тому как урбанистическую утонченную цивилизацию держат изгибы Средиземного моря, цивилизацию, отделенную их лазурным поясом, развивавшуюся обособленно, создавшую самостоятельно школы живописи и зодчества — сказочный сад плодов и птиц из разноцветного камня, расцветший среди моря, приходящего освежить его, бьющегося волнами об его колонны и, точно стерегущие темноту темно-синие глаза, усеивающего дрожащими светящимися брызгами могучий рельеф капителей.

Да, надо ехать, лучше момента не выберешь. С тех пор, как Альбертина перестала на меня сердиться, обладание ею перестало мне казаться таким благом, в обмен на которое человек готов отдать все остальные. (Быть может, этот обмен между нами существовал, потому что мы стремились избавиться от тоски, от тревоги, а теперь тоска и тревога утихли.) Нам удалось перескочить через обруч, а между тем было такое время, когда

мы думали, что нам его не перепрыгнуть. Мы разогнали грозовые тучи, к нам вернулась безмятежность улыбки. Мы рассеяли томительную тайну беспричинной и, быть может, бесконечной ненависти. Перед нами вновь встала на некоторое время устраненная проблема счастья, и мы знали, что нам ее не разрешить. Теперь, когда наши отношения с Альбертиной наладились, я чувствовал, что они ничего не сулят мне, кроме несчастий, потому что она не любила меня: лучше расстаться с ней в мире и согласии, чем жить воспоминаниями. Да, момент настал. Мне надо было точно знать, когда Андре уезжает из Парижа; действуя энергично, добиться от г-жи Бонтан определенного ответа, что в ближайшее время Альбертина ни в Голландию, ни в Монжувен не

собирается[461], и, когда к ее отъезду никаких препятствий уже не встретится, выбрать вот такой хороший день, как сегодня, — впереди таких дней будет еще много, — когда я к Альбертине буду равнодушен и меня будет соблазнять множество желаний. Надо было, не увидевшись с ней, выпустить ее из дому, затем встать, быстро собраться, оставить ей записку, упирая на то, что в данное время она не может поехать со мной, куда меня особенно манит, а я не хочу все время рисовать себе скверные поступки, какие она может совершить без меня (а я их, кстати сказать, теперь не думал принимать близко к сердцу), и, не простившись, уехать в Венецию.

Я позвонил Франсуазе и попросил ее купить мне путеводитель и указатель, как просил ее об

[461] Примечания: 461

Стр. 394. …не собирается… — В сноске помещено добавление, сделанное Прустом на полях беловой рукописи. Современные издатели вводят эту вставку в основной текст. [Если мы подвергнем наши отношения возможно более тонкому анализу, то обнаружим, что женщина часто нам не нравится из-за предпочтения, которое она оказывает нашим соперникам, хотя мы очень страдаем от этого соперничества; вместе с предпочтением исчезает и очарование женщины. Можно привести печальные и предостерегающие примеры предпочтения, оказываемого женщине мужчиной, который, прежде чем узнать ее, совершает ошибки, женщине, которая затягивает его в омут и которую он на протяжении всего их романа должен завоевывать. И можно привести обратные и ни в малой мере не драматичные примеры того, как мужчина, чувствуя, что он охладевает к женщине, неумышленно применяет правила, которые он извлек из их отношений, и, чтобы не терять уверенности, что он любит ее по-прежнему, ставит ее в опасные

положения, так что ему приходится ежедневно следить за ней (в противоположность мужчине, который требует, чтобы женщина не ходила в театр, хотя полюбил он ее как раз за то, что она туда ходила).]

этом в детстве, когда собирался в Венецию и когда мне так же, как теперь, страстно хотелось добиться осуществления моего заветного желания; я забывал, что с той поры я добился ничем не порадовавшего меня осуществления только одной своей мечты — о поездке в Бальбек и что Венеция, будучи, как и Бальбек, явлением видимым, по всей вероятности, также не сможет осуществить мою неизреченную мечту об эпохе готики, осовремененную весенним морем, поминутно создававшую в моем воображении волшебный, чарующий, неуловимый, таинственный, туманный образ. На мой звонок вошла Франсуаза. «Вы нынче так поздно звоните — я уж вся извелась, — сказала она. — Не знала, что и делать. В восемь утра мадмуазель Альбертина велела принести ее чемоданы, а я отказать не посмела и боялась: нука вы на меня рассердитесь, коли я вас разбужу. Уж как я ее ни улещала, просила подождать хоть часочек — я каждую минуту ждала вашего звонка, — а она — ни за что, оставила вам записку и в девять часов уехала». И тут (как плохо мы знаем себя! Ведь я же был убежден, что равнодушен к Альбертине) дыхание у меня пресеклось, на руки мне внезапно упали капли, каких я не видел с тех пор, как Альбертина рассказала мне в дачном

поезде о своих отношениях с подругой мадмуазель Вентейль, но наконец я кое-как собрался с духом и проговорил через силу: «А, ну вот и отлично! Спасибо вам, Франсуаза! Конечно, вы хорошо сделали, что не разбудили меня. Выйдите на минутку, я вас сейчас позову».

КОММЕНТАРИИ

Марсель Пруст не успел довести работу над «Пленницей» до сдачи рукописи в набор. Помимо многочисленных подготовительных набросков в своих рабочих тетрадях, он подготовил беловую рукопись книги, испещрив текст многочисленными поправками, дополнениями на полях и вставками на отдельных листках (эти вставки бывали подчас весьма обширны, и писатель складывал их гармошкой и подклеивал к соответствующему листу тетради).

Он отдал эту рукопись в перепечатку. Получив ее начало, Пруст сильно выправил его, что потребовало новую сплошную перепечатку. В эту вторую машинопись было внесено, как обычно у Пруста, так много исправлений, вставок и т. п., что была сделана третья машинопись. Ее писатель успел выправить лишь в некоторых местах. Тем самым работа над подготовкой окончательного текста завершена не была, что повлекло за собой отдельные противоречия в развитии сюжета (это указывается нами в комментариях).

При жизни Пруста в журнале «Нувель ревю

франсез» (1 ноября 1922 г.) были напечатаны два отрывка из «Пленницы»: «Я смотрю на нее спящую» и «Мои пробуждения». Героиня книги, Альбертина, в журнальном варианте названа Жизелью. Писатель подготовил для этого журнала еще два отрывка — «Утренник в Трокадеро» и «Смерть Бергота», но они увидели свет уже после его смерти, 1 января 1923 года.

Отдельное издание книги было подготовлено братом писателя доктором Робером Прустом и одним из сотрудников «Нувель ревю франсез» Жаком Ривьером. Она вышла в ноябре 1923 года.

Перевод выполнен, как и все предыдущие тома эпопеи Пруста, по изданию, подготовленному Пьером Клараком и Андре Ферре и вышедшему в 1954 году. Ссылки даются на перевод Н. Любимова, публиковавшийся в 1973 («По направлению к Свану»), 1976 («Под сенью девушек в цвету»), 1980 («У Германтов»), 1987 («Содом и Гоморра») годах.

А. Михайлов